Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. П.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

А. ЧЕХОВ

РАССКАЗЫ

●

ПОВЕСТИ

●

ПЬЕСЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1974

Вступительная статья
Г. Бердникова

Р1
Ч 56

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

Иллюстрации
Кукрыниксов

Ч $\frac{70301\text{-}293}{028\,(01)\text{-}74}$ подписное

НАШ СОВРЕМЕННИК А. П. ЧЕХОВ

Антон Павлович Чехов (1860—1904) входил в русскую литературу в пору ее блестящего расцвета. Он был младшим современником Некрасова, Достоевского, Тургенева, Глеба Успенского, Салтыкова-Щедрина. Годы его жизни — это время активной творческой деятельности Л. Н. Толстого. Какими, однако, сказочно далекими, недосягаемыми должны были казаться эти олимпийцы затерянному в провинциальной глуши сыну разорившегося мелкого торговца, ученику таганрогской классической гимназии!

Не уменьшилась эта дистанция и тогда, когда вчерашний гимназист, теперь студент медицинского факультета Московского университета начал профессиональную творческую деятельность. Сотрудничество во многих юмористических журналах и газетах, на страницах которых он поместил в начале восьмидесятых годов сотни своих рассказов, не сулило ему ничего, кроме весьма нелестного в те времена звания газетчика. Полушутя, полусерьезно Чехов писал в 1883 году брату Александру: «Газетчик значит, по меньшей мере, жулик, в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика». Через три года Чехов уже серьезно признавался Д. В. Григоровичу: «Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело (медицину.— *Г. Б.*) на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника».

Что делать,— литераторов, печатавшихся в юмористических журналах, не принято было считать писателями. Чехов понимал это, однако решительно отказывался смириться с таким положением. Вот и в письме к брату, посетовав на свое положение газетчика, далее он писал: «Я газетчик, потому что много пишу, но это временно... Оным не умру».

Если бы друзья Антоши Чехонте (так Антон Павлович чаще всего подписывал в это время свои произведения) прочли эти строки, они, видимо, только

посмеялись бы над его дерзкой самонадеянностью. Однако уже к началу второй половины восьмидесятых годов современники начинают относиться к творчеству писателя со все большим вниманием. Популярность его быстро растет, Чехова приглашают сотрудничать крупнейшие столичные газеты, в критических статьях и рецензиях его начинают сравнивать с другими молодыми писателями, при этом выводы в иных случаях оказываются для него весьма лестными. Однако наибольшее впечатление на писателя произвело письмо Д. В. Григоровича, которое он получил в марте 1886 года. Этот почтенный литератор, прославившийся еще в сороковые годы, личность для Чехова почти легендарная, писал ему: «...у Вас *настоящий* талант,— талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения». А вскоре пришло и официальное признание. В 1888 году за очередной сборник рассказов «В сумерках» Академия наук увенчала писателя Пушкинской премией.

Премия чрезвычайно обрадовала Антона Павловича, однако свои творческие успехи сам он оценил более чем скромно. Зато с нескрываемой гордостью говорил о пути, пройденном им в большую русскую литературу. «Я счастлив,— писал он 20 октября 1888 года,— что указал многим путь к толстым журналам... Все мною написанное забудется через 5—10 лет; но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы — в этом моя единственная заслуга».

В оценке своих заслуг Чехов всегда был не только скромен, но и крайне застенчив. Как-то он признался в 1889 году: «Когда мне не везет, я храбрее, чем тогда, когда везет. Во время удачи я трушу и чувствую сильное желание спрятаться под стол». Таким он и остался до конца дней своих. Всплески радости по поводу письма Григоровича и получения премии были уникальными в его биографии. Тем важнее оценить их по достоинству.

Свой приход в большую русскую литературу Чехов, несомненно, воспринимал как принципиально важную победу.

Антон Павлович был далеко не первым разночинцем, поднявшимся к высотам русской культуры. И он хорошо знал это. Несомненно, однако, и то, что процесс выхода на историческую арену сынов закабаленного русского народа, который начался в шестидесятые годы, тогда лишь набирал силы. Это и давало основание Чехову причислять себя к поколению первопроходцев. В той или иной форме подобные признания неоднократно прорываются в его письмах. «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости». Это из знаменитого письма к Суворину, где Чехов предлагает адресату написать повесть о трудном пути в литературу молодого человека с биографией, во многом напоминающей его собственную. Несколько раньше, в письме к Лазареву-Грузинскому: «...я «счастья баловень безродный», в литературе я Потемкин, выскочивший из недр «Развлечения» и «Волны», я мещанин во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть». А вот выдержка из письма весны 1889 года: «Вероятно, на земле быстро вымирали первые портные, первые астрологи... Вообще тяжело живется тем, кто имеет дерзость первый вступить на незнакомую дорогу. Авангарду всегда плохо».

Выход на историческую арену разночинцев воспринимался Чеховым как начало нового этапа в развитии русской культуры. Именно *нового* — отсюда упоминание о «незнакомой дороге», и именно *начало* — отсюда и ощущение своего причастия к авангарду. Другие высказывания писателя подтверждают эту мысль. Демократические веяния в культурной жизни страны он считал лишь началом работы во имя культуры будущего.

Значение того огромного вклада, который внес Чехов в развитие русской и мировой литературы, определяется прежде всего кровной связью писателя с глубинными процессами русской жизни на рубеже ее двух исторических эпох. Продолжая и развивая в трудную пору восьмидесятых годов и позже — в девяностые и девятисотые годы — идеи русского просвещения шестидесятых годов, Чехов в своем творчестве с удивительной силой отразил тот рост самосознания широких народных масс, который явился одной из существенных сторон вызревания пролетарского периода русского освободительного движения.

Большое значение имела цельность его натуры, органическая слитность его личных, общественных и творческих устремлений и побуждений.

С детства, что называется с молоком матери, впитал он ненависть к крепостническому прошлому России. И со стороны отца, и со стороны матери его окружали люди, которые в силу своего неуемного стремления к личной свободе и независимости еще до 1861 года вырвались из крепостной неволи. Однако жизнь этих людей со всей очевидностью показывала, что, освободившись из-под власти помещика, они не обрели свободы. Одна зависимость оказалась заменена другой, не менее унизительной. И не только той, которую сполна вкусил отец писателя, прошедший суровую школу приказчичьей жизни. Видимо, очень рано таганрогский гимназист начал понимать, что зависимость от хозяина лишь частное проявление общего правопорядка, основанного на законе господства и подчинения. Окружавшие Чехова люди, в том числе и его отец, не только безропотно следовали этому правопорядку, но и считали его незыблемой основой человеческого общежития. Отсюда деспотизм, который проявлялся не только в служебной сфере, но и в семейной, в том числе и в семье писателя, о чем он с болью и возмущением будет вспоминать до конца своих дней.

Чехов пришел в литературу с рано сложившимися убеждениями. Он не принимал господствующий правопорядок, отрицал его жизнеспособность, непоколебимо верил в прогрессивное развитие человеческого общества. Позже Антон Павлович скажет об этом так: «Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная».

Эти убеждения юноши сложились стихийно, являясь непосредственной реакцией на окружающую его жизнь. Однако, раз возникнув, они потом непрерывно углублялись и укреплялись, неизменно помогая Чехову определять свое место в сложной, меняющейся общественной атмосфере России на протяжении всего его творческого пути. Вера в прогрессивное развитие

социальной действительности, иными словами — исторический оптимизм, сблизила его с наследием русского просвещения, уберегла от влияния либерально народнической идеологии.

Важнейшую роль в укреплении прогрессивно-демократических убеждений писателя сыграл Московский университет. Чехов приобрел здесь не только профессию врача, которая позже оказала ему неоценимую помощь как писателю. По его собственному признанию, занятия естественными науками имели для него «... и направляющее влияние»... В это время сложилось его убеждение: «Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины», окрепло глубочайшее уважение к науке, вера в человеческий разум, а вместе со всем этим упрочился и его исторический оптимизм.

Тогда же углубились и его гуманистические убеждения. В годы, когда буржуазные ученые всего мира пытались использовать открытия Дарвина для обоснования и увековечения волчьих законов капитализма, как «естественных» законов извечной борьбы за существование, Чехов, тоже испытавший увлечение социальным дарвинизмом, в наметках своей студенческой научной работы приходит к диаметрально противоположному выводу. По его мнению, «...природа не терпит неравенства. Она исправляет свое отступление от правила, сделанного по необходимости... при удобном случае. Стремясь к совершенному организму, она не видит необходимости в неравенстве, в авторитете, и будет время, когда он будет равен нолю». «Не следует,— пишет он далее,— мешать природе — это неразумно, ибо все то глупо, что бессильно. Нужно помогать природе, как помогает природа человеку...» Это уже определение глобальной цели человеческой деятельности, которую он видит в активном содействии неумолимому процессу прогрессивного развития.

Чехов был наделен от природы огромным художественным даром. Но ведь в семье Чеховых талант не был редкостью. Как известно, Антон Павлович так высоко оценивал одаренность своего брата Николая, что даже несколько завидовал ему. Однако этот талантливый художник так и не смог по-настоящему проявить своих возможностей. Выдающиеся достижения Чехова объясняются тем, что его талант был оплодотворен прогрессивно-демократическими идеалами. В основе стремительного творческого роста Чехова лежало новое видение мира, окружающей его действительности. Именно это позволило писателю уже в ранний период открыть новую страницу в истории великой русской литературы.

В одном из писем начала 1883 года, критикуя рассказ Александра Павловича Чехова, показывая, сколь он убог по содержанию, Чехов убеждал брата: «Подчеркни ты, сильный, образованный, развитой, то, что жизненно, что вечно, что действует не на мелкое чувство, а на истинно человеческое чувство...» Антон Павлович при этом не предлагает адресату обратиться к другому, более содержательному материалу. Он рекомендует лишь по-новому взглянуть на ту же бытовую сценку, советует увидеть и подчеркнуть в ней главное — пошлость изображаемых героев. В этом совете — коренной принцип художественного метода самого автора письма.

В своем раннем творчестве Чехов широко использует традиционные формы рассказа-сценки и рассказа-анекдота. Не отказывается он и от привычной для юмористической журналистики бытовой тематики, непритязательности рисуемых коллизий, прозаической будничности обстановки. Традиционно невзрачна и пестра по своему социальному составу вереница его героев. Подавляющее большинство ранних чеховских шедевров, прочно вошедших в золотой фонд русской и мировой литературы, таких, как «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Смерть чиновника», «Унтер Пришибеев», и многих других по своему жизненному материалу строго выдержаны в духе этой традиции. Чехову удается осуществить радикальную новаторскую перестройку жанра именно благодаря новому взгляду на своих героев, на их повседневную жизнь. В характерах каждого из них писатель сумел увидеть воплощение существенных особенностей господствующих нравов, в первую очередь — принципа господства и подчинения. Рассказы о треволнениях его ничтожных героев — рабов и деспотов, часто деспотов и рабов одновременно — оказываются рассказами о противоестественности этих нравов. Каждый рассказ в отдельности и все вместе вырастают поэтому в беспримерную трагикомедию человеческого бытия в мире призрачных, эфемерных чувств и забот.

С особой силой обличает Чехов добровольное холопство, холопство по убеждению, независимо от того, в какой форме оно выражается — в форме ли рабского самоунижения («Толстый и тонкий», «Капитанский мундир» и др.) или деспотического усердия по охранению установленного порядка. Подчас Чехов поднимается при этом и до политической сатиры. Высшим его достижением в этом жанре следует признать рассказ «Унтер Пришибеев», который обогатил человеческую культуру нарицательным понятием унтерпришибеевщины.

Радикальное обновление бытового рассказа было связано с существенным пересмотром традиционного подхода к теме «маленького человека». Герои чеховских рассказов, такие, например, как холуйствующий мелкий чиновник Порфирий («Толстый и тонкий»), совсем не похожи на их предшественника Акакия Акакиевича Башмачкина («Шинель» Гоголя). Чехов сознательно порывает с привычной трактовкой образа «маленького человека» как человека униженного и оскорбленного. «Брось ты, сделай милость, своих угнетенных коллежских регистраторов! — пишет он Александру Павловичу.— Неужели ты нюхом не чуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту?»

Почему отжила? За годы, прошедшие после появления гоголевской «Шинели», жизнь показала, что волчьи законы новых буржуазных отношений, поклонение капиталу и чину являются достоянием не только сильных мира сего. Уже на рубеже сороковых и пятидесятых годов («Месяц в деревне», «Провинциалка») на это обратил внимание Тургенев, это отчетливо видел создатель образа Подхалюзина («Свои люди — сочтемся») А. Н. Островский. В шестидесятые — семидесятые годы далеко отошел от гоголевской трактовки образа «маленького человека» Ф.М. Достоевский. Однако эта традиция все еще была жива, все еще широко эксплуатировалась, прежде всего литературой,

близкой либерально-народническим кругам. Решительное неприятие ее начинающим писателем — свидетельство еще одной его примечательной особенности — его исторической зоркости, которая и уберегала его от влияния народнической публицистики, критики и литературы, все еще тешивших себя иллюзиями, будто буржуазные отношения в России — явление наносное, поверхностное, неорганичное. Историческая зоркость и трезвость, смелое, последовательное развенчание всех и всяческих иллюзий — эта характернейшая особенность творчества Чехова также определяется уже в восьмидесятые годы.

Избранный писателем путь был труден, чреват многими недоразумениями и острыми столкновениями с современной присяжной критикой, в первую очередь критикой либерально-народнического толка. Антон Павлович быстро убедился в этом. Ему не простили нового взгляда на современную действительность. О Чехове стали говорить как о писателе индифферентном, с полным равнодушием и безразличием взирающем на добро и зло, как о писателе, полностью порвавшем с «заветами отцов» — традициями русской прогрессивно-демократической литературы и критики.

Что же, на первый взгляд писатель давал повод для таких недальновидных суждений. В общем-то чеховская сатира действительно обескураживающе непривычна. Чехов-сатирик не прибегал ни к уничтожающему сарказму, как Салтыков-Щедрин, ни к горькой иронии Гоголя («смех сквозь слезы»). Даже вопиющее нравственное уродство рисуется им внешне весьма спокойно, без каких бы то ни было явно выраженных признаков авторского негодования или скорби. Как же было не заподозрить автора в безразличии? Между тем рассказы Чехова были по-настоящему смешны. Почему же?

Белинский утверждал, что «... смешное комедии вытекает из беспрестанного противоречия явлений с законами высшей разумной действительности». Выделяя и подчеркивая принципиально важные черты характера и нравственного облика своих героев, пародийно заостряя их, Чехов потому и позволяет себе воздерживаться от авторской оценки изображаемого, что полностью полагается на читателей, для которых эти «законы высшей разумной действительности», как бы ни были они затенены уродливыми социальными нравами, остаются естественным достоянием. Несколько позже Чехов писал Суворину: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно... Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам».

Нет, Чехов не порывал с гуманистическими традициями русской литературы. Однако, продолжая их, он не ограничивался наследием. Учитывая исторический опыт, он развивал и обогащал их. Не отказался писатель и от темы «униженных и оскорбленных».

Уже с середины восьмидесятых годов начинают появляться рассказы Чехова, по своему тону и структурному принципу резко отличные от его юмо-

ристических и сатирических произведений. Если там писатель старался выявить и показать превращение человека в некий бездуховный механизм, движимый лишь мертвенными узаконениями, то теперь, напротив, он стремится выявить духовное начало, таящееся в глубине человеческой души. Эти рассказы полностью проясняли социальную позицию автора, его симпатии и антипатии. Их героями неизменно являются люди социальных низов. Немало таких рассказов талантливо и ярко продолжали традиционное раскрытие темы «униженных и оскорбленных». Как чаще всего это и было в дочеховской и современной ему русской литературе, в них шла речь об угнетении, бесправии, ужасающей нищете трудового народа. Таковы рассказы «Кошмар», «Свистуны», «Ванька», «Спать хочется» и др. В ряде рассказов Чехов подхватывал и продолжал традиции шестидесятых годов — Левитова, Николая Успенского,— рисовал трагикомедии, порождаемые духовной обездоленностью, темнотой и забитостью трудового народа. Классическими образцами таких произведений являются «Злоумышленник», «Темнота», «Беглец». Постепенно, однако, все яснее проявляется новый, необычный подход писателя к традиционной теме.

Миниатюрные лирические драмы Чехова из народной жизни все чаще рисуют пробуждение самосознания героев. Своеобразие построения этих произведений состоит прежде всего в том, что неприглядность жизни героя и выявляется в результате пробуждения в нем человечности. Образцом таких произведений можно считать рассказ «Горе». Потеряв жену, токарь Григорий Петров думает теперь, что сорок лет жизни прошли, как в тумане. «За пьянством, драками и нуждой не чувствовалось жизни. И, как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней...

«Жить бы сызнова»,— думает токарь».

Стремясь показать человечность, духовное богатство простых людей, чаще всего мужиков, Чехов обращается к традициям сороковых годов, прежде всего тургеневским «Запискам охотника». Вместе с тем он учитывает, что традиции эти были радикально пересмотрены писателями-шестидесятниками. Идеализации русского мужика, которая заметно сказывалась в литературе сороковых годов, они противопоставили картины идиотизма деревенской жизни, образы темных, невежественных, забитых крестьян. Во времена Чехова проблема идеализации сельской жизни вновь приобрела особую остроту прежде всего в связи с народнической беллетристикой, создавшей целую вереницу сусальных образов народных «правдолюбцев».

Развивая традиции «Записок охотника», следуя правде жизни, Чехов создает внешне весьма непривлекательных, неказистых героев. Тем острее выявляется контраст между их внешним обликом и таящимся в них душевным богатством — поэтичностью, любовью к природе и, наконец, их непреодолимым отталкиванием от убогой деревенской жизни. Так возникает цикл рассказов об отщепенцах — охотниках, бродягах, мечтателях, художниках из народа. Наиболее показателен в этом цикле рассказ «Счастье».

Новаторская поэтика лирических чеховских рассказов проявляется тут с особой выразительностью. Стремясь ни в чем не приукрасить своих героев и в то же время раскрыть их человечность, Чехов разрабатывает оригинальную художественную структуру, которая получит богатое развитие в его последующем творчестве. Он избегает идеализации не только внешнего облика героев, но и их интеллектуальных возможностей, склада их мыслей. Герои рассказа «Счастье» — и старик пастух, и объездчик Пантелей, рассуждающие о счастье,— не говорят ничего, что выходило бы за узкий горизонт их интересов. Их мысли так же тягучи и вялы, как это и естественно для темных людей, заброшенных в молчаливых, равнодушных степных просторах. Писатель, однако, так передает их беседу, что за их разговорами о заколдованных кладах, зарытых в степи, проглядывают мечты о настоящем человеческом счастье, о большой жизни, идущей где-то там — за границей молчаливой степи. Писатель достигает всего этого не только особой формой повествования, но и целенаправленным использованием всех элементов художественной структуры. Уже современники отметили изумительную живописную выразительность степных пейзажей в этом рассказе; не уловили они, однако, главного—не поняли, что пейзажи тут не являются самоцелью, что они помогают автору создать нужное ему настроение, раскрыть главную мысль рассказа, что они не только живописны, но и философски содержательны.

Выработанные в лирических рассказах принципы повествования и общей поэтической структуры легли в основу повести «Степь». Это был, так сказать, первый официальный выход Чехова на большую арену русской литературы. Повесть была опубликована в столичном журнале «Северный вестник». «Степь» — вершина лирической прозы Чехова восьмидесятых годов. Размышление о горькой судьбе простых людей вырастает здесь до мысли об обездоленности родины, сокровища которой гибнут никому не нужные и никем не воспетые, подавленные враждебными силами, олицетворенными в образе вездесущего купца Варламова, в свою очередь порабощенного деловой сухостью, властью чистогана. Более сложная творческая задача приводит к значительному усложнению поэтической структуры. От мыслей и чувств своих героев Чехов поднимается к философским обобщениям, воедино сливает мысли и чувства героев, автора и читателей. Так возникают неповторимые чеховские лирические отступления, непосредственно продолжающие гоголевские традиции.

Конец восьмидесятых годов — период напряженных идейных и творческих исканий писателя, которые привели к существенной перестройке всей его художественной системы. Чехов стремится отойти от общей постановки вопроса об обездоленности человека, о человеческом счастье, пытается разобраться в конкретных социальных конфликтах, в тех острых проблемах, которые были в центре внимания современной общественной мысли. К этому вела его логика творческого развития и вместе с тем изменяющаяся общественная обстановка в стране, все более очевидно выявлявшийся кризис эпохи реакции восьмидесятых годов. Вопрос «что делать?» и в связи с этим решительная пере-

оценка идейного достояния — и своего личного, и своих современников — становился главным в жизни и творчестве писателя конца восьмидесятых годов. Жалобы на свою идейную незрелость являются в это время лейтмотивом чеховских писем. Поиски цельного и ясного мировоззрения, которое явилось бы ключом к решению назревших социальных проблем, ярко отразились в творчестве писателя 1888—1889 годов.

Именно в это время Чехов испытывает особенно мощное влияние Л. Н. Толстого. Это был сложный процесс. Антон Павлович учится у великого писателя, которому уверенно отводит первое место в русской литературе, острой постановке нравственных проблем, аккумулирующих все другие — и социальные и политические — вопросы. В связи с этим идет процесс совершенствования форм и метода психологического анализа. Чехов осваивает и перерабатывает в духе своей художественной системы толстовское искусство показа диалектики человеческой души. Вместе с тем он пытается разобраться в нравственном учении великого писателя. Все это нашло отражение в ряде рассказов второй половины восьмидесятых годов. Толстовская идея непротивления злу насилием тщательно анализируется и отводится как нежизнеспособная, решительно отвергаются толстовский аскетизм и религиозная проповедь. Однако идея всеобщей любви оказывает на Чехова все большее влияние. Она, несомненно, подкупала писателя как своей всеобщностью, так и резким противостоянием господствующим буржуазным правам. С наибольшей полнотой это влияние сказалось в рассказе «Именины».

Чехову удалось создать удивительное по силе произведение, показывающее, к каким катастрофическим последствиям приводит ложь и фальшь в человеческих отношениях. Однако в журнальной редакции рассказа были и весьма уязвимые места, являющиеся прямым следствием увлечения писателя идеей всеобщей любви. К разряду лжи и фальши автор относил равно как консервативные политические убеждения, так и все иные, потому что, как ему тогда казалось, всякие политические рассуждения мешают относиться к человеку как человеку, заставляют ценить в нем не человека, а «фирму и ярлык». Несостоятельность такого подхода Чехов почувствовал очень быстро.

В рассказе «Припадок» Чехов коснулся такой страшной язвы современного ему общества, как проституция. К ней обращались — каждый по-своему — и Достоевский, и Некрасов, и Гаршин. Все они, однако, трактовали эту проблему в духе традиционной темы «униженных и оскорбленных», всячески очеловечивая падших женщин. Чехов противопоставил этому страшную правду торжества беспросветной пошлости и тупости, царящей в публичных домах. Истинный ужас положения, как убеждается герой рассказа Васильев, состоит в том, что это не погибающие, которых можно и должно спасать, как писалось в книгах, которые он читал, а безвозвратно погибшие, «...что все то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием божим, осквернено тут до основания, «вдрызг», как говорят пьяницы, и что виноваты в этом не один только переулок да тупые женщины». Осмысле-

ние проституции как зла, коренящегося в основе существующего социального строя, как неумолимого процесса, вовлекающего все новых и новых женщин, и тут —в Москве, и там —в Лондоне, Гамбурге, Варшаве, заставляет Васильева — человека гаршинского склада, одержимого мыслью немедленно искоренить увиденное им зло,— прийти к пониманию своего бессилия, наивности своего намерения сделать что-нибудь с помощью толстовской проповеди любви к ближнему.

Мучительные раздумья, напряженные творческие искания конца восьмидесятых годов завершились созданием «Скучной истории». Здесь вопрос «что делать?» был поставлен писателем во всей его широте как коренной вопрос современности. Решительная переоценка ценностей, которую переживает профессор, тупик, в котором он оказывается, осознание им своего бессилия ответить на вопрос Кати, как же ей жить,— перерастают в трагедию безыдейного существования всего сознательного русского общества в обстановке безвременья восьмидесятых годов. Убеждение, «...что осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас», с потрясающей силой раскрытое в повести, определило ее непреходящее значение.

Все эти годы были периодом стремительного творческого роста писателя. Он ставит перед собой задачи, одну труднее другой. «Именины» — это оригинальная, чеховская разработка конфликта, положенного в основу «Анны Карениной», «Припадок» — свое толкование излюбленных гаршинских тем и самого человека гаршинского склада, «Скучная история» — чеховская разработка ситуации, положенной в основу «Смерти Ивана Ильича» Л. Н. Толстого. Обращаясь к сходным ситуациям, конфликтам и характерам, Чехов открывает в них новые грани, приходит к новым выводам. Все это становится возможным еще потому, что во всех случаях он ищет и находит все новые художественные средства, непрерывно видоизменяя и обогащая свою художественную систему.

Тупик, в котором оказывался профессор, попавший в плен злых мыслей, злобного брюзжания, несомненно, страшил и самого писателя. Только этим можно объяснить, что сразу после этой повести он завершает пьесу «Леший», в основу которой без колебаний кладет идею всеобщей любви. Однако, несмотря на ряд интереснейших художественных находок, которые получают потом развитие в зрелой чеховской драматургии, писатель быстро разочаровывается в своей пьесе. Идея всеобщей любви, на поверку, оказалась прокрустовым ложем для жизненного материала пьесы, обедняла характеры и конфликты, оборачивалась плоской назидательностью. Все это порождает у Чехова острое чувство неудовлетворенности своим творчеством, своими знаниями, прежде всего — знанием жизни. В это трудное для него время писатель принимает решение, удивившее современников своей неожиданностью,— решает ехать на остров Сахалин, остров царской каторги и ссылки, к месту «...невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный», к месту, где люди «...решали страшные ответственные задачи и теперь решают».

Путешествие на кандальный остров было истинным подвигом писателя. Многие сотни верст по бездорожью, напряженнейший труд при подготовке к поездке и на самом острове дорого обошлись Чехову, в чем он убедился уже вскоре после возвращения в Москву. Поездка значительно ухудшила состояние его здоровья, сильно подстегнула давно начавшийся туберкулезный процесс. Но в идейном и творческом плане это паломничество оказалось чрезвычайно плодотворным.

Прямым результатом поездки явилась книга «Остров Сахалин», над которой Чехов проработал около пяти лет. Этот свой капитальный труд, результат глубокого изучения научной литературы и положения дел на месте, писатель считал данью «медицине», подразумевая под этим дань науке. Однако эта оригинальнейшая и глубокая книга обладала и высокими художественными достоинствами. Все это и дало основание современникам чрезвычайно высоко оценить ее как выдающееся явление, которого одного было бы достаточно, чтобы имя Чехова прочно вошло в историю русской культуры и русской общественной мысли.

Однако главным был все же тот идейный и творческий импульс, который получил Чехов во время путешествия. Оно помогло ему глубже понять современную действительность, во многом пересмотреть и уточнить свои взгляды. Теперь уже идея любви во имя любви вызывает у него только недоумение и негодование. «Пьяный, истасканный забулдыга муж,— пишет он после возвращения с Сахалина,— любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира», мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых».

Творчество Чехова первой половины девяностых годов — это прежде всего исследование различных сфер русской жизни, все более глубокое постижение ее глубоких противоречий. Вместе с тем это начатый еще в конце восьмидесятых годов фронтальный смотр идейного достояния своих современников. В процессе этого художественного исследования действительности существенно углубляются и крепнут гуманистические убеждения писателя.

В рассказе «Бабы» художник живописует повседневную, казалось бы, мирную и тихую жизнь провинциального мещанства, которая оказывается, однако, осенена зловещей тенью каторги. И самое ужасное состоит в том, что каторга угрожает именно тем людям, которые не мирятся с изуверскими нравами своей среды, тем, в которых живы простые человеческие чувства и стремления. Истерзали, а потом отправили на каторгу Машеньку, грозит каторга и невесткам Дюди, доведенным до крайности теми же мещанскими нравами.

Не лучше нравы и в той интеллигентской среде, которую рисует Чехов в повести «Дуэль». Взгляды на жизнь интеллигентных обывателей и молодого ученого фон Корена, исповедующего модные взгляды социального дарвини-

зма, столь же жестоки и бесчеловечны, как взгляды Дюди и проезжего мещанина, глубоко убежденных, что Машенька сама виновата в своей гибели.

Наибольшей силы обобщения Чехов достигает в повести «Палата № 6». Больничная палата, так похожая на тюремную камеру, в которую попадает в конечном счете доктор Рагин, вырастает тут в символ всего господствующего строя жизни, где нечего и рассчитывать на справедливость, так как «...всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства...».

Но ведь общество — это люди. Не удивительно поэтому, что Чехов все более требовательно относится к своим современникам, к их взглядам, к их общественным позициям. В «Дуэли» он показывает не только бесчеловечность и несостоятельность деспотических, антигуманных взглядов зоолога, но и неприглядную жизнь Лаевского. Накануне дуэли, в минуту прозрения, с отвращением оглядывая свое прошлое, Лаевский приходит к заключению, что «...он... не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе... не сделал людям ни на грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь... всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь...».

С особой силой подобная позиция обличается в «Палате № 6». Жизнь доктора Рагина, которая с наибольшей полнотой воплощает политику невмешательства и приспособленчества, оценивается в повести, как прямое пособничество злу. Его философская доктрина — своеобразный конгломерат модных в те годы веяний от толстовства до наиболее реакционных сторон учения стоиков — объявляется устами Громова антидемократической и нежизнеспособной. Вместе с тем в повести утверждается, что в истории человечества извечно «...прогрессируют... борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...».

«Палата № 6» явилась выражением крепнущей ненависти Чехова к общественному застою в русской жизни, к тому, что он еще в конце восьмидесятых годов называл «азиатчиной». «Нет, сударь,— говорит Громов в ответ на разглагольствования Рагина,— это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь...» Русскому человеку, по мнению Чехова, необходимо прежде всего сбросить с себя эту сонную одурь, «совлечь с себя азиата». «Ему нужны ...желания, темперамент. Надоело кисляйство»,— заявляет он в одном из своих писем 1894 года.

Вера Чехова в прогрессивное развитие человеческого общества крепла из года в год. Никогда еще до этого не рисовал писатель такой мрачной картины, как в «Палате № 6», однако, потому что вся повесть была, как соком, пропитана мыслями о противоестественности подобной жизни, о высших целях человеческого бытия, она чужда настроениям пессимизма и безысходности. Последующие произведения Чехова все очевиднее выявляли этот его истори-

ческий подход к восприятию современной действительности. Чем глубже, чем беспощаднее обличал он социальное зло, тем сильнее и убежденнее звучала в них мысль о грядущем торжестве справедливости, правды и красоты в жизни людей.

Однажды Чехов получил от знакомого писателя письмо, в котором тот, рассказывая один нелепый трагический случай, делал в связи с этим весьма пессимистические общие выводы. Чехов ответил ему так: «Мне всегда казалось, что Вы не справедливы к современной жизни, и всегда казалось, что это проходит болезненной судорогой по плодам Вашего творчества и вредит этим плодам... Я далек от того, чтобы восторгаться современностью, но ведь надо быть объективным, насколько возможно справедливым. Если теперь нехорошо, если настоящее несимпатично, то прошлое было просто гадко».

Чеховская идея прогрессивного общественного развития из года в год не только крепла, но и непрерывно пополнялась конкретным социально-историческим содержанием, чутко отражала существенные сдвиги в общественной атмосфере России. Развитию этого процесса во многом способствовала жизнь писателя среди народа.

Значительное ухудшение здоровья, острая неудовлетворенность всем укладом жизни в Москве, которую он почувствовал после возвращения с Сахалина, тяга к повседневному общению с народом заставили Чехова покинуть Москву. В 1892 году, купив в долг небольшое имение в подмосковном селе Мелихове, Чехов переезжает туда с семьей на постоянное жительство. Здесь он пробудет до 1898 года, когда дальнейшее обострение туберкулезного процесса вынудит его переселиться в Ялту. Активная земская деятельность — заботы о народном образовании, работа в качестве врача в особенности, не говоря уже о повседневном общении с мелиховскими мужиками,— все это вооружало Чехова превосходным знанием положения дел в деревне, обогащало огромным запасом наблюдений, давало бесценный материал для размышлений и выводов. Повести «Мужики» и «Моя жизнь», а позже повесть «В овраге» явились итогом этих наблюдений и размышлений.

Чехов нарисовал потрясающую картину темноты, нищеты, идиотизма деревенской жизни... Однако тут же он объяснял общественно-политические причины этих явлений и утверждал нравственные основы народной жизни. Пожив среди мужиков, Мисаил Полозпев думает: «В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде».

Чехов выступал здесь как продолжатель коренной традиции русской литературы — ее народности. Однако эта традиция была решительно освобождена им от народнических наслоений. В отличие от народников, Чехов

не идеализирует ни крестьянский труд, ни патриархальные пережитки в мужицкой жизни, ни пресловутую «власть земли». Его вера в нравственные начала народной жизни неотрывна от убеждения, что всесторонний социальный и культурный прогресс призван смести темные стороны крестьянской жизни и что именно на этом пути раскроются духовные богатства русского человека.

Повесть «Мужики» — свидетельство дальнейшего развития чеховских гуманистических взглядов. Художественное исследование реального положения дел в деревне укрепляло веру писателя в человека. Это и позволяло ему бесстрашно рисовать жизнь такой, какова она есть. Жизнь среди народа имела и другие существенные последствия.

Все глубже вникая в противоречия социальной действительности, чутко вслушиваясь в пульс современной общественной жизни, Чехов непрерывно обогащает, социально и политически уточняет такие фундаментальные основы своего творчества, как понятия о человечности, справедливости, правде и красоте.

Прежде всего писатель отметает всякого рода фальшивки, всякие подделки под них. Забота фон Корена о справедливости, об интересах человеческого общества при ближайшем рассмотрении оказывается одной из разновидностей деспотизма и бесчеловечности, отрицательно оценивается в конечном счете незлобивость и покладистость доктора Рагина. Философские теории при этом поверяются элементарной человечностью, а декларируемая человечность — реальным содержанием теоретического построения. Основным критерием оценки того и другого все в большей и большей мере выступает отношение героев к современной исторической обстановке, к реальному положению народа в современном обществе. Одна из героинь рассказа «Дом с мезонином» является, казалось бы, воплощением красоты и справедливости. Однако, как выясняется, все это лишь видимость. Посвятив себя земской общественной деятельности, она не знает и не хочет знать подлинных интересов и нужд народа. Узость ее мышления неотделима от ее деспотической самоуверенности и черствости, которые рушат счастье художника и Мисюсь.

В повести «Моя жизнь» доктор Благово много говорит о прогрессе, но при этом с презрением отзывается о народе, о его насущных нуждах и интересах. И вновь эта особенность взглядов героя неразрывно связана с его эгоизмом и бессердечием в повседневной жизни. Повесть так и строится, что бесчеловечность Благово в отношении полюбившей его девушки — сестры Мисаила Полознева — оказывается лишь частным проявлением жестокости его буржуазно-прогрессистских воззрений, а в более широком плане — той жестокости и несправедливости, которую повседневно наблюдает и ощущает в своем родном городе Мисаил Полознев. Не удивительно, что однажды и губернатор, и жандармы, стоящие на страже существующих порядков, и мясник Прокопий, убежденный, что всяк должен знать свое место, и Благово с его философствованиями сливаются в сознании Мисаила воедино с залитой кровью городской бойней, на которой он побывал как-то вместе с мясником.

В рассказе «Студент» Чехов с предельной лаконичностью определил свой взгляд на сущность человеческой жизни. Студент Великопольский, возвращаясь с охоты, остановился у костра и рассказал двум крестьянкам евангельскую легенду. Героя поразило, как взволновала неграмотных женщин нравственная сущность далеких легендарных событий. Только что он был полон тяжелых мыслей об окружающей его нищете и тьме и был убежден, что так было и много веков назад. Но теперь он приходит к выводу, «... что правда и красота... продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле»... «Прошлое,— думал он,— связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Убеждение в том, что правда и красота нерасторжимы, является характернейшей особенностью всего творчества писателя. Существенно, однако, что чеховское представление о правде определялось в первую очередь его пониманием справедливости в отношениях между людьми в их личной и общественной жизни. В девяностые годы в этом единстве личных и общественных отношений проблема гражданственного облика человека, осознания им своего общественно-исторического долга приобретает все большее, а в конечном счете и решающее значение. Вместе с тем непрерывно обогащается и само понятие об общественно-исторической миссии человека. Все это приводит к существенному пересмотру того традиционного представления о человеческом счастье, которому и сам писатель отдал дань во второй половине восьмидесятых годов.

В 1886 году был опубликован рассказ Чехова «Любовь». Герой рассказа влюбился, сделал предложение и теперь женат. Его жена примитивнейшее и ограниченнейшее существо, другие члены семьи, в которую он попадает после свадьбы, и того неприглядпее. Герой понимает это, но он любит свою жену и поэтому прощает ей и ее родным все. Прощает и чувствует себя по-настоящему счастливым человеком. «Мотивы такого всепрощения,— признается он,— сидят в моей любви к Саше, а где мотивы самой любви — право, не знаю». В 1889 году была напечатана первая часть рассказа «Учитель словесности», написанная по той же сюжетной схеме и в том же духе. Речь шла здесь о том, как Никитин влюбился в Манюсю Шелестову и как сделал ей предложение. Дом Шелестовых тоже весьма неприглядеп, но герой любит, счастлив, и все ему кажется чудесным и прекрасным. «Ну, дом! — думал Никитин...— Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не могут выражать своей радости!»

Проходит пять лет. В 1894 году Чехов пишет вторую главу рассказа. Начало новой главы — кульминация счастья героя. Он признается, что раньше, когда был студентом и жил в бедных номерах на Неглинном, счастье казалось ему недосягаемым, возможным лишь в романах, а вот теперь он испытывал это счастье, «... на самом деле, казалось, брал его руками». Герой горд своим счастьем. «Я верю в то,— говорит он жене,— что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что сам создал». Вскоре, однако,

наступает похмелье. Пустяковые, казалось бы, происшествия заставляют его по-новому взглянуть и на свое «счастье», и на себя, и на свою супругу, и на свой дом. Теперь он думал, «что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир... И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать... Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны». Проходит еще немного времени, и Никитин окончательно убеждается, что счастье его было иллюзией и что теперь для него начинается «...новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем».

Чехов не останавливается на этом. Понятие о «новой, нервной, сознательной жизни» позже также уточняется. В рассказе «По делам службы» следователь Лыжин, выехавший в глухую деревушку на вскрытие трупа самоубийцы, с тоской смотрит на окружающую жизнь, которая представляется ему темной и хаотичной. Однако тяжелые впечатления, которые обрушиваются на него, остро поразивший его контраст между мужицкой и помещичьей жизнью, пробуждают в герое напряженную, почти подсознательную работу мысли, в результате которой внезапно наступает озарение. Как и герой рассказа «Студент», Лыжин приходит к постижению высокого смысла человеческого бытия. Однако это уже новое его понимание. «И несчастный, надорвавшийся, убивший себя «неврастеник» ...— думает Лыжин,— и старик-мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку,— это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существование считает случайным, и это части одного организма, чудесного и разумного, для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это».

Что же это означает — понять и ощутить себя «частью общего»? Это значит видеть трагические противоречия жизни и не страшиться их, это значит понять свой долг перед народом, а вместе с тем и свое место в жизни. Теперь Лыжин «чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином с досадой или с усмешкой, но к которым не идут на помощь...»

Так решительно переосмысляется представление о человеческом счастье. Теперь уже обычное, казалось бы, естественное человеческое семейное счастье, вид спокойных, довольных людей представляется героям Чехова просто ужасным. Вот один из них рассказывает о том, как осуществил свою заветную мечту его брат, решивший купить имение и вырастить там свой крыжовник,

и как он оскотинился, пока добивался своей цели. Негодующе говорит Иван Иванович и о других людях, наслаждающихся своим убогим, безмятежным счастьем («Крыжовник»). «Все тихо,— говорит он,— спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно».

Писатель, как и раньше, полагает, что стремление людей к счастью естественно, что оно вытекает из самой человеческой природы, что оно является их неоспоримым правом. Чехов выступает, однако, за такое понимание счастья, которое соответствовало бы высоким целям человеческого бытия. Устами того же Ивана Ивановича он провозглашает, что человеку «нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». Отсюда убеждение писателя, что уже теперь надо ломать сложившиеся представления, привычный быт, уже сегодня надо искать пути к иной, сознательной жизни, наполненной высокими гражданскими целями.

На протяжении девяностых годов непрерывно углубляется и чеховская критика социального строя. Чехов до конца верен своей борьбе против пошлости и несправедливости. Однако и эти понятия также непрерывно обогащаются, все более наполняются конкретным социальным и политическим содержанием. Теперь речь идет прежде всего о прямом или косвенном проявлении капиталистического и помещичьего гнета. Само по себе это не было новым в русской литературе. Новым был особый подход к раскрытию этой темы.

Продолжая и развивая важнейшую тему своих рассказов восьмидесятых годов, Чехов все больше внимания уделяет нравственному и духовному порабощению человека капиталистическими отношениями — порабощению не только угнетенных, но и угнетателей. В повести «Три года» сами толстосумы рисуются как рабы капиталистической предпринимательской деятельности. Рассказ «Бабье царство» открыл новую важнейшую тему русской литературы, потом подхваченную и блестяще развитую М. Горьким,— тему человека из народа, попавшего на ту же иссушающую человека стезю,— тему человека, попавшего на «чужую улицу».

Эта тема пронизывает и многие другие произведения Чехова. Буржуазные отношения, как показывает писатель, во всех случаях, включая повседневные бытовые отношения людей, оказываются силой, обедняющей и обесчеловечивающей человека. В итоге, отречение от привычного, пошлого уклада жизни оказывается разрывом с самыми основами буржуазного строя, буржуазного правопорядка, буржуазной морали.

Убежден Чехов и в том, что люди — его современники — уже начинают искать пути к иной жизни. Об этом он и рассказывает в своих произведениях конца XIX — начала XX века. Центральное место в них занимают герои,

которые, как и Никитин, осознают, что дальше так жить невозможно. Это относится как к прозе, так и к драматургии Чехова. И в «Дяде Ване» и в «Трех сестрах» главное — конфликт основных персонажей со всем строем современной им жизни.

Отказавшись от традиционного для дочеховской драматургии столкновения и борьбы персонажей по поводу какого-то события, Чехов создает новаторскую художественную структуру, основанную на воспроизведении жизни в ее будничном повседневном течении. Задача его сводится к тому, чтобы ввести нас во внутренний мир своих героев, таких, как Астров, Войницкий («Дядя Ваня»), Тузенбах, Вершинин, сестры Прозоровы («Три сестры»), поведать нам об их сокровенных мыслях. Своеобразная условность, к которой прибегает при этом драматург, состоит в постоянной погруженности подобных персонажей в думы о своей жизни, о жизни, которая их окружает. Знакомя нас с этими потаенными мыслями героев, Чехов и подводит зрителей к убеждению, что жизнь эта унизительна и нетерпима, что жить так дальше невозможно.

Если в «Дяде Ване» главным было отрицание строя жизни такого, какой он есть, то в «Трех сестрах» уже уверенно звучит мысль о его неизбежном изменении. «Пришло время,— говорит Тузенбах,— надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Герои Чехова теперь порывают со старым миром не только духовно, но и практически, на деле начинают искать пути к новой жизни. Таковы Тузенбах и Ирина («Три сестры»). В рассказе «Невеста» эта тема получает свое дальнейшее развитие.

На первый взгляд Чехов не выходит тут из круга привычных для него тем. Как и герои предшествующих произведений, Надя осознает беспросветную пошлость окружающей ее среды. Однако если в произведениях девяностых годов этот духовный кризис был финальной кульминацией событий, то в «Невесте» он лишь часть сложного процесса радикального изменения не только взгляда на жизнь, но и самой жизни героини. Надю не только охватывает стремление к новой жизни. Она начинает жить по-новому.

Решающую роль в ее судьбе сыграл Саша, его страстные, убежденные речи о прекрасном будущем, когда даже в их захолустном городишке вырастут «... громадные, великолепные дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди...». Эти речи не только помогают Наде трезво взглянуть на окружающее и прийти к заключению, что она больше не может жить по-старому. Сразу же, как только она поняла это, ее охватывает чувство радостного ожидания нового, убеждение, что стоит ей уйти от родных и ее жениха, как «... перед ней откроется нечто новое и широкое, чего она раньше не знала». Это чувство так властно захватывает ее, что она готова «... на все, хотя бы на смерть». И оно не обманывает героиню.

Чехов долго работал над рассказом. Вновь и вновь перерабатывая его, Антон Павлович стремился к тому, чтобы у читателей не осталось сомнений —

предчувствия Нади не обманули ее. Это была нелегкая задача. Цензурные условия лишали писателя возможности прямо говорить о революционном движении, к которому примыкает героиня. Новая петербургская среда, куда она попадает, покрывается поэтому в рассказе некой романтической дымкой. Чехов лишь дает нам понять, что Надя узнала там нечто очень важное, после чего даже «...знакомство с Сашей представлялось ей уже милым, но далеким, далеким прошлым». И этого оказывается достаточно, чтобы привести нас к главному выводу: новая жизнь — реальность уже сегодняшнего дня, открытая для всех честных, мыслящих людей, ищущих путь к светлому будущему. Надя вступила на этот путь, и это возродило ее, принесло ей полноту духовной жизни и счастье. Это был второй важнейший вывод писатоля, подсказанный ему революционными событиями кануна 1905 года.

Чеховский историзм с наибольшей полнотой проявился в пьесе «Вишневый сад» — последнем произведении великого писателя. Здесь уже сама жизнь России рассматривается в процессе ее исторического развития и изменения. Крепостническое прошлое как бы олицетворяется в Гаеве, Раневской и Пищике. Владение живыми душами, как говорит Петя Трофимов, окончательно переродило их. Каждый из них является своеобразным воплощением коренной особенности дворянства — его паразитизма, который и определяет их историческую обреченность.

На смену Гаевым пришли купцы Лопахины. Однако, по мнению Чехова, это лишь временные хозяева жизни, так как их неуемная энергия направлена не на созидание, а на разрушение, является стяжательской и хищнической по своей природе.

Петя Трофимов отвергает изжившие себя принципы жизни и прошлых и настоящих хозяев «Вишневого сада». Отказавшись от забот о личном благополучии, от всего того, что так дорого ценят люди, живущие привычными понятиями, Петя посвящает себя труду во имя будущего. На этот путь зовет он и Аню. Так рождается главная тема пьесы — тема новой жизни, когда люди превратят всю Россию в цветущий сад. Эта жизнь не только желанна, но и близка, почти зрима. Возгласы молодежи в финале пьесы — «Здравствуй, новая жизнь!» — закрепляют это ощущение.

* * *

Во второй половине восьмидесятых годов, непрерывно совершенствуя свою художественную систему, Чехов в то же время считает, что работа эта носит второстепенное значение, что она является лишь подготовкой к осуществлению главного дела его жизни — написанию романа. В 1888 году, рассказывая о работе над романом, о своих опасениях и дальнейших планах, он в заключение пишет: «Ведь если роман выйдет плох, то мое дело навсегда проиграно». Нет сомнения, в это время Чехов находился еще под гипнозом традиционного представления о возможностях большого и малого прозаических жанров, тех самых представлений, которые к этому времени уже были доста-

точно поколеблены его художественными открытиями. Однако в конце восьмидесятых годов гипноз этот рассеивается. Писатель охладевает к своему неоконченному роману и вскоре вовсе отказывается от дальнейшей над ним работы, а в 1889 году пишет: «Я думаю, что если бы мне прожить еще 40 лет и во все эти сорок лет читать, читать и читать и учиться писать талантливо, т. е. коротко, то через 40 лет я выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса».

К мысли о романе и в связи с этим о радикальной перестройке своей художественной системы Чехов в девяностые годы не возвращается. Ее дальнейшее развитие шло уже без всякой оглядки на традиционное иерархическое представление о прозаических жанрах. Как показало время, своеобразная новаторская художественная система Чехова полностью оправдала себя, верно служа писателю при решении любых сложных творческих задач. Жизнеспособность чеховской художественной системы определялась прежде всего безграничными возможностями ее развития и обогащения, ее гибкой подвижностью. Обращаясь к новым, все более сложным проблемам современной действительности, Чехов каждый раз искал для очередного произведения новую художественную структуру, необходимую для решения данной, конкретной идейно-творческой задачи и неизменно находил ее.

Чеховская художественная система зиждется на ряде устойчивых принципов, которые и определяют ее неповторимое своеобразие. Однако и они непрерывно развивались и обогащались на протяжении всего творческого пути писателя.

Одним из таких устойчивых начал чеховской поэтики был принцип объективности. Уже в ранний период творчества писателя этот принцип означал требование трезвого, непредвзятого освещения явлений действительности, активно противостоял субъективистскому произволу и обывательскому благодушию. Вместе с тем, как мы видели, это было требование видимого авторского невмешательства, расчет на то, что недостающие в рассказе субъективные элементы читатель «подбавит сам». Примечательно то разъяснение, которое делал при этом Чехов. «Конечно,— писал он,— было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники». Говоря об условиях техники, Чехов имеет в виду форму короткого рассказа, которая обязывает его, как он считает, «...все время... говорить и думать в... тоне и чувствовать в...духе» своих героев. Иначе, полагает Чехов, «...образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам». Но ведь Чехов писал не только короткие рассказы. Его повести тоже были кратки. Принцип краткости, родившийся в процессе работы над рассказами «короче воробьиного носа», уже к концу восьмидесятых годов определяется как еще одна коренная особенность его поэтической системы. Неизменными оказываются в связи с этим и требования «техники». Мир, изображаемый Чеховым, все чаще предстает перед нами в восприятии персонажей. Опираясь на достижения Л. Н. Толстого, Чехов виртуозно использует этот метод, подчиняя его другим прин-

ципам своей поэтики. Прежде всего это помогает ему наиболее выпукло и зримо раскрыть внутренний мир персонажа, его умонастроение и душевное состояние. Вместе с тем Чехов полностью отходит от нейтральных описаний. Каждая зарисовка одухотворяется восприятием героя, становится содержательной и действенной, наполняется внутренней энергией психологической и философской выразительности.

Принцип краткости вынуждает Чехова неустанно искать новые экономные способы повествовательной техники. Уже в начале восьмидесятых годов он решительно пересматривает тургеневский метод пейзажной живописи, противопоставляя ему воспроизведение выразительных деталей пейзажа. Он убежден, что можно дать впечатляющую картину лунной ночи, упомянув лишь о том, как «... на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка...» Чехов остается верен этому принципу пейзажной живописи до конца, однако с годами и она значительно усложняется, наполняется все более глубоким психологическим и философским содержанием.

Метод выделения выразительных деталей — «мелких частностей», оформившийся вначале как принцип пейзажной живописи, постепенно становится универсальным методом чеховского повествования, в том числе портретной живописи и даже сюжетного построения. Так построен, например, рассказ «Ионыч». Прослеживая жизнь своего героя, Чехов рассказывает нам, что вначале герой ходил в город пешком, потом у него появляется пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке; в следующей главке мы узнаем, что он пополнел и уже ездит на тройке с бубенчиками. Удивительно выразительная емкость этих деталей с особой силой проявляется в финале. «Когда он,— пишет Чехов,— пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным: «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог». Какой большой силы обобщения достигал Чехов, используя детали, показывает и рассказ «Человек в футляре». Приверженность героя к разным чехольчикам, зонтикам, галошам приобретает в конечном счете символический характер не только для всего облика человека в футляре, но и для футлярного образа жизни в целом, всей действительности, где жизнь хотя и не запрещена циркулярно, но и не разрешена вполне.

Получает дальнейшее развитие и еще одна характерная особенность поэтики Чехова — сдержанность авторского повествования,— еще один признак видимого авторского невмешательства. Чехов особенно настойчиво формулирует это требование в период написания «Палаты № 6», утверждая, что чем спокойнее, чем холоднее рассказчик, тем сильнее получается впечатление. Та же «Палата № 6» показала, что контраст между драматизмом развивающихся событий и сдержанностью повествования в самом деле увеличивает выразительность и впечатляющую силу произведения. Этого правила Чехов придерживается и впредь. Чем страшнее сцены, тем сдержаннее тон повество-

вания. Вот как рассказывает Чехов об убийстве Аксиньей младенца Никифора, сына Липы («В овраге»):

«— Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.

После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вокруг стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней наивной улыбкой...»

Последовательное осуществление принципа видимого невмешательства в описываемые события, воспроизведение действительности глазами своих героев делало особенно острой и сложной основную задачу художника — доведение до сознания читателя авторского отношения к изображаемому.

Чехов и тут во многом остается верен себе до конца. В начале девятисотых годов он так же полагается на читателя, как и в начале восьмидесятых годов, как и прежде убежден, что недостающие в рассказе субъективные элементы читатель подбавит сам. Поэтому он и может позволить себе только-то приводившееся безэмоциональное, как бы протокольное описание убийства грудного ребенка. Он твердо рассчитывает, что читатель дополнит это описание теми естественными человеческими чувствами и эмоциями, которые неизбежно должно вызвать это чудовищное злодеяние. Старания писателя и сводились прежде всего к тому, чтобы предлагаемые обстоятельства до конца выявляли сущность человеческих конфликтов и характеров, делали эту оценку столь же очевидной, как и в приведенном случае.

Чехов и здесь оказывался верен принципам своей художественной системы, определившейся еще в начале восьмидесятых годов,— уметь различить острую конфликтную ситуацию в простейшей бытовой сценке, причем такую, которая четко выявляла бы как характеры персонажей, так и некую важную черту современной действительности. За годы творческого развития он научился в таких ситуациях улавливать наиболее существенные признаки противоречивой социальной действительности. Вот, например, случайная дорожная встреча сельской учительницы и местного помещика Ханова («На подводе»). Она вызывает мысли о до времени состарившейся от непосильного неблагодарного труда учительнице, о странном помещике, также преждевременно угасающем, только от безделия, от своей пустой и бесцельной жизни. И вот кульминация рассуждений: «Жизнь устроена так, что вот он живет у себя в большой усадьбе один, она живет в глухой деревне одна, но почему-то даже мысль о том, что он и она могли бы быть близки и равны, кажется невозможной, нелепой. В сущности, вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце».

Все тут типично по-чеховски — нет негодования, но есть явная апелляция к простым человеческим чувствам, которые и в этом случае должны дополнить недостающие субъективные элементы. Этому служат и все другие ком-

ноненты рассказа. Но кому принадлежат эти мысли? По логике повествования — учительнице. Ведь это рассказ о ее мыслях и переживаниях. Не трудно видеть, однако, что это не только, а иногда и не столько ее мысли, сколько мысли автора. Метод слияния мыслей и чувств героя и автора также непрерывно развивается и осложняется в зрелом творчестве Чехова.

Чем последовательнее изображается окружающий мир в восприятии героя, тем большее значение приобретает незаметная, но весьма последовательная корректировка этого восприятия, которая и подводит нас к тем глубоким выводам и суждениям, которые самим героям были бы недоступны или не могли бы быть выражены в нужной Чехову форме.

Усилению авторской активности в рамках кажущегося невмешательства писателя во многом способствует появление в творчестве Чехова героев нового типа, переоценивающих привычные ценности, утверждающих новый взгляд на жизнь. У Чехова никогда не было героев — рупоров авторских идей. Он всегда был рядом со своими героями и, что самое важное,— выше их, даже наиболее близких ему. И все же эти герои высказывали немало мыслей, совпадавших с убеждениями писателя. В этом случае у него была еще одна забота — так выстроить рассказ, избрать такую форму повествования, которая помогала бы читателю безошибочно улавливать эти мысли.

Новые герои вносили в чеховские произведения и элементы новой стилистики. В рамках сдержанного авторского повествования звучат теперь страстные обличительные монологи персонажей, а порой даже их своеобразные лозунги и призывы.

Так выявляется еще одна характернейшая черта сложившейся художественной системы Чехова. Как ни трудно было писателю совмещать «художество с проповедью», он научился этому. Видимое невмешательство, подчеркнутая сдержанность авторского повествования не мешали Чехову страстно утверждать свои идеалы, свои взгляды на жизнь, на ее прошлое, настоящее и будущее.

Великие художественные открытия Чехова, как мы видели, неотделимы от его времени. Сила Чехова определяется тем, что он уловил все обострявшийся протест простых русских людей против социальной действительности царской России. Мало того, сумел увидеть и показать его глубокую сущность — непримиримый конфликт человека с основами всего строя буржуазных отношений. Этим и определяется прежде всего всемирно-историческое значение его творчества.

Однако критика социальных, политических и нравственных основ господствующего строя неотделима у писателя от утверждения веры в человека, веры в законы «высшей разумной действительности», в грядущую победу идеалов социальной справедливости.

В начале девяностых годов в одном из своих писем Чехов рассказал, что именно, по его мнению, определяет непреходящее значение творчества великих писателей. «Вспомните,— говорил он,— что писатели, которых мы называем вечными... имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то

идут и Вас зовут туда же... Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас».

Эти строки Антон Павлович писал, думая о тех великих писателях, творения которых казались ему самому недосягаемым идеалом. Невозможно, однако, лучше сказать о самом Чехове, о непреходящем значении его художественного наследия.

М. Горький отметил эту особенность чеховского творчества еще при жизни писателя. По его мнению, сила Чехова определяется тем, что он «овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее», умел освещать ее «с высшей точки зрения». В чем состояла эта точка зрения? Чехов мечтал о такой новой жизни, которая принесет полное социальное и духовное раскрепощение человека, о том времени, когда в человеке все будет прекрасно,— «и лицо, и одежда, и душа, и мысли», когда на просторе он сможет проявить «все свойства и особенности своего свободного духа».

Все это и делает Чехова нашим современником и соратником в борьбе за высокие идеалы коммунистического общества.

Но популярность Чехова растет не только в нашей стране. И чем глубже будут осознавать народы неизлечимые пороки буржуазного строя, чем шире будет развиваться всемирная борьба за преобразование общества на новых началах, тем ближе, понятнее и дороже будет творчество Чехова людям всех континентов.

Г. БЕРДНИКОВ

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков.— Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел

к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах,— подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала.— И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись,— сказала она.— Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство,— начал докладывать экзекутор,— я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея.— Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков, шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не парочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков.— Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так,

«Дочь Альбиона»

не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство,— забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза,— не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затряслийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

1883

ДОЧЬ АЛЬБИОНА

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.

— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул... Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов.— Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А... это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды.— Приехал?

— Как видишь... А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

— Кой черт... Весь день ловлю, с утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!

— Постой... Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше... Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью... с чертовкой с этой...

— Но... ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку.— Бранишься при даме... и ее же...

— Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов.— Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они... черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

— Ну, перестань... Неловко... Что напал на женщину?

— Она не женщина, а девица... О женихах небось, мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью... Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит... Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова под-

няла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

— Видал? — спросил Грябов, хохоча.— Нате, мол, вам! Ах ты кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил... Нос точно у ястреба... А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой... У меня, кажется, клюет...

Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась... Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

— Зацепилась! — сказал он и поморщился.— За камень, должно быть... Черт возьми...

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

— Экая жалость! В воду лезть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя... Под вечер хорошо ловится... Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

— Мисс... эээ...— обратился он к англичанке.— Мисс Тфайс! Же ву при...[1] Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышишь!

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там... Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

— Первый раз в жизни ее голос слышу... Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

— Плюнь! Пойдем водки выпьем!

— Нельзя, теперь ловиться должно... Вечер... Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться...

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

---

[1] Прошу вас... (от *франц.* je vous pris)

— Послушай, Иван Кузьмич,— сказал предводитель, хохоча в кулак.— Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

— Ее никто не просит не понимать. Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами... По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.

— Надо остынуть,— сказал Грябов, хлопая себя по бедрам.— Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь.— Брр... холодная вода... Посмотри, как бровями двигает! Не уходит... Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

— Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

1883

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной

кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

1883

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— Ааа... мое вам! — зевает фельдшер.— С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать —

не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что́ вырвать, а что́ каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки...— скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах.— Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире...— говорит он, подходя с щипцами к дьячку.— Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его

выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом.— Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер.— Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой...— бормочет фельдшер.— Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Паршивый черт...— выговаривает он.— Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут...— бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы.— Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

1884

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов.— Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!..— говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу.— Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю...— начинает Хрюкин, кашляя в кулак.— Насчет дров с Митрий Митричем,— и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо...— говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями.— Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание

на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин,— обращается надзиратель к городовому,— узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину.— Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандарах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская...— глубокомысленно замечает городовой.— У генерала таких нет. У него всё больше лягавые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держат?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская...— думает вслух городовой.— На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить.

Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего,— говорит Очумелов.— Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

— Это не наша,— продолжает Прохор.— Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления.— Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

1884

НАЛИМ

Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег... Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде...

— Да что ты все рукой тычешь? — кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке.— Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

— Не уйдет... Куда ему уйтить? Он под корягу забился...— говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота.— Скользкий, шут, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабров-то... Постой, ухватил за что-то... За губу ухватил... Кусается, шут!

— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

— «Хватай»...— дразнит Герасим.— Командер какой нашелся... Шел бы да и хватал бы сам, горбатый черт... Чего стоишь?

— Ухватил бы я, коли б можно было... Нешто при моей низкой комплекцыи можно под берегом стоять? Там глыбоко!

— Ничего, что глыбоко... Ты вплавь...

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри.

— Говорил же, что глыбоко! — говорит он, сердито вращая белками.— На шею тебе сяду, что ли?

— А ты на корягу стань... Коряг много, словно лестница...

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее... Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака...

— Тебя еще тут, черта, не видали! — говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

— Во-от он!..— улыбается Любим.— Зда-аровый, шут... Оттопырь-ка пальцы, я его сичас... за зебры... Постой, не толкай локтем... я его сичас... сичас, дай только взяться... Далече, шут, под корягу забился, не за что и ухватиться.... Не доберешься до головы... Пузо одно только и слыхать... Убей мне на шее комара — жжет! Я сичас... под зебры его... Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются и он, потеряв равновесие,— бултых в воду! Словно испуганные, бегут от берега

волнистые круги, и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки.

— Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется!..— хрипит Герасим.— Вылазь, ну тя к лешему! Я сам вытащу!

Начинается ругань... А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки... Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком — рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправе колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича... По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его из-под низу! — слышит он голос Любима.— Просунь палец! Да ты глухой, че-ерт, что ли? Тьфу!

— Кого это вы, братцы? — кричит Ефим.

— Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду... Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

— Постой, ребятушки! — кричит он.— Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!..

Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте... Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

— Где пастух? — слышится с берега крик.— Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где ж он, старый разбойник?

Слышатся мужские голоса, затем женский... Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке... Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне...

— Что здесь? Кто орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрые головы рыболовов.— Что вы здесь копошитесь?

— Ры... рыбку ловим...— лепечет Ефим, не поднимая головы.

— А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

— Бу... будет готова...— кряхтит Герасим.— Лето велико, успеешь еще, вашескородие, помыться... Пфррр... Никак вот тут с налимом не управимся... Забрался под корягу и словно в норе: ни туда ни сюда...

— Налим? — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком.— Так тащите его скорей!

— Ужо дашь полтинничек... Удружим ежели... Здоровенный налим, что твоя купчиха... Сто́ит, вашескородие, полтинник... за труды... Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек... как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте ногами!

Проходит пять минут, десять... Барину становится невтерпеж.

— Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе.— Васька! Позовите ко мне Василия!

Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

— Полезай в воду,— приказывает ему барин,— помоги им вытащить налима... Налима не вытащат!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

— Я сичас...— бормочет он.— Где налим? Я сичас... Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться! Который тут налим? Я его сичас... Вот он! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаем: пустите руки! А ты вытащи!

— Да нешто его так вытащишь? Надо за голову!

— А голова под корягой! Знамо дело, дурак!

— Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

— При господине барине и такие слова...— лепечет Ефим.— Не вытащите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!

— Погодите, я сейчас...— говорит барин и начинает торопливо раздеваться.— Четыре вас дурака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему.

— Подрубить корягу надо! — решает наконец Любим.— Герасим, сходи за топором! Топор подайте!

— Пальцев-то себе не отрубите! — говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу.— Ефим, пошел вон отсюда! Постойте, я налима вытащу... Вы не тово...

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму под жабры.

— Тащу, братцы! Не толпитесь... стойте... тащу!

На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное, аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться.

— Шалишь... Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании.

— Знатный налим! — лепечет Ефим, почесывая под ключицами.— Чай, фунтов десять будет...

— Нда...— соглашается барин.— Печенка-то так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А... ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск... Все растопыривают руки, но уже поздно; налим — поминай как звали.

1885

ЕГЕРЬ

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

По краю сечи, лениво, вразвалку, плетется высокий, узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи... Он красен и вспотел. На его красивой, белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым жокейским козырьком, очевидно, подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двухстволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука... Все живое попряталось от зноя.

— Егор Власыч! — слышит вдруг охотник тихий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати,

с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

— А, это ты, Пелагея! — говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки.— Гм!.. Как же это ты сюда попала?

— Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими... В работницах, Егор Власыч.

— Тэк...— мычит Егор Власыч и медленно идет дальше.

Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

— Давно уж я вас не видала, Егор Власыч...— говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника.— Как заходили вы на святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали... На святой на минутку зашли, да и то бог знает как... в пьяном виде... Побранили, побили и ушли... Уж я ждала, ждала... глаза все проглядела, вас поджидаючи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

— Что ж мне у тебя делать-то?

— Оно, конечно, делать нечего, да так... все-таки ж хозяйство... Поглядеть, как и что... Вы хозяин... Ишь ты, тетерьку подстрелили, Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули...

Говоря все это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора... От лица ее так и дышит счастьем...

— Посидеть? Пожалуй...— говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя растущими елками.— Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

— Хоть бы разочек зашли,— говорит тихо Пелагея.

— Зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб.— Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне — душа не терпит... Сама знаешь, человек я балованный... Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные... чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть... Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

— Таперя вы где живете?

— У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так... из-за удовольствия меня держит.

— Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы и ремесло... занятие настоящее...

— Не понимаешь ты, глупая,— говорит Егор, мечтательно глядя на небо.— Ты отродясь не понимала, и век тебе не понять, что я за человек... По-твоему, я шальной, заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части... А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я, окромя ружья и собак, никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадники, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

— Я понимаю, Егор Власыч.

— Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься...

— Я... я не плачу...— говорит Пелагея, отворачиваясь.— Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас ни разу любови не было!.. Я... я не плачу...

— Любови...— бормочет Егор, почесывая руку.— Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, непонимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь... Где же тут пара?

— Да ведь венчаны, Егор Власыч! — всхлипывает Пелагея.

— Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил... Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйтить, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь... бейся об стену...

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они,

превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

— Чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

— Тэк...

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь...

— Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили,— говорит Пелагея.

Егор молчит.

— Стало быть, она вам по-сердцу...

— Счастье уж твое такое, судьба! — говорит охотник, потягиваясь.— Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтался... К вечеру мне в Болтово поспеть нужно...

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

— А когда же в деревню придете? — спрашивает она тихо.

— Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный... Прощай!

— Прощайте, Егор Власыч...

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед... Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской... Взгляд ее бегает по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его... Он словно чувствует этот взгляд, останавливается и оглядывается... Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами.

— На тебе! — говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.

— Прощайте, Егор Власыч! — говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге... Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги невидимы, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но... вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу, и картузик исчезает в зелени.

— Прощайте, Егор Власыч! — шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидать белый картузик.

1885

ЗЛОУМЫШЛЕННИК

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь.— Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы,— хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

— Кто это — мы?

— Мы, народ... Климовские мужики то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру...— бормочет Денис, мигая глазами.— Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру...— усмехается Денис.— Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжелая и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов,— говорит следователь.— Теперь понятно, почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым... Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

— Послушай... Тысяча восемьдесят первая статья Уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится... Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина непременного члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

— Молчи!

— Я и так молчу...— бормочет Денис.— А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

— Ты мне мешаешь... Эй, Семен! — кричит следователь.— Увести его!

— Нас три брата,— бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры.— Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

1885

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста,— разве это ваше дело народ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры.— Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста.— Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой,

везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание,— говорит мировой,— а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаю-с! — хрипит унтер.— Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной капитенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» — Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу».— Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное,— нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Ми-

ровому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что́ ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер»,— и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну, да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело... ежели беспорядок...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно́-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова вдова живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками.— По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

1885

ТОСКА

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона.— Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный.— Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы.— Куда черти несут? Пррава держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный.— Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках.— Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай...— говорит седок.— Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не

расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач.— Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы.— Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

— Гы-ы... гы-ы...— хохочет Иона.— Какая есть...

— Ну, ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит...— говорит один из длинных.— Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный.— Врет, как скотина.

— Накажи меня бог, правда...

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона.— Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!..— возмущается горбач.— Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

— Все помрем...— вздыхает горбач, вытирая после кашля

губы.— Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри... в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы...— смеется он.— Веселые господа... дай бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невмоготу.

«Ко двору,— думает он.— Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил,— думает он.— Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что́ говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть,— думает Иона.— Спать всегда успеешь... Небось выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза.— Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей все...

1886

ВАНЬКА

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек

с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он.— И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на яркокрасные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается

так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть,— продолжал он,— богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем

вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка,— продолжал Ванька,— Христом-богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

1886

«Хирургия»

СТЕПЬ

История одной поездки

I

Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку,— и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иваныч Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой — отец Христофор Сирийский, настоятель N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок, в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили... Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир — мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздува-

лась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской божией матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит...

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал...

— Ну, не отревелся еще, рёва! — сказал Кузьмичов.— Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

— Ничего, ничего, брат Егор, ничего...— забормотал скороговоркой о. Христофор.— Ничего, брат... Призывай бога... Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье — тьма... Истинно так.

— Хочешь вернуться? — спросил Кузьмичов.

— Хо... хочу...— ответил Егорушка, всхлипывая.

— И вернулся бы. Все равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

— Ничего, ничего, брат...— продолжал о. Христофор.— Бога призывай... Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу... Так-то.

— Польза разная бывает...— сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару.— Иной двадцать лет обучается, а никакого толку.

— Это бывает.

— Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра — женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

— А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — все, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и

обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски...

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что́ ему нужно. А вдали машет крыльями мельница...

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и — опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи...

Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изможденная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

— На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска.— Ишь рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится... А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один...

За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят... Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «Вжжи, вжжи!» По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.

Отец Христофор и Кузьмичов молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал: «Пора бы отдохнуть!» С лица дяди мало-помалу сошло благодушие, и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары...

— А что, Дениска, догоним нынче обозы? — спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

— К ночи, бог даст, догоним.

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев.

Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

— Стой! — закричал Кузьмичов.— Держи! Тпрр...

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

— Поди сюда! — крикнул Кузьмичов чебану.— Уйми собак, будь они прокляты!

Старик чебан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке — совсем ветхозаветная фигура — унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

— Чья это отара? — спросил Кузьмичов.

— Варламовская! — громко ответил старик.

— Варламовская! — повторил чебан, стоявший на другом краю отары.

— Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?

— Никак нет... Приказчик ихний проезжали, это точно...

— Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз.

— Славный ветряк поставил сыну Болтва! — заметил Дениска.

— А что-то хутора его не видать.

— Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!

II

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу; но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

— Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста бог вложил в меня смысл и понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Puer bone, quam appellaris?»[1] А я отвечаю: «Christophorus sum»[2]. А он: «Ergo connominati summus», то есть мы, значит, тезки... Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи

---

[1] Милый мальчик, как тебя зовут? *(лат.)*
[2] Христофор *(лат.)*.

и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диснут, тоже не мало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и полатынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты,— говорил отец,— весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы!

— Должно быть, вы уж все науки забыли! — заметил Кузьмичов.

— Как не забыть? Слава богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

— Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению.

Он покрутил головой и засмеялся от умиления.

— Духовная пища! — сказал он.— Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!

— Науки науками,— вздохнул Кузьмичов,— а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

— Человек — не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.

— Дениска, где ты там! Поди ешь! — сказал Кузьмичов, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков» (выбрать помельче и посвежее он посовестился), взял два печеных яйца,

черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

— Бери, бери! — поторопил его Кузьмичов.

Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску.

Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

— Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и куртузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

— Поглядывай, чтоб кто коней не увел! — сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь, после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади... Как же убить это длин-

ное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная... Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов... Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя... И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичову.

В то время как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее... Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от

нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил:

— Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

— Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.

Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову... Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет... Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше... Она

потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убегавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза...

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил:

— Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

— Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

— Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

— А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! — сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около двадцати лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, искренний пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку гла-

зами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

— Есть! — прохрипел он торжествующе и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало, челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове.

— Отец Христофор, вставайте, пора! — заговорил он встревоженно. — Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!

Отец Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.

— Отец Христофор! — сказал укоризненно Кузьмичов. — Пора ехать, уж лошади готовы, а вы, ей-богу...

— Сейчас, сейчас... — забормотал о. Христофор. — Кафизмы почитать надо... Не читал еще нынче.

— Можно и после с кафизмами.

— Иван Иваныч, на каждый день у меня положение... Нельзя.

— Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофор после каждой «славы» втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

— Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

— Finis! [1]

---

[1] Кончил! *(лат.)*

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью — я, мол, готово — и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков... Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание...

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу...

Затем скоро наступил вечер.

III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса — один мужской, другой женский,— завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

— Ах, боже мой, боже мой! — заговорил он тонким, певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички.— И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на

одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу... милости просим! Давайте мне все ваши вещи... Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

— Соломон! Соломон!

— Соломон, Соломон! — повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких, кудрявых волос; одет он был в короткий, очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

— Иван Иваныч и отец Христофор приехали! — сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит.— Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком все тот же силач), и, казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны,— понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела

от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать — все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

— Когда проехали тут наши подводы? — спросил его Кузьмичов.

— Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

— А... Проезжал тут Варламов или нет?

— Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

— Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

— Да бог с вами, Иван Иваныч! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками.— Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

— Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

— Четверть часика! — взвизгнул Мойсей Мойсеич.— Да побойтесь вы бога, Иван Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

— Некогда нам с чаями да с сахара́ми,— сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

— Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч?

— Что ж, чайку можно попить,— сочувственно вздохнул о. Христофор.— Это не задержит.

— Ну, ладно! — согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

— Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмеш-

ливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые, выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

— Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, ощипанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

— Приятного аппетиту! Чай да сахар! — начал он занимать гостей.— Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

— Это сынок сестры Ольги Ивановны,— ответил Кузьмичов.

— А куда же он едет?

— Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

— О, это хорошо! — сказал он, грозя самовару пальцем.— Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

— Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

— Да, вздумал вот на старости лет...— сказал о. Христофор и засмеялся.— Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице... Суета!

— Зато грошей будет много!

— Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

— Отчего же он сам не поехал?

— А оттого... Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать — ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и — «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

— Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! — вздохнул Мойсей Мойсеич.— У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в Священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

— М-да...— согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан.— Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому... Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было, и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть и все слава богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

— Стало быть, верно.

— Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се... одышка и всякое там... Болею, плоть немощна, ну, да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

— Потеха! — сказал о. Христофор и махнул рукой.— Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах... Хорошо-с... Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се... Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки... живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

Отец Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

— А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками.— Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

— Бог с ним, с этим сжатым воздухом! — повторил о. Христофор, хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

— О боже мой...— стонал он среди смеха.— Дайте вздохнуть... Так насмешили, что... ох!..— смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

— Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем,— сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

— В рублевых пачках по скольку? — начал о. Христофор.

— По пятьдесят... В трехрублевых по девяносто... Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

— Ах, деньги, деньги! — вздыхал о. Христофор, улыбаясь.— Горе с вами! Теперь мой Михайло небось спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

— Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий,— говорил вполголоса Кузьмичов,— не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения...

— Нет, Иван Иванович,— вздыхал о. Христофор.— Благодарим вас за внимание... Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой...

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

— А пойдем-ка, паничок,— сказал он вполголоса,— какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою

постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

— Кушай, детка, кушай! — сказала она.— Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

— Ты куда едешь, детка? — спросила еврейка.

— Учиться,— ответил Егорушка.

— А сколько вас у маменьке?

— Я один. Больше нету никого.

— А-ох! — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза.— Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

— Ах, Наум, Наум! — вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа.— А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту...». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.

— Гал-гал-гал-гал...— говорил Мойсей Мойсеич.

— Ту-ту-ту-ту...— отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.

— Возьми, детка,— сказала она, подавая Егорушке пряник.— У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

Отец Христофор беседовал с Соломоном.

— Ну что, Соломон премудрый? — спрашивал он, зевая и крестя рот.— Как дела?

— Это вы про какие дела говорите? — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

— Вообще... Что поделываешь?

— Что я поделываю?— переспросил Соломон и пожал плечами.— То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаку, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами.

Отец Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым,— ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников.— Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон, голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

— Постой...— перебил его о. Христофор.— Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

— Вы ничего не понимаете! — грубо оборвал его Соломон.— Я вам говорю одно, а вы другое...

— Вот и видно сейчас, что ты глупый человек,— вздохнул о. Христофор.— Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебя по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право...

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекла всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этою тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, вероятно, на нечистого духа.

— Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, бог с ним! — сказал с улыбкой о. Христофор.— Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли... На человека не похож...

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

— Соломон, выйди отсюда! — строго сказал он.— Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

— А что такое? — испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

— Забывается,— ответил Кузьмичов.— Грубитель и много о себе понимает.

— Так и знал! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками.— Ах, боже мой! Боже мой! — забормотал он вполголоса.— Уж вы будьте добрые, извините и не серчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но, кроме горя, я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

— Не в своем уме... пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене... А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич все еще бормотал вполголоса и вздыхал:

— Ночью он не спит и все думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит... И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза... Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон как ни в чем не бывало стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

— Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! — стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться.— Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

— Проезжал здесь сегодня Варламов? — спросил женский голос.

— Нет, ваше сиятельство! — ответил Мойсей Мойсеич.

— Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

— Какой хорошенький мальчик! — сказала дама.— Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый...

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

— Егорушка! Егорушка! — раздался густой шепот двух голосов.— Вставай, ехать!

Кто-то, кажется Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

— Тпрр! — донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

— Графиня Драницкая,— прошептал о. Христофор, полезая в бричку.

— Да, графиня Драницкая,— повторил Кузьмичов тоже шепотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек.

IV

Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много

овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное (например, зимою, на рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь...

«А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:

— Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

— От ляха иного и ждать нельзя,— сказал о. Христофор.

— А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами — стоит только хорошенько встряхнуть головой — исчезают бесследно; да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не

видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты — все мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы... Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладкоприторен и нежен.

Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках... Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и темной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой... Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

— Тпрр! Здорово, Пантелей! Все благополучно?

— Слава богу, Иван Иваныч!

— Не видали, ребята, Варламова?

— Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади — маленькими и коротконогими.

— Так мы, значит, теперь к молокану поедем! — громко говорил Кузьмичов.— Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С богом!

— Прощайте, Иван Иваныч! — ответило несколько голосов.

— Вот что, ребята,— живо сказал Кузьмичов,— вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк, и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

— Эй, возьми свою пальтишку! — крикнул где-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

«Спать, спать, спать...» — думал он.

— Вы же, черти, его не забижайте! — послышался снизу голос Дениски.

— Прощайте, братцы! С богом! — крикнул Кузьмичов.— Я на вас надеюсь!

— Будьте покойны, Иван Иваныч!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

— Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий... Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели...

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее... Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили — это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой, прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака

пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати, и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз небось приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:

— А, проснулся, молодчик! Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься?

— Нет, племянник...

— Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее... Слободнее, молодчик... То есть без сапогов-то... Значит, племянник? А он хороший человек, ничего... Дай бог здоровья... Ничего... Я про Ивана Иваныча-то... К молокану поехал... О господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой

и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правою помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

— Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами.

— Учиться,— ответил Егорушка.

— Учиться? Ага... Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это верно... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А помрем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

— Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший... Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье... В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету... А город ничего, хороший... Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких нету... Нету, это верно. Тебя как звать?

— Егорушка.

— Стало быть, Егорий... Святого великомученика Егоргия Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мое святое имя

ДРОВА
ДИЧУГИНА

«Хамелеон»

Пантелей... Пантелей Захаров Холодов... Мы Холодовы будем... Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик... Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда... домой то есть. И в деревне был и в городе... В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю... Может, кто и помер... А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре-великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно... Потому ей бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

— Да, повез парнишку... Повез, это верно...

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым, кашляющим смехом и закричал:

— Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

— Это не змея, а уж,— крикнул кто-то.

Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро

зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

— Каторжный! — закричал он глухим, плачущим голосом.— За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь ужика убил! А ежели бы тебя так?

— Ужа нельзя убивать, это верно...—покойно забормотал Пантелей.— Нельзя... Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная... Человека любит... Уж-то...

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

— Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

— Дед, ну за что убил? — повторил он, шагая рядом с Пантелеем.

— Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил,— ответил старик.— А ужа бить нельзя... Это верно... Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он — ха-ха-ха да хо-хо-хо... А ты, Вася, не серчай... Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними... Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума... Ничего... Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо... Никогда, это верно... Потому человек образованный, а они глупые... Емельян-то... Он не тронет.

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.

— О чем разговор? — спросил он сиплым, придушенным голосом.

— Да вот Вася серчает,— сказал Пантелей.— Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит... Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка господня!

— Это от ходьбы,— заметил Вася.

— Не, паря, не... Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь — смерть моя. Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.

— Нету у меня голосу! — сказал он.— Чистая напасть!

Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке... так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

— Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу все равно, что работнику без руки.

— Это верно,— согласился Пантелей.

— Об себе я так понимаю, что я пропащий человек, и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

— И паничек с нами едет! — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись.— Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями и, если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом повернулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти.

И, как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

— Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки... А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

— Дед, зачем ты пьешь из лампадки? — удивился Егорушка.

— Кто пьет из ведра, а кто из лампадки,— ответил уклончиво старик.— Каждый по-своему... Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье...

— Голубушка моя, матушка-красавица,— заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом.— Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

— Кому это ты? — спросил Кирюха.

— Лисичка-матушка... легла на спину и играет, словно собачка...

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Не мудрено увидеть убегающего зайца или

летящую дрохву — это видел всякий проезжавший степью, но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

V

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навыпуск, болтавшихся при ходьбе, как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

— Ге-ге-ге! — кричал он.— Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская

пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую — как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск — то Степка и Кирюха «драли» раков.

— Рак! Гляди, братцы: рак! — закричал торжествующе Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

— Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

— Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов как ни в чем не бывало уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:

— Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!!

— А что ж? — согласился Кирюха.— Должно, тут много рыбы...

— Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!

— Не дадут!

— Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо Христа ради, потому мы все равно — странники.

— Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть.

Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбранить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

— А ты отчего не купаешься? — спросил Егорушка у Васи.

— А так... Не люблю...— ответил Вася.

— Отчего это у тебя подбородок распух?

— Болит... Я, паничек, на спичечной фабрике работал... Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.

— Глыбоко,— хрипел Кирюха.— Ничего не поймаешь!

— Не дергай, черт! — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение.— Держи руками!

— Тут вы не поймаете! — кричал им с берега Пантелей.— Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельчее!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

— Эх! — крякнул Пантелей и притопнул ногами.— Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем — не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа

ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

— Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали...

— Что там? — кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

— Уже полное! — кричал он, тяжело дыша.— Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

— Братцы,— удивился Степка,— Васька пескаря живьем ест! Тьфу!

— Это не пескарь, а бобырик,— покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пескаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем

месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

— А я здесь! — сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

— Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчовую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю...» Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

— Раздавали уж просфору? — спросил он.

— Нету, нету...— угрюмо забормотал сторож.— Нечего тут...

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он не мало деревень, площадей и мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели

на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что весь он был покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великоросс. Он пил чай вприкуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»

— Дай мне на копейку подсолнухов! — обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:

— Почем эти пряники?

— Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

— А такие пряники у тебя почем?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

— Такие? — спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

— Три копейки пара...

Наступило молчание.

— Вы чьи? — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

— Племянник Ивана Иваныча.

— Иваны Иванычи разные бывают,— вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: — Чайку не желаете ли?

— Пожалуй...— согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к

двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

— Хиба це овес? — сказал печально покупатель.— Це не овес, а полова, курам на смих... Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем...» Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду.

— Класть сала? — спросил Степка, снимая ложкой пену.

— Зачем? Рыба свой сок пустит,— ответил Кирюха.

Перед тем как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул — это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

— Вы! Дайте парнишке ложку! — строго заметил Пантелей.— Чай, небось тоже есть хочет!

— Наша еда мужицкая!..— вздохнул Кирюха.

— И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

— Дед, а ты чего не ешь? — спросил его Емельян.

— Не ем я раков... Ну их! — сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили

с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля, работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

— Ты, нехристь, сними шапку! — сказал он грубо.— Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелись к возам и повалились в тень.

— Дед, скоро мы поедем? — спросил Егорушка у Пантелея.

— Когда бог даст, тогда и поедем... Сейчас не поедешь, жарко... Ох, господи, твоя воля, владычица... Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.

VI

Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по

бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе... Видел Егорушка, как малопомалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку... Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет...

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям.

— Ничего... хорошие господа...— бормотал он.— Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слыхать про то... В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить... Нету, это верно... А парнишка хороший, ничего... Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено... Чти отца твоего и матерь твою... У меня у самого были

детки, да погорели... И жена сгорела и детки... Это верно, под крещенье ночью загорелась изба... Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками... Да... На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначались возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый, покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла, и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало... Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое... Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней... И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою...

— Дед, зачем это крест стоит? — спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

— Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

— Оно самое...

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от креста.

— Да, убили...— сказал нехотя Дымов.— Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай бог... Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.

— О господи... владычица! — вздохнул Пантелей.

— На другой день, чуть свет,— продолжал Дымов,— купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое...» Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку...

Дымов стал на колени и потянулся.

— Да,— продолжал он, зевая.— Все ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить... Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончили свое дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть... Цел ли — не знаю... Отсюда не видать.

— Цел,— сказал Кирюха.

— Сказывают, денег потом нашли мало.

— Мало,— подтвердил Пантелей.— Рублей сто нашли.

— Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал... Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели — в нем души нет, помер...

— По кровяному следу его нашли...— сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из балочки, донесся грустный крик птицы: «Сплю! сплю! сплю!..»

— Злых людей много на свете,— сказал Емельян.

— Много, много! — подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко.— Много,— продолжал он вполголоса.— Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо... Злых-то людей... Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть... Спаси и помилуй, царица небесная... Помню, раз, годов тридцать назад, а может, и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах... купец-то... Хороший человек, ничего... Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко, вот как до возов примерно, и вижу — огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и, акромя меня с купцом, других постояльцев не было... Откуда огню быть? Взяло меня сумнение... Подошел я поближе... к огню-то... Господи, помилуй и спаси, царица небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой... в доме-то... Лег я на землю и поглядел; как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз...

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал:

— Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный... На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат... Эгэ! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам... Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо... Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много... Насчет души, говорит, моей волен господь бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить...» Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти... Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. «Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись богу. Может, господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что...» Ладно... Помолился я богу, и наставил меня бог на ум... Взлез я на свой тарантас и тихонько... тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез

наружу. Наружу-то... Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти... Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше... Благодарить бога, вижу — стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. «Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить...» Побудил всех... Собрались мужики и пошли со мной... Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами... Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал... А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человечьих нашли видимо-невидимо. Костей-то... Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было... Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

— Сало-то готово? — спросил его шепотом Кирюха.

— Погоди маленько... Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам; скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

— Ехал я в другой раз тоже с купцом...— продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами.— Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек... купец-то... Остановились мы таким же манером на постоялом дворе... Он в комнатке, я при лошадях... Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чует мое сердце! Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу — стоит баба в одной рубахе, босая... «Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нет... «Вставай, говорит, добрый человек! Беда... Хозяева лихо задумали... Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались...» Ну, недаром сердце болело! «Кто же ты сама?» — спрашиваю. «А я, говорит, ихняя стряпуха...» Ладно... Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто... Ус-

пеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобру-здорову подальше от греха...» Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте... гляжу — мать-царица! — входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника... Значит, и работников подговорили... Денег у купца много, так вот, мол, поделим... У всех у пятерых в руках по ножику длинному... По ножику-то... Запер хозяин на замок двери и говорит: «Молитесь, проезжие, богу... А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью...» Где уж тут кричать? У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут... Купец заплакал и говорит: «Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много уж нашего брата купца на постоялых дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит! А хозяин ему: «Ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ... Молитесь богу, вот и все тут, а разговаривать нечего!» Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел... Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет... А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а бог-то нас и услышал. Сжалился, значит... В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились... Постучал кто-то по окошку да как закричит: «Петр Григорьич, кричит, ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяева, что за купцом приехали, испужались и давай бог ноги... А мы скорей на двор, запрягли и — только нас и видели...

— Кто же это в окошко стучал? — спросил Дымов.

— В окошко-то? Должно, угодник божий или ангел. Потому акромя некому... Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было... Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль «длинные ножики» и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть, но странно одно, что теперь и

во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра,— все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

— Зачем это дед особо сидит?

— Он старой веры,— ответили шепотом Степка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.

— Что такое? — спросил его Дымов.

— Человек какой-то идет,— ответил Вася.

— Где ты его видишь?

— Во-он он! Чуть-чуть белеется...

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

— По шляху он идет? — спросил Дымов.

— Не, полем... Сюда идет.

Прошла минута в молчании.

— А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен,— сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

— Зачем ему гулять? — сказал Пантелей.— Это только те

по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего... Купцы мученический венец приняли...

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

— Что-то несет,— сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул или оттого, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

— Хлеб да соль, братцы!

— Милости просим! — отвечал за всех Пантелей.

Незнакомец положил около костра то, что держал в руках — это была убитая дрохва,— и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

— Важная птица! Чем это ты ее? — спросил Дымов.

— Картечью... Дробью не достанешь, не подпустит... Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

— А на что она нам? Она жареная годится, а вареная небось жесткая — не укусишь...

— Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снесть, те бы полтинник дали, да далече — пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

— Ты кто сам? — спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

— Я тебя спрашиваю: ты кто? — повторил Дымов.

— Я-то? — встрепенулся неизвестный.— Константин Звоник, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

— Мы пасеку держим и свиней кормим.

— При отце живешь али сам?

— Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, как обзаконился.

— Хорошее дело! — сказал Пантелей.— Жена ничего... Это бог благословил...

— Молодая баба дома спит, а он по степу шатается,— засмеялся Кирюха.— Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул...

— Да господи, нету ее дома! — сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно.— Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый...

Константин махнул рукой и покрутил головою; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

— Поехала в Демидово к матери! — сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье.— Завтра вернется... Сказала, что к обеду назад будет.

— А тебе скучно? — спросил Дымов.

— Да господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала... А? У, да бедовая, накажи меня бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.

— Любишь, значит...— сказал Пантелей.

— Там такая хорошая да славная,— повторил Константин, не слушая,— такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала... А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется... А ведь какая история!— почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу,— теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

— Да ты ешь! — сказал Кирюха.

— Не хотела за меня выходить! — продолжал Константин, не слушая.— Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай... Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хóчу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда — не хóчу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень, борода окладистая — гвоздем, лицо чистое — все в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только, что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел... Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове... И что ж вы думаете? Накажи меня бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики... Значит, не судьба! На святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть...

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

— Гляжу, она с парубкáми около речки,— продолжал он.— Взяло меня зло... Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова... Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!..

— А какие слова? — спросил Дымов.

— Слова? И не помню... Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из желоба, без передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного слова не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять

сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он наконец уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра и, по походке, по движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, а красное пятно сузилось, потускнело... И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался другой крест...

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли... Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

— Братцы,— сказал он умоляюще.— Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

— Братцы! — повторил он, прижимая руку к сердцу.— Давайте споем что-нибудь божественное!

— Я не умею,— сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание...

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему

казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать...

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек — тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

— «Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!» — запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость.

— Время ехать! — сказал Пантелей.— Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.

— Прощайте, братцы! — крикнул он, когда обоз тронулся.— Спасибо вам за хлеб, за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

— Дед, какая это деревня? — спросил Егорушка.

— Это, молодчик, армянские хутора,— отвечал Пантелей.— Тут армяшки живут. Народ ничего... армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

— Экие дела, подумаешь! — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести.— Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет... Степку послать бы!

— Дед, а кто это? — спросил Егорушка.

— Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова,

которого все ищут, который всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

— Ничего, хороший человек...— говорил Пантелей, глядя на хутора.— Дай бог здоровья, славный господин... Варламов-то, Семен Александрыч... На таких людях, брат, земля держится. Это верно... Петухи еще не поют, а он уж на ногах... Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу... Кружится... Этот уж не упустит дела... Не-ет! Это молодчина...

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— Семен Александрыч,— крикнул Пантелей, снимая шляпу,— дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот наконец от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

— Это, должно, его объездчик,— сказал Пантелей.— У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

— А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

— Пошел вон! — крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловою сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во

всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал, картавя:

— Здгаствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

— Крутой старик...— бормотал Пантелей.— Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек... Не обидит задаром... Ничего...

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

VII

И в следующую за тем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное... Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.

— Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! — сказал он, глядя со злобой на Емельяна.— Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает — барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

— Да ты что пристал? — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

— А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

— Дурак, вот и все,— просипел Емельян.

Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

— Певчий...— не унимался озорник, презрительно усмехаясь.— Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

— Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

— Да что ты ко мне пристал, мазепа? — вспыхнул Емельян.— Я тебя трогаю?

— Как ты меня обозвал? — спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью.— Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

— Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

— На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!

— Тоже, скажи пожалуйста! — усмехнулся Дымов.— Свиненок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

— Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал:

— Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали,— все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его... И только когда он шептал: «Мама! мама!» — ему становилось как будто легче...

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него... Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо:

— Как его звать?

— Егорий...— ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера! — сказал он тихо.— На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

— Ничего, бей! — повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

— Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

— Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля,— сказал он, проходя мимо Емельяна.— Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.

— Егорий, возьми! — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

— Что это? — спросил Егорушка.

— Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

— Дед, гроза будет? — спросил Егорушка.

— Ах, ножки мои больные, стуженые! — говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

— А он обложной! — крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

— Скушно мне! — донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться.— Скушно!

Вдруг рванул ветер, и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

— Пантелле-ей! — крикнул кто-то впереди.— А... а...ва!

— Не слыхать! — ответил громко и нараспев Пантелей.

— А...а...ва! Аря...а!

Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

— Свят, свят, свят, господь Саваоф,— прошептал Егорушка, крестясь,— исполнь небо и земля славы твоея...

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

— Пантелей! — позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот наконец ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях, или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится.

— Свят, свят, свят...— шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно-едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

«Тррах! тах! тах! тах!» — явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым — «трра!..».

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

«Трах! тах! тах!» — понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось — «ррра!».

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

— Пантелей! Дед!

«Трах! тах! тах!» — ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

— Дед, великаны! — крикнул ему Егорушка, плача.

Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда,

высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога...

Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг послышались голоса.

— Егоргий, да ты спишь, что ли? — крикнул внизу Пантелей.— Слезай! Оглох, дурачок!..

— Вот так гроза! — сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала все небо.

— Гроза хорошая, ничего...— бормотал Пантелей.— Слава богу... Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего... Слез, Егоргий? Ну, иди в избу... Ничего...

— Свят, свят, свят...— просипел Емельян.— Беспременно где-нибудь ударило... Вы тутошние? — спросил он великанов.

— Не, из Глинова... Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

— Молотите, что ли?

— Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было...

Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.

— Грозу-то какую бог послал! — говорила она.— А наши в степу ночуют, то-то натерпятся, сердешные! Раздевайся, батюшка, раздевайся...

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем

«Налим»

неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло...

— Чго ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? — сказала старуха.— Иди садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

— Кушай, батюшка! Больше угощать нечем...— сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный, острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов.— Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа, как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

— Наши в степу ночуют...— вздыхала старуха, пока он ел.— Страсти господни... Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай...

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

— Должно, часа два теперь,— сказала она.— Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют... Небось вымокли все...

— Бабушка,— сказал Егорушка,— я спать хочу.

— Ложись, батюшка, ложись...— вздохнула старуха, зевая.— Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал... Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

— Гроза-то не унимается,— бормотала она.— Как бы, не ровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют... Ложись, батюшка, спи... Христос с тобой, внучек... Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

— Парнишка лег? — послышался через минуту шепот Пантелея.

— Лег! — ответила шепотом старуха.— Страсти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать...

— Сейчас пройдет...— прошипел Пантелей, садясь.— Потише стало... Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались... Ребята-то... Нельзя... Уведут лошадей... Вот посижу маленько и пойду на смену... Нельзя, уведут...

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали... Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильней и сильней.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шепот ли стариков или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

— Дед, мне холодно! — сказал он и не узнал своего голоса.

— Спи, внучек, спи...— вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. Отец Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой, и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

— Дед! — позвал он.— Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пряник! Как он, бедный, размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с мамашиными платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал

к нему жалость, вспомнил, что он и пальто — оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на папильотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

— Это варламовские! — крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал: «Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

— Дед, мне холодно! — сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

— Ничего, скоро до места доедем,— зевнул Пантелей.— Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками, или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз — это было уже перед вечером — он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив...

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой.

— Захворал наш парнишка! — сказал он.— Должно, живот застудил... парнишка-то... На чужой стороне... Плохо дело!

VIII

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:

— А мы еще вчера вечером приехали... Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

— Дяденька и отец Христофор теперь в номере,— продолжал Дениска,— чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иваныч и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

— А-а, Егор Никола-аич! — пропел о. Христофор.— Господин Ломоносов!

— А, господа дворяне! — сказал Кузьмичов.— Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

— Ну, как доехал, puer bone?[1] — засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь.— Небось надоело? И не дай бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца-краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть Черепахину и так, как дай бог всякому... Хорошо попользовались.

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о. Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что, собственно, пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

---

[1] милый мальчик *(лат.)*.

— Вот те на! — удивился о. Христофор.— А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

— Вот те на! — повторил о. Христофор, поднимаясь и идя к дивану.— Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

— Я... я болен! — проговорил Егорушка.

— Болен? — смутился о. Христофор.— Вот это уж и не хорошо, брат... Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат... а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

— Да, голова горячая... Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал... Ты бога призывай.

— Хинины ему дать...— сказал смущенно Иван Иваныч.

— Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать... Георгий, хочешь супчику? А?

— Не... не хочу...— ответил Егорушка.

— Тебя знобит, что ли?

— Прежде знобило, а теперь... теперь жар. У меня все тело болит...

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.

— Вот что, ты раздевайся и ложись спать,— сказал о. Христофор,— тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

— Бейте его! Бейте его! — крикнул Егорушка.

— Бредит...— проговорил вполголоса о. Христофор.

— Хлопоты! — вздохнул Иван Иваныч.

— Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иваныч уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михайле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как

надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.

— Эх, кабы знатье, что Черепахин даст такую цену,— говорил он вполголоса,— то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик — понимаю, мол,— вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иваныч постлал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.

— А завтра я в собор думаю...— сказал о. Христофор.— Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да, говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

— Говорят, не принимает,— продолжал о. Христофор, разоблачаясь.— Так и уеду, не повидавшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:

— Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

— Во имя отца и сына и святаго духа...— шептал он.— Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай... Как огонь, горячий! Небось в грозу в дороге были?

— В дороге.

— Еще бы не захворать! Во имя отца и сына и святаго духа... Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, как еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но, когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Иваныча не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачовую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал:

— Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

— Теперь хорошо,— ответил Егорушка, целуя ему руку.

— Слава богу... А я из обедни... Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

— Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил,— сказал о. Христофор.— В будень не из чего бы роскошествовать, да подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая...

Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой.

— Кушай,— сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке.— Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может

про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки... географию, конечно, историю, богословие, философию, математику... А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли...

Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

— Апостол Павел говорит: на учения странна и различна не прилагайтеся. Конечно, если чернокнижие, буесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что бог благословил. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всех языках — и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию — и ты учи, святый Нестор писал историю — и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся...

Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.

— Хорошо! — сказал он.— Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно... Или вот тоже, когда приезжает окружный суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю... И им приятно. Так-то вот, брат... Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится... Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь...

Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом:

— Иван Иваныч будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

— Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иваныч тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людями по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

Отец Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

— Горе! Горе!

Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иваныч. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.

— Ну, со всеми делами справился,— сказал он.— Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

— «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме». Надо будет сейчас пойти поискать ее. Хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иваныч и Егорушка уж выходили из подворья.

— Хлопоты! — бормотал дядя.— Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к богу! Вам ученье да благородство, а мне одна мука с вами...

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

«Прощай, бричка!» — подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь; тут Иван Иваныч справился у городового, где Малая Нижняя улица.

— Эва! — усмехнулся городовой.— Она далече, туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

— Скажите, пожалуйста,— обратился Иван Иваныч к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке,— где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

— Никакой тут Тоскуновой нет,— ответил старик, подумав.— Может, Тимошенко?

— Нет, Тоскунова...

— Извините, Тоскуновой нету...

Иван Иваныч пожал плечами и поплелся дальше.

— Да не ищите! — крикнул ему сзади старик.— Говорю — нету, значит, нету!

— Послушай, тетенька,— обратился Иван Иваныч к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши,— где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

— Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? — спросила она.— Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

— А где она теперь живет? — спросил Иван Иваныч.

— Господи! — удивилась старуха, всплескивая руками.— Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иваныч тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!!» — но тот очень покойно спросил:

— Где ж ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

— Идите все прямо, прямо, прямо... Вот как пройдете красненький домичек, так на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа...

Иван Иваныч и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иваныч отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и торговка:

— Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

— Кого вам? — крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

— Здравствуйте! — тоже крикнул ей Иван Иваныч, отмахиваясь палкой от рыжей собаки.— Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

— Здесь! А на что вам?

Иван Иваныч и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:

— На что она вам?

— Да, может, вы сами Настасья Петровна?

— Ну, я!

— Очень приятно... Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иваныч... Вы ведь наша N-ская... Вы у нас и родились и замуж выходили...

Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Иваныча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

— Ольга Ивановна! — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения.— Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький...

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

— Господи! — сказала она, ломая руки.— Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

— У меня не прибрано! — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками.— Ах, матерь божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иваныч пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она не мигая глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

— Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила:

— Атька...

Это значило: Катька.

— Он у вас будет жить,— шептал в зале Иван Иваныч,— ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий...

— Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иваныч! — плаксиво вздыхала Настасья Петровна.— Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболеет или что...

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иваныч уже стоял со шляпой в руках и прощался.

— Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас,— говорил он.— Прощайте! Оставайся, Егор! — сказал он, обращаясь к племяннику.— Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну... Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные, горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей... В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иваныч и о. Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иваныч, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

— Некогда нам с чаями да с сахарáми! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

— Ну,— начал Иван Иваныч, поднимаясь,— значит, ты остаешься...

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал:

— Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку.

— Во имя отца и сына и святаго духа... Учись,— сказал он.— Трудись, брат... Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек...

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

— Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение,— сказал Иван Иваныч таким голосом, как будто в зале был покойник.— Седьмого августа вы его на экзамен сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь с богом. Прощай, Егор!

— Да вы бы хоть чайку покушали! — простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая — первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него...

Какова-то будет эта жизнь?

1888

ИМЕНИНЫ

I

После именинного обеда, с его восемью блюдами и бесконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звон посуды, бестолковость прислуги, длинные обеденные антракты и

корсет, который она надела, чтобы скрыть от гостей свою беременность, утомили ее до изнеможения. Ей хотелось уйти подальше от дома, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который должен был родиться у нее месяца через два. Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку; тут в густой тени слив и вишен сухие ветки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а в мыслях вырастал образ маленького человечка неопределенного пола, с неясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочет лицо и шею, а этот человечек; когда же в конце тропинки показывался жидкий плетень, а за ним пузатые ульи с черепяными крышками, когда в неподвижном, застоявшемся воздухе начинало пахнуть и сеном и медом и слышалось кроткое жужжанье пчел, маленький человечек совсем овладевал Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечке около шалаша, сплетенного из лозы, и принималась думать.

И на этот раз она дошла до скамеечки, села и стала думать; но в ее воображении вместо маленького человечка вставали большие люди, от которых она только что ушла. Ее сильно беспокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспомнила она, как за обедом ее муж Петр Дмитрич и ее дядя Николай Николаич спорили о суде присяжных, о печати и о женском образовании; муж, по обыкновению, спорил для того, чтобы щегольнуть перед гостями своим консерватизмом, а главное — чтобы не соглашаться с дядей, которого он не любил; дядя же противоречил ему и придирался к каждому его слову для того, чтобы показать обедающим, что он, дядя, несмотря на свои пятьдесят девять лет, сохранил еще в себе юношескую свежесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы,— не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Гостей утомил этот спор, но все они нашли нужным вмешаться и говорили много, хотя всем им не было никакого дела ни до суда присяжных, ни до женского образования...

Ольга Михайловна сидела по сю сторону плетня, около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух хмурились, как перед дождем, но, несмотря на это, было жарко и душно. Сено, скошенное под деревьями накануне Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый, приторный запах. Было тихо. За плетнем монотонно жужжали пчелы...

Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шел по тропинке к пасеке.

— Душно! — сказал женский голос.— Как по-вашему, будет дождь или нет?

— Будет, моя прелесть, но не раньше ночи,— ответил томно очень знакомый мужской голос.— Хороший дождь будет.

Ольга Михайловна рассудила, что если она поспешит спрятаться в шалаш, то ее не заметят и пройдут мимо, и ей не нужно будет говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла в шалаш. Тотчас же лицо, шею и руки ее обдало горячим и душным, как пар, воздухом. Если бы не духота и не спертый запах ржаного хлеба, укропа и лозы, от которого захватывало дыхание, то тут, под соломенною крышей и в сумерках, отлично можно было бы прятаться от гостей и думать о маленьком человечке. Уютно и тихо.

— Какое здесь хорошенькое местечко! — сказал женский голос.— Посидимте здесь, Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна стала глядеть в щель между двумя хворостинами. Она увидала своего мужа Петра Дмитрича и гостью Любочку Шеллер, семнадцатилетнюю девочку, недавно кончившую в институте. Петр Дмитрич, со шляпой на затылке, томный и ленивый оттого, что много пил за обедом, вразвалку ходил около плетня и ногой сгребал в кучу сено; Любочка, розовая от жары и, как всегда, хорошенькая, стояла, заложив руки назад, и следила за ленивыми движениями его большого красивого тела.

Ольга Михайловна знала, что ее муж нравится женщинам, и — не любила видеть его с ними. Ничего особенного не было в том, что Петр Дмитрич лениво сгребал сено, чтобы посидеть на нем с Любочкой и поболтать о пустяках; ничего не было особенного и в том, что хорошенькая Любочка кротко глядела на него, но все же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страх и удовольствие оттого, что ей можно сейчас подслушать.

— Садитесь, очаровательница,— сказал Петр Дмитрич, опускаясь на сено и потягиваясь.— Вот так. Ну, расскажите мне что-нибудь.

— Вот еще! Я стану рассказывать, а вы уснете.

— Я усну? Аллах керим! Могу ли я уснуть, когда на меня глядят такие глазки?

В словах мужа и в том, что он в присутствии гостьи сидел развалясь и со шляпой на затылке, не было тоже ничего особенного. Он был избалован женщинами, знал, что нравится им, и в обращении с ними усвоил себе особый тон, который, как все говорили, был ему к лицу. С Любочкой он держал себя так же, как со всеми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала.

— Скажите, пожалуйста,— начала Любочка после некоторого молчания,— правду ли говорят, что вы попали под суд?

— Я? Да, попал... К злодеям сопричтен, моя прелесть.

— Но за что?

— Ни за что, а так... все больше из-за политики,— зевнул Петр Дмитрич.— Борьба левой и правой. Я, обскурант и рутинер, осмелился употребить в официальной бумаге выражения, оскорбительные для таких непогрешимых Гладстонов, как наш участковый мировой судья Кузьма Григорьевич Востряков и Владимир Павлович Владимиров.

Петр Дмитрич еще раз зевнул и продолжал:

— А у нас такой порядок, что вы можете неодобрительно отзываться о солнце, о луне, о чем угодно, но храни вас бог трогать либералов! Боже вас сохрани! Либерал — это тот самый поганый сухой гриб, который, если вы нечаянно дотронетесь до него пальцем, обдаст вас облаком пыли.

— Что у вас произошло?

— Ничего особенного. Весь сыр-бор загорелся из-за чистейшего пустяка. Какой-то учитель, плюгавенькая личность колокольного происхождения, подает Вострякову прошение на трактирщика, обвиняя его в оскорблении словами и действием в публичном месте. Из всего видно, что и учитель и трактирщик оба были пьяны, как сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбление, то, во всяком случае, взаимное. Вострякову следовало бы оштрафовать обоих за нарушение тишины и прогнать их из камеры — вот и все. Но у нас как? У нас на первом плане стоит всегда не лицо, не факт, а фирма и ярлык. Учитель, какой бы он негодяй ни был, всегда прав, потому что он учитель; трактирщик же всегда виноват, потому что он трактирщик и кулак. Востряков приговорил трактирщика к аресту, тот перенес дело в съезд. Съезд торжественно утвердил приговор Вострякова. Ну, я остался при особом мнении... Немножко погорячился... Вот и все.

Петр Дмитрич говорил покойно, с небрежною иронией. На самом же деле предстоящий суд сильно беспокоил его. Ольга Михайловна помнила, как он, вернувшись с злополучного съезда, всеми силами старался скрыть от домашних, что ему тяжело и что он недоволен собой. Как умный человек, он не мог не чувствовать, что в своем особом мнении он зашел слишком далеко, и сколько лжи понадобилось ему, чтобы скрывать от себя и от людей это чувство! Сколько было ненужных разговоров, сколько брюзжанья и неискреннего смеха над тем, что не смешно! Узнав же, что его привлекают к суду, он вдруг утомился и пал духом, стал плохо спать, чаще, чем обыкновенно, стоял у окна и барабанил пальцами по стеклам. И он стыдился сознаться перед женою, что ему тяжело, а ей было досадно...

— Говорят, вы были в Полтавской губернии? — спросила Любочка.

— Да, был,— ответил Петр Дмитрич.— Третьего дня вернулся оттуда.

— Небось хорошо там?

— Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вам сказать, попал туда как раз на сенокос, а на Украйне сенокос самое поэтическое время. Тут у нас большой дом, большой сад, много людей и суеты, так что вы не видите, как косят; тут все проходит незаметно. Там же у меня на хуторе пятнадцать десятин луга как на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косят, в саду косят, гостей нет, суеты тоже, так что вы поневоле видите, слышите и чувствуете один только сенокос. На дворе и в комнатах пахнет сеном, от зари до зари звенят косы. Вообще Хохландия милая страна. Верите ли, когда я пил у колодцев с журавлями воду, а в жидовских корчмах — поганую водку, когда в тихие вечера доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль — засесть у себя на хуторе и жить в нем, пока живется, подальше от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин, длинных обедов...

Петр Дмитрич не лгал. Ему было тяжело и в самом деле хотелось отдохнуть. И в Полтавскую губернию ездил он только затем, чтобы не видеть своего кабинета, прислуги, знакомых и всего, что могло бы напоминать ему об его ранепом самолюбии и ошибках.

Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками.

— Ах, пчела, пчела! — взвизгнула она.— Укусит!

— Полноте, не укусит! — сказал Петр Дмитрич.— Какая вы трусиха!

— Нет, нет, нет! — крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назад.

Петр Дмитрич уходил за нею и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Должно быть, глядя на нее, он думал о своем хуторе, об одиночестве и — кто знает? — быть может, даже думал о том, как бы тепло и уютно жилось ему на хуторе, если бы женой его была эта девочка — молодая, чистая, свежая, не испорченная курсами, не беременная...

Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла из шалаша и направилась к дому. Ей хотелось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петр Дмитрич утомился, был недоволен собой и стыдился, а когда стыдятся, то прячутся прежде всего от близких и откровенничают с чужими; ей было также понятно, что Любочка не опасна, как и все те женщины, которые пили теперь в доме кофе. Но в общем все было не-

понятно, страшно, и Ольге Михайловне уже казалось, что Петр Дмитрич не принадлежит ей наполовину...

— Он не имеет права! — бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа.— Он не имеет никакого права. Я ему сейчас все выскажу!

Она решила сейчас же найти мужа и высказать ему все: гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной; несправедливо и нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело его лганье: он постоянно рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что он есть и кем ему быть должно. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Если он лжет, то оскорбляет и себя и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели ему не понятно, что, если он кокетничает и ломается за судейским столом или, сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде, неужели ему не понятно, что этим самым он ставит ни в грош и суд, и себя, и всех, кто его слушает и видит?

Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто уходила сейчас по хозяйственным надобностям. На террасе мужчины пили ликер и закусывали ягодами; один из них, судебный следователь, толстый пожилой человек, балагур и остряк, должно быть, рассказывал какой-нибудь нецензурный анекдот, потому что, увидев хозяйку, он вдруг схватил себя за жирные губы, выпучил глаза и присел. Ольга Михайловна не любила уездных чиновников. Ей не нравились их неуклюжие церемонные жены, сплетни, частые поездки в гости, лесть перед ее мужем, которого все они ненавидели. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уезжать, она чувствовала, что их присутствие утомительно до тоски, но, чтобы не показаться нелюбезной, она приветливо улыбнулась судебному следователю и погрозила ему пальцем. Через залу и гостиную она прошла улыбаясь и с таким видом, как будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай бог, если кто остановит!» — думала она, но сама заставила себя остановиться в гостиной, чтобы из приличия послушать молодого человека, который сидел за пианино и играл; постояв минутку, она крикнула: «Браво, браво, monsieur Жорж!» — и, хлопнув два раза в ладоши, пошла дальше.

Мужа нашла она в кабинете. Он сидел у стола и о чем-то думал. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это уж был не тот Петр Дмитрич, который спорил за обедом и которого знают

гости, а другой — утомленный, виноватый и недовольный собой, которого знает одна только жена. В кабинет пришел он, должно быть, для того, чтобы взять папирос. Перед ним лежал открытый портсигар, набитый папиросами, и одна рука была опущена в ящик стола. Как брал папиросы, так и застыл.

Ольге Михайловне стало жаль его. Было ясно, как день, что человек томился и не находил места, быть может, боролся с собой. Ольга Михайловна молча подошла к столу; желая показать, что она не помнит обеденного спора и уже не сердится, она закрыла портсигар и положила его мужу в боковой карман.

«Что сказать ему? — думала она.— Я скажу, что ложь тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашел слишком далеко; ты оскорбил людей, которые были к тебе привязаны и не сделали тебе никакого зла. Поди же извинись перед ними, посмейся над самим собой, и тебе станет легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе».

Встретясь глазами с женой, Петр Дмитрич вдруг придал своему лицу выражение, какое у него было за обедом и в саду,— равнодушное и слегка насмешливое, зевнул и поднялся с места.

— Теперь шестой час,— сказал он, взглянув на часы.— Если гости смилостивятся и уедут в одиннадцать, то и тогда нам остается ждать еще шесть часов. Весело, нечего сказать!

И, что-то насвистывая, он медленно, своею обычною солидною походкой, вышел из кабинета. Слышно было, как он, солидно ступая, прошел через залу, потом через гостиную, чему-то солидно засмеялся и сказал игравшему молодому человеку: «Бра-о! бра-о!» Скоро шаги его затихли: должно быть, вышел в сад. И уж не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, неискреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной. Она подошла к окну и поглядела в сад. Петр Дмитрич шел уже по аллее. Заложив одну руку в карман и щелкая пальцами другой, слегка откинув назад голову, он шел солидно, вразвалку и с таким видом, как будто был очень доволен и собой, и обедом, и пищеварением, и природой...

На аллее показались два маленьких гимназиста, дети помещицы Чижевской, только что приехавшие, а с ними студент-гувернер в белом кителе и в очень узких брюках. Поравнявшись с Петром Дмитричем, дети и студент остановились и, вероятно, поздравили его с ангелом. Красиво поводя плечами, он потрепал детей за щеки и подал студенту руку небрежно, не глядя на него. Должно быть, студент похвалил погоду и сравнил ее с петербургской, потому что Петр Дмитрич сказал громко и таким тоном,

как будто говорил не с гостем, а с судебным приставом или со свидетелем:

— Что-с? У вас в Петербурге холодно? А у нас тут, батенька мой, благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. А? Что?

И, заложив в карман одну руку и щелкнув пальцами другой, он зашагал дальше. Пока он не скрылся за кустами орешника, Ольга Михайловна все время смотрела ему в затылок и недоумевала. Откуда у тридцатичетырехлетнего человека эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в голосе, откуда все эти «что-с», «н-да-с» и «батенька»?

Ольга Михайловна вспомнила, как она, чтобы не скучать одной дома, в первые месяцы замужества ездила в город на съезд, где иногда вместо ее крестного отца, графа Алексея Петровича, председательствовал Петр Дмитрич. На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди, он совершенно менялся. Величественные жесты, громовый голос, «что-с», «н-да-с», небрежный тон... Все обыкновенное человеческое, свое собственное, что привыкла видеть в нем Ольга Михайловна дома, исчезало в величии, и на кресле сидел не Петр Дмитрич, а какой-то другой человек, которого все звали господином председателем. Сознание, что он — власть, мешало ему покойно сидеть на месте, и он искал случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть... Откуда брались близорукость и глухота, когда он вдруг начинал плохо видеть и слышать и, величественно морщась, требовал, чтобы говорили громче и поближе подходили к столу. С высоты величия он плохо различал лица и звуки, так что если бы, кажется, в эти минуты подошла к нему сама Ольга Михайловна, то он и ей бы крикнул: «Как ваша фамилия?» Свидетелям-крестьянам он говорил «ты», на публику кричал так, что его голос был слышен даже на улице, а с адвокатами держал себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному поверенному, то Петр Дмитрич сидел к нему несколько боком и щурил глаза в потолок, желая этим показать, что присяжный поверенный тут вовсе не нужен и что он его не признает и не слушает; если же говорил серо одетый частный поверенный, то Петр Дмитрич весь превращался в слух и измерял поверенного насмешливым, уничтожающим взглядом: вот, мол, какие теперь адвокаты! «Что же вы хотите этим сказать?» — перебивал он. Если витиеватый поверенный употреблял какое-нибудь иностранное слово и, например, вместо «фиктивный» произносил «фактивный», то Петр Дмитрич вдруг оживлялся и спрашивал: «Что-с? Как? Фактивный? А что это значит?» — и потом наставительно замечал: «Не употребляйте тех слов, кото-

рых вы не понимаете». И поверенный, кончив свою речь, отходил от стола красный и весь в поту, а Петр Дмитрич, самодовольно улыбаясь, торжествуя победу, откидывался на спинку кресла. В своем обращении с адвокатами он несколько подражал графу Алексею Петровичу, но у графа, когда тот, например, говорил: «Защита, помолчите немножко!» — это выходило старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.

II

Послышались аплодисменты. Это молодой человек кончил играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась в гостиную.

— Я вас заслушалась,— сказала она, подходя к пианино.— Я вас заслушалась. У вас удивительные способности! Но не находите ли вы, что наш пианино расстроен?

В это время в гостиную входили два гимназиста и с ними студент.

— Боже мой, Митя и Коля? — сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя к ним навстречу.— Какие большие стали! Даже не узнаешь вас! А где же ваша мама?

— Поздравляю вас с именинником,— начал развязно студент,— и желаю всего лучшего. Екатерина Андреевна поздравляет и просит извинения. Она не совсем здорова.

— Какая же она не добрая! Я ее весь день ждала. А вы давно из Петербурга? — спросила Ольга Михайловна студента.— Какая теперь там погода? — и, не дожидаясь ответа, она ласково взглянула на гимназистов и повторила: — Какие большие выросли! Давно ли они приезжали сюда с няней, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растет... Вы обедали?

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал студент.

— Ведь вы не обедали?

— Ради бога, не беспокойтесь!

— Но ведь вы хотите есть? — спросила Ольга Михайловна грубым и жестким голосом, нетерпеливо и с досадой — это вышло у нее нечаянно, но тотчас же она закашлялась, улыбнулась, покраснела.— Какие большие выросли! — сказала она мягко.

— Не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал еще раз студент.

Студент просил не беспокоиться, дети молчали; очевидно, все трое хотели есть. Ольга Михайловна повела их в столовую и приказала Василию накрыть на стол.

— Не добрая ваша мама! — говорила она, усаживая их.— Совсем меня забыла. Не добрая, не добрая, не добрая... Так и

скажите ей. А вы на каком факультете? — спросила она у студента.

— На медицинском.

— Ну, а у меня слабость к докторам, представьте. Я очень жалею, что мой муж не доктор. Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла от страха. Вы, конечно, выпьете водки?

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— С дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьют малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какие они, право, молодцы! Женить даже можно.

Ольга Михайловна говорила без умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнее говорить, чем слушать. Когда говоришь, нет надобности напрягать внимание, придумывать ответы на вопросы и менять выражение лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопрос, студент стал говорить длинно, и ей поневоле пришлось слушать. Студент знал, что она когда-то была на курсах, а потому, обращаясь к ней, старался казаться серьезным.

— Вы на каком факультете? — спросила она, забыв, что однажды уже задавала этот вопрос.

— На медицинском.

Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была с дамами.

— Да? Значит, вы доктором будете? — сказала она, поднимаясь.— Это хорошо. Я жалею, что сама не пошла на медицинские курсы. Так вы тут обедайте, господа, и выходите в сад. Я вас познакомлю с барышнями.

Она вышла и взглянула на часы: было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Какие фразы говорить? Как держать себя с мужем?

В гостиной и на террасе не было ни души. Все гости разбрелись по саду.

«Нужно будет предложить им до чая прогулку в березняк или катанье на лодках,— думала Ольга Михайловна, торопясь к крокету, откуда слышались голоса и смех.— А стариков усадить играть в винт...»

От крокета навстречу ей шел лакей Григорий с пустыми бутылками.

— Где же барыни? — спросила она.

— В малиннике. Там и барин.

— А, господи боже мой! — с ожесточением крикнул кто-то на крокете. — Да я же тысячу раз же говорил вам то же самое! Чтобы знать болгар, надо их видеть! Нельзя судить по газетам!

От этого ли крика или от чего другого, Ольга Михайловна вдруг почувствовала сильную слабость во всем теле, особенно в ногах и в плечах. Ей вдруг захотелось не говорить, не слышать, не двигаться.

— Григорий,— сказала она томно и с усилием,— когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не спрашивайте, не говорите ни о чем... Делайте все сами и... и не стучите ногами. Умоляю... Я не могу, потому что...

Она не договорила и пошла дальше к крокету, но по дороге вспомнила о барынях и повернула к малиннику. Небо, воздух и деревья по-прежнему хмурились и обещали дождь; было жарко и душно; громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над садом. Чем ближе к огороду, тем аллеи становились запущеннее, темнее и у́же; на одной из них, прятавшейся в густой заросли диких груш, кислиц, молодых дубков, хмеля, целые облака мелких черных мошек окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленького человечка... В воображении пронеслись Григорий, Митя, Коля, лица мужиков, приходивших утром поздравлять...

Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. К ней навстречу быстро шел дядя Николай Николаич.

— Это ты, милая? Очень рад...— начал он, задыхаясь.— На два слова...— Он вытер платком свой бритый красный подбородок, потом вдруг отступил шаг назад, всплеснул руками и выпучил глаза.— Матушка, до каких же пор это будет продолжаться? — заговорил он быстро, захлебываясь.— Я тебя спрашиваю: где границы? не говорю уже о том, что его держимордовские взгляды деморализуют среду, что он оскорбляет во мне и в каждом честном, мыслящем человеке все святое и лучшее — не говорю, но пусть он будет хоть приличен! Что такое? Кричит, рычит, ломается, корчит из себя какого-то Бонапарта, не дает слова сказать... черт его знает! Какие-то величественные жесты, генеральский смех, снисходительный тон! Да позвольте вас спросить: кто он такой? Я тебя спрашиваю: кто он такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкер, каких много! Щедринский тип! Клянусь богом, что-нибудь из двух: или он страдает манией величия, или в самом деле права эта старая, выжившая из ума крыса, граф Алексей Петрович, когда говорит, что теперешние дети и молодые люди

поздно становятся взрослыми и до сорока лет играют в извозчики и в генералы!

— Это верно, верно...— согласилась Ольга Михайловна.— Позволь мне пройти.

— Теперь ты рассуди, к чему это поведет? — продолжал дядя, загораживая ей дорогу.— Чем кончится эта игра в консерватизм и в генералы? Уже под суд попал! Попал! Я очень рад! Докричался и достукался до того, что угодил на скамью подсудимых. И не то чтобы окружный суд или что, а судебная палата! Хуже этого, кажется, и придумать нельзя! Во-вторых, со всеми рассорился! Сегодня именины, а, погляди, не приехали ни Востряков, ни Яхонтов, ни Владимиров, ни Шевуд, ни граф... На что, кажется, консервативнее графа Алексея Петровича, да и тот не приехал. И никогда больше не приедет! Увидишь, что не приедет!

— Ах, боже мой, да я-то тут при чем? — спросила Ольга Михайловна.

— Как при чем? Ты его жена! Ты умна, была на курсах, и в твоей власти сделать из него честного работника!

— На курсах не учат, как влиять на тяжелых людей. Я должна буду, кажется, просить у всех вас извинения, что была на курсах! — сказала Ольга Михайловна резко.— Послушай, дядя, если у тебя целый день над ухом будут играть одни и те же гаммы, то ты не усидишь на месте и сбежишь. Я уж круглый год по целым дням слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконец, иметь сожаление!

Дядя сделал очень серьезное лицо, потом пытливо поглядел на нее и покривил рот насмешливою улыбкой.

— Вот оно что! — пропел он старушечьим голосом.— Виноват-с! — сказал он и церемонно раскланялся.— Если ты сама подпала под его влияние и изменила убеждения, то так бы и сказала раньше. Виноват-с!

— Да, я изменила убеждения! — крикнула она.— Радуйся!

— Виноват-с!

Дядя в последний раз церемонно поклонился, как-то вбок, и, весь съежившись, шаркнул ногой и пошел назад.

«Дурак,— подумала Ольга Михайловна.— И ехал бы себе домой».

Дам и молодежь нашла она на огороде в малиннике. Одни ели малину, другие, кому уже надоела малина, бродили по грядам клубники или рылись в сахарном горошке. Несколько в стороне от малинника, около ветвистой яблони, кругом подпертой палками, повыдерганными из старого палисадника, Петр Дмитрич косил траву. Волосы его падали на лоб, галстук развязался, часовая цепочка выпала из петли. В каждом его шаге и взмахе косой

чувствовались уменье и присутствие громадной физической силы. Возле него стояли Любочка и дочери соседа, полковника Букреева, Наталья и Валентина, или, как их все звали, Ната и Вата, анемичные и болезненно-полные блондинки, лет шестнадцати — семнадцати, в белых платьях, поразительно похожие друг на друга. Петр Дмитрич учил их косить.

— Это очень просто...— говорил он.— Нужно только уметь держать косу и не горячиться, то есть не употреблять силы больше, чем нужно. Вот так... Не угодно ли теперь вам? — предложил он косу Любочке.— Ну-ка!

Любочка неумело взяла в руки косу, вдруг покраснела и засмеялась.

— Не робейте, Любовь Александровна! — крикнула Ольга Михайловна так громко, чтобы ее могли слышать все дамы и знать, что она с ними.— Не робейте! Надо учиться! Выйдете за толстовца, косить заставит.

Любочка подняла косу, но опять засмеялась и, обессилев от смеха, тотчас же опустила ее. Ей было стыдно и приятно, что с нею говорят, как с большой. Ната, не улыбаясь и не робея, с серьезным, холодным лицом, взяла косу, взмахнула и запутала ее в траве; Вата, тоже не улыбаясь, серьезная и холодная, как сестра, молча взяла косу и вонзила ее в землю. Проделав это, обе сестры взялись под руки и молча пошли к малине.

Петр Дмитрич смеялся и шалил, как мальчик, и это детски-шаловливое настроение, когда он становился чрезмерно добродушен, шло к нему гораздо более, чем что-либо другое. Ольга Михайловна любила его таким. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Так и на этот раз, пошалив с косой, он почему-то нашел нужным придать своей шалости серьезный оттенок.

— Когда я кошу, то чувствую себя, знаете ли, здоровее и нормальнее,— сказал он.— Если бы меня заставили довольствоваться одною только умственной жизнью, то я бы, кажется, с ума сошел. Чувствую, что я не родился культурным человеком! Мне бы косить, пахать, сеять, лошадей выезжать...

И у Петра Дмитрича с дамами начался разговор о преимуществах физического труда, о культуре, потом о вреде денег, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своем приданом.

«А ведь будет время,— подумала она,— когда он не простит мне, что я богаче его. Он горд и самолюбив. Пожалуй, возненавидит меня за то, что многим обязан мне».

Она остановилась около полковника Букреева, который ел малину и тоже принимал участие в разговоре.

— Пожалуйте,— сказал он, давая дорогу Ольге Михайловне и Петру Дмитричу.— Тут самая спелая... Итак-с, по мнению Прудона,— продолжал он, возвысив голос,— собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философом его не считаю. Для меня французы не авторитет, бог с ними!

— Ну, что касается Прудонов и всяких там Боклей, то я тут швах,— сказал Петр Дмитрич.— Насчет философии обращайтесь вот к ней, к моей супруге. Она была на курсах и всех этих Шопенгауэров и Прудонов насквозь...

Ольге Михайловне опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночке, мимо яблонь и груш, и опять у нее был такой вид, как будто шла она по очень важному делу. А вот изба садовника... На пороге сидела жена садовника Варвара и ее четверо маленьких ребятишек с большими стриженными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ее вычислениям, к Илье-пророку. Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядела ее и детей и спросила:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— А ничего...

Наступило молчание. Обе женщины молча как будто понимали друг друга.

— Страшно родить в первый раз,— сказала Ольга Михайловна, подумав,— мне все кажется, что я не перенесу, умру.

— И мне представлялось, да вот жива же... Мало ли чего!

Варвара, беременная уже в пятый раз и опытная, глядела на свою барыню несколько свысока и говорила с нею наставительным тоном, а Ольга Михайловна невольно чувствовала ее авторитет; ей хотелось говорить о своем страхе, о ребенке, об ощущениях, но она боялась, чтобы это не показалось Варваре мелочным и наивным. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажет что-нибудь.

— Оля, домой идем! — крикнул из малинника Петр Дмитрич.

Ольге Михайловне нравилось молчать, ждать и глядеть на Варвару. Она согласилась бы простоять так, молча и без всякой надобности, до самой ночи. Но нужно было идти. Едва она отошла от избы, как уж к ней навстречу бежали Любочка, Вата и Ната. Две последние не добежали до нее на целую сажень и обе разом остановились как вкопанные; Любочка же добежала и повисла к ней на шею.

— Милая! Хорошая! Бесценная! — заговорила она, целуя ее в лицо и в шею.— Поедемте чай пить на остров!

— На остров! На остров! — сказали обе разом одинаковые Вата и Ната, не улыбаясь.

— Но ведь дождь будет, мои милые.

— Не будет, не будет! — крикнула Любочка, делая плачущее лицо.— Все согласны ехать! Милая, хорошая!

— Там все собираются ехать чай пить на остров,— сказал Петр Дмитрич, подходя.— Распорядись... Мы все поедем на лодках, а самовары и все прочее надо отправить с прислугой в экипаже.

Он пошел рядом с женой и взял ее под руку. Ольге Михайловне захотелось сказать мужу что-нибудь неприятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданом, чем жестче, тем, казалось, лучше. Она подумала и сказала:

— Отчего это граф Алексей Петрович не приехал? Как жаль!

— Я очень рад, что он не приехал,— солгал Петр Дмитрич.— Мне этот юродивый надоел пуще горькой редьки.

— Но ведь ты до обеда ждал его с таким нетерпением!

III

Через полчаса все гости уже толпились на берегу около свай, где были привязаны лодки. Все много говорили, смеялись и от излишней суеты никак не могли усесться в лодки. Три лодки были уже битком набиты пассажирами, а две стояли пустые. От этих двух пропали куда-то ключи, и от реки то и дело бегали во двор посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григория, другие — что они у приказчика, третьи советовали призвать кузнеца и отбить замки. И все говорили разом, перебивая и заглушая друг друга. Петр Дмитрич нетерпеливо шагал по берегу и кричал:

— Это черт знает что такое! Ключи должны всегда лежать в передней на окне! Кто смел взять их оттуда? Приказчик может, если ему угодно, завести себе свою лодку!

Наконец ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватает двух весел. Снова поднялась суматоха. Петр Дмитрич, которому наскучило шагать, прыгнул в узкий и длинный челн, выдолбленный из тополя, и, покачнувшись, едва не упав в воду, отчалил от берега. За ним одна за другою, при громком смехе и визге барышень, поплыли и другие лодки.

Белое облачное небо, прибрежные деревья, камыш и лодки с людьми и с веслами отражались в воде, как в зеркале; под лодками, далеко в глубине, в бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Один берег, на котором стояла усадьба, был высок, крут и весь покрыт деревьями; на другом, отлогом, зеленели широкие заливные луга и блестели заливы. Проплыли лодки саженей пятьдесят, и из-за печально склонившихся верб на отлогом

берегу показались избы, стадо коров; стали слышаться песни, пьяные крики и звуки гармоники.

Там и сям по реке шныряли челны рыболовов, плывших ставить на ночь свои переметы. В одном челноке сидели подгулявшие музыканты-любители и играли на самоделковых скрипках и виолончели.

Ольга Михайловна сидела у руля. Она приветливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Он плыл на своем челне впереди всех, стоя и работая одним веслом. Легкий остроносый челнок, который все гости звали душегубкой, а сам Петр Дмитрич почему-то Пендераклией, бежал быстро; он имел живое, хитрое выражение и, казалось, ненавидел тяжелого Петра Дмитрича и ждал удобной минуты, чтобы выскользнуть из-под его ног. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всем, затылок, его поза, фамильярное обращение с женщинами; она ненавидела всех женщин, сидевших в лодке, ревновала и в то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкий челнок не опрокинулся и не наделал бед.

— Тише, Петр! — кричала она, и сердце ее замирало от страха.— Садись в лодку! Мы и так верим, что ты смел!

Беспокоили ее и те люди, которые сидели с нею в лодке. Все это были обыкновенные, недурные люди, каких много, но теперь каждый из них представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. «Вот,— думала она,— работает веслом молодой шатен в золотых очках и с красивою бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькин сынок, которого все считают честным, свободомыслящим, передовым человеком. Еще года нет, как он кончил в университете и приехал на житье в уезд, но уж говорит про себя: «Мы земские деятели». Но пройдет год, и он, как многие другие, соскучится, уедет в Петербург и, чтобы оправдать свое бегство, будет всюду говорить, что земство никуда не годится и что он обманут. А с другой лодки, не отрывая глаз, глядит на него молодая жена и верит, что он «земский деятель», как через год поверит тому, что земство никуда не годится. А вот полный, тщательно выбритый господин в соломенной шляпе с широкою лентой и с дорогою сигарой в зубах. Этот любит говорить: «Пора нам бросить фантазии и приняться за дело!» У него йоркширские свиньи, бутлеровские ульи, рапс, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерия. Но каждое лето, чтобы осенью жить с любовницей в Крыму, он продает на сруб свой лес и закладывает по частям землю. А вот дядюшка Николай Николаич, который сердит на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уезжает домой!»

Ольга Михайловна поглядывала на другие лодки, и там она видела одних только неинтересных чудаков, актеров или недалеких людей. Вспомнила она всех, кого только знала в уезде, и никак не могла вспомнить ни одного такого человека, о котором могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны, все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее; ей хотелось вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мне надоели!» — и потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу.

— Господа, возьмем Петра Дмитрича на буксир! — крикнул кто-то.

— На буксир! На буксир! — подхватили остальные.— Ольга Михайловна, берите на буксир вашего мужа.

Чтобы взять на буксир, Ольга Михайловна, сидевшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклию у носа за цепь. Когда она нагибалась за цепью, Петр Дмитрич поморщился и испуганно посмотрел на нее.

— Как бы ты не простудилась тут! — сказал он.

«Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?» — подумала Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич признал себя побежденным и, не желая плыть на буксире, прыгнул с Пендераклии в лодку, и без того уж набитую пассажирами, прыгнул так неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и все вскрикнули от ужаса.

«Это он прыгнул, чтобы нравиться женщинам,— подумала Ольга Михайловна.— Он знает, что это красиво...»

У нее, как думала она, от скуки, досады, от напряженной улыбки и от неудобства, какое чувствовалось во всем теле, началась дрожь в руках и ногах. И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смеяться, двигаться...

«В случае, если я вдруг заплачу,— думала она,— то скажу, что у меня болят зубы...»

Но вот наконец лодки пристали к острову «Доброй Надежды». Так назывался полуостров, образовавшийся вследствие загиба реки под острым углом, покрытый старою рощей из березы, дуба, вербы и тополя. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василий и Григорий, в своих фраках и в белых вязаных перчатках. На другом берегу, против «Доброй Надежды», стояли экипажи, приехавшие с провизией. С экипажей корзины и узлы с провизией переправлялись на остров в челноке, очень похожем на Пендераклию. У лакеев, кучеров и даже у мужика, который сидел в челноке, выражение лиц было торжественное, именинное, какое бывает только у детей и прислуги.

Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без сахару, другой — покрепче, третий — пожиже, четвертый благодарил. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потом кричать: «Иван Петрович, это вам без сахару?» или: «Господа, кто просил пожиже?» Но тот, кто просил пожиже или без сахару, уж не помнил этого и, увлекшись приятными разговорами, брал первый попавшийся стакан. В стороне от стола бродили, как тени, унылые фигуры и делали вид, что ищут в траве грибов или читают этикеты на коробках,— это те, которым не хватило стаканов. «Вы пили чай?»— спрашивала Ольга Михайловна, и тот, к кому относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил: «Я подожду»,— хотя для хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились.

Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу, другие же, в особенности кто много пил за обедом, не отходили от стола и выпивали стакан за стаканом, так что Ольга Михайловна едва успевала наливать. Один молодой шутник пил чай вприкуску и все приговаривал: «Люблю, грешный человек, побаловать себя китайскою травкой». То и дело просил он с глубоким вздохом: «Позвольте еще одну черепушечку!» Пил он много, сахар кусал громко и думал, что все это смешно и оригинально и что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна все время приветливо улыбалась и болтала вздор.

А она чувствовала себя нехорошо... Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутник, ошеломленные и сбившиеся с ног лакеи, дети, вертевшиеся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, Коля на Митю, и что не разберешь, кто из них пил уже чай, а кто еще нет. Она чувствовала, что ее напряженная приветливая улыбка переходит в злое выражение, и ей каждую минуту казалось, что она сейчас заплачет.

— Господа, дождь! — крикнул кто-то.

Все посмотрели на небо.

— Да, в самом деле дождь...— подтвердил Петр Дмитрич и вытер щеку.

Небо уронило только несколько капель, настоящего дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала все хотели ехать в экипажах, но раздумали и направились к лодкам. Ольга Михайловна, под предлогом, что ей нужно поскорее рас-

порядиться насчет ужина, попросила позволения отстать от общества и ехать домой в экипаже.

Сидя в коляске, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу от улыбки. С злым лицом она ехала через деревню и с злым лицом отвечала на поклоны встречных мужиков. Приехав домой, она прошла черным ходом к себе в спальню и прилегла на постель мужа.

— Господи боже мой,— шептала она,— к чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!

Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости.

«Пусть,— подумала Ольга Михайловна.— Я еще полежу».

Но в спальню вошла горничная и сказала:

— Барыня, Марья Григорьевна уезжает!

Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспешила из спальни.

— Марья Григорьевна, что же это такое? — начала она обиженным голосом, идя навстречу Марье Григорьевне.— Куда вы это торопитесь?

— Нельзя, голубчик, нельзя! Я и так уже засиделась. Меня дома дети ждут.

— Не добрая вы! Отчего же вы детей с собой не взяли?

— Милая, если позволите, я привезу их к вам как-нибудь в будень, но сегодня...

— Ах, пожалуйста,— перебила Ольга Михайловна,— я буду очень рада! Дети у вас такие милые! Поцелуйте их всех... Но, право, вы меня обижаете! Зачем торопиться, не понимаю!

— Нельзя, нельзя... Прощайте, милая. Берегите себя. Вы ведь в таком теперь положении...

И обе поцеловались. Проводив гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла в гостиную к дамам. Там уж огни были зажжены, и мужчины усаживались играть в карты.

IV

Гости стали разъезжаться после ужина, в четверть первого. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльце и говорила:

— Право, вы бы взяли шаль! Становится немножко свежо. Не дай бог простудитесь!

— Не беспокойтесь, Ольга Михайловна! — отвечали гости, усаживаясь.— Ну, прощайте! Смотрите же, мы ждем вас! Не обманите!

— Тпррр! — сдерживал кучер лошадей.

— Трогай, Денис! Прощайте, Ольга Михайловна!

— Детей поцелуйте!

Коляска трогалась с места и тотчас же исчезала в потемках. В красном круге, бросаемом лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпеливых лошадей и силуэт кучера с протянутыми вперед руками. Опять начинались поцелуи, упреки и просьбы приехать еще раз или взять шаль. Петр Дмитрич выбегал из передней и помогал дамам сесть в коляску.

— Ты поезжай теперь на Ефремовщину,— учил он кучера.— Через Манькино ближе, да там дорога хуже. Чего доброго, опрокинешь... Прощайте, моя прелесть! Mille compliments [1] вашему художнику!

— Прощайте, душечка Ольга Михайловна! Уходите в комнаты, а то простудитесь! Сыро!

— Тпррр! Балуешься!

— Это какие же у вас лошади? — спрашивал Петр Дмитрич.

— В великом посту у Хайдарова купили,— отвечал кучер.

— Славные конячки...

И Петр Дмитрич хлопал пристяжную по крупу.

— Ну, трогай! Дай бог час добрый!

Наконец уехал последний гость. Красный круг на дороге закачался,— поплыл в сторону, сузился и погас — это Василий унес с крыльца лампу. В прошлые разы обыкновенно, проводив гостей, Петр Дмитрич и Ольга Михайловна начинали прыгать в зале друг перед другом, хлопать в ладоши и петь: «Уехали! уехали! уехали!» Теперь же Ольге Михайловне было не до того. Она пошла в спальню, разделась и легла в постель.

Ей казалось, что она уснет тотчас же и будет спать крепко. Ноги и плечи ее болезненно ныли, голова отяжелела от разговоров, и во всем теле по-прежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись с головой, она полежала минуты три, потом взглянула из-под одеяла на лампадку, прислушалась к тишине и улыбнулась.

— Хорошо, хорошо...— зашептала она, подгибая ноги, которые, казалось ей, оттого что она много ходила, стали длиннее.— Спать, спать...

Ноги не укладывались, всему телу было неудобно, и она повернулась на другой бок. По спальне с жужжаньем летала большая муха и беспокойно билась о потолок. Слышно было также, как в зале Григорий и Василий, осторожно ступая, убирали столы; Ольге Михайловне стало казаться, что она уснет и ей будет удобно только тогда, когда утихнут эти звуки. И она опять нетерпеливо повернулась на другой бок.

[1] Тысячу приветствий *(франц.)*.

«Злоумышленник»

Послышался из гостиной голос мужа. Должно быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петр Дмитрич к кому-то обращался и громко говорил:

— Я не скажу, чтобы граф Алексей Петрович был фальшивый человек. Но он поневоле кажется таким, потому что все вы, господа, стараетесь видеть в нем не то, что он есть на самом деле. В его юродивости видят оригинальный ум, в фамильярном обращении — добродушие, в полном отсутствии взглядов видят консерватизм. Допустим даже, что он в самом деле консерватор восемьдесят четвертой пробы. Но что такое, в сущности, консерватизм?

Петр Дмитрич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводил теперь душу. Он бранил и графа и гостей и с досады на самого себя готов был высказывать и проповедовать, что угодно. Проводив гостя, он походил из угла в угол по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потом опять по гостиной, и вошел в спальню. Ольга Михайловна лежала на спине, укрытая одеялом только по пояс (ей уже казалось жарко), и со злым лицом следила за мухой, которая стучала по потолку.

— Разве кто остался ночевать? — спросила она.

— Егоров.

Петр Дмитрич разделся и лег на свою постель. Он молча закурил папиросу и тоже стал следить за мухой. Взгляд его был суров и беспокоен. Молча минут пять Ольга Михайловна глядела на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы муж вдруг повернулся к ней лицом и сказал: «Оля, мне тяжело»,— то она заплакала бы или засмеялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноют и всему ее телу неудобно оттого, что у нее напряжена душа.

— Петр, о чем ты думаешь? — спросила она.

— Так, ни о чем...— ответил муж.

— У тебя в последнее время завелись от меня какие-то тайны. Это нехорошо.

— Почему же нехорошо? — ответил Петр Дмитрич сухо и не сразу.— У каждого из нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.

— Личная жизнь, свои тайны... все это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь! — сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели.— Если у тебя тяжело на душе, то почему ты скрываешь это от меня? И почему ты находишь более удобным откровенничать с чужими женщинами, а не с женой? Я ведь слышала, как ты сегодня на пасеке изливался перед Любочкой.

— Ну, и поздравляю. Очень рад, что слышала.

Это значило: оставь меня в покое, не мешай мне думать! Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть и гнев, которые накоплялись у нее в течение дня, вдруг точно запенились; ей хотелось сейчас же, не откладывая до завтра, высказать мужу все, оскорбить его, отомстить... Делая над собой усилия, чтобы не кричать, она сказала:

— Так знай же, что все это гадко, гадко и гадко! Сегодня я ненавидела тебя весь день — вот что ты наделал!

Петр Дмитрич тоже поднялся и сел.

— Гадко, гадко, гадко! — продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всем телом.— Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! Стыд, срам! Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться с женой в одной комнате! Фальшивый ты человек! Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шаг!

— Оля, когда ты бываешь не в духе, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать в кабинете.

Сказавши это, Петр Дмитрич взял подушку и вышел из спальни. Ольга Михайловна не предвидела этого. Несколько минут она молча, с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь, за которою скрылся муж, и старалась понять, что значит это. Есть ли это один из тех приемов, которые употребляют в спорах фальшивые люди, когда бывают неправы, или же это оскорбление, обдуманно нанесенное ее самолюбию? Как понять? Ольге Михайловне припомнился ее двоюродный брат, офицер, веселый малый, который часто со смехом рассказывал ей, что когда ночью «супружница начинает пилить» его, то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит к себе в кабинет, а жена остается в глупом и смешном положении. Этот офицер женат на богатой, капризной и глупой женщине, которую он не уважает и только терпит.

Ольга Михайловна вскочила с постели. По ее мнению, теперь ей оставалось только одно: поскорее одеться и навсегда уехать из этого дома. Дом был ее собственный, но тем хуже для Петра Дмитрича. Не рассуждая, нужно это или нет, она быстро пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу о своем решении («Бабья логика!» — мелькнуло у нее в мыслях) и сказать ему на прощанье еще что-нибудь оскорбительное, едкое...

Петр Дмитрич лежал на диване и делал вид, что читает газету. Возле него на стуле горела свеча. Из-за газеты не было видно его лица.

— Потрудитесь мне объяснить, что это значит? Я вас спрашиваю!

— Вас...— передразнил Петр Дмитрич, не показывая лица.— Надоело, Ольга! Честное слово, я утомлен, и мне теперь не до этого... Завтра будем браниться.

— Нет, я тебя отлично понимаю! — продолжала Ольга Михайловна.— Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать мне! («Бабья логика!» — опять мелькнуло в ее мыслях.) Сейчас, я знаю, ты смеешься надо мной... Я даже уверена, что ты и женился на мне только затем, чтобы иметь ценз и этих подлых лошадей... О, я несчастная!

Петр Дмитрич уронил газету и приподнялся. Неожиданное оскорбление ошеломило его. Он детски-беспомощно улыбнулся, растерянно поглядел на жену и, точно защищая себя от ударов, протянул к ней руки и сказал умоляюще:

— Оля!

И, ожидая, что она скажет еще что-нибудь ужасное, он прижался к спинке дивана, и вся его большая фигура стала казаться такою же беспомощно-детскою, как и улыбка.

— Оля, как ты могла это сказать? — прошептал он.

Ольга Михайловна опомнилась. Она вдруг почувствовала свою безумную любовь к этому человеку, вспомнила, что он ее муж, Петр Дмитрич, без которого она не может прожить ни одного дня и который ее любит тоже безумно. Она зарыдала громко, не своим голосом, схватила себя за голову и побежала назад в спальню.

Она упала в постель, и мелкие, истеричные рыдания, мешающие дышать, от которых сводит руки и ноги, огласили спальню. Вспомнив, что через три-четыре комнаты ночует гость, она спрятала голову под подушку, чтобы заглушить рыдания, но подушка свалилась на пол, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней; потянула она к лицу одеяло, но руки не слушались и судорожно рвали все, за что она хваталась.

Ей казалось, что все уже пропало, что неправда, которую она сказала для того, чтобы оскорбить мужа, разбила вдребезги всю ее жизнь. Муж не простит ее. Оскорбление, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами... Как она убедит мужа, что сама не верила тому, что говорила?

— Кончено, кончено! — кричала она, не замечая, что подушка опять свалилась на пол.— Ради бога, ради бога!

Должно быть, разбуженные ее криками, уже проснулись гость и прислуга; завтра весь уезд будет знать, что с нею была истерика, и все обвинят в этом Петра Дмитрича. Она делала усилия, чтобы сдержать себя, но рыдания с каждою минутой становились все громче и громче.

— Ради бога! — кричала она не своим голосом и не понимала, для чего кричит это.— Ради бога!

Ей показалось, что под нею провалилась кровать и ноги завязли в одеяле. Вошел в спальню Петр Дмитрич в халате и со свечой в руках.

— Оля, полно! — сказал он.

Она поднялась и, стоя в постели на коленях, жмурясь от свечи, выговорила сквозь рыдания:

— Пойми... пойми...

Ей хотелось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ее ложь, что у нее накипело, но она могла только выговорить:

— Пойми... пойми!

— На, выпей! — сказал он, подавая ей воды.

Она послушно взяла стакан и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колени... «Должно быть, я теперь ужасно безобразна!» — подумала она. Петр Дмитрич молча уложил ее в постель и укрыл одеялом, потом взял свечу и вышел.

— Ради бога! — крикнула опять Ольга Михайловна.— Петр, пойми, пойми!

Вдруг что-то сдавило ее внизу живота и спины с такою силой, что плач ее оборвался, и она от боли укусила подушку. Но боль тотчас же отпустила ее, и она опять зарыдала.

Вошла горничная и, поправляя на ней одеяло, спросила встревоженно:

— Барыня, голубушка, что с вами?

— Убирайтесь отсюда! — строго сказал Петр Дмитрич, подходя к постели.

— Пойми, пойми...— начала Ольга Михайловна.

— Оля, прошу тебя, успокойся! — сказал он.— Я не хотел тебя обидеть. Я не ушел бы из спальни, если бы знал, что это на тебя так подействует. Мне просто было тяжело. Говорю тебе как честный человек...

— Пойми... Ты лгал, я лгала...

— Я понимаю... Ну, ну, будет! Я понимаю...— говорил Петр Дмитрич нежно, садясь на ее постель.— То сказала ты сгоряча, понятно... Клянусь богом, я люблю тебя больше всего на свете и, когда женился на тебе, ни разу не вспомнил, что ты богата. Я бесконечно любил — и только... Уверяю тебя. Никогда я не нуждался и не знал цены деньгам, а потому не умею чувствовать разницу между твоим состоянием и моим. Мне всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я в мелочах фальшивил, то это... конечно, правда. Жизнь у меня до сих пор была устроена так несерьезно, что как-то нельзя было обойтись без мелкой лжи. Мне теперь самому тяжело. Оставим этот разговор, бога ради!..

Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукав.

— Больно, больно, больно...— сказала она быстро.— Ах, больно!

— Черт бы взял этих гостей! — пробормотал Петр Дмитрич, поднимаясь.— Ты не должна была ездить сегодня на остров! — крикнул он.— И как это я, дурак, не остановил тебя? Господи боже мой!

Он досадливо почесал себе голову, махнул рукой и вышел из спальни.

Потом он несколько раз входил, садился к ней на кровать и говорил много, то очень нежно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыдания чередовались у нее с страшною болью, и каждая новая боль была сильнее и продолжительнее. Сначала во время боли она задерживала дыхание и кусала подушку, но потом стала кричать неприличным, раздирающим голосом. Раз, увидев около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его, и, не рассуждая, бред ли это или настоящий Петр Дмитрич, схватила обеими руками его руку и стала целовать ее.

— Ты лгал, я лгала...— начала она оправдываться.— Пойми, пойми... Меня замучили, вывели из терпенья...

— Оля, мы тут не одни! — сказал Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна приподняла голову и увидела Варвару, которая стояла на коленях около комода и выдвигала нижний ящик. Верхние ящики были уже выдвинуты. Кончив с комодом, Варвара поднялась и, красная от напряжения, с холодным, торжественным лицом принялась отпирать шкатулку.

— Марья, не отопру! — сказала она шепотом.— Отопри, что ли.

Горничная Марья ковыряла ножницами в подсвечнике, чтобы вставить новую свечу; она подошла к Варваре и помогла ей отпереть шкатулку.

— Чтоб ничего запертого не было...— шептала Варвара.— Отопри, мать моя, и этот коробок. Барин,— обратилась она к Петру Дмитричу,— вы бы послали к отцу Михаилу, чтоб царские врата отпер! Надо!

— Делайте, что хотите,— сказал Петр Дмитрич, прерывисто дыша,— только, ради бога, скорей доктора или акушерку! Поехал Василий? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа!

«Я рожу»,— сообразила Ольга Михайловна.— Варвара,— простонала она,— но ведь он родится не живой!

— Ничего, ничего, барыня...— зашептала Варвара.— Бог даст, живой бундить (так она выговаривала слово «будет»)! Бундить живой.

Когда Ольга Михайловна в другой раз очнулась от боли, то уж не рыдала и не металась, а только стонала. От стонов она не могла удержаться даже в те промежутки, когда не было боли. Свечи еще горели, но уже сквозь шторы пробивался утренний свет. Было, вероятно, около пяти часов утра. В спальне за круглым столиком сидела какая-то незнакомая женщина в белом фартуке и с очень скромною физиономией. По выражению ее фигуры видно было, что она давно уже сидит. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка.

— Скоро кончится? — спросила она и в своем голосе услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какой раньше у нее никогда не было. «Должно быть, я умираю от родов»,— подумала она.

В спальню осторожно вошел Петр Дмитрич, одетый, как днем, и стал у окна, спиной к жене. Он приподнял штору и поглядел в окно.

— Какой дождь! — сказал он.

— А который час? — спросила Ольга Михайловна, чтобы еще раз услышать в своем голосе незнакомую нотку.

— Без четверти шесть,— отвечала акушерка.

«А что, если я в самом деле умираю? — подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконные стекла, по которым стучал дождь.— Как он без меня будет жить? С кем он будет чай пить, обедать, разговаривать по вечерам, спать?»

И он показался ей маленьким, осиротевшим; ей стало жаль его и захотелось сказать ему что-нибудь приятное, ласковое, утешительное. Она вспомнила, как он весною собирался купить себе гончих и как она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помешала ему сделать это.

— Петр, купи себе гончих! — простонала она.

Он опустил штору и подошел к постели, хотел что-то сказать, но в это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличным, раздирающим голосом.

От боли, частых криков и стонов она отупела. Она слышала, видела, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчас будет больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь продолжается дольше, чем ее детство, ученье в институте, курсы, замужество, и будет продолжаться еще долго-долго, без конца. Она видела, как акушерке принесли чай, как позвали ее в полдень завтракать, а потом обедать; видела, как Петр Дмитрич привык входить, стоять подолгу у окна и выходить, как привыкли входить какие-то чужие мужчины, горничная, Варвара... Варвара говорила только «бундить, бундить» и сердилась, когда кто-нибудь задвигал ящики в комоде. Ольга Михайловна

видела, как в комнате и в окнах менялся свет: то он был сумеречный, то мутный, как туман, то ясный, дневной, какой был вчера за обедом, то опять сумеречный... И каждая из этих перемен продолжалась так же долго, как детство, ученье в институте, курсы...

Вечером два доктора — один костлявый, лысый, с широкою рыжею бородою, другой с еврейским лицом, черномазый и в дешевых очках — делали Ольге Михайловне какую-то операцию. К тому, что чужие мужчины касались ее тела, она относилась совершенно равнодушно. У нее уже не было ни стыда, ни воли, и каждый мог делать с нею, что хотел. Если бы в это время кто-нибудь бросился на нее с ножом, или оскорбил Петра Дмитрича, или отнял бы у нее права на маленького человечка, то она не сказала бы ни одного слова.

Во время операции ей дали хлороформу. Когда она потом проснулась, боли все еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь с тишиною, с лампадкой, с акушеркой, неподвижно сидящей у постели, с выдвинутыми ящиками комода, с Петром Дмитричем, стоящим у окна, была уже, но когда-то очень, очень давно...

V

«Я не умерла...» — подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда болей уже не было.

В два настежь открытые окна спальни глядел ясный летний день; в саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки.

Ящики в комоде были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было в спальне ни акушерки, ни Варвары, ни горничной; один только Петр Дмитрич по-прежнему стоял неподвижно у окна и глядел в сад. Не слышно было детского плача, никто не поздравлял и не радовался, очевидно, маленький человечек родился не живой.

— Петр! — окликнула Ольга Михайловна мужа.

Петр Дмитрич оглянулся. Должно быть, с того времени, как уехал последний гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, так как Петр Дмитрич заметно осунулся и похудел.

— Что тебе? — спросил он, подойдя к постели.

Он глядел в сторону, шевелил губами и улыбался детски-беспомощно.

— Все уже кончилось? — спросила Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич хотел что-то ответить, но губы его задрожали,

и рот покривился старчески, как у беззубого дяди Николая Николаича.

— Оля! — сказал он, ломая руки, и из глаз его вдруг брызнули крупные слезы.— Оля! Не нужно мне ни твоего ценза, ни съездов (он всхлипнул)... ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого... ничего мне не нужно! Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ах, да что говорить!

Он махнул рукой и вышел из спальни.

А для Ольги Михайловны было уже решительно все равно. В голове у нее стоял туман от хлороформа, на душе было пусто... То тупое равнодушие к жизни, какое было у нее, когда два доктора делали ей операцию, все еще не покидало ее.

1888

СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ

Из записок старого человека

I

Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере, за последние двадцать пять — тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.

Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах

своих товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic'ом. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь — все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве, когда бываю я болен tic'ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».

Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений — то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.

Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол.

Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно, в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкап или неожиданно загудит горелка в лампе — и все эти звуки почему-то волнуют меня.

Не спать ночью — значит, каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса...

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

— Извини, я на минутку... Ты опять не спал?

Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне-офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей — это главным образом и служит темою для нашего разговора.

— Конечно, это нам тяжело,— вздыхает жена,— но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое... Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?

Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки — и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне,— неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «сострадание» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?

Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку — нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и, чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.

— Что ж это я сижу? — говорит она, поднимаясь.— Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!

Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев — пятьдесят!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:

— Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!

И, попрекнув меня моим именем и чином, она наконец уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.

Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:

— Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

— Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья... Заложи все это, тебе нужны деньги...»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня бог,— мне не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.

В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «Historia morbi» [1]. Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг па-

[1] «История болезни» *(лат.)*.

пиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега... На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих... Вот и наш сад. С тех пор как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженой сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное... Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.

Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:

— Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

— Дождик, ваше превосходительство!

Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает! Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на

помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших *все*, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого... Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.

В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.

Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как двадцать лет назад.

За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет тридцати пяти, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное — и в этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем — это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности

он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

— Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер.

Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:

— Какой это Скобелев?

В другой раз — это было несколько раньше — я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил:

— А что он читал?

Кажется, запой у него под самым ухом Патти, нападай на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.

Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно не знаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука — медицина, самые лучшие люди — врачи, самые лучшие традиции — медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция — белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.

Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.

Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь... Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное: «В прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и — пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из

себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря... Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.

Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать,— это прочесть мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастию, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцать — тридцать лет назад, так и теперь перед смертию меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающею слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу.

Нелегко переживать такие минуты.

II

После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:

— Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде: «Вы изволили справедливо заметить» или: «Как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает про-

щаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда наконец я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции.

Немного погодя другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.

— Садитесь,— говорю я гостю.— Что скажете?

— Извините, профессор, за беспокойство...— начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо.— Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что...

Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

— Извините, мой друг,— говорю я гостю,— поставить вам удовлетворительно я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.

Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:

— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать,— это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.

Лицо сангвиника вытягивается.

— Простите, профессор,— усмехается он,— но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг... уйти!

— Ну да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.

Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:

— Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда? — глухо спрашивает лентяй.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

— Конечно,— говорю я,— вы не станете ученее оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно.

Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежанья на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

— Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я...

Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

— В таком случае прощайте... Извините.

— Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.

Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!

Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.

— Очень рад быть полезным, коллега,— говорю я,— но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...

Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.

— Что вы все ко мне ходите, не понимаю? — кричу я сердито.— Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне наконец это надоело!

Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком.

— У меня не лавочка! — сержусь я.— И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень.

Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос...

Восемнадцать лет тому назад умер мой товарищ окулист и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и живала у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это — необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопочет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня,

следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.

— Студенты дерутся в университете? — спрашивает она.

— Дерутся, милая.

— А вы ставите их на колени?

— Ставлю.

И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть — и только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»

Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катею, когда ей было четырнадцать—пятнадцать лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

— Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

— Даю тебе полчаса. Начинай.

Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров; можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошею.

В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был тридцать—сорок лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошеное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.

Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через пятьдесят — сто лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы— лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо боль-

шею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.

И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице,— и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.

Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев; денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества... Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.

Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей — это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное де-

ло и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.

В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и, вместо того чтоб вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль...» и так далее, все в таком роде.

Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ее *он* принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею пе-

риодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!

Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела — мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног — ковры, для ленивого зрения — линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души — изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно не нужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей... Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.

В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.

— Прощайте,— говорит Катя.— Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:

— А вы все худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.

— Не нужно, Катя.

— Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.

Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:

— У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно...

— Мама! — говорит ей укоризненно Лиза.— Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.

— Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.

Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутораста молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастие, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться, как мужчина.

Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.

Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подруги

дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше тридцати лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом, и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.

Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого к тому же мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.

Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не переваривaю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки...

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый, с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласк и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним, и больше никому. Нет уже больше уменья пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет леща с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катиной щеки в тарелку с супом.

Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится... Скажите: ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» — и все в таком роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генераль-

ство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим; на слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их.

Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня votre excellence[1].

А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.

После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей, скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.

— Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч,— начинает она.— Я насчет Лизы... Отчего ты не обратишь внимания?

— То есть?

— Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным... Гнеккер имеет насчет Лизы намерения... Что ты скажешь?

— Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.

— Но так нельзя... нельзя...

Она встает и ходит в волнении.

---

[1] ваше превосходительство *(франц.)*.

— Так нельзя относиться к серьезному шагу...— говорит она.— Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится... Хорошо... Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии... Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей... Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый.

— Откуда тебе это известно?

— Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.

— Зачем?

— Ты разузнаешь там... У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу...

— Не поеду я в Харьков,— говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.

— Ради бога, Николай Степаныч! — умоляет она меня, всхлипывая.— Ради бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мне становится больно глядеть на нее.

— Хорошо, Варя,— говорю я ласково.— Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.

Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь... Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?

Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.

III

По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.

— А ты все лежишь,— говорю я, помолчав немного и отдохнув.— Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!

— А?

— Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.

— Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.

— Ну, что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.

Молчит.

— Замуж бы выходила,— говорю я полушутя.

— Не за кого. Да и незачем.

— Так жить нельзя.

— Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.

— Это, Катя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вот то, что ты сейчас сказала.

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:

— Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

— Вот... Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.

— Плохо дело, моя милая! — начинаю я со вздохом.— Очень плохо...

— Что такое?

— Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только

«Унтер Пришибеев»

советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил — я ведь болен и каждый день теряю в весе,— то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными...

— Болезнь тут ни при чем,— перебивает меня Катя.— Просто у вас открылись глаза; вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

— Ты говоришь нелепости.

— Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожества! Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.

Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.

— Ничтожества! — повторяет она.— Вы обедали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?

— Катя,— говорю я строго,— прошу тебя замолчать.

— А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше.

— Что за вздор! А университет?

— И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

— Боже мой, как ты резка! — ужасаюсь я.— Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!

Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.

— Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду...— рассказываю я.— Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки... Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины — одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.

Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:

— Это, должно быть, Михаил Федорович.

И в самом деле, через минуту входит мой товарищ-филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет пятидесяти, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старин-

ной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.

Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:

— Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить, это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.

— Ох, господи! — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями.— Бывают же на свете такие комики!

— А что? — спрашивает Катя.

— Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN... Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня — теперь погиб, пропало дело...

И так далее в таком роде. Или же он начинает так:

— Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как это наша alma mater [1], не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю... Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с тою, какая бывает у нас в

[1] мать-кормилица *(лат.)*.— Так в старину называли высшую школу люди, ее окончившие.— *Ред.*

актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее черт взял.

И тотчас же резкий переход:

— Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками — просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава богу, осталось еще только десять страниц». А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам! Назло! Взял и прочел все четыре страницы.

Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан или выслушивает ее замечание, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое...

Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее все-таки, раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет.

За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

— Наука, слава богу, отжила свой век,— говорит Михаил Федорович с расстановкой.— Ее песня уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена

предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли?

— И мухи не знают науки,— говорю я,— но что же из этого?

— Вы напрасно сердитесь, Николай Степаныч. Я ведь это говорю здесь, между нами... Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси бог! В массе живет предрассудок, что науки и искусства выше земледелия, торговли, выше ремесл. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его. Спаси бог!

За пасьянсом достается на орехи и молодежи.

— Измельчала нынче наша публика,— вздыхает Михаил Федорович.— Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколенье».

— Да, ужасно измельчали,— соглашается Катя.— Скажите, в последние пять — десять лет был ли у вас хоть один выдающийся?

— Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.

— Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров... Что ж? Ни разу не сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуто претензиями...

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможною определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.

Я старик, служу уже тридцать лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится,

что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски; не дальше, как вчера, мой товарищ-гигиенист жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно незнакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Эпиктет или Паскаль, и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер (например, переселенческий), они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до сорока лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д. и т. д. ...

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, преходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий; достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые, в свою очередь, будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с тою радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.

— Уморительные попадаются субъекты,— говорит Михаил Федорович.— Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза, из ваших же медиков, третьего курса, кажется. Лицо этакое.., в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыс-

лия. Разговорились. «Такие-то дела, говорю, молодой человек. Читал я, говорю, что какой-то немец — забыл его фамилию — добыл из человеческого мозга новый алколоид идиотин». Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил: знай, мол, наших! А то намедни прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два: один «из насих» и, по-видимому, юрист, другой лохматый — медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену — ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» — «Благородно»,— отвечает «из насих». «Брраво! — орет медик.— Бла-а-родно. Браво!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.

А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный: вдыхания быстро и ритмически правильно чередуются с выдыханиями — похоже на то, как будто она играет на гармонике — и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу:

— Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора: одиннадцатый час.

— А я еще посижу немножко,— говорит Михаил Федорович.— Позволяете, Екатерина Владимировна?

— Позволяю,— отвечает Катя.

— Bene [1]. В таком случае прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожают меня со свечами в переднюю, и, пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит:

— В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?

— Да, болен немножко.

— И не лечится...— угрюмо вставляет Катя.

— Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженого, милый человек, бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях, перед отъездом за границу, приду проститься. Непременно! На будущей неделе уезжаю.

Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я

[1] Хорошо *(лат.)*.

воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия...» И это лишит меня последней надежды.

У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам; когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это.

Покрыто ли небо тучами или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, ярки, поразительны... Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю:

«Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней.

Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом — бессонница...

IV

Наступает лето, и жизнь меняется.

В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном:

— Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями.

Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без но; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние десять — пятнадцать лет: ни одной замечательной, и не обойдешься без но. Умно, благородно, но неталантливо; талантливо, благородно, но неумно, или, наконец,— талантливо, умно, но неблагородно.

Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности... Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества.

Все это относится к так называемой изящной словесности.

Что же касается русских серьезных статей, например, по со-

циологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, уменье с достоинством переливать из пустого в порожнее — все это для меня непонятно, страшно и все это не похоже на скромность и джентльменски-покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей — врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и sic [1] в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд; в антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же, наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, ultima ratio! [2] Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние десять — пятнадцать лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.

Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны зубцы моего палисадника, два-три тощих

---

[1] так *(лат.)*.

[2] последний довод! *(лат.)*

деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гляди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.

Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою.

— Что скажешь? — спрашиваю я, выходя к нему в сени.

— Ваше превосходительство! — говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного.— Ваше превосходительство! Накажи меня бог! Убей гром на этом месте! Гаудеамус игитур ювенестус! [1]

И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.

— Все у нас там благополучно? — спрашиваю я его.

— Ваше превосходительство! Как перед истинным...

Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам специально затем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол; и все время он тихим, ровным голоском, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сделал открытие, другой — немец — уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий — тоже немец — перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто Пти, а непременно Жан-Жак Пти. Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда

---

[1] Искаженное начало старинной студенческой песни: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus» — «Будем веселиться, пока молоды» *(лат.)*.

он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится; ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.

При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею... Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «Уйди, уйди, уйди...» Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит...

Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли: «Очень возможно, что, когда я умру, его назначат на мое место»,— и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает, по обычаю, превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:

— Ослы ваши немцы...

Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик!»

Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды, я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:

Орлам случается и ниже кур спускаться,
Но курам никогда до облак не подняться...

И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечает на мои колкости снисходительным молчанием (спятил, мол, старик — что с ним разговаривать?) или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек! Я в состоянии в про-

должение всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их, — и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле!

Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне ни совестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда.

Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит, по обыкновению, жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнеккер.

— Хорошо, съезжу...— соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит:

— Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя... Извини, Николай Степаныч, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе... К тому же у нее такая репутация, что...

Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим, отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнеккер, потом Егор...

— Оставьте меня! — кричу я.— Вон! Оставьте!

Ноги мои немеют, точно их нет совсем, я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три.

Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером, и этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера... Часто я спрашиваю ее:

— Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?

— Там увидим,— отвечает она.

— Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом.

— Об этом вы уже говорили мне. Знаю.

Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасною, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью и приятно, что погода хороша и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей.

— Вы очень хороший человек, Николай Степаныч,— говорит она.— Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?

Она минуту думает и спрашивает меня:

— Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?

— Да,— отвечаю я.

— Гм... Что же мне делать?

Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.

Мои товарищи-терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.

Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:

— У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?

— Не могу.

— Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству...

— Не лукавьте, Николай Степаныч,— перебивает меня Катя.— Давайте раз навсегда условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы пре-

красный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще... я не люблю этих разговоров об искусстве! — продолжает она нервно.— Не люблю! И так уж опошлили его, благодарю покорно!

— Кто опошлил?

— Те опошлили его пьянством, газеты — фамильярным отношением, умные люди — философией.

— Философия тут ни при чем.

— При чем. Если кто философствует, то это значит, что он не понимает.

Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю:

— Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?

— Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! — вскрикивает она и вдруг вся краснеет.— Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это... это вам нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и... и много самолюбия! Вот!

Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи.

Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас.

— Опять этот Михаил Федорыч! — говорит Катя с досадой.— Уберите его от меня, пожалуйста! Надоел, выдохся... Ну его!

Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли кое-какие перемены: он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают седеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным мотивировать свой приезд какою-нибудь очевидною нелепостью, вроде: «Ехал мимо по делу и дай, думаю, заеду на минуту».

Все трое мы идем в комнаты; сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разго-

воров у нас не новы, все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру; воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный, дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы: хе-хе-хе...

V

Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни...

Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево.

Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса; на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать...

Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке, и все это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина.

Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне.

Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду... Спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь, и такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку...

— Киви-киви! — раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это: в моей груди или на улице?

— Киви-киви!

Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно; оттого

ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще не изведанная боль?

Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется... Прислушиваюсь. Немного погодя на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.

— Кто там? — кричу я.

Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы.

— Ты не спишь, Николай Степаныч? — спрашивает она.

— Что тебе?

— Ради бога, сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается...

— Хорошо... с удовольствием...— бормочу я, очень довольный тем, что я не один.— Хорошо... Сию минуту.

Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата, я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. «Сейчас умру здесь, на этой лестнице,— думаю я.— Сейчас...» Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет.

— Ах, боже мой... ах, боже мой! — бормочет она, жмурясь от нашей свечи.— Не могу, не могу...

— Лиза, дитя мое,— говорю я.— Что с тобой?

Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.

— Папа мой добрый...— рыдает она,— папа мой хороший... Крошечка мой, миленький... Я не знаю, что со мною... Тяжело!

Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком.

— Успокойся, дитя мое, бог с тобой,— говорю я.— Не нужно плакать. Мне самому тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей.

— Да помоги же ей, помоги! — умоляет жена.— Сделай что-нибудь!

Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать:

— Ничего, ничего... Это пройдет... Спи, спи...

Как нарочно, в нашем дворе раздается вдруг собачий вой, сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой.

«Пустяки...— думаю я.— Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке, вот и все... Этой передачей объясняются предчувствия, предвидения...»

Когда я немного погодя возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжко, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать, и все-таки стою...

Тишина мертвая, такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли... Рассвет еще не скоро.

Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну.

— Николай Степаныч! — слышу я шепот.— Николай Степаныч!

Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон: под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное, подбородок дрожит.

— Это я...— говорит она.— Я... Катя!

При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными, люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту.

— Что тебе?

— Простите,— говорит она.— Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело... Я не выдержала и поехала сюда... У вас в окне свет, и... и я решила постучать... Извините... Ах, если б вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?

— Ничего... Бессонница.

— У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки.

Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно не виданным выражением доверчивости.

— Николай Степаныч! — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки.— Дорогой мой, прошу вас... умоляю... Если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите от меня мои деньги!

— Ну, вот еще что выдумала! На что мне твои деньги?

— Вы поедете куда-нибудь лечиться... Вам нужно лечиться. Возьмете? Да? Голубчик, да?

Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет:

— Да? Возьмете?

— Нет, мой друг, не возьму...— говорю я.— Спасибо.

Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах.

— Поезжай домой спать,— говорю я.— Завтра увидимся.

— Значит, вы не считаете меня своим другом? — спрашивает она уныло.

— Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны.

— Извините...— говорит она, понизив голос на целую октаву.— Я понимаю вас... Одолжаться у такого человека, как я... у отставной актрисы... Впрочем, прощайте...

И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей прощай.

VI

Я в Харькове.

Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны хотя с формальной стороны; если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так оравнодушел ко всему, что мне положительно все равно, куда ни ехать, в Харьков, в Париж ли, или в Бердичев.

Приехал я сюда часов в двенадцать дня и остановился в гостинице, недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду tic'a. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы.

Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на пять и задаю

ему несколько вопросов насчет Гнеккера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, знает этот город, как свои пять пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнеккера. Расспрашиваю насчет имений — то же самое.

В коридоре часы бьют час, потом два, потом три... Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностию времени, как теперь. Прежде, бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверть часа кажутся вечностью, теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь, и послезавтра...

В коридоре бьет пять часов, шесть, семь... Становится темно.

В щеке тупая боль — это начинается tic. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю: зачем я, знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком нумере, на этой кровати с чужим серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве все это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в «Ниве» и во «Всемирной иллюстрации», свою биографию я читал даже в одном немецком журнале — и что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку... Семейные дрязги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях — все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина; во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но все это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве... В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло.

Часов в десять я засыпаю и, несмотря на tic, сплю крепко

и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале второго часа вдруг раздается стук в дверь.

— Кто там?

— Телеграмма!

— Могли бы и завтра,— сержусь я, получая от коридорного телеграмму.— Теперь уж я не усну в другой раз.

— Виноват-с. У вас огонь горит, я думал, что вы не спите.

Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: от жены. Что ей нужно?

«Вчера Гнеккер тайно обвенчался с Лизой. Возвратись».

Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть.

Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чем думать? Кажется, все уж передумано и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.

Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колена, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совет; жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.

Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека.

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.

При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеют значение только симптома, и больше ничего.

Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет.

Утром коридорный приносит мне чай и нумер местной газеты. Машинально я прочитываю объявления на первой странице, передовую, выдержки из газет и журналов, хронику... Между прочим, в хронике я нахожу такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице».

Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову; месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце,— и это в то время, когда я буду уж покрыт мохом...

Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен.

— Кто там? Войдите!

Дверь отворяется, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоит Катя.

— Здравствуйте,— говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице.— Не ожидали? Я тоже... тоже сюда приехала.

Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехала... сегодня... Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам.

— Очень рад видеть тебя,— говорю я, пожимая плечами,— но я удивлен... Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?

— Я? Так... просто взяла и приехала.

Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне.

— Николай Степаныч! — говорит она, бледнея и сжимая на груди руки.— Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить!

Не могу! Ради истинного бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?

— Что же я могу сказать? — недоумеваю я.— Ничего я не могу.

— Говорите же, умоляю вас! — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом.— Клянусь вам, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет!

Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.

— Помогите мне! Помогите! — умоляет она.— Не могу я дольше!

Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страстн...».

— Ничего я не могу сказать тебе, Катя,— говорю я.

— Помогите! — рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее.— Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?

— По совести, Катя: не знаю...

Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах.

— Давай, Катя, завтракать,— говорю я, натянуто улыбаясь.— Будет плакать!

И тотчас же я прибавляю упавшим голосом:

— Меня скоро не станет, Катя...

— Хоть одно слово, хоть одно слово! — плачет она, протягивая ко мне руки.— Что мне делать?

— Чудачка, право...— бормочу я.— Не понимаю! Такая умница и вдруг — на тебе! расплакалась...

Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку — и все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово... Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!

— Давай, Катя, завтракать,— говорю я.

— Нет, благодарю,— отвечает она холодно.

Еще одна минута проходит в молчании.

— Не нравится мне Харьков,— говорю я.— Серо уж очень. Какой-то серый город.

— Да, пожалуй... Некрасивый... Я ненадолго сюда... Мимоездом. Сегодня же уеду.

— Куда?

— В Крым... то есть на Кавказ.

— Так. Надолго?

— Не знаю.

Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку.

Мне хочется спросить: «Значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей... Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется.

Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!

1889

ГУСЕВ

I

Уже потемнело, скоро ночь.

Гусев, бессрочно-отпускной рядовой, приподнимается на койке и говорит вполголоса:

— Слышишь, Павел Иваныч? Мне один солдат в Сучане сказывал: ихнее судно, когда они шли, на рыбину наехало и днище себе проломило.

Человек неизвестного звания, к которому он обращается и которого все в судовом лазарете зовут Павлом Иванычем, молчит, как будто не слышит.

И опять наступает тишина... Ветер гуляет по снастям, стучит винт, хлещут волны, скрипят койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо, и кажется, что все кругом спит и безмолвствует. Скучно. Те трое больных — два солдата и один матрос, — которые весь день играли в карты, уже спят и бредят.

Кажется, начинает покачивать. Койка под Гусевым медленно поднимается и опускается, точно вздыхает — и этак раз, другой, третий... Что-то ударилось о пол и зазвенело: должно быть, кружка упала.

— Ветер с цепи сорвался...— говорит Гусев, прислушиваясь.

На этот раз Павел Иваныч кашляет и отвечает раздраженно:

— То у тебя судно на рыбу наехало, то ветер с цепи сорвался... Ветер зверь, что ли, что с цепи срывается?

— Так крещеные говорят.

— И крещеные такие же невежды, как ты... Мало ли чего они ни говорят? Надо свою голову иметь на плечах и рассуждать. Бессмысленный человек.

Павел Иваныч подвержен морской болезни. Когда качает, он обыкновенно сердится и приходит в раздражение от малейшего пустяка. А сердиться, по мнению Гусева, положительно не на что. Что странного или мудреного, например, хоть в рыбе или в ветре, который срывается с цепи? Положим, что рыба величиной с гору и что спина у нее твердая, как у осетра; также положим, что там, где конец света, стоят толстые каменные стены, а к стенам прикованы злые ветры... Если они не сорвались с цепи, то почему же они мечутся по всему морю как угорелые и рвутся, словно собаки? Если их не приковывают, то куда же они деваются, когда бывает тихо?

Гусев долго думает о рыбах, величиною с гору, и о толстых, заржавленных цепях, потом ему становится скучно, и он начинает думать о родной стороне, куда теперь возвращается он после пятилетней службы на Дальнем Востоке. Рисуется ему громадный пруд, занесенный снегом... На одной стороне пруда фарфоровый завод кирпичного цвета, с высокой трубой и с облаками черного дыма; на другой стороне — деревня... Из двора, пятого с краю, едет в санях брат Алексей; позади него сидят сынишка Ванька, в больших валенках, и девчонка Акулька, тоже в валенках. Алексей выпивши, Ванька смеется, а Акулькина лица не видать — закуталась.

«Не ровен час, детей поморозит...»— думает Гусев.— Пошли им, господи,— шепчет он,— ума-разума, чтоб родителей почитали и умней отца-матери не были...

— Тут нужны новые подметки,— бредит басом больной матрос.— Да, да!

Мысли у Гусева обрываются, и вместо пруда вдруг ни к селу ни к городу показывается большая бычья голова без глаз, а лошадь и сани уж не едут, а кружатся в черном дыму. Но он все-таки рад, что повидал родных. Радость захватывает у него дыхание, бегает мурашками по телу, дрожит в пальцах.

— Привел господь повидаться!— бредит он, но тотчас же открывает глаза и ищет в потемках воду.

Он пьет и ложится, и опять едут сани, потом опять бычья голова без глаз, дым, облака... И так до рассвета.

II

Сначала в потемках обозначается синий кружок — это круглое окошечко; потом Гусев мало-помалу начинает различать своего соседа по койке, Павла Иваныча. Этот человек спит сидя, так как в лежачем положении он задыхается. Лицо у него серое, нос длинный, острый, глаза, оттого что он страшно исхудал, громадные; виски впали, борода жиденькая, волосы на голове длинные... Глядя на лицо, никак не поймешь, какого он звания: барин ли, купец или мужицкого звания? Судя по выражению и длинным волосам, он как будто бы постник, монастырский послушник, а прислушаешься к его словам — выходит, как будто бы и не монах. От кашля, духоты и от своей болезни он изнемог, тяжело дышит и шевелит высохшими губами. Заметив, что Гусев глядит на него, он поворачивается к нему лицом и говорит:

— Я начинаю догадываться... Да... Я теперь отлично все понимаю.

— Что вы понимаете, Павел Иваныч?

— А вот что... Мне все казалось странным, как это вы, тяжелобольные, вместо того чтобы находиться в покое, очутились на пароходе, где и духота, и жар, и качка — все, одним словом, угрожает вам смертью, теперь же для меня все ясно... Да... Ваши доктора сдали вас на пароход, чтобы отвязаться от вас. Надоело с вами возиться, со скотами... Денег вы им не платите, возня с вами, да и отчетность своими смертями портите — стало быть, скоты! А отделаться от вас нетрудно... Для этого нужно только, во-первых, не иметь совести и человеколюбия и, во-вторых, обмануть пароходное начальство. Первое условие можно хоть и не считать, в этом отношении мы артисты, а второе всегда удается при некотором навыке. В толпе четырехсот здоровых солдат и матросов пять больных не бросаются в глаза; ну, согнали вас на пароход, смешали со здоровыми, наскоро сосчитали и в суматохе ничего дурного не заметили, а когда пароход отошел, то и увидели: на палубе валяются параличные да чахоточные в последнем градусе...

Гусев не понимает Павла Иваныча; думая, что ему делают выговор, он говорит в свое оправдание:

— Я лежал на палубе потому, что сил не было; когда нас из баржи на пароход выгружали, я шибко озяб.

— Возмутительно! — продолжает Павел Иваныч.— Главное, отлично ведь знают, что вы не перенесете этого далекого перехода, а все-таки сажают вас сюда! Ну, положим, до Индейского океана вы дойдете, а потом что? Страшно подумать... И это благодарность за верную, беспорочную службу!

Павел Иваныч делает злые глаза, брезгливо морщится и говорит, задыхаясь:

— Вот бы кого в газетах расщелкать так, чтобы перья посыпались!

Больные два солдата и матрос проснулись и уже играют в карты. Матрос полулежит на койке, солдаты сидят возле на полу и в самых неудобных позах. У одного солдата правая рука в повязке и на кисти наворочена целая шапка, так что карты держит он в правой подмышке или в локтевом сгибе, а ходит левой рукой. Сильно качает. Нельзя ни встать, ни чаю напиться, ни лекарства принять.

— Ты в денщиках служил? — спрашивает Павел Иваныч у Гусева.

— Точно так, в денщиках.

— Боже мой, боже мой! — говорит Павел Иваныч и печально покачивает головой.—Вырвать человека из родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом вогнать в чахотку и... и для чего все это, спрашивается? Для того, чтоб сделать из него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или мичмана Дырки. Как много логики!

— Дело нетрудное, Павел Иваныч. Встанешь утром, сапоги почистишь, самовар поставишь, комнаты уберешь, а потом и делать нечего. Поручик целый день планты чертит, а ты хочешь — богу молись, хочешь — книжки читай, хочешь — на улицу ступай. Дай бог всякому такой жизни.

— Да, очень хорошо! Поручик планты чертит, а ты весь день на кухне сидишь и по родине тоскуешь... Планты... Не в плантах дело, а в жизни человеческой! Жизнь не повторяется, щадить ее нужно.

— Оно конечно, Павел Иваныч, дурному человеку нигде пощады нет, ни дома, ни на службе, но ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать? Господа образованные, понимают... За пять лет я ни разу в карцере не сидел, а бит был, дай бог память, не больше одного раза...

— За что?

— За драку. У меня рука тяжелая, Павел Иваныч. Вошли к нам во двор четыре манзы; дрова носили, что ли — не помню. Ну, мне скучно стало, я им того, бока помял, у одного, проклятого, из носа кровь пошла... Поручик увидел в окошко, осерчал и дал мне по уху.

— Глупый, жалкий ты человек...— шепчет Павел Иваныч.— Ничего ты не понимаешь.

Он совсем изнемог от качки и закрыл глаза; голова у него то откидывается назад, то опускается на грудь. Несколько раз пробует он лечь, но ничего у него не выходит: мешает удушье.

— А за что ты четырех манз побил?— спрашивает он немного погодя.

— Так. Во двор вошли, я и побил.

И наступает тишина... Картежники играют часа два, с азартом и с руганью, но качка утомляет и их; они бросают карты и ложатся. Опять рисуется Гусеву большой пруд, завод, деревня... Опять едут сани, опять Ванька смеется, а Акулька-дура распахнула шубу и выставила ноги: глядите, мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новые.

— Шестой годочек пошел, а все еще разума нет! — бредит Гусев.— Заместо того чтобы ноги задирать, поди-кась дядьке служивому напиться принеси. Гостинца дам.

Вот Андрон с кремневым ружьем на плече несет убитого зайца, а за ним идет дряхлый жид Исайчик и предлагает ему променять зайца на кусок мыла; вот черная телочка в сенях, вот Домна рубаху шьет и о чем-то плачет, а вот опять бычья голова без глаз, черный дым...

Наверху кто-то громко крикнул, пробежало несколько матросов; кажется, протащили по палубе что-то громоздкое или что-то треснуло. Опять пробежали. Уж не случилось ли несчастье? Гусев поднимает голову, прислушивается и видит: два солдата и матрос опять играют в карты; Павел Иваныч сидит и шевелит губами. Душно, нет сил дышать, пить хочется, а вода теплая, противная... Качка не унимается.

Вдруг с солдатом-картежником делается что-то странное... Он называет черви бубнами, путается в счете и роняет карты, потом испуганно и глупо улыбается и обводит всех глазами.

— Я сейчас, братцы...— говорит он и ложится на пол.

Все в недоумении. Его окликают, он не отзывается.

— Степан, может, тебе нехорошо? а? — спрашивает другой солдат с повязкой на руке.— Может, попа призвать? а?

— Ты, Степан, воды выпей...— говорит матрос.— На, братишка, пей.

— Ну, что ты его по зубам кружкой колотишь? — сердится Гусев.— Нешто не видишь, голова садовая?

— Что?

— Что! — передразнивает Гусев.— В нем дыхания нет, помер! Вот тебе — и что! Экий народ неразумный, господи ты боже мой!..

III

Качки нет, и Павел Иваныч повеселел. Он уже не сердится. Выражение лица у него хвастливое, задорное и насмешливое. Он как будто хочет сказать: «Да, сейчас я скажу вам такую штуку, что вы все от смеха животы себе порвете». Круглое окошечко открыто, и на Павла Иваныча дует мягкий ветерок. Слышны голоса, шлепанье весел о воду... Под самым окошечком кто-то завывает тоненьким, противным голоском: должно быть, китаец поет.

— Да, вот мы и на рейде,— говорит Павел Иваныч, насмешливо улыбаясь.— Еще какой-нибудь один месяц, и мы в России. Нда-с, многоуважаемые господа солдафоны. Приеду в Одессу, а оттуда прямо в Харьков. В Харькове у меня литератор приятель. Приду к нему и скажу: ну, брат, оставь на время свои гнусные сюжеты насчет бабьих амуров и красот природы и обличай двуногую мразь... Вот тебе темы...

Минуту он думает о чем-то, потом говорит:

— Гусев, а ты знаешь, как я надул их?

— Кого, Павел Иваныч?

— Да этих самых. Понимаешь ли, тут на пароходе существуют только первый и третий классы, причем в третьем классе дозволяется ехать одним только мужикам, то есть хамам. Если же ты в пиджаке и хоть издали похож на барина или на буржуа, то изволь ехать в первом классе. Хоть тресни, а выкладывай пятьсот рублей. К чему, спрашиваю, завели вы такой порядок? Уж не хотите ли поднять этим престиж российской интеллигенции? «Нисколько. Не пускаем вас просто потому, что в третьем классе нельзя ехать порядочному человеку: уж очень там скверно и безобразно». Да-с? Благодарю, что так заботитесь о порядочных людях. Но, во всяком случае, скверно там или хорошо, а пятисот рублей у меня нет. Казны я не грабил, инородцев не эксплуатировал, контрабандой не занимался, никого не запорол до смерти, а потому судите: имею ли я право восседать в первом классе, а тем паче причислять себя к российской интеллигенции? Но их логикой не проймешь... Пришлось прибегнуть к надувательству. Надел я чуйку и большие сапоги, состроил пьяную хамскую рожу и иду к агенту: «Давай, говорю, ваше высокоблагородие, билетишко...»

— А вы сами какого звания? — спрашивает матрос.

— Духовного. Мой отец был честный поп. Всегда говорил великим мира сего правду в глаза и за это много страдал.

Павел Иваныч утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжает:

— Да, я всегда говорю в лицо правду... Я никого и ничего не боюсь. В этом отношении между мной и вами — разница громадная. Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вам говорят, что ветер с цепи срывается, что вы скоты, печенеги, вы и верите; по шее вас бьют, вы ручку целуете; ограбит вас какое-нибудь животное в енотовой шубе и потом швырнет вам пятиалтынный на чай, а вы: «Пожалуйте, барин, ручку». Парии вы, жалкие люди... Я же другое дело. Я живу сознательно, я все вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и все понимаю. Я воплощенный протест. Вижу произвол — протестую, вижу ханжу и лицемера — протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Да... Отрежь мне язык — буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб — буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня — буду являться тенью. Все знакомые говорят мне: «Невыносимейший вы человек, Павел Иваныч!» Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался. Приятели пишут из России: «Не приезжай». А я вот возьму да назло и приеду... Да... Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью.

Гусев не слушает и смотрит в окошечко. На прозрачной, нежно-бирюзовой воде, вся залитая ослепительным, горячим солнцем, качается лодка. В ней стоят голые китайцы, протягивают вверх клетки с канарейками и кричат:

— Поет! Поет!

О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лодка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис. Лениво колышется вода, лениво носятся над нею белые чайки.

«Вот этого жирного по шее бы смазать...» — думает Гусев, глядя на толстого китайца и зевая.

Он дремлет, и кажется ему, что вся природа находится в дремоте. Время бежит быстро. Незаметно проходит день, незаметно наступают потемки... Пароход не стоит уж на месте, а идет куда-то дальше.

IV

Проходит два дня. Павел Иваныч уже не сидит, а лежит; глаза у него закрыты, нос стал как будто острее.

— Павел Иваныч! — окликает его Гусев.— А, Павел Иваныч!

Павел Иваныч открывает глаза и шевелит губами.

— Вам нездорово?

— Ничего...— отвечает Павел Иваныч, задыхаясь.— Ничего, даже, напротив... лучше... Видишь, я уже и лежать могу... Полегчало...

— Ну, и слава богу, Павел Иваныч.

— Как сравнишь себя с вами, жалко мне вас... бедняг. Легкие у меня здоровые, а кашель это желудочный... Я могу перенести ад, не то что Красное море! К тому же я отношусь критически и к болезни своей, и к лекарствам. А вы... вы темные... Тяжело вам, очень, очень тяжело!

Качки нет, тихо, но зато душно и жарко, как в бане; не только говорить, но даже слушать трудно. Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной стороне. Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде! Едешь на санях; вдруг лошади испугались чего-то и понесли... Не разбирая ни дорог, ни канав, ни оврагов, несутся они как бешеные по всей деревне, через пруд, мимо завода, потом по полю... «Держи!— кричат во все горло заводские и встречные.— Держи!» Но зачем держать! Пусть резкий, холодный ветер бьет в лицо и кусает руки, пусть комья снега, подброшенные копытами, падают на шапку, за воротник на шею, на грудь, пусть визжат полозья и обрываются постромки и вальки, черт с ними совсем! А какое наслаждение, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху в сугроб, прямо лицом в снег, а потом встанешь весь белый, с сосульками на усах; ни шапки, ни рукавиц, пояс развязался... Люди хохочут, собаки лают...

Павел Иваныч открывает наполовину один глаз, глядит им на Гусева и спрашивает тихо:

— Гусев, твой командир крал?

— А кто ж его знает, Павел Иваныч! Мы не знаем, до нас не доходит.

И затем много времени проходит в молчании. Гусев думает, бредит и то и дело пьет воду; ему трудно говорить, трудно слушать, и боится он, чтоб с ним не заговорили. Проходит час, другой, третий; наступает вечер, потом ночь, но он не замечает этого, а все сидит и думает о морозе.

Слышно, как будто кто вошел в лазарет, раздаются голоса, но проходит минут пять, и все смолкает.

— Царство небесное, вечный покой,— говорит солдат с повязкой на руке.— Неспокойный был человек!

— Что? — спрашивает Гусев.— Кого?

— Помер. Сейчас наверх унесли.

— Ну, что ж,— бормочет Гусев, зевая.— Царство небесное.

— Как по-твоему, Гусев? — спрашивает после некоторого молчания солдат с повязкой. — Будет он в царстве небесном или нет?

— Про кого ты?

— Про Павла Иваныча.

— Будет... мучился долго... И то взять, из духовного звания, а у попов родни много. Замолят.

Солдат с повязкой садится на койку к Гусеву и говорит вполголоса:

— И ты, Гусев, не жилец на этом свете. Не доедешь ты до России.

— Нешто доктор или фельдшер сказывал? — спрашивает Гусев.

— Не то чтобы кто сказывал, а видать... Человека, который скоро помрет, сразу видно. Не ешь ты, не пьешь, исхудал — глядеть страшно. Чахотка, одним словом. Я говорю не для того, чтобы тебя тревожить, а к тому, может, ты захочешь причаститься и собороваться. А ежели у тебя деньги есть, то сдал бы ты их старшему офицеру.

— Я домой не написал...— вздыхает Гусев.— Помру, и не узнают.

— Узнают, — говорит басом больной матрос. — Когда помрешь, здесь запишут в вахтенный журнал, в Одессе дадут воинскому начальнику выписку, а тот пошлет в волость или куда там...

Гусеву становится жутко от такого разговора, и начинает его томить какое-то желание. Пьет он воду — не то; тянется к круглому окошечку и вдыхает горячий влажный воздух — не то; старается думать о родной стороне, о морозе — не то... Наконец ему кажется, что если он еще хоть одну минуту пробудет в лазарете, то непременно задохнется.

— Тяжко, братцы...— говорит он.— Я пойду наверх. Сведите меня, ради Христа, наверх!

— Ладно,— соглашается солдат с повязкой.— Ты не дойдешь, я тебя снесу. Держись за шею.

Гусев обнимает солдата за шею, тот обхватывает его здоровою рукою и несет наверх. На палубе вповалку спят бессрочно-отпускные солдаты и матросы; их так много, что трудно пройти.

— Становись наземь,— говорит тихо солдат с повязкой.— Иди за мной потихоньку, держись за рубаху...

«Тоска»

Темно. Нет огней ни на палубе, ни на мачтах, ни кругом на море. На самом носу стоит неподвижно, как статуя, часовой, но похоже на то, как будто и он спит. Кажется, что пароход предоставлен собственной воле и идет, куда хочет.

— В море теперь Павла Иваныча бросят...— говорит солдат с повязкой.— В мешок да в воду.

— Да. Порядок такой.

— А дома в земле лучше лежать. Все хоть мать придет на могилку да поплачет.

— Известно.

Запахло навозом и сеном. Понурив головы, стоят у борта быки. Раз, два, три... восемь штук! А вот и маленькая лошадка. Гусев протягивает руку, чтобы приласкать ее, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочет укусить его за рукав.

— Прроклятая...— сердится Гусев.

Оба, он и солдат, тихо пробираются к носу, потом становятся у борта и молча глядят то вверх, то вниз. Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и тишина — точь-в-точь как дома в деревне, внизу же — темнота и беспорядок. Неизвестно, для чего шумят высокие волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит, и гонит другую; на нее с шумом, отсвечивая своей белой гривой, налетает третья, такая же свирепая и безобразная.

У моря нет ни смысла, ни жалости. Будь пароход поменьше и сделан не из толстого железа, волны разбили бы его без всякого сожаления и сожрали бы всех людей, не разбирая святых и грешных. У парохода тоже бессмысленное и жестокое выражение. Это носатое чудовище прет вперед и режет на своем пути миллионы волн; оно не боится ни потемок, ни ветра, ни пространства, ни одиночества, ему все нипочем, и если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы их, не разбирая тоже святых и грешных.

— Где мы теперь? — спрашивает Гусев.

— Не знаю. Должно, в океане.

— Не видать земли...

— Где ж! Говорят, только через семь дней увидим.

Оба солдата смотрят на белую пену, отсвечивающую фосфором, молчат и думают. Первый нарушает молчание Гусев.

— А ничего нету страшного,— говорит он.— Только жутко, словно в темном лесу сидишь, а ежели б, положим, спустили сейчас на воду шлюпку и офицер приказал ехать за сто верст в море рыбу ловить — поехал бы. Или, скажем, крещеный упал бы сейчас в воду — упал бы и я за им. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещеным полез бы.

— А помирать страшно?

— Страшно. Мне хозяйства жалко. Брат у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьет, родителей не почитает. Без меня все пропадет, и отец со старухой, гляди, по миру пойдут. Одначе, брат, ноги у меня не стоят, да и душно тут... Пойдем спать.

V

Гусев возвращается в лазарет и ложится на койку. По-прежнему томит его неопределенное желание, и он никак не может понять, что ему нужно. В груди давит, в голове стучит, во рту так сухо, что трудно пошевельнуть языком. Он дремлет и бредит и, замученный кошмарами, кашлем и духотой, к утру крепко засыпает. Снится ему, что в казарме только что вынули хлеб из печи, а он залез в печь и парится в ней березовым веником. Спит он два дня, а на третий в полдень приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета.

Его зашивают в парусину и, чтобы он стал тяжелее, кладут вместе с ним два железных колосника. Зашитый в парусину, он становится похожим на морковь или редьку: у головы широко, к ногам узко... Перед заходом солнца выносят его на палубу и кладут на доску; один конец доски лежит на борте, другой на ящике, поставленном на табурете. Вокруг стоят бессрочно-отпускные и команда без шапок.

— Благословен бог наш,— начинает священник,— всегда, ныне и присно и во веки веков!

— Аминь! — поют три матроса.

Бессрочно-отпускные и команда крестятся и поглядывают в сторону на волны. Странно, что человек зашит в парусину и что он полетит сейчас в волны. Неужели это может случиться со всяким?

Священник посыпает Гусева землей и кланяется. Поют «Вечную память».

Вахтенный приподнимает конец доски, Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом перевертывается в воздухе и — бултых! Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение — и он исчезает в волнах.

Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен восемь — десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уже несется в сторону быстрее, чем вниз.

Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лоцманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через минуту они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду...

После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцманы в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.

А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой средины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с этим золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно.

1890

ПОПРЫГУНЬЯ

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой — прозектором. Ежедневно от девяти часов утра до полудня он принимал больных и занимался

у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет двадцати пяти, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов,— среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами.

— Нет, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку.— Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертво-

вания! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг — здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг — бац! — сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! — крикнула она мужу.— Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

— Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

II

Ольге Ивановне было двадцать два года, Дымову тридцать один. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояле или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь

знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей — приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук — все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек,— говорила она,— но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку и живопись.

— Я не понимаю их,— говорил он кротко.— Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

— Но ведь это ужасно, Дымов!

— Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.

— Дай я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

— Милый мой метрдотель! — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга.— Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

— Мне не везет, мама! — сказал он однажды за обедом.—

Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь, без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещавшая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как непременный член сосьете[1], будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

— Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.

III

На второй день троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.

Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными

[1] общества (от *франц.* société).

щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий, совсем бритый и толстый, по-видимому — актер. На столе кипел самовар.

— Что вам угодно? — спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова.— Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

— Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.

— Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости.— Дымов! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки.— Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

— Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит.

— Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба,— продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук.— Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе... Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты... понимаешь, роща, пение птиц, солнечные пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? — сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо.— У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там

в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять их, потом я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо,— сказал Дымов.— Я завтра поеду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением.— Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в девять часов, а венчание в одиннадцать. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ах, как мне жаль тебя отпускать,— сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах.— И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью — зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она не мигая долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала

она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

— Становится свежо,— сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально:

— Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?

Он все время глядел на нее не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю вас...— шептал он, дыша ей на щеку.— Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство...— бормотал он в сильном волнении.— Любите меня, любите...

— Не говорите так,— сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.— Это страшно. А Дымов?

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил,— думала она, закрывая лицо руками.— Пусть осуждают *там*, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя.— Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро огляпулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.

— К Кинешме подходим! — сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

— Послушайте,— сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья,— принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

— Я устал.

И прислонился головою к борту.

V

Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все, все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! Голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по семьдесят пять рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный

человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до двадцатого сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!

— Боже мой,— простонал Рябовский,— когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..

— А у тебя есть этюд при облачном небе,— сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки.— Помнишь, на правом плане лес, а на левом — стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.

— Э! — поморщился художник.— Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!

— Как ты ко мне переменился! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.

— Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.

— Тысячи причин! — всхлипнула Ольга Ивановна.— Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! — сказала она и зарыдала.— Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя и им все давно уже известно.

— Ольга, я об одном прошу вас,— сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу,— об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!

— Это мучительно! — процедил сквозь зубы художник и вскочил.— Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня! — крикнула Ольга Ивановна.— Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.

По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она

унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик... Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки...

Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.

— Я устал...— сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки.

Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.

— Что такое? — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза.— Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.

Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.

— На чем? На палочке верхом?

— Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.

— А? Да, да... Ну что ж, поезжай...— сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем.— Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, спрашивала

она себя, что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, — говорила она.— Что останется, привезешь... Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

В девять часов Рябовский на прощанье поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее.

Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие, радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно.— Соскучилась?

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего...— сказала она.— Это я так...

— Сядем,— сказал он, поднимая ее и усаживая за стол.— Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженого человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают

перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:

— Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием, и вообще благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своею в самом деле великолепною картиной; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя уни-

женной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета.

Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженый Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

— Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Иваповна в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

— Пожалуйте, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Иваповна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она

каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчас диссертацию защищал,— сказал он, садясь и поглаживая колена.

— Защитил? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу.— Ого! — повторил он.— Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд nature morte и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к пей обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вам этюд...— сказала она робко, тонким голоском, и губы ее задрожали,— nature morte.

— А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за ним.

— Nature morte... первый сорт,— бормотал он, подбирая рифму,— курорт... черт... порт...

Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, *она* ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я устал...— томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту.— Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Все кончено!

Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная — в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хо-

рошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери.— Мама!

— Что тебе?

— Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

— Осип, это не может быть!

— Пошли! Мне нехорошо...— сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег.— Пошли,— глухо послышался его голос.

«Что же это такое?— подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса.— Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правою рукою крутил левый ус.

— К нему, извините, я вас не пущу,— угрюмо сказал он Ольге Ивановне.— Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду.

— У него настоящий дифтерит? — спросила шепотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему, под суд отдавать надо,— пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны.— Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона; потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает все и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским.— Будь оно все проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем, было тупое, унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь...

После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа...— храпел он,— кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета,— все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.

— У него дифтерит носовой полости,— сказал он вполголоса.— Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

— А вы пошлите за Шреком,— сказала Ольга Ивановна.

— Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в не убранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт...— думала она, опять впадая в забытье,— спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который час? — спросила она.

— Около трех.

— Ну что?

— Да что! Я пришел сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

— Кончается...— повторил он тонким голоском и опять всхлипнул.— Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью.— Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелев, ломая руки.— Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то.— Добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.

— И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!

— Да, редкий человек! — сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И, вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

— Дымов! — позвала она громко.— Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет

всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

— Дымов! — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется.— Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелев говорил горничной:

— Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут — все сделают, что нужно.

1891

В ССЫЛКЕ

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

— Оно, конечно, тут не рай,— говорил Толковый.— Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина, и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет и утром нынче снег был.

— Худо! худо! — сказал татарин и огляделся с испугом.

Шагах в десяти текла темная холодная река; она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом». Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

— Худо! худо! — повторил он.

— Привыкнешь! — сказал Толковый и засмеялся.— Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай бог всякому такой жизни. Ты на меня

погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой, а я над водой. И слава богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

— У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

— А на что тебе мать и жена? — спросил Толковый.— Одна глупость, брат. Это тебя бес смущает, язви его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

— Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо, и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников — кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском дом и землю. «Хочу, говорит, своим трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец». Что ж, говорю, помогай бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гырино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег!» Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса,— он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете,

говорю, а пройдет мало-мало времени, и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желайте. Да... Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. «Еду, говорит, в Гырино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая». А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке; на руках младенчик-девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. «Да, брат Семен, и в Сибири люди живут!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай каждую неделю, стал он в Гырино наведываться: не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. «Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и фортепьян был и собачка лохматенькая на диване,— чтоб она издохла... Роскошь, одним словом, баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец — не та честь. Года через три, помню, ночью под самый успеньев день кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу — барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели — и поминай как звали! Только их и видели. А под утро Василий Сергеич скачет на паре. «Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках?» Проезжала, говорю, ищи ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: «И в Сибири люди живут!» А он еще пуще бьется... Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от любовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Все прошения посылал и подавал, чтоб его помиловали и назад домой вернули, и сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам зало-

жил. Сам поседел, сгорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. «Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: «Ужо погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь?» И стала, брат, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язви его душу, вот тебе и в Сибири люди живут... Стал он все по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж, по-моему, лучше пропить эти деньги... Все равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит — дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, плетей попробует...

— Хорошо, хорошо,— пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

— Что хорошо? — спросил Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила с ним три года — это ему бог подарил. Ничего — худо, а три года — хорошо. Как не понимай?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы бога. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

— Привы-ыкнешь! — сказал Семен.

Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он все еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул вполголоса песню.

— Что ей за радость с отцом-то? — проговорил он немного погодя.— Он ее любит, утешается, это точно; но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! — вздохнул Семен и тяжело поднялся.— Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

— Если нет чего-чего кушать, то как живи? — спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда все тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но все же можно хоть костер развесть...

Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны, и татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая, избалованная, застенчивая, — неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться — там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пели петухи.

Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни — быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, все это только снится, думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп... Конечно, он дома, в Симбир-

ской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

— Подава-ай! — кричал кто-то на той стороне.— Кар-ба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взялись за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне все еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню в кабак.

— Ладно, успеешь! — проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить,— все равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже заслышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей! скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И все оно сыплет, и все оно сыплет! — бормотал Семен, вытирая с лица снег.— И откуда оно берется, бог его знает!

На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

— Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

— И в Сибири люди живут. Живу-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.

— Грязно теперь ехать, Василий Сергеич,— сказал он, когда на берегу запрягали лошадей.— Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а все никакого толку. Право!

Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

— Вот, за доктором поскакал! — сказал Семен, пожимаясь от холода.— Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост, язви твою душу! Экие чудаки, господи, прости меня грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

— Он хорошо... хорошо, а ты — худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебе ничего... Ты камень — и бог тебя не любит, а барина любит.

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку.

— Холодно! — прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которою был покрыт сырой глинистый пол.

— Да, не тепло! — согласился другой.— Жизнь каторжная!..

Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.

— А мне хорошо! — проговорил Семен, засыпая.— Дай бог всякому такой жизни.

— Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.

Со двора послышались звуки, похожие на собачий вой.

— Что это? Кто это там?

— Это татарин плачет.

— Ишь ты... Чудак!

— Привы-ыкнет! — сказал Семен и тотчас же заснул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась незатворенной.

1892

ПАЛАТА № 6

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что *их* надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе,— ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет

кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и, по-старинному, в колпаках. Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из состра-

«Ванька»

дания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен.

II

Лет двенадцать — пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят — семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь, или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество

делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастия внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народ-

ный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем — все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они, в самом деле, прийти в голову безо всякого повода.

Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правления, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного,— была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась

душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности, к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для ве-

нерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют,— к этому можно привыкнуть,— а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно.

— Поздравьте меня,— говорит он часто Ивану Дмитричу,— я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение,— улыбается он, в недоумении пожимая плечами.— Вот уж, признаться, не ожидал!

— Я в этом ничего не понимаю,— угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза.— Я непременно получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого му-

жика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем.

Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагин — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая: своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъевшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких

плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежа, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как

они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю...», или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность,— для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча, или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет как рак и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а

не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастие. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист,

а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

— Болеем и нужду терпим оттого,— говорит он,— что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает.

Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время...— отвечает он.— Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу.— Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад,— отвечает ему доктор.— Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверьяныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор.

— Как жаль,— говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза),— как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать,— продолжает доктор тихо и с расстановкой,— что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум

проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума,— значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч.— Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка...— вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними,— говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча.— Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не отворяют; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастием, чувствуют

себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».

— А вы не верите в бессмертие души? — вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

— Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. «О, зачем человек не бессмертен? — думает он.— Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским, умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки *сознание и воля*, в процессах же ровно ничего. Только

трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка».

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние двадцать пять лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже in spe [1]. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах; их содержат по-человечески и

[1] в будущем *(лат.)*.

даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую Бастилию.

«Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза.— Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиникой и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю: я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати,— высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире

у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.

— Дай копеечку! — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

«Как это нехорошо,— подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками.— Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита,— сказал мягко Андрей Ефимыч.— Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навыкате, выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал.— Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого ни-

когда еще не видели в палате, топнул ногой.— Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат.— За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть.— Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь,— сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь.— Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество неспособно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю...— глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня,— сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам от того, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда...— проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб.— Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать моло-

дого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите,— сказал он, щуря глаза.— Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и — на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось.— Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано,— проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия.— Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замурованному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван,— угрюмо проговорил Иван Дмитрич.— Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил.— Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну что там нового? — спросил Иван Дмитрич.— Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, некультурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение,— значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся.— А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель, спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич.— Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

«Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру.— За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

X

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг,— сказал Андрей Ефимыч.— Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг,— проговорил Иван Дмитрич в подушку,— а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно...— пробормотал Андрей Ефимыч в смущении.— Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями...

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны.— Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия! — усмехнулся доктор.— Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание,— это все равно.

— Ах, какой вы, право, извините... чудак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы,— сказал он.— Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арес-

туют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера — время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите,— сказал доктор.— Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город,— сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок,— потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы,— сказал Андрей Ефимыч. — Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя.

— Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем — истинное благо.

— Уразумение...— поморщился Иван Дмитрич.— Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только,— сказал он, вставая и сердито глядя на доктора,— я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этакого состояния,— и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика,— или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ,— продолжал Иван Дмитрич с раздражением,— и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности, прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился,— сказал он.— О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом,— сказал он.— Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтою шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо — все это философия, самая подходящая для российского лежебока.

Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! — опять рассердился Иван Дмитрич.— Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору,— сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально,— сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки.— Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч

стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

— Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся,— говорил Иван Дмитрич с раздражением.— С действительностью вы совершенно незнакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пьяница, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру,— проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять.— И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрефил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов.— Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

XII

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «Да, да, да...» и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьице по вашей части-с,— обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол.— Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет.

— Да, без ремонта не обойтись,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад,— продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом,— что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лиш-

ние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки! — живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет,— засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится,— согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек.

Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

— Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способ-

ностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой,— думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его,— ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен,— откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»

И первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой!—И, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь:—Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет,— такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы, собственно, куда намерены ехать? — спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

XIII

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом таран-

тасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахаешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой.— Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтоб ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье, лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил «ты» и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и, когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

XIV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке, и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастию, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастие невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия,— думал доктор с досадой.— Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают лю-

ди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

«Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич,— думал он, сердясь на свою мелочность.— Впрочем, вздор... Приеду домой — и все пойдет по-старому...»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду? — говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом.— Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом! — протестовал Михаил Аверьяныч.— Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой,— обратился он к доктору,— презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой,— сказал ему робко почтмейстер,— извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

— Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю,— проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора.— Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может,

от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:

— К черту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать боль-

ного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно».

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

— А сегодня, дорогой мой,— начал Михаил Аверьяныч,— у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега,— сказал Хоботов, зевая.— Небось вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч.— Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватит,— утешал Хоботов.— Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя! — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену.— Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем.— Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом.— Женим вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось сердце.

— Это по́шло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну.— Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня! — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом.— Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч.— Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к черту! — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени.— К черту!

По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя,

а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло,— сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку.— Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули.— Подай стул. А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо.— Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое,— продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу.— Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность,— зашептал Михаил Аверьяныч,— вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайтесь нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович хотя и моветон[1], между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте! — зашептал он, прикладывая руку к сердцу.— Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне все равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному—к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить? — сказал Андрей Ефимыч с раздра-

---

[1] человек дурного тона (от *франц.* mauvais ton).

жением.—Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких,— сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату.— Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

— Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие,— сказал он тихо.— Вот ваша постелька, пожалуйте сюда,— добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную, кровать.— Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровеете, бог даст,— повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

«Все равно...— думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта.— Все равно... Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат...»

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение...— проговорил он, разводя руками в недоумении.— Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз.— Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение...— проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: — Недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь! — проворчал он.— И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку! — сказал он.

XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма.

«Вот она действительность!» — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгниет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой,— пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот.— Пал духом.

— А вы пофилософствуйте,— сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда,— сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить.— Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетво-

рена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, пошлость! О боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... прострация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой,— сказал он.— Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он.— Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами.— Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом.— Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — сказал наставительно Никита.

— Это черт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил.— Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича.— Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь.— Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом.— Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверью Никита.— Поговори!

— По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич.— Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь.— Я размозжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренне высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

«Мне все равно,— думал он, когда ему задавали вопросы.— Отвечать не стану... Мне все равно».

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

1892

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеичем; здесь же, в городишке, звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то — Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство.

Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше

и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого — плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду; он начинал придираться, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:

— Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.

Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.

Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго щелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки, и больше ничего.

— Яков! — позвала Марфа неожиданно.— Я умираю!

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.

Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.

— Здравия желаем,— сказал Яков, вводя старуху в приемную.— Извините, все беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяшными делами. Вот, изволите видеть, захворал мой пре́дмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение...

Нахмурив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал

оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Так...— медленно проговорил фельдшер и вздохнул.— Инфлуэнца, а может, и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава богу... Сколько ей?

— Да без года семьдесят, Максим Николаич.

— Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич, —сказал Яков, улыбаясь из вежливости,— и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело, жить старухе или умереть.— Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А засим до свиданция, бонжур.

По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:

— Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с богом. До свиданция.

— Сделайте такую милость,— взмолился Яков.— Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело — кровь гнать, Максим Николаич.

А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.

— Ступай, ступай...— сказал он Якову, хмурясь.— Нечего тень наводить.

— В таком случае поставьте ей хоть пьявки! Заставьте вечно бога молить!

Фельдшер вспылил и крикнул:

— Поговори мне еще! Ддубина...

Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:

— Насажали вас тут, артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьявки пожалел. Ироды!

Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она все лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник — тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а, наверное, Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.

Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:

«Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к.».

И вздохнул. Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.

— Помнишь, Яков? — спросила она, глядя на него радостно.— Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели... под вербой.— И, горько усмехнувшись, она добавила: — Умерла девочка.

Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебе мерещится,— сказал он.

Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась.

Старухи соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа!»

Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный

со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и все это молча, с робким, заботливым выражением.

Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.

— А я вас ищу, дяденька! — сказал он.— Кланялись вам Мойсей Ильич и велели вам зáраз приходить к ним.

Якову было не до того. Ему хотелось плакать.

— Отстань! — сказал он и пошел дальше.

— А как же это можно? — встревожился Ротшильд, забегая вперед. — Мойсей Ильич будут обижаться! Они велели зáраз!

Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков.— Не приставай!

Жид рассердился и тоже крикнул:

— Но ви, пожалуста, потише, а то ви у меня через забор полетите!

— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками.— Житья нет от пархатых!

Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками «Жид! Жид!». Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее... Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.

Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города куда глаза глядят, и мальчишки кричали: «Бронза идет! Бронза идет!» А вот и река. Тут с писком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!

Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь

заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.

Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы все вместе — и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.

Вечером и ночью мерещился ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.

Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял,

что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?

Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Все на этом свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.

Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха, стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.

— Подойди, ничего,— сказал ласково Яков и поманил его к себе.— Подойди!

Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.

— А вы, сделайте милость, не бейте меня! — сказал он, приседая.— Меня Мойсей Ильич опять послали. Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду швадьба... Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жа хорошего целовека. И швадьба будет богатая, у-у! — добавил жид и прищурил один глаз.

— Не могу...— проговорил Яков, тяжело дыша.— Захворал, брат.

И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.

И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-

нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо,— ответил батюшка.

И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее, или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ваххх!..» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.

1894

СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувст-

во гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад,— сказал студент, подходя к костру.— Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой,— сказала она.— Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр,— сказал студент, протягивая к огню руки.— Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось была на двенадцати евангелиях?

— Была,— ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобой я готов и в темницу и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его, связанного, вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику,— продолжал он,— Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что́ происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое,— думал

он,— связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы,— ему было только двадцать два года,— и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

1894

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

Рассказ художника

I

Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя

мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая — ей было семнадцать — восемнадцать лет, не больше — тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что́ намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

— Вы совсем забыли нас, Петр Петрович,— сказала она Белокурову, подавая ему руку.— Приезжайте, и если monsieur [1] N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как

[1] господин *(франц.)*.

живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала двадцать пять рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.

— Интересная семья,— сказал Белокуров.— Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что́ я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

— Нехорошо, Петр Петрович,— говорила она укоризненно.— Нехорошо. Стыдно.

— Правда, Лида, правда,— соглашалась мать.— Нехорошо.

— Весь наш уезд находится в руках Балагина,— продолжала Лида, обращаясь ко мне.— Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так *мисс*, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя... Это крестный папа»,— и водила пальчиком по портретам и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее

слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в крокет и lown-tennis [1], гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагиче, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко — быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

— Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой,— сказал Белокуров и вздохнул.— Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А все дела, дела! Дела!

Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул «э-э-э-э» и работал так же, как говорил,— медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

— Тяжелее всего,— бормотал он, идя рядом со мной,— тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

II

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди

[1] лаун-теннис *(англ.)*.

сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

— Это для вас неинтересно.

Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только по тому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось: например, о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась по-

дальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.

Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.

— Вчера у нас в деревне произошло чудо,— сказала она.— Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло.

— Это неважно,— сказал я.— Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.

— А вам не страшно то, что непонятно?

— Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны», «Да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

— Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее

жизнью. Но скажите,— Женя дотронулась до моего рукава пальцем,— скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?

— Потому что она не права.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.

— Как это непонятно! — проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкап, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

— О мама,— сказала Женя, целуя у нее руку,— тебе вредно спать днем.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя», или: «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне и, когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что́ случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте.

— Наша Лида замечательный человек,— говорила часто мать.— Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

— Она замечательный человек,— сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: — Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко

беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — все это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет... Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

— Мамочка, все зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lown-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за все лето мне захотелось писать.

— Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? — спросил я у Белокурова, идя с ним домой.— Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин,— отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

— Вы забываете, что я люблю другую женщину,— ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

— Лида может полюбить только земца, увлеченного так же,

как она, больницами и школами,— сказал я.— О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э...», заговорил о болезни века — пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.

— Дело не в пессимизме и не в оптимизме,— сказал я раздраженно,— а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.

III

— В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется,— говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки.— Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды.— И, обратясь ко мне, она сказала: — Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

— Почему же не интересно? — спросил я и пожал плечами.— Вам неугодно знать мое мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.

— Да?

— Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:

— Что же нужно? Пейзажи?

— И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя:

— На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.

— Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас,— ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать.— По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат толь-

ко порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам мое убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

— Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

— Я спорить с вами не стану,— сказала Лида, опуская газету.— Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы — правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

— Правда, Лида, правда,— сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

— Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада,— сказал я.— Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.

— Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

— Нужно освободить людей от тяжкого физического труда,— сказал я.— Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый, животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

— Освободить от труда! — усмехнулась Лида.— Разве это возможно?

— Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов,— сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти.

— Вы, однако, себе противоречите,— сказала Лида.— Вы говорите — наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

— Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает,— такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

— Вы и медицину отрицаете.

«Дом с мезонином»

— Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину — физический труд, и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит,— продолжал я возбужденно.— Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему,— они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

— Мисюська, выйди,— сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие,— сказала Лида.— Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

— Правда, Лида, правда,— согласилась мать.

— Вы угрожаете, что не станете работать,— продолжала Лида.— Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете.— И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном:— Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.

IV

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

— В деревне все спят,— сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза.— И кабатчик и конокрады спокойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь,— грустная потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.

— Мне кажется, вы правы,— сказала она, дрожа от ночной сырости.— Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все.

— Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет,— человечество выродится, и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

— Спокойной ночи,— проговорила она, дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода.— Приходите завтра.

Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.

— Побудьте со мной еще минуту,— сказал я.— Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги! А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной,

очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

— Останьтесь еще минуту,— попросил я.— Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

— До завтра! — прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня.— Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать все маме и сестре... Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

— Прощайте! — крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lown-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый — это лампу накрыли абажуром. Задвигались тени... Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.

Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.

— Вороне где-то... бог...— говорила она громко и протяжно,

вероятно, диктуя.— Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то... Кто там? — окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

— Это я.

— А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

— Екатерина Павловна в саду?

— Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу...— добавила она, помолчав.— Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?

Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

— Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее... Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами,— прочел я.— Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»

Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатили» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздавав-

шихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?

1896

МОЯ ЖИЗНЬ

Рассказ провинциала

I

Управляющий сказал мне: «Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели». Я ему ответил: «Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать». И потом я слышал, как он сказал: «Уберите этого господина, он портит мне нервы».

Дня через два меня уволили. Итак, за все время, пока я считаюсь взрослым, к великому огорчению моего отца, городского архитектора, я переменил девять должностей. Я служил по различным ведомствам, но все эти девять должностей были похожи одна на другую, как капли воды: я должен был сидеть, писать, выслушивать глупые или грубые замечания и ждать, когда меня уволят.

Отец, когда я пришел к нему, сидел глубоко в кресле, с закрытыми глазами. Его лицо, тощее, сухое, с сизым отливом на бритых местах (лицом он походил на старого католического органиста), выражало смирение и покорность. Не отвечая на мое приветствие и не открывая глаз, он сказал:

— Если бы моя дорогая жена, а твоя мать, была жива, то твоя жизнь была бы для нее источником постоянной скорби. В ее преждевременной смерти я усматриваю промысл божий. Прошу тебя, несчастный,— продолжал он, открывая глаза,— научи: что́ мне с тобою делать?

Прежде, когда я был помоложе, мои родные и знакомые знали, что́ со мною делать: одни советовали мне поступить в вольноопределяющиеся, другие — в аптеку, третьи — в телеграф; теперь же, когда мне уже минуло двадцать пять и показалась даже седина в висках и когда я побывал уже и в вольноопределяющихся, и в фармацевтах, и на телеграфе, все земное для меня, казалось, было уже исчерпано, и уже мне не советовали, а лишь вздыхали или покачивали головами.

— Что ты о себе думаешь? — продолжал отец.— В твои годы молодые люди имеют уже прочное общественное положение, а ты взгляни на себя: пролетарий, нищий, живешь на шее отца!

И, по обыкновению, он стал говорить о том, что теперешние молодые люди гибнут, гибнут от неверия, материализма и излишнего самомнения и что надо запретить любительские спектакли, так как они отвлекают молодых людей от религии и обязанностей.

— Завтра мы пойдем вместе, и ты извинишься перед управляющим и пообещаешь ему служить добросовестно,— заключил он.— Ни одного дня ты не должен оставаться без общественного положения.

— Я прошу вас выслушать меня,— сказал я угрюмо, не ожидая ничего хорошего от этого разговора.— То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Небогатые же и необразованные люди добывают себе кусок хлеба физическим трудом, и я не вижу основания, почему я должен быть исключением.

— Когда ты начинаешь говорить о физическом труде, то это выходит глупо и пошло! — сказал отец с раздражением.— Пойми ты, тупой человек, пойми, безмозглая голова, что у тебя, кроме грубой физической силы, есть еще дух божий, святой огонь, который в высочайшей степени отличает тебя от осла или от гада и приближает к божеству! Этот огонь добывался тысячи лет лучшими из людей. Твой прадед Полознев, генерал, сражался при Бородине, дед твой был поэт, оратор и предводитель дворянства, дядя — педагог, наконец, я, твой отец,— архитектор! Все Полозневы хранили святой огонь для того, чтобы ты погасил его!

— Надо быть справедливым,— сказал я.— Физический труд несут миллионы людей.

— И пускай несут! Другого они ничего не умеют делать! Физическим трудом может заниматься всякий, даже набитый дурак и преступник, этот труд есть отличительное свойство раба и варвара, между тем как огонь дан в удел лишь немногим!

Продолжать этот разговор было бесполезно. Отец обожал себя, и для него было убедительно только то, что говорил он сам. К тому же я знал очень хорошо, что это высокомерие, с каким он отзывался о черном труде, имело в своем основании не столько соображения насчет святого огня, сколько тайный страх, что я поступлю в рабочие и заставлю говорить о себе весь город; главное же, все мои сверстники давно уже окончили в университете и были на хорошей дороге, и сын управляющего конторой Государственного банка был уже коллежским асессором, я же, единственный сын, был ничем! Продолжать разговор было бесполезно и неприят-

но, но я все сидел и слабо возражал, надеясь, что меня наконец поймут. Ведь весь вопрос стоял просто и ясно и только касался способа, как мне добыть кусок хлеба, но простоты не видели, а говорили мне, слащаво округляя фразы, о Бородине, о святом огне, о деде, забытом поэте, который когда-то писал плохие и фальшивые стихи, грубо обзывали меня безмозглою головой и тупым человеком. А как мне хотелось, чтобы меня поняли! Несмотря ни на что, отца и сестру я люблю, и во мне с детства засела привычка спрашиваться у них, засела так крепко, что я едва ли отделаюсь от нее когда-нибудь; бываю я прав или виноват, но я постоянно боюсь огорчить их, боюсь, что вот у отца от волнения покраснела его тощая шея и как бы с ним не сделался удар.

— Сидеть в душной комнате,— проговорил я,— переписывать, соперничать с пишущею машиной для человека моих лет стыдно и оскорбительно. Может ли тут быть речь о святом огне!

— Все-таки это умственный труд,— сказал отец.— Но довольно, прекратим этот разговор, и, во всяком случае, я предупреждаю: если ты не поступишь опять на службу и последуешь своим презренным наклонностям, то я и моя дочь лишим тебя нашей любви. Я лишу тебя наследства — клянусь истинным богом!

Совершенно искренне, чтобы показать всю чистоту побуждений, какими я хотел руководиться во всей своей жизни, я сказал:

— Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего.

Почему-то, совершенно неожиданно для меня, эти слова сильно оскорбили отца. Он весь побагровел.

— Не смей так разговаривать со мною, глупец! — крикнул он тонким, визгливым голосом.— Негодяй! — И быстро и ловко, привычным движением ударил меня по щеке раз и другой.— Ты стал забываться!

В детстве, когда меня бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо. И теперь, когда он бил меня, я совершенно терялся и, точно мое детство все еще продолжалось, вытягивался и старался смотреть прямо в глаза. Отец мой был стар и очень худ, но, должно быть, тонкие мышцы его были крепки, как ремни, потому что дрался он очень больно.

Я попятился назад в переднюю, и тут он схватил свой зонтик и несколько раз ударил меня по голове и по плечам; в это время сестра отворила из гостиной дверь, чтобы узнать, что за шум, но тотчас же с выражением ужаса и жалости отвернулась, не сказав в мою защиту ни одного слова.

Намерение мое не возвращаться в канцелярию, а начать новую рабочую жизнь, было во мне непоколебимо. Оставалось

только выбрать род занятия — и это не представлялось особенно трудным, так как мне казалось, что я был очень силен, выносливый, способен на самый тяжкий труд. Мне предстояла однообразная рабочая жизнь с проголодью, вонью и грубостью обстановки, с постоянною мыслью о заработке и куске хлеба. И — кто знает? — возвращаясь с работы по Большой Дворянской, я, быть может, не раз еще позавидую инженеру Должикову, живущему умственным трудом, но теперь думать обо всех этих будущих моих невзгодах мне было весело. Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами. Наклонность к умственным наслаждениям,— например, к театру и чтению,— у меня была развита до страсти, но была ли способность к умственному труду,— не знаю. В гимназии у меня было непобедимое отвращение к греческому языку, так что меня должны были взять из четвертого класса. Долго ходили репетиторы и приготовляли меня в пятый класс, потом я служил по различным ведомствам, проводя большую часть дня совершенно праздно, и мне говорили, что это — умственный труд; моя деятельность в сфере учебной и служебной не требовала ни напряжения ума, ни таланта, ни личных способностей, ни творческого подъема духа: она была машинной; а такой умственный труд я ставлю ниже физического, презираю его и не думаю, чтобы он хотя одну минуту мог служить оправданием праздной, беззаботной жизни, так как сам он не что иное, как обман, один из видов той же праздности. По всей вероятности, настоящего умственного труда я не знал никогда.

Наступил вечер. Мы жили на Большой Дворянской — это была главная улица в городе, и на ней по вечерам, за неимением порядочного городского сада, гулял наш beau monde[1]. Эта прелестная улица отчасти заменяла сад, так как по обе стороны ее росли тополи, которые благоухали, особенно после дождя, и из-за заборов и палисадников нависали акации, высокие кусты сирени, черемуха, яблони. Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гуденье жуков, тишина, тепло — как все это ново и как необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год! Я стоял у калитки и смотрел на гуляющих. С большинством из них я рос и когда-то шалил вместе, теперь же близость моя могла бы смутить их, потому что одет я был бедно, не по моде, и про мои очень узкие брюки и большие, неуклюжие сапоги говорили, что это у меня макароны на кораблях. К тому же в городе у меня была дурная репутация оттого, что я не имел общественного положения и часто играл в дешевых трактирах на

[1] высший свет *(франц.)*.

бильярде, и еще оттого, быть может, что меня два раза, без всякого с моей стороны повода, водили к жандармскому офицеру.

В большом доме напротив, у инженера Должикова, играли на рояле. Начинало темнеть, и на небе замигали звезды. Вот медленно, отвечая на поклоны, прошел отец в старом цилиндре с широкими загнутыми вверх полями, под руку с сестрой.

— Взгляни! — говорил он сестре, указывая на небо тем самым зонтиком, которым давеча бил меня.— Взгляни на небо! Звезды, даже самые маленькие,— все это миры! Как ничтожен человек в сравнении со вселенной!

И говорил он это таким тоном, как будто ему было чрезвычайно лестно и приятно, что он так ничтожен. Что́ это за бездарный человек! К сожалению, он был у нас единственным архитектором, и за последние пятнадцать — двадцать лет, на моей памяти, в городе не было построено ни одного порядочного дома. Когда ему заказывали план, то он обыкновенно чертил сначала зал и гостиную; как в былое время институтки могли танцевать только от печки, так и его художественная идея могла исходить и развиваться только от зала и гостиной. К ним он пририсовывал столовую, детскую, кабинет, соединяя комнаты дверями, и потом все они неизбежно оказывались проходными, и в каждой было по две, даже по три лишних двери. Должно быть, идея у него была неясная, крайне спутанная, куцая; всякий раз, точно чувствуя, что чего-то не хватает, он прибегал к разного рода пристройкам, присаживая их одну к другой, и я как сейчас вижу узкие сенцы, узкие коридорчики, кривые лестнички, ведущие в антресоли, где можно стоять только согнувшись и где вместо пола — три громадных ступени вроде банных полок; а кухня непременно под домом, со сводами и с кирпичным полом. У фасада упрямое, черствое выражение, линии сухие, робкие, крыша низкая, приплюснутая, а на толстых, точно сдобных трубах непременно проволочные колпаки с черными, визгливыми флюгерами. И почему-то все эти, выстроенные отцом, дома, похожие друг на друга, смутно напоминали мне его цилиндр, его затылок, сухой и упрямый. С течением времени в городе к бездарности отца пригляделись, она укоренилась и стала нашим стилем.

Этот стиль отец внес и в жизнь моей сестры. Начать с того, что он назвал ее Клеопатрой (как меня назвал Мисаилом). Когда она была еще девочкой, он пугал ее напоминанием о звездах, о древних мудрецах, о наших предках, подолгу объяснял ей, что́ такое жизнь, что́ такое долг; и теперь, когда ей было уже двадцать шесть лет, продолжал то же самое, позволяя ей ходить под руку только с ним одним и воображая почему-то, что рано или поздно должен явиться приличный молодой человек, который пожелает вступить

с нею в брак из уважения к его личным качествам. А она обожала отца, боялась и верила в его необыкновенный ум.

Стало совсем темно, и улица мало-помалу опустела. В доме, что напротив, затихла музыка; отворились настежь ворота, и по нашей улице, балуясь, мягко играя бубенчиками, покатила тройка. Это инженер с дочерью поехал кататься. Пора спать!

В доме у меня была своя комната, но жил я на дворе в хибарке, под одною крышей с кирпичным сараем, которую построили когда-то, вероятно, для хранения сбруи,— в стены были вбиты большие костыли,— теперь же она была лишней, и отец вот уже тридцать лет складывал в ней свою газету, которую для чего-то переплетал по полугодиям и не позволял никому трогать. Живя здесь, я реже попадался на глаза отцу и его гостям, и мне казалось, что если я живу не в настоящей комнате и не каждый день хожу в дом обедать, то слова отца, что я живу у него на шее, звучат уже как будто не так обидно.

Меня поджидала сестра. Она тайно от отца принесла мне ужин: небольшой кусочек холодной телятины и ломтик хлеба. У нас в доме часто повторяли: «Деньги счет любят», «Копейка рубль бережет» — и тому подобное, и сестра, подавленная этими пошлостями, старалась только о том, как бы сократить расходы, и оттого питались мы дурно. Поставив тарелку на стол, она села на мою постель и заплакала.

— Мисаил,— сказала она,— что ты с нами делаешь?

Она не закрывала лица, слезы у нее капали на грудь и на руки, и выражение было скорбное. Она упала на подушку и дала волю слезам, вздрагивая всем телом и всхлипывая.

— Ты опять оставил службу...— проговорила она.— О, как это ужасно!

— Но пойми, сестра, пойми...— сказал я, и оттого, что она плакала, мною овладело отчаяние.

Как нарочно, в лампочке моей выгорел уже весь керосин, она коптила, собираясь погаснуть, и старые костыли на стенах глядели сурово, и тени их мигали.

— Пощади нас! — сказала сестра, поднимаясь.— Отец в страшном горе, а я больна, схожу с ума. Что с тобою будет? — спрашивала она, рыдая и протягивая ко мне руки.— Прошу тебя, умоляю, именем нашей покойной мамы прошу: иди опять на службу!

— Не могу, Клеопатра! — сказал я, чувствуя, что еще немного — и я сдамся.— Не могу!

— Почему? — продолжала сестра.— Почему? Ну, если не поладил с начальником, ищи себе другое место. Например, отчего бы тебе не пойти служить на железную дорогу? Я сейчас говорила

с Анютой Благово, она уверяет, что тебя примут на железную дорогу, и даже обещала похлопотать за тебя. Бога ради, Мисаил, подумай! Подумай, умоляю тебя!

Мы поговорили еще немного, и я сдался. Я сказал, что мысль о службе на строящейся железной дороге мне еще ни разу не приходила в голову и что, пожалуй, я готов попробовать.

Она радостно улыбнулась сквозь слезы и пожала мне руку и потом все еще продолжала плакать, так как не могла остановиться, а я пошел в кухню за керосином.

II

Среди охотников до любительских спектаклей, концертов и живых картин с благотворительной целью первое место в городе принадлежало Ажогиным, жившим в собственном доме на Большой Дворянской; они всякий раз давали помещение, и они же принимали на себя все хлопоты и расходы. Эта богатая помещичья семья имела в уезде тысяч около трех десятин с роскошною усадьбой, но деревни не любила и жила зиму и лето в городе. Состояла она из матери, высокой, худощавой, деликатной дамы, носившей короткие волосы, коротку кофточку и плоскую юбку на английский манер,— и трех дочерей, которых, когда говорили о них, называли не по именам, а просто: старшая, средняя и младшая. Все они были с некрасивыми острыми подбородками, близоруки, сутулы, одеты так же, как мать, неприятно шепелявили и все-таки, несмотря на это, обязательно участвовали в каждом представлении и постоянно делали что-нибудь с благотворительною целью — играли, читали, пели. Они были очень серьезны и никогда не улыбались и даже в водевилях с пением играли без малейшей веселости, с деловым видом, точно занимались бухгалтерией.

Я любил наши спектакли, а особенно репетиции, частые, немножко бестолковые, шумные, после которых нам всегда давали ужинать. В выборе пьес и в распределении ролей я не принимал никакого участия. На мне лежала закулисная часть. Я писал декорации, переписывал роли, суфлировал, гримировал, и на меня было возложено также устройство разных эффектов вроде грома, пения соловья и т. п. Так как у меня не было общественного положения и порядочного платья, то на репетициях я держался особняком, в тени кулис, и застенчиво молчал.

Декорации писал я у Ажогиных в сарае или на дворе. Мне помогал маляр, или, как он сам называл себя, подрядчик малярных работ, Андрей Иванов, человек лет пятидесяти, высокий,

очень худой и бледный, с впалою грудью, с впалыми висками и с синевой под глазами, немножко даже страшный на вид. Он был болен какою-то изнурительною болезнью, и каждую осень и весну говорили про него, что он отходит, но он, полежавши, вставал и потом говорил с удивлением: «А я опять не помер!»

В городе его звали Редькой и говорили, что это его настоящая фамилия. Он любил театр так же, как я, и едва до него доходили слухи, что у нас затевается спектакль, как он бросал все свои работы и шел к Ажогиным писать декорации.

На другой день после объяснения с сестрой я с утра до вечера работал у Ажогиных. Репетиция была назначена в семь часов вечера, и за час до начала в зале уже были в сборе все любители, и по сцене ходили старшая, средняя и младшая и читали по тетрадкам. Редька в длинном рыжем пальто и в шарфе, намотанном на шею, уже стоял, прислонившись виском к стене, и смотрел на сцену с набожным выражением. Ажогина-мать подходила то к одному, то к другому гостю и говорила каждому что-нибудь приятное. У нее была манера пристально смотреть в лицо и говорить тихо, как по секрету.

— Должно быть, трудно писать декорации,— сказала она тихо, подходя ко мне.— А мы только что с мадам Муфке говорили о предрассудках, и я видела, как вы вошли. Бог мой, я всю, всю мою жизнь боролась с предрассудками! Чтобы убедить прислугу, какие пустяки все эти их страхи, я у себя всегда зажигаю три свечи и все свои важные дела начинаю тринадцатого числа.

Пришла дочь инженера Должикова, красивая полная блондинка, одетая, как говорили у нас, во все парижское. Она не играла, но на репетициях для нее ставили стул на сцене, и спектаклей не начинали раньше, пока она не появлялась в первом ряду, сияя и изумляя всех своим нарядом. Ей, как столичной штучке, разрешалось во время репетиций делать замечания, и делала она их с милою, снисходительною улыбкой, и видно было, что на наши представления она смотрела, как на детскую забаву. Про нее говорили, что она училась петь в петербургской консерватории и будто даже целую зиму пела в частной опере. Она мне очень нравилась, и обыкновенно на репетициях и во время спектакля я не спускал с нее глаз.

Я уже взял тетрадку, чтобы начать суфлировать, как неожиданно появилась сестра. Не снимая манто и шляпы, она подошла ко мне и сказала:

— Прошу тебя, пойдем.

Я пошел. За сценой, в дверях стояла Анюта Благово, тоже в шляпке, с темною вуалькой. Это была дочь товарища председателя суда, служившего в нашем городе давно, чуть ли не с самого

основания окружного суда. Так как она была высока ростом и хорошо сложена, то участие ее в живых картинах считалось обязательным, и когда она изображала какую-нибудь фею или Славу, то лицо ее горело от стыда; но в спектаклях она не участвовала, а заходила на репетиции только на минутку, по какому-нибудь делу, и не шла в зал. И теперь видно было, что она зашла только на минутку.

— Мой отец говорил о вас,— сказала она сухо, не глядя на меня и краснея.— Должиков обещал вам место на железной дороге. Отправляйтесь к нему завтра, он будет дома.

Я поклонился и поблагодарил за хлопоты.

— А это вы можете оставить,— сказала она, указав на тетрадку.

Она и сестра подошли к Ажогиной и минуты две шептались с нею, поглядывая на меня. Они советовались о чем-то.

— В самом деле,— сказала Ажогина тихо, подходя ко мне и пристально глядя в лицо,— в самом деле, если это отвлекает вас от серьезных занятий,— она потянула из моих рук тетрадь,— то вы можете передать кому-нибудь другому. Не беспокойтесь, мой друг, идите себе с богом.

Я простился с нею и вышел сконфуженный. Спускаясь вниз по лестнице, я видел, как уходили сестра и Анюта Благово; они оживленно говорили о чем-то, должно быть, о моем поступлении на железную дорогу, и спешили. Сестра раньше никогда не бывала на репетициях, и теперь, вероятно, ее мучила совесть, и она боялась, как бы отец не узнал, что она без его позволения была у Ажогиных.

Я отправился к Должикову на другой день, в первом часу. Лакей проводил меня в очень красивую комнату, которая была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом. Тут было все мягко, изящно и для такого непривычного человека, как я, даже странно. Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и плюшевые рамы; на фотографиях, разбросанных по стенам, очень красивые женщины, умные, прекрасные лица, свободные позы; из гостиной дверь ведет прямо в сад, на балкон, видна сирень, виден стол, накрытый для завтрака, много бутылок, букет из роз, пахнет весной и дорогою сигарой, пахнет счастьем,— и все, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек, потрудился и достиг наконец счастья, возможного на земле. За письменным столом сидела дочь инженера и читала газету.

— Вы к отцу? — спросила она.— Он принимает душ, сейчас придет. Посидите пока, прошу вас.

Я сел.

— Вы ведь, кажется, против нас живете? — спросила она опять после некоторого молчания.

— Да.

— Я от скуки каждый день наблюдаю из окна, уж вы извините,— продолжала она, глядя в газету,— и часто вижу вас и вашу сестру. У нее всегда такое доброе, сосредоточенное выражение.

Вошел Должиков. Он вытирал полотенцем шею.

— Папа, monsieur Полознев,— сказала дочь.

— Да, да, мне говорил Благово,— живо обратился он ко мне, не подавая руки.— Но, послушайте, что же я могу вам дать? Какие у меня места? Странные вы люди, господа! — продолжал он громко и таким тоном, как будто делал мне выговор.— Ходит вас ко мне по двадцать человек в день, вообразили, что у меня департамент! У меня линия, господа, у меня каторжные работы, мне нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники, а ведь все вы можете только сидеть и писать, больше ничего! Все вы писатели!

И от него пахнуло на меня тем же счастьем, что и от его ковров и кресел. Полный, здоровый, с красными щеками, с широкою грудью, вымытый, в ситцевой рубахе и шароварах, точно фарфоровый, игрушечный ямщик. У него была круглая курчавая бородка — и ни одного седого волоска, нос с горбинкой, а глаза темные, ясные, невинные.

— Что вы умеете делать? — продолжал он.— Ничего вы не умеете! Я инженер-с, я обеспеченный человек-с, но, прежде чем мне дали дорогу, я долго тер лямку, я ходил машинистом, два года работал в Бельгии как простой смазчик. Посудите сами, любезнейший, какую работу я могу вам предложить?

— Конечно, это так...— пробормотал я в сильном смущении, не вынося его ясных, невинных глаз.

— По крайней мере, умеете ли вы управляться с аппаратом? — спросил он, подумав.

— Да, я служил на телеграфе.

— Гм... Ну, там посмотрим. Отправляйтесь пока в Дубечню. Там у меня уже сидит один, но дрянь ужасная.

— А в чем будут заключаться мои обязанности? — спросил я.

— Там увидим. Отправляйтесь пока, я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не пьянствовать и не беспокоить меня никакими просьбами. Выгоню.

Он отошел от меня и даже головой не кивнул. Я поклонился ему и его дочери, читавшей газету, и вышел. На душе у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала спрашивать, как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного слова.

Чтобы идти в Дубечню, я встал рано утром, с восходом солнца. На нашей Большой Дворянской не было ни души, все еще спали, и шаги мои раздавались одиноко и глухо. Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом. Мне было грустно и не хотелось уходить из города. Я любил свой родной город. Он казался мне таким красивым и теплым! Я любил эту зелень, тихие солнечные утра, звон наших колоколов; но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их.

Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей. Я знал, что Кимры добывают себе пропитание сапогами, что Тула делает самовары и ружья, что Одесса портовый город, но что такое наш город и что он делает — я не знал. Большая Дворянская и еще две улицы почище жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками из казны; но чем жили остальные восемь улиц, которые тянулись параллельно версты на три и исчезали за холмом,— это для меня было всегда непостижимою загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные — осетриной, жаренной на подсолнечном масле. Ели невкусно, пили нездоровую воду. В думе, у губернатора, у архиерея, всюду в домах много лет говорили о том, что у нас в городе нет хорошей и дешевой воды и что необходимо занять у казны двести тысяч на водопровод; очень богатые люди, которых у нас в городе можно было насчитать десятка три и которые, случалось, проигрывали в карты целые имения, тоже пили дурную воду и всю жизнь говорили с азартом о займе — и я не понимал этого; мне казалось, было бы проще взять и выложить эти двести тысяч из своего кармана.

Во всем городе я не знал ни одного честного человека. Мой отец брал взятки и воображал, что это дают ему из уважения к его душевным качествам; гимназисты, чтобы переходить из класса в класс, поступали на хлеба к своим учителям, и эти брали с них большие деньги; жена воинского начальника во время набора брала с рекрутов и даже позволяла угощать себя и раз в церкви никак не могла подняться с колен, так как была пьяна; во время набора брали и врачи, а городовой врач и ветеринар обложили налогом мясные лавки и трактиры; в уездном училище торговали

свидетельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благочинные брали с подчиненных причтов и церковных старост; в городской, мещанской, во врачебной и во всех прочих управах каждому просителю кричали вослед: «Благодарить надо!» — и проситель возвращался, чтобы дать 30—40 копеек. А те, которые взяток не брали, как, например, чины судебного ведомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодностью и узостью суждений, играли много в карты, много пили, женились на богатых и, несомненно, имели на среду вредное, развращающее влияние. Лишь от одних девушек веяло нравственною чистотой; у большинства из них были высокие стремления, честные, чистые души; но они не понимали жизни и верили, что взятки даются из уважения к душевным качествам, и, выйдя замуж, скоро старились, опускались и безнадежно тонули в тине пошлого, мещанского существования.

III

В нашей местности строилась железная дорога. Накануне праздников по городу толпами ходили оборванцы, которых звали «чугункой» и которых боялись. Нередко приходилось мне видеть, как оборванца с окровавленною физиономией, без шапки, вели в полицию, а сзади, в виде вещественного доказательства, несли самовар или недавно вымытое, еще мокрое белье. «Чугунка» обыкновенно толпилась около кабаков и на базарах; она пила, ела, нехорошо бранилась и каждую мимо проходившую женщину легкого поведения провожала пронзительным свистом. Наши лавочники, чтобы позабавить эту голодную рвань, поили собак и кошек водкой или привязывали собаке к хвосту жестянку из-под керосина, поднимали свист, и собака мчалась по улице, гремя жестянкой, визжа от ужаса; ей казалось, что ее преследует по пятам какое-то чудовище, она бежала далеко за город, в поле, и там выбивалась из сил; и у нас в городе было несколько собак, постоянно дрожавших, с поджатыми хвостами, про которых говорили, что они не перенесли такой забавы, сошли с ума.

Вокзал строился в пяти верстах от города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила к самому городу, просили взятку в пятьдесят тысяч, а городское управление соглашалось дать только сорок, разошлись в десяти тысячах, и теперь горожане раскаивались, так как предстояло проводить до вокзала шоссе, которое по смете обходилось дороже. По всей линии были уже положены шпалы и рельсы, и ходили служебные поезда, возившие строительный материал и рабочих, и задержка была

только за мостами, которые строил Должиков, да кое-где не были еще готовы станции.

Дубечня — так называлась наша первая станция — находилась в семнадцати верстах от города. Я шел пешком. Ярко зеленели озимь и яровые, охваченные утренним солнцем. Место было ровное, веселое, и вдали ясно вырисовывались вокзал, курганы, далекие усадьбы... Как хорошо было тут на воле! И как я хотел проникнуться сознанием свободы, хотя бы на одно это утро, чтобы не думать о том, что делалось в городе, не думать о своих нуждах, не хотеть есть! Ничто так не мешало мне жить, как острое чувство голода, когда мои лучшие мысли странно мешались с мыслями о гречневой каше, о котлетах, о жареной рыбе. Вот я стою один в поле и смотрю вверх на жаворонка, который повис в воздухе на одном месте и залился, точно в истерике, а сам думаю: «Хорошо бы теперь поесть хлеба с маслом!» Или вот сажусь у дороги и закрываю глаза, чтобы отдохнуть, прислушаться к этому чудесному майскому шуму, и мне припоминается, как пахнет горячий картофель. При моем большом росте и крепком сложении мне приходилось есть вообще мало, и потому главным чувством моим в течение дня был голод, и потому, быть может, я отлично понимал, почему такое множество людей работает только для куска хлеба и может говорить только о харчах.

В Дубечне штукатурили внутри станцию и строили верхний деревянный этаж у водокачки. Было жарко, пахло известкой, и рабочие вяло бродили по кучам щепы и мусора; около своей будки спал стрелочник, и солнце жгло ему прямо в лицо. Ни одного дерева. Слабо гудела телеграфная проволока, и на ней кое-где отдыхали ястреба. Бродя тоже по кучам, не зная, что делать, я вспоминал, как инженер на мой вопрос, в чем будут заключаться мои обязанности, ответил мне: «Там увидим». Но что можно было увидеть в этой пустыне? Штукатуры говорили про десятника и про какого-то Федота Васильева, я не понимал, и мною малопомалу овладела тоска,— тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и все свое большое тело и не знаешь, что делать с ними, куда деваться.

Походив, по крайней мере, с два часа, я заметил, что от станции куда-то вправо от линии шли телеграфные столбы и через полторы-две версты оканчивались у белого каменного забора; рабочие сказали, что там контора, и наконец я сообразил, что мне нужно именно туда.

Это была очень старая, давно заброшенная усадьба. Забор из белого ноздреватого камня уже выветрился и обвалился местами, и на флигеле, который своею глухою стеной выходил в поле, крыша была ржавая, и на ней кое-где блестели латки из жести.

В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский дом с жалюзи на окнах и с высокою крышей, рыжею от ржавчины. По сторонам дома, направо и налево, стояли два одинаковых флигеля; у одного окна были забиты досками, около другого, с открытыми окнами, висело на веревке белье и ходили телята. Последний телеграфный столб стоял во дворе, и проволока от него шла к окну того флигеля, который своею глухою стеной выходил в поле. Дверь была отворена, я вошел. За столом у телеграфного станка сидел какой-то господин с темною, кудрявою головой, в пиджаке из парусинки; он сурово, исподлобья поглядел на меня, но тотчас же улыбнулся и сказал:

— Здравствуй, Маленькая польза!

Это был Иван Чепраков, мой товарищ по гимназии, которого исключили из второго класса за курение табаку. Мы вместе когда-то, в осеннее время, ловили щеглов, чижей и дубоносов и продавали их на базаре рано утром, когда еще наши родители спали. Мы подстерегали стайки перелетных скворцов и стреляли в них мелкою дробью, потом подбирали раненых, и одни у нас умирали в страшных мучениях (я до сих пор еще помню, как они ночью стонали у меня в клетке), других, которые выздоравливали, мы продавали и нагло божились при этом, что все это одни самцы. Как-то раз на базаре у меня остался один только скворец, которого я долго предлагал покупателям и наконец сбыл за копейку. «Все-таки маленькая польза!» — сказал я себе в утешение, пряча эту копейку, и с того времени уличные мальчишки и гимназисты прозвали меня Маленькою пользой; да и теперь еще мальчишки и лавочники, случалось, дразнили меня так, хотя, кроме меня, уже никто не помнил, откуда произошло это прозвище.

Чепраков был не крепкого сложения: узкогрудый, сутулый, длинноногий. Галстук веревочкой, жилетки не было вовсе, а сапоги хуже моих — с кривыми каблуками. Он редко мигал глазами и имел стремительное выражение, будто собирался что-то схватить, и все суетился.

— Да ты постой,— говорил он, суетясь.— Да ты послушай!.. О чем бишь я только что говорил?

Мы разговорились. Я узнал, что имение, в котором я теперь находился, еще недавно принадлежало Чепраковым и только прошлою осенью перешло к инженеру Должикову, который полагал, что держать деньги в земле выгоднее, чем в бумагах, и уже купил в наших краях три порядочных имения с переводом долга; мать Чепракова при продаже выговорила себе право жить в одном из боковых флигелей еще два года и выпросила для сына место при конторе.

— Еще бы ему не покупать! — сказал Чепраков про инженера.— С одних подрядчиков дерет сколько! Со всех дерет!

Потом он повел меня обедать, решив суетливо, что жить я буду с ним вдвоем во флигеле, а столоваться у его матери.

— Она у меня скряга,— сказал он,— но дорого с тебя не возьмет.

В маленьких комнатах, где жила его мать, было очень тесно; все они, даже сени и передняя, были загромождены мебелью, которую после продажи имения перенесли сюда из большого дома; и мебель была все старинная, из красного дерева. Госпожа Чепракова, очень полная, пожилая дама, с косыми китайскими глазами, сидела у окна в большом кресле и вязала чулок. Приняла она меня церемонно.

— Это, мамаша, Полознев,— представил меня Чепраков.— Он будет служить тут.

— Вы дворянин? — спросила она странным, неприятным голосом; мне показалось, будто у нее в горле клокочет жир.

— Да,— ответил я.

— Садитесь.

Обед был плохой. Подавали только пирог с горьким творогом и молочный суп. Елена Никифоровна, хозяйка, все время как-то странно подмигивала то одним глазом, то другим. Она говорила, ела, но во всей ее фигуре было уже что-то мертвенное, и даже как будто чувствовался запах трупа. Жизнь в ней едва теплилась, теплилось и сознание, что она — барыня-помещица, имевшая когда-то своих крепостных, что она — генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительством; и когда эти жалкие остатки жизни вспыхивали в ней на мгновение, то она говорила сыну:

— Жан, ты не так держишь нож!

Или же говорила мне, тяжело переводя дух, с жеманством хозяйки, желающей занять гостя:

— А мы, знаете, продали наше имение. Конечно, жаль, привыкли мы тут, но Должиков обещал сделать Жана начальником станции Дубечни, так что мы не уедем отсюда, будем жить тут на станции, а это все равно что в имении. Инженер такой добрый! Не находите ли вы, что он очень красив?

Еще недавно Чепраковы жили богато, но после смерти генерала все изменилось. Елена Никифоровна стала ссориться с соседями, стала судиться, не доплачивать приказчикам и рабочим; все боялась, как бы ее не ограбили — и в какие-нибудь десять лет Дубечня стала неузнаваемою.

Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником. Я прошелся по террасе,

еще крепкой и красивой; сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть, гостиная; старинное фортепиано, да на стенах гравюры в широких рамах из красного дерева — и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головы; по дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не па́рило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок; чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, обезображенные подпорками и гангреной, и груши такие высокие, что даже не верилось, что это груши. Эту часть сада арендовали наши городские торговки, и сторожил ее от воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше.

Сад, все больше редея, переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком; около мельничной плотины был плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенною крышей, неистово квакали лягушки. На воде, гладкой, как зеркало, изредка ходили круги да вздрагивали речные лилии, потревоженные веселою рыбой. По ту сторону речки находилась деревушка Дубечня. Тихий голубой плёс манил к себе, обещая прохладу и покой. И теперь все это — и плёс, и мельница, и уютные берега принадлежали инженеру!

И вот началась моя новая служба. Я получал телеграммы и отправлял их дальше, писал разные ведомости и переписывал начисто требовательные записи, претензии и рапорты, которые присылались к нам в контору безграмотными десятниками и мастерами. Но бо́льшую часть дня я ничего не делал, а ходил по комнате, ожидая телеграмм, или сажал во флигеле мальчика, а сам уходил в сад и гулял, пока мальчик не прибегал сказать, что стучит аппарат. Обедал я у госпожи Чепраковой. Мясо подавали очень редко, блюда все были молочные, а в среды и в пятницы — постные, и в эти дни подавались к столу розовые тарелки, которые назывались постными. Чепра́кова постоянно подмигивала — это была у нее такая привычка, и в ее присутствии мне всякий раз становилось не по себе.

Так как работы во флигеле не хватало и на одного, то Чепраков ничего не делал, а только спал или уходил с ружьем на плёс стрелять уток. По вечерам он напивался в деревне или на станции и, перед тем, как спать, смотрелся в зеркальце и кричал:

— Здравствуй, Иван Чепраков!

Пьяный, он был очень бледен и все потирал руки и смеялся, точно ржал: ги-ги-ги! Из озорства он раздевался донага и бегал по полю голый. Ел мух и говорил, что они кисленькие.

IV

Как-то после обеда он прибежал во флигель, запыхавшись, и сказал:

— Ступай, там сестра твоя приехала.

Я вышел. В самом деле, у крыльца большого дома стояла городская извозчичья линейка. Приехала моя сестра, а с нею Анюта Благово и еще какой-то господин в военном кителе. Подойдя ближе, я узнал военного: это был брат Анюты, доктор.

— Мы к вам на пикник приехали,— сказал он.— Ничего?

Сестра и Анюта хотели спросить, как мне тут живется, но обе молчали и только смотрели на меня. Я тоже молчал. Они поняли, что мне тут не нравится, и у сестры навернулись слезы, а Анюта Благово стала красной. Пошли в сад. Доктор шел впереди всех и говорил восторженно:

— Вот так воздух! Мать честная, вот так воздух!

По наружному виду это был еще совсем студент. И говорил и ходил он, как студент, и взгляд его серых глаз был такой же живой, простой и открытый, как у хорошего студента. Рядом со своею высокою и красивою сестрой он казался слабым, жидким; и бородка у него была жидкая, и голос тоже — жиденький тенорок, довольно, впрочем, приятный. Он служил где-то в полку и теперь приехал в отпуск к своим, и говорил, что осенью поедет в Петербург держать экзамен на доктора медицины. У него уже была своя семья — жена и трое детей; женился он рано, когда еще был на втором курсе, и теперь в городе рассказывали про него, что он несчастлив в семейной жизни и уже не живет с женой.

— Который теперь час? — беспокоилась сестра.— Нам бы пораньше вернуться, папа отпустил меня к брату только до шести часов.

— Ох, уж ваш папа! — вздохнул доктор.

Я поставил самовар. На ковре перед террасой большого дома мы пили чай, и доктор, стоя на коленях, пил из блюдечка и говорил, что он испытывает блаженство. Потом Чепраков сходил за ключом и отпер стеклянную дверь, и все мы вошли в дом. Было здесь сумрачно, таинственно, пахло грибами, и шаги наши издавали гулкий шум, точно под полом был подвал. Доктор стоя тронул клавиши фортепиано, и оно ответило ему слабо, дрожащим, сиплым, но еще стройным аккордом; он попробовал голос и запел

какой-то романс, морщась и нетерпеливо стуча ногой, когда какой-нибудь клавиш оказывался немым. Моя сестра уже не собиралась домой, а в волнении ходила по комнате и говорила:

— Мне весело! Мне очень, очень весело!

В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось невероятным, что у нее тоже может быть хорошо на душе. Это первый раз в жизни я видел ее такою веселою. Она даже похорошела. В профиль она была некрасива, у нее нос и рот как-то выдавались вперед и было такое выражение, точно она дула, но у нее были прекрасные темные глаза, бледный, очень нежный цвет лица и трогательное выражение доброты и печали, и когда она говорила, то казалась миловидною и даже красивою. Мы оба, я и она, уродились в нашу мать, широкие в плечах, сильные, выносливые, но бледность у нее была болезненная, она часто кашляла, и в глазах у нее я иногда подмечал выражение, какое бывает у людей, которые серьезно больны, но почему-то скрывают это. В ее теперешней веселости было что-то детское, наивное, точно та радость, которую во время нашего детства пригнетали и заглушали суровым воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу.

Но когда наступил вечер и подали лошадей, сестра притихла, осунулась и села на линейку с таким видом, как будто это была скамья подсудимых.

Вот они все уехали, шум затих... Я вспомнил, что Анюта Благово за все время не сказала со мною ни одного слова.

«Удивительная девушка! — подумал я.— Удивительная девушка!»

Наступил петровский пост, и нас уже каждый день кормили постным. От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбе и только ждал подходящего настроения, чтобы уйти.

Как-то перед вечером, когда у нас во флигеле сидел Редька, неожиданно вошел Должиков, сильно загоревший и серый от пыли. Он три дня пробыл на своем участке и теперь приехал в Дубечню на паровозе, а к нам со станции пришел пешком. В ожидании экипажа, который должен был прийти из города, он со своим приказчиком обошел усадьбу, громким голосом давая приказания, потом целый час сидел у нас во флигеле и писал какие-то письма; при нем на его имя приходили телеграммы, и он сам выстукивал ответы. Мы трое стояли молча, навытяжку.

— Какие беспорядки! — сказал он, брезгливо заглянув в ведомость.— Через две недели я перевожу контору на станцию и уж не знаю, что мне с вами делать, господа.

— Я стараюсь, ваше высокородие,— проговорил Чепраков.

— То-то, вижу, как вы стараетесь. Только жалованье умеете получать,— продолжал инженер, глядя на меня.— Все надеетесь на протекцию, как бы поскорее и полегче faire la carrière [1]. Ну, я не посмотрю на протекцию. За меня никто не хлопотал-с. Прежде чем мне дали дорогу, я ходил машинистом, работал в Бельгии как простой смазчик-с. А ты, Пантелей, что здесь делаешь? — спросил он, повернувшись к Редьке.— Пьянствуешь с ними?

Он всех простых людей почему-то называл Пантелеями, а таких, как я и Чепраков, презирал и за глаза обзывал пьяницами, скотами, сволочью. Вообще к мелким служащим он был жесток и штрафовал и гонял их со службы холодно, без объяснений.

Наконец приехали за ним лошади. Он на прощанье пообещал уволить всех нас через две недели, обозвал приказчика болваном и затем, развалившись в коляске, покатил в город.

— Андрей Иваныч,— сказал я Редьке,— возьмите меня к себе в рабочие.

— Ну, что ж!

И мы пошли вместе по направлению к городу. Когда станция и усадьба остались далеко за нами, я спросил:

— Андрей Иваныч, зачем вы давеча приходили в Дубечню?

— Первое, ребята мои работают на линии, а второе — приходил к генеральше про́центы платить. Летошний год я у нее полсотню взял и плачу теперь ей по рублю в месяц.

Маляр остановился и взял меня за пуговицу.

— Мисаил Алексеич, ангел вы наш,— продолжал он,— я так понимаю, ежели какой простой человек или господин берет даже самый малый про́цент, тот уже есть злодей. В таком человеке не может правда существовать.

Тощий, бледный, страшный, Редька закрыл глаза, покачал головой и изрек тоном философа:

— Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу. Господи, спаси нас, грешных!

V

Редька был непрактичен и плохо умел соображать; набирал он работы больше, чем мог исполнить, и при расчете тревожился, терялся и потому почти всегда бывал в убытке. Он красил, вставлял стекла, оклеивал стены обоями и даже принимал на себя кровельные работы, и я помню, как он, бывало, из-за ничтожного заказа бегал дня по три, отыскивая кровельщиков. Это был пре-

[1] сделать карьеру *(франц.)*.

восходный мастер, случалось ему иногда зарабатывать до десяти рублей в день и, если бы не это желание — во что бы то ни стало быть главным и называться подрядчиком, то у него, вероятно, водились бы хорошие деньги.

Сам он получал издельно, а мне и другим ребятам платил поденно, от семидесяти копеек до рубля в день. Пока стояла жаркая и сухая погода, мы исполняли разные наружные работы, главным образом красили крыши. С непривычки моим ногам было горячо, точно я ходил по раскаленной плите, а когда надевал валенки, то ногам было душно. Но это только на первых порах, потом же я привык, и все пошло как по маслу. Я жил теперь среди людей, для которых труд был обязателен и неизбежен и которые работали, как ломовые лошади, часто не сознавая нравственного значения труда и даже никогда не употребляя в разговоре самого слова «труд»; около них и я тоже чувствовал себя ломовиком, все более проникаясь обязательностью и неизбежностью того, что я делал, и это облегчало мне жизнь, избавляя от всяких сомнений.

В первое время все занимало меня, все было ново, точно я вновь родился. Я мог спать на земле, мог ходить босиком,— а это чрезвычайно приятно; мог стоять в толпе простого народа, никого не стесняя, и когда на улице падала извозчичья лошадь, то я бежал и помогал поднять ее, не боясь запачкать свое платье. А главное, я жил на свой собственный счет и никому не был в тягость!

Окраска крыш, особенно с нашею олифой и краской, считалась очень выгодным делом, и потому этою грубой, скучной работой не брезговали даже такие хорошие мастера, как Редька. В коротких брючках, с тощими лиловыми ногами, он ходил по крыше, похожий на аиста, и я слышал, как, работая кистью, он тяжело вздыхал и говорил:

— Горе, горе нам, грешным!

По крыше он ходил так же свободно, как по полу. Несмотря на то, что он был болен и бледен, как мертвец, прыткость у него была необыкновенная; он так же, как молодые, красил купол и главы церкви без подмостков, только при помощи лестниц и веревки, и было немножко страшно, когда он тут, стоя на высоте, далеко от земли, выпрямлялся во весь свой рост и изрекал неизвестно для кого:

— Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу!

Или же, думая о чем-нибудь, отвечал вслух своим мыслям:

— Все может быть! Все может быть!

Когда я возвращался с работы домой, то все эти, которые сидели у ворот на лавочках, все приказчики, мальчишки и их

хозяева пускали мне вслед разные замечания, насмешливые и злобные, и это на первых порах волновало меня и казалось просто чудовищным.

— Маленькая польза! — слышалось со всех сторон.— Маляр! Охра!

И никто не относился ко мне так немилостиво, как именно те, которые еще так недавно сами были простыми людьми и добывали себе кусок хлеба черным трудом. В торговых рядах, когда я проходил мимо железной лавки, меня, как бы нечаянно, обливали водой и раз даже швырнули в меня палкой. А один купец-рыбник, седой старик, загородил мне дорогу и сказал, глядя на меня со злобой:

— Не тебя, дурака, жалко! Отца твоего жалко!

А мои знакомые при встречах со мною почему-то конфузились. Одни смотрели на меня, как на чудака и шута, другим было жаль меня, третьи же не знали, как относиться ко мне, и понять их было трудно. Как-то днем, в одном из переулков около нашей Большой Дворянской, я встретил Анюту Благово. Я шел на работу и нес две длинных кисти и ведро с краской. Узнав меня, Анюта вспыхнула.

— Прошу вас не кланяться мне на улице...— проговорила она нервно, сурово, дрожащим голосом, не подавая мне руки, и на глазах у нее вдруг заблестели слезы.— Если, по-вашему, все это так нужно, то пусть... пусть, но прошу вас, не встречайтесь со мною!

Я уже жил не на Большой Дворянской, а в предместье Макарихе, у своей няни Карповны, доброй, но мрачной старушки, которая всегда предчувствовала что-нибудь дурное, боялась всех снов вообще и даже в пчелах и в осах, которые залетали к ней в комнату, видела дурные приметы. И то, что я сделался рабочим, по ее мнению, не предвещало ничего хорошего.

— Пропала твоя головушка! — говорила она печально, покачивая головой.— Пропала!

С нею в домике жил ее приемыш Прокофий, мясник, громадный, неуклюжий малый лет тридцати, рыжий, с жесткими усами. Встречаясь со мною в сенях, он молча и почтительно уступал мне дорогу, и если был пьян, то всей пятерней делал мне под козырек. По вечерам он ужинал, и сквозь дощатую перегородку мне слышно было, как он крякал и вздыхал, выпивая рюмку за рюмкой.

— Мамаша! — звал он вполголоса.

— Ну? — отзывалась Карповна, любившая без памяти своего приемыша.— Что, сынок?

— Я вам, мамаша, могу снисхождение сделать. В сей земной

жизни буду вас питать на старости лет в юдоли, а когда помрете, на свой счет похороню. Сказал — и верно.

Вставал я каждый день до восхода солнца, ложился рано. Ели мы, маляры, очень много и спали крепко, и только почему-то по ночам сильно билось сердце. С товарищами я не ссорился. Брань, отчаянные клятвы и пожелания, вроде того, например, чтобы лопнули глаза или схватила холера, не прекращались весь день, но тем не менее все-таки жили мы между собою дружно. Ребята подозревали во мне религиозного сектанта и добродушно подшучивали надо мною, говоря, что от меня даже родной отец отказался, и тут же рассказывали, что сами они редко заглядывают в храм божий и что многие из них по десяти лет на духу не бывали, и такое свое беспутство оправдывали тем, что маляр среди людей все равно что галка среди птиц.

Ребята уважали меня и относились ко мне с почтением; им, очевидно, нравилось, что я не пью, не курю и веду тихую, степенную жизнь. Их только неприятно шокировало, что я не участвую в краже олифы и вместе с ними не хожу к заказчикам просить на чай. Кража хозяйской олифы и краски была у маляров в обычае и не считалась кражей, и замечательно, что даже такой справедливый человек, как Редька, уходя с работы, всякий раз уносил с собою немножко белил и олифы. А просить на чай не стыдились даже почтенные старики, имевшие в Макарихе собственные дома, и было досадно и стыдно, когда ребята гурьбой поздравляли какое-нибудь ничтожество с первоначатием или окончанием и, получив от него гривенник, униженно благодарили.

С заказчиками они держали себя, как лукавые царедворцы, и мне почти каждый день вспоминался шекспировский Полоний.

— А, должно быть, дождь будет,— говорил заказчик, глядя на небо.

— Будет, беспременно будет! — соглашались маляры.

— Впрочем, облака не дождевые. Пожалуй, не будет дождя.

— Не будет, ваше высокородие! Верно, не будет.

Заглазно они относились к заказчикам вообще иронически, и когда, например, видели барина, сидящего на балконе с газетой, то замечали:

— Газету читает, а есть небось нечего.

Дома у своих я не бывал. Возвращаясь с работы, я часто находил у себя записки, короткие и тревожные, в которых сестра писала мне об отце: то он был за обедом как-то особенно задумчив и ничего не ел, то пошатнулся, то заперся у себя и долго не выходил. Такие известия волновали меня, я не мог спать и, случалось даже, ходил ночью по Большой Дворянской мимо нашего дома, вглядываясь в темные окна и стараясь угадать, все ли дома благополучно.

По воскресеньям приходила ко мне сестра, но украдкой, будто не ко мне, а к няньке. И если входила ко мне, то очень бледная, с заплаканными глазами, и тотчас же начинала плакать.

— Наш отец не перенесет этого! — говорила она.— Если, не дай бог, с ним случится что-нибудь, то тебя всю жизнь будет мучить совесть. Это ужасно, Мисаил! Именем нашей матери умоляю тебя: исправься!

— Сестра, дорогая моя,— говорил я,— как исправляться, если я убежден, что поступаю по совести? Пойми!

— Я знаю, что по совести, но, может быть, это можно как-нибудь иначе, чтобы никого не огорчать.

— Ох, батюшки! — вздыхала за дверью старуха.— Пропала твоя головушка! Быть беде, родимые мои, быть беде!

VI

В одно из воскресений ко мне неожиданно явился доктор Благово. Он был в кителе поверх шелковой рубахи и в высоких лакированных сапогах.

— А я к вам! — начал он, крепко, по-студенчески, пожимая мне руку.— Каждый день слышу про вас и все собираюсь к вам потолковать, как говорится, по душам. В городе страшная скука, нет ни одной живой души, не с кем слово сказать. Жарко, мать пречистая! — продолжал он, снимая китель и оставаясь в одной шелковой рубахе.— Голубчик, позвольте с вами поговорить!

Мне самому было скучно и давно уже хотелось побыть в обществе не маляров. Я искренне обрадовался ему.

— Начну с того,— сказал он, садясь на мою постель,— что я вам сочувствую от всей души и глубоко уважаю эту вашу жизнь. Здесь в городе вас не понимают, да и некому понимать, так как, сами знаете, здесь, за весьма малыми исключениями, всё гоголевские свиные рыла. Но я тогда же на пикнике сразу угадал вас. Вы — благородная душа, честный, возвышенный человек! Уважаю вас и считаю за великую честь пожать вашу руку! — продолжал он восторженно.— Чтобы изменить так резко и круто свою жизнь, как сделали это вы, нужно было пережить сложный душевный процесс, и, чтобы продолжать теперь эту жизнь и постоянно находиться на высоте своих убеждений, вы должны изо дня в день напряженно работать и умом и сердцем. Теперь, для начала нашей беседы, скажите, не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию, вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем великим ученым или художником, то ваша жизнь захватыва-

ла бы шире и глубже и была бы продуктивнее во всех отношениях?

Мы разговорились, и когда у нас зашла речь о физическом труде, то я выразил такую мысль: нужно, чтобы сильные не порабощали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом или насосом, высасывающим из него хронически лучшие соки, то есть нужно, чтобы все без исключения — и сильные и слабые, богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за существование, каждый сам за себя, а в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд в качестве общей, для всех обязательной повинности.

— Стало быть, по-вашему, физическим трудом должны заниматься все без исключения? — спросил доктор.

— Да.

— А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битье щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезною опасностью?

— В чем же опасность? — спросил я.— Ведь прогресс — в делах любви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не порабощаете, никому не в тягость, то какого вам нужно еще прогресса?

— Но позвольте! — вдруг вспылил Благово, вставая:— Но позвольте! Если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете прогрессом?

— Почему же — ковыряется? — обиделся я.— Если вы не заставляете своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас от врагов, то в жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не прогресс? По-моему, это прогресс самый настоящий и, пожалуй, единственно возможный и нужный для человека.

— Пределы общечеловеческого, мирового прогресса в бесконечности, и говорить о каком-то «возможном» прогрессе, ограниченном нашими нуждами или временными воззрениями, это, извините, даже странно.

— Если пределы прогресса в бесконечности, как вы говорите, то, значит, цели его неопределенны,— сказал я.— Жить и не знать определенно, для чего живешь!

— Пусть! Но это «не знать» не так скучно, как ваше «знать». Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего живете,— ради того, чтобы одни не порабощали других, чтобы

художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной жить — неужели не противно? Если одни насекомые порабощают других, то и черт с ними, пусть съедают друг друга! Не о них нам надо думать,— ведь они все равно помрут и сгниют, как ни спасайте их от рабства,— надо думать о том великом иксе, который ожидает все человечество в отдаленном будущем.

Благово спорил со мною горячо, но в то же время было заметно, что его волнует какая-то посторонняя мысль.

— Должно быть, ваша сестра не придет,— сказал он, посмотрев на часы.— Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас. Вы всё толкуете — рабство, рабство...— продолжал он.— Но ведь это вопрос частный, и все такие вопросы решаются человечеством постепенно, само собой.

Заговорили о постепенности. Я сказал, что вопрос — делать добро или зло, каждый решает сам за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития. К тому же постепенность — палка о двух концах. Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утонченные формы, по крайней мере, умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае. У нас идеи — идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы и потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые, станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьезная опасность.

Но вот пришла и сестра. Увидев доктора, она засуетилась, встревожилась и тотчас же заговорила о том, что ей пора домой, к отцу.

— Клеопатра Алексеевна,— сказал Благово убедительно, прижимая обе руки к сердцу,— что станется с вашим батюшкой, если вы проведете со мною и братом каких-нибудь полчаса?

Он был простосердечен и умел сообщать свое оживление другим. Моя сестра, подумав минуту, рассмеялась и повеселела вдруг,

внезапно, как тогда на пикнике. Мы пошли в поле и, расположившись на траве, продолжали наш разговор и смотрели на город, где все окна, обращенные на запад, казались ярко-золотыми оттого, что заходило солнце.

После этого, всякий раз когда приходила ко мне сестра, являлся и Благово, и оба здоровались с таким видом, как будто встреча их у меня была нечаянной. Сестра слушала, как я и доктор спорили, и в это время выражение у нее было радостно-восторженное, умиленное и пытливое, и мне казалось, что перед ее глазами открывался мало-помалу иной мир, какого она раньше не видала даже во сне и какой старалась угадать теперь. Без доктора она была тиха и грустна, и если теперь иногда плакала, сидя на моей постели, то уже по причинам, о которых не говорила.

В августе Редька приказал нам собираться на линию. Дня за два перед тем, как нас «погнали» за город, ко мне пришел отец. Он сел и не спеша, не глядя на меня, вытер свое красное лицо, потом достал из кармана наш городской «Вестник» и медленно, с ударением на каждом слове, прочел о том, что мой сверстник, сын управляющего конторою Государственного банка, назначен начальником отделения в казенной палате.

— А теперь взгляни на себя,— сказал он, складывая газету,— нищий, оборванец, негодяй! Даже мещане и крестьяне получают образование, чтобы стать людьми, а ты, Полознев, имеющий знатных, благородных предков, стремишься в грязь! Но я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с тобою; на тебя я уже махнул рукой,— продолжал он придушенным голосом, вставая.— Я пришел затем, чтобы узнать: где твоя сестра, негодяй? Она ушла из дому после обеда, и вот уже восьмой час, а ее нет. Она стала часто уходить, не говоря мне, она уже менее почтительна, — и я вижу тут твое злое, подлое влияние. Где она?

В руках у него был знакомый мне зонтик, и я уже растерялся и вытянулся, как школьник, ожидая, что отец начнет бить меня, но он заметил взгляд мой, брошенный на зонтик, и, вероятно, это сдержало его.

— Живи как хочешь! — сказал он.— Я лишаю тебя моего благословения!

— Батюшки-светы! — бормотала за дверью нянька.— Бедная, несчастная твоя головушка! Ох, чует мое сердце, чует!

Я работал на линии. Весь август непрерывно шли дожди, было сыро и холодно; с полей не свозили хлеба, и в больших хозяйствах, где косили машинами, пшеница лежала не в копнах, а в кучах, и я помню, как эти печальные кучи с каждым днем становились все темнее и зерно прорастало в них. Работать было трудно; ливень портил все, что мы успевали сделать. Жить и спать в стан-

ционных зданиях нам не позволялось, и ютились мы в грязных, сырых землянках, где летом жила «чугунка», и по ночам я не мог спать от холода и оттого, что по лицу и по рукам ползали мокрицы. А когда работали около мостов, то по вечерам приходила к нам гурьбой «чугунка» только затем, чтобы бить маляров,— для нее это был род спорта. Нас били, выкрадывали у нас кисти и, чтобы раздразнить нас и вызвать на драку, портили нашу работу, например, вымазывали будки зеленою краской. В довершение всех наших бед Редька стал платить крайне неисправно. Все малярные работы на участке были сданы подрядчику, этот сдал другому, и уже этот сдал Редьке, выговорив себе процентов двадцать. Работа сама по себе была невыгодна, а тут еще дожди; время пропадало даром, мы не работали, а Редька был обязан платить ребятам поденно. Голодные маляры едва не били его, обзывали жуликом, кровопийцей, Иудой-христопродавцем, а он, бедняга, вздыхал, в отчаянии воздевал к небу руки и то и дело ходил к госпоже Чепраковой за деньгами.

VII

Наступила дождливая, грязная, темная осень. Наступила безработица, и я дня по три сидел дома без дела или же исполнял разные не малярные работы, например, таскал землю для черного наката, получая за это по двугривенному в день. Доктор Благово уехал в Петербург. Сестра не приходила ко мне. Редька лежал у себя дома больной, со дня на день ожидая смерти.

И настроение было осеннее. Быть может, оттого, что, ставши рабочим, я уже видел нашу городскую жизнь только с ее изнанки, почти каждый день мне приходилось делать открытия, приводившие меня просто в отчаяние. Те мои сограждане, о которых раньше я не был никакого мнения или которые с внешней стороны представлялись вполне порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо. Осенью в нашем клубе я оклеивал обоями читальню и две комнаты; мне заплатили по семи копеек за кусок, но приказали расписаться — по двенадцати, и когда я отказался исполнить это, то благообразный господин в золотых очках, должно быть, один из старшин клуба, сказал мне:

— Если ты, мерзавец, будешь еще много разговаривать, то я тебе всю морду побью.

И когда лакей шепнул ему, что я сын архитектора Полознева, то он сконфузился, покраснел, но тотчас же оправился и сказал:

— А черт с ним!

В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, леглую муку и спитой чай; в церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки, и если мы по бедности не давали им взяток, то нас в отместку кормили из грязной посуды; на почте самый маленький чиновник считал себя вправе обращаться с нами, как с животными, и кричать грубо и нагло: «Обожди! Куда лезешь?» Даже дворовые собаки — и те относились к нам недружелюбно и бросались на нас с какою-то особенною злобой. Но главное, что больше всего поражало меня в моем новом положении, это совершенное отсутствие справедливости, именно то самое, что у народа определяется словами: «Бога забыли». Редкий день обходился без мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшие нам олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики. Само собою, ни о каких наших правах не могло быть и речи, и свои заработанные деньги мы должны были всякий раз выпрашивать как милостыню, стоя у черного крыльца без шапок.

Я оклеивал в клубе одну из комнат, смежных с читальней; вечером, когда я уже собирался уходить, в эту комнату вошла дочь инженера Должикова с пачкой книг в руках.

Я поклонился ей.

— А, здравствуйте! — сказала она, тотчас же узнав меня и протягивая руку.— Очень рада вас видеть.

Она улыбалась и осматривала с любопытством и с недоумением мою блузу, ведро с клейстером, обои, растянутые на полу; я смутился, и ей тоже стало неловко.

— Вы извините, что я на вас смотрю так,— сказала она.— Мне много говорили о вас. Особенно доктор Благово,— он просто влюблен в вас. И с сестрой вашей я уже познакомилась; милая, симпатичная девушка, но я никак не могла убедить ее, что в вашем опрощении нет ничего ужасного. Напротив, вы теперь самый интересный человек в городе.

Она опять поглядела на ведро с клейстером, на обои и продолжала:

— Я просила доктора Благово познакомить меня с вами поближе, но, очевидно, он забыл или не успел. Как бы ни было, мы все-таки знакомы, и если бы вы пожаловали ко мне как-нибудь запросто, то я была бы вам чрезвычайно обязана. Мне так хочется поговорить! Я простой человек,— сказала она, протягивая мне руку,— и, надеюсь, у меня вы будете без стеснения. Отца нет, он в Петербурге.

Она ушла в читальню, шурша платьем, а я, придя домой, долго не мог уснуть.

«На подводе»

В эту же невеселую осень какая-то добрая душа, очевидно, желая хотя немного облегчить мое существование, изредка присылала мне то чаю и лимонов, то печений, то жареных рябчиков. Карповна говорила, что приносил это всякий раз солдат, а от кого — неизвестно; и солдат расспрашивал, здоров ли я, каждый ли день я обедаю и есть ли у меня теплое платье. Когда наступили морозы, мне таким же образом, в мое отсутствие, с солдатом прислали мягкий вязаный шарф, от которого шел нежный, едва уловимый запах духов, и я угадал, кто была моя добрая фея. От шарфа пахло ландышами, любимыми духами Анюты Благово.

К зиме набралось больше работы, стало веселей. Редька опять ожил, и мы вместе работали в кладбищенской церкви, где шпатлевали иконостас для позолоты. Это была работа чистая, покойная и, как говорили наши, спорая. В один день можно было много сработать, и притом время бежало быстро, незаметно. Ни брани, ни смеха, ни громких разговоров. Само место обязывало к тишине и благочинию и располагало к тихим, серьезным мыслям. Погруженные в работу, мы стояли или сидели неподвижно, как статуи; была тишина мертвая, какая подобает кладбищу, так что если падал инструмент или трещал огонь в лампадке, то звуки эти раздавались гулко и резко — и мы оглядывались. После долгой тишины слышалось гуденье, точно летели пчелы: это у притвора, не торопясь, вполголоса, отпевали младенца; или живописец, писавший на куполе голубя и вокруг него звезды, начинал тихо посвистывать и, спохватившись, тотчас же умолкал; или Редька, отвечая своим мыслям, говорил со вздохом: «Все может быть! Все может быть!»; или над нашими головами раздавался медленный заунывный звон, и маляры замечали, что это, должно быть, богатого покойника несут...

Дни проводил я в этой тишине, в церковных сумерках, а в длинные вечера играл на бильярде или ходил в театр на галерею в своей новой триковой паре, которую я купил себе на заработанные деньги. У Ажогиных уже начались спектакли и концерты; декорации писал теперь один Редька. Он рассказывал мне содержание пьес и живых картин, какие ему приходилось видеть у Ажогиных, и я слушал его с завистью. Меня сильно тянуло на репетиции, но идти к Ажогиным я не решался.

За неделю до рождества приехал доктор Благово. И опять мы спорили и по вечерам играли на бильярде. Играя, он снимал сюртук и расстегивал на груди рубаху и вообще старался почему-то придать себе вид отчаянного кутилы. Пил он немного, но шумно и ухитрялся оставлять в таком плохом, дешевом трактире, как «Волга», по двадцати рублей в вечер.

Опять у меня стала бывать сестра; оба они, увидев друг друга, всякий раз удивлялись, но по радостному, виноватому лицу ее видно было, что встречи эти были не случайные. Как-то вечером, когда мы играли на бильярде, доктор сказал мне:

— Послушайте, отчего вы не бываете у Должиковой? Вы не знаете Марии Викторовны, это умница, прелесть, простая, добрая душа.

Я рассказал ему, как весною принял меня инженер.

— Пустое! — рассмеялся доктор.— Инженер — сам по себе, а она — сама по себе. Право, голубчик, не обижайте ее, сходите к ней как-нибудь. Например, давайте сходим к ней завтра вечером. Хотите?

Он уговорил меня. На другой день вечером, надевши свою новую триковую пару и волнуясь, я отправился к Должиковой. Лакей уже не показался мне таким надменным и страшным и мебель такою роскошною, как в то утро, когда я являлся сюда просителем. Мария Викторовна ожидала меня и встретила, как старого знакомого, и пожала руку крепко, дружески. Она была в сером суконном платье, с широкими рукавами и в прическе, которую у нас в городе год спустя, когда она вошла в моду, называли «собачьими ушами». Волосы с висков были зачесаны на уши, и от этого лицо у Марии Викторовны стало как будто шире, и она показалась мне в этот раз очень похожей на своего отца, у которого лицо было широкое, румяное и в выражении было что-то ямщицкое. Она была красива и изящна, но не молода, лет тридцати на вид, хотя на самом деле ей было двадцать пять, не больше.

— Милый доктор, как я ему благодарна! — говорила она, сажая меня.— Если бы не он, то вы не пришли бы ко мне. Мне скучно до смерти! Отец уехал и оставил меня одну, и я не знаю, что мне делать в этом городе.

Затем она стала расспрашивать меня, где я теперь работаю, сколько получаю, где живу.

— Вы тратите на себя только то, что зарабатываете? — спросила она.

— Да.

— Счастливый человек! — вздохнула она.— В жизни все зло, мне кажется, от праздности, от скуки, от душевной пустоты, а все это неизбежно, когда привыкаешь жить на счет других. Не подумайте, что я рисуюсь, искренне вам говорю: неинтересно и неприятно быть богатым. Приобретайте друзей богатством неправедным — так сказано, потому что вообще нет и не может быть богатства праведного.

Она с серьезным, холодным выражением оглядела мебель, точно хотела сосчитать ее, и продолжала:

— Комфорт и удобства обладают волшебною силой; они мало-помалу затягивают людей даже с сильною волей. Когда-то отец и я жили небогато и просто, а теперь видите как. Слыханное ли дело,— сказала она, пожав плечами,— мы проживаем до двадцати тысяч в год! В провинции!

— На комфорт и удобства приходится смотреть как на неизбежную привилегию капитала и образования,— сказал я,— и мне кажется, что удобства жизни можно сочетать с каким угодно, даже с самым тяжелым и грязным трудом. Ваш отец богат, однако же, как он говорит, ему пришлось побывать и в машинистах и в простых смазчиках.

Она улыбнулась и с сомнением покачала головой.

— Папа иногда ест и тюрю с квасом,— сказала она.— Забава, прихоть!

В это время послышался звонок, и она встала.

— Образованные и богатые должны работать, как все,— продолжала она,— а если комфорт, то одинаково для всех. Никаких привилегий не должно быть. Ну, бог с нею, с философией. Расскажите мне что-нибудь веселенькое. Расскажите мне про маляров. Какие они? Смешные?

Пришел доктор. Я стал рассказывать про маляров, но с непривычки стеснялся и рассказывал, как этнограф, серьезно и вяло. Доктор тоже рассказал несколько анекдотов из жизни мастеровых. Он пошатывался, плакал, становился на колени и даже, изображая пьяного, ложился на пол. Это была настоящая актерская игра, и Мария Викторовна, глядя на него, хохотала до слез. Потом он играл на рояле и пел своим приятным жиденьким тенором, а Мария Викторовна стояла возле и выбирала для него, что петь, и поправляла, когда он ошибался.

— Я слышал, вы тоже поете? — спросил я.

— Тоже! — ужаснулся доктор.— Она — чудная певица, артистка, а вы — тоже! Эка хватил!

— Я когда-то занималась серьезно,— ответила она на мой вопрос,— но теперь бросила.

Сидя на низкой скамеечке, она рассказывала нам про свою жизнь в Петербурге и изображала в лицах известных певцов, передразнивая их голоса и манеру петь; рисовала в альбоме доктора, потом меня, рисовала плохо, но оба мы вышли похожи. Она смеялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло к ней, чем разговоры о богатстве неправедном, и мне казалось, что говорила она со мною давеча о богатстве и комфорте не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная комическая актриса. Я мысленно ставил ее рядом с нашими барышнями, и даже красивая, солидная Анюта Благово не выдерживала сравнения с нею;

разница была громадная, как между хорошей культурной розой и диким шиповником.

Мы втроем ужинали. Доктор и Мария Викторовна пили красное вино, шампанское и кофе с коньяком; они чокались и пили за дружбу, за ум, за прогресс, за свободу, и не пьянели, а только раскраснелись и часто хохотали без причины, до слез. Чтобы не показаться скучным, и я тоже пил красное вино.

— Талантливые, богато одаренные натуры,— сказала Должикова,— знают, как им жить, и идут своею дорогой; средние же люди, как я, например, ничего не знают и ничего сами не могут; им ничего больше не остается, как подметить какое-нибудь глубокое общественное течение и плыть, куда оно понесет.

— Разве можно подметить то, чего нет? — спросил доктор.

— Нет, потому что мы не видим.

— Так ли? Общественные течения — это новая литература выдумала. Их нет у нас.

Начался спор.

— Никаких глубоких общественных течений у нас нет и не было,— говорил доктор громко.— Мало ли чего не выдумала новая литература! Она выдумала еще каких-то интеллигентных тружеников в деревне, а у нас обыщите все деревни и найдете разве только Неуважай-Корыто в пиджаке или в черном сюртуке, делающего в слове «еще» четыре ошибки. Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Та же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, что и пятьсот лет назад. Течения, веяния, но ведь все это мелко, мизерабельно, притянуто к пошлым, грошовым интересикам — и неужели в них можно видеть что-нибудь серьезное? Если вам покажется, что вы подметили глубокое общественное течение и, следуя за ним, вы посвятите вашу жизнь таким задачам в современном вкусе, как освобождение насекомых от рабства или воздержание от говяжьих котлет, то — поздравляю вас, сударыня. Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы еще не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем.

— Вы не понимаете, а я понимаю,— сказала Мария Викторовна.— Вы сегодня бог знает какой скучный!

— Наше дело — учиться и учиться, стараться накоплять возможно больше знаний, потому что серьезные общественные течения там, где знания, и счастье будущего человечества только в знании. Пью за науку!

— Одно несомненно: надо устраивать себе жизнь как-нибудь по-иному,— сказала Мария Викторовна, помолчав и подумав,— а та жизнь, какая была до сих пор, ничего не стóит. Не будем говорить о ней.

Когда мы вышли от нее, то в соборе било уже два часа.

— Понравилась? — спросил доктор.— Не правда ли, славная?

В первый день рождества мы обедали у Марии Викторовны и потом, в продолжение всех праздников, ходили к ней почти каждый день. У нее никто не бывал, кроме нас, и она была права, когда говорила, что, кроме меня и доктора, у нее в городе нет никого знакомых. Время мы проводили большею частью в разговорах; иногда доктор приносил с собою какую-нибудь книгу или журнал и читал нам вслух. В сущности, это был первый образованный человек, какого я встретил в жизни. Не могу судить, много ли он знал, но он постоянно обнаруживал свои знания, так как хотел, чтобы и другие также знали. Когда он говорил о чем-нибудь относящемся к медицине, то не походил ни на одного из наших городских докторов, а производил какое-то новое, особенное впечатление, и мне казалось, что если бы он захотел, то мог бы стать настоящим ученым. И это, пожалуй, был единственный человек, который в то время имел серьезное влияние на меня. Видаясь с ним и прочитывая книги, какие он давал мне, я стал мало-помалу чувствовать потребность в знаниях, которые одухотворяли бы мой невеселый труд. Мне уже казалось странным, что раньше я не знал, например, что весь мир состоит из шестидесяти простых тел, не знал, что такое олифа, что такое краски, и как-то мог обходиться без этих знаний. Знакомство с доктором подняло меня и нравственно. Я часто спорил с ним, и хотя обыкновенно оставался при своем мнении, но все же благодаря ему я мало-помалу стал замечать, что для самого меня не все было ясно, и я уже старался выработать в себе возможно определенные убеждения, чтобы указания совести были определенны и не имели бы в себе ничего смутного. Тем не менее все-таки этот самый образованный и лучший человек в городе далеко еще не был совершенством. В его манерах, в привычке всякий разговор сводить на спор, в его приятном теноре и даже в его ласковости было что-то грубоватое, семинарское, и когда он снимал сюртук и оставался в одной шелковой рубахе или бросал в трактире лакею на чай, то мне казалось всякий раз, что культура — культурой, а татарин все еще бродит в нем.

На крещение он опять уехал в Петербург. Он уехал утром, а после обеда пришла ко мне сестра. Не снимая шубы и шапки, она сидела молча, очень бледная, и смотрела в одну точку. Ее познабливало, и видно было, что она перемогалась.

— Ты, должно быть, простудилась,— сказал я.

Глаза у нее наполнились слезами, она встала и пошла к Карповне, не сказав мне ни слова, точно я обидел ее. И немного погодя я слышал, как она говорила тоном горького упрека:

— Нянька, для чего я жила до сих пор? Для чего? Ты скажи: разве я не погубила своей молодости? В лучшие годы своей жизни только и знать, что записывать расходы, разливать чай, считать копейки, занимать гостей и думать, что выше этого ничего нет на свете! Нянька, пойми, ведь и у меня есть человеческие запросы, и я хочу жить, а из меня сделали какую-то ключницу. Ведь это ужасно, ужасно!

Она швырнула ключи в дверь, и они со звоном упали в моей комнате. Это были ключи от буфета, от кухонного шкапа, от погреба и от чайной шкатулки,— те самые ключи, которые когда-то еще носила моя мать.

— Ах, ох, батюшки! — ужасалась старуха.— Святители-угодники!

Уходя домой, сестра зашла ко мне, чтобы подобрать ключи, и сказала:

— Ты извини меня. Со мною в последнее время делается что-то странное.

VIII

Как-то, вернувшись от Марии Викторовны поздно вечером, я застал у себя в комнате молодого околоточного в новом мундире; он сидел за моим столом и перелистывал книгу.

— Наконец-то! — сказал он, вставая и потягиваясь.— Я к вам уже в третий раз прихожу. Губернатор приказал, чтобы вы пришли к нему завтра ровно в девять часов утра. Непременно.

Он взял с меня подписку, что я в точности исполню приказ его превосходительства, и ушел. Это позднее посещение околоточного и неожиданное приглашение к губернатору подействовали на меня самым угнетающим образом. У меня с раннего детства остался страх перед жандармами, полицейскими, судейскими, и теперь меня томило беспокойство, будто я в самом деле был виноват в чем-то. И я никак не мог уснуть. Нянька и Прокофий тоже были взволнованы и не спали. К тому же еще у няньки болело ухо, она стонала и несколько раз принималась плакать от боли. Услышав, что я не сплю, Прокофий осторожно вошел ко мне с лампочкой и сел у стола.

— Вам бы перцовки выпить...— сказал он, подумав.— В сей юдоли как выпьешь, оно и ничего. И ежели бы мамаше влить в ухо перцовки, то большая польза.

В третьем часу он собрался в бойню за мясом. Я знал, что мне уже не уснуть до утра, и, чтобы как-нибудь скоротать время до девяти часов, я отправился вместе с ним. Мы шли с фонарем, а его

мальчик Николка, лет тринадцати с синими пятнами на лице от ознобов, по выражению — совершенный разбойник, ехал за нами в санях, хриплым голосом понукая лошадь.

— Вас у губернатора, должно, наказывать будут,— говорил мне дорогой Прокофий.— Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, есть докторская наука, и для каждого звания есть своя наука. А вы не дéржитесь своей науки, и этого вам нельзя дозволить.

Бойня находилась за кладбищем, и раньше я видел ее только издали. Это были три мрачных сарая, окруженные серым забором, от которых, когда дул с их стороны ветер, летом в жаркие дни несло удушливою вонью. Теперь, войдя во двор, в потемках я не видел сараев; мне все попадались лошади и сани, пустые и уже нагруженные мясом; ходили люди с фонарями и отвратительно бранились. Бранились и Прокофий и Николка так же гадко, и в воздухе стоял непрерывный гул от брани, кашля и лошадиного ржанья.

Пахло трупами и навозом. Таяло, снег уже перемешался с грязью, и мне в потемках казалось, что я хожу по лужам крови.

Набравши полные сани мяса, мы отправились на рынок в мясную лавку. Стало светать. Пошли одна за другою кухарки с корзинами и пожилые дамы в салопах. Прокофий с топором в руке, в белом, обрызганном кровью фартуке, страшно клялся, крестился на церковь, кричал громко на весь рынок, уверяя, что он отдает мясо по своей цене и даже себе в убыток. Он обвешивал, обсчитывал, кухарки видели это, но, оглушенные его криком, не протестовали, а только обзывали его катом. Поднимая и опуская свой страшный топор, он принимал картинные позы и всякий раз со свирепым выражением издавал звук «гек!», и я боялся, как бы в самом деле он не отрубил кому-нибудь голову или руку.

Я пробыл в мясной лавке все утро, и когда наконец пошел к губернатору, то от моей шубы пахло мясом и кровью. Душевное состояние у меня было такое, будто я, по чьему-то приказанию, шел с рогатиной на медведя. Я помню высокую лестницу с полосатым ковром и молодого чиновника во фраке со светлыми пуговицами, который молча, двумя руками, указал мне на дверь и побежал доложить. Я вошел в зал, в котором обстановка была роскошна, но холодна и безвкусна, и особенно неприятно резали глаза высокие и узкие зеркала в простенках и ярко-желтые портьеры на окнах; видно было, что губернаторы менялись, а обстановка оставалась все та же. Молодой чиновник опять указал мне двумя руками на дверь, и я направился к большому зеленому столу, за которым стоял военный генерал с Владимиром на шее.

— Господин Полознев, я просил вас явиться,— начал он, держа в руке какое-то письмо и раскрывая рот широко и кругло, как буква *о*,— я просил вас явиться, чтобы объявить вам следующее. Ваш уважаемый батюшка письменно и устно обращался к губернскому предводителю дворянства, прося его вызвать вас и поставить вам на вид все несоответствие поведения вашего со званием дворянина, которое вы имеете честь носить. Его превосходительство Александр Павлович, справедливо полагая, что поведение ваше может служить соблазном, и находя, что тут одного убеждения с его стороны было бы недостаточно, а необходимо серьезное административное вмешательство, представил мне вот в этом письме свои соображения относительно вас, которые я разделяю.

Он говорил это тихо, почтительно, стоя прямо, точно я был его начальником, и глядя на меня совсем не строго. Лицо у него было дряблое, поношенное, все в морщинах, под глазами отвисали мешки, волоса он красил, и вообще по наружности нельзя было определить, сколько ему лет — сорок или шестьдесят.

— Надеюсь,— продолжал он,— что вы оцените деликатность почтенного Александра Павловича, который обратился ко мне не официально, а частным образом. Я также пригласил вас неофициально и говорю с вами не как губернатор, а как искренний почитатель вашего родителя. Итак, прошу вас — или изменить ваше поведение и вернуться к обязанностям, приличным вашему званию, или же, во избежание соблазна, переселиться в другое место, где вас не знают и где вы можете заниматься, чем вам угодно. В противном же случае я должен буду принять крайние меры.

Он с полминуты простоял молча, с открытым ртом, глядя на меня.

— Вы вегетарианец? — спросил он.

— Нет, ваше превосходительство, я ем мясо.

Он сел и потянул к себе какую-то бумагу; я поклонился и вышел.

До обеда уже не стоило идти на работу. Я отправился домой спать, но не мог уснуть от неприятного, болезненного чувства, навеянного на меня бойней и разговором с губернатором, и, дождавшись вечера, расстроенный, мрачный, пошел к Марии Викторовне. Я рассказывал ей о том, как я был у губернатора, а она смотрела на меня с недоумением, точно не верила, и вдруг захохотала весело, громко, задорно, как умеют хохотать только добродушные, смешливые люди.

— Если бы это рассказать в Петербурге! — проговорила она, едва не падая от смеха и склоняясь к своему столу.— Если бы это рассказать в Петербурге!

IX

Теперь мы виделись уже часто, раза по два в день. Она почти каждый день после обеда приезжала на кладбище и, поджидая меня, читала надписи на крестах и памятниках; иногда входила в церковь и, стоя возле меня, смотрела, как я работаю. Тишина, наивная работа живописцев и позолотчиков, рассудительность Редьки, и то, что я наружно ничем не отличался от других мастеровых и работал, как они, в одной жилетке и в опорках, и что мне говорили *ты* — это было ново для нее и трогало ее. Однажды при ней живописец, писавший наверху голубя, крикнул мне:

— Мисаил, дай-ка мне белил!

Я отнес ему белил, и, когда потом спускался вниз по жидким подмосткам, она смотрела на меня, растроганная до слез, и улыбалась.

— Какой вы милый! — сказала она.

У меня с детства осталось в памяти, как у одного из наших богачей вылетел из клетки зеленый попугай и как потом эта красивая птица целый месяц бродила по городу, лениво перелетая из сада в сад, одинокая, бесприютная. И Мария Викторовна напоминала мне эту птицу.

— Кроме кладбища, мне теперь положительно негде бывать,— говорила она мне со смехом.— Город прискучил до отвращения. У Ажогиных читают, поют, сюсюкают, я не переношу их в последнее время; ваша сестра — нелюдимка, mademoiselle Благово за что-то ненавидит меня, театра я не люблю. Куда прикажете деваться?

Когда я бывал у нее, от меня пахло краской и скипидаром, руки мои были темны — и ей это нравилось; она хотела также, чтобы я приходил к ней не иначе, как в своем обыкновенном рабочем платье; но в гостиной это платье стесняло меня, я конфузился, точно был в мундире, и потому, собираясь к ней, всякий раз надевал свою новую триковую пару. И это ей не нравилось.

— А вы, сознайтесь, не вполне еще освоились с вашею новою ролью,— сказала она мне однажды.— Рабочий костюм стесняет вас, вам неловко в нем. Скажите, не оттого ли это, что в вас нет уверенности и что вы не удовлетворены? Самый род труда, который вы избрали, эта ваша малярия — неужели она удовлетворяет вас?— спросила она, смеясь.— Я знаю, окраска делает предметы красивее и прочнее, но ведь эти предметы принадлежат горожанам, богачам и, в конце концов, составляют роскошь. К тому же вы сами не раз говорили, что каждый должен добывать себе хлеб собственными руками, между тем вы добываете деньги, а не хлеб. Почему бы не держаться буквального смысла ваших слов?

Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить или делать что-нибудь такое, что имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, например, пасти коров, копать землю, рубить избы...

Она открыла хорошенький шкап, стоявший около ее письменного стола, и сказала:

— Все это я вам к тому говорю, что мне хочется посвятить вас в свою тайну. Voilà! [1] Это моя сельскохозяйственная библиотека. Тут и поле, и огород, и сад, и скотный двор, и пасека. Я читаю с жадностью и уже изучила в теории все до капельки. Моя мечта, моя сладкая греза: как только наступит март, уеду в нашу Дубечню. Дивно там, изумительно! Не правда ли? В первый год я буду приглядываться к делу и привыкать, а на другой год уже сама стану работать по-настоящему, не щадя, как говорится, живота. Отец обещал подарить мне Дубечню, и я буду делать в ней все, что захочу.

Раскрасневшись, волнуясь до слез и смеясь, она мечтала вслух о том, как она будет жить в Дубечне и какая это будет интересная жизнь. А я завидовал ей. Март был уже близко, дни становились все больше и больше, и в яркие солнечные полдни капало с крыш и пахло весной; мне самому хотелось в деревню.

И когда она сказала, что переедет жить в Дубечню, мне живо представилось, как я останусь в городе один, и я почувствовал, что ревную ее к шкапу с книгами и к сельскому хозяйству. Я не знал и не любил сельского хозяйства и хотел было сказать ей, что сельское хозяйство есть рабское занятие, но вспомнил, что нечто подобное было уже не раз говорено моим отцом, и промолчал.

Наступил великий пост. Приехал из Петербурга инженер Виктор Иваныч, о существовании которого я уже стал забывать. Приехал он неожиданно, не предупредив даже телеграммой. Когда я пришел, по обыкновению, вечером, он, умытый, подстриженный, помолодевший лет на десять, ходил по гостиной и что-то рассказывал; дочь его, стоя на коленях, вынимала из чемоданов коробки, флаконы, книги и подавала все это лакею Павлу. Увидав инженера, я невольно сделал шаг назад, а он протянул ко мне обе руки и сказал, улыбаясь, показывая свои белые, крепкие, ямщицкие зубы:

— Вот и он, вот и он! Очень рад видеть вас, господин маляр! Маша все рассказала, она тут спела вам целый панегирик. Вполне вас понимаю и одобряю! — продолжал он, беря меня под руку.— Быть порядочным рабочим куда умнее и честнее, чем изводить

[1] Вот! *(франц.)*

казенную бумагу и носить на лбу кокарду. Я сам работал в Бельгии, вот этими руками, потом ходил два года машинистом...

Он был в коротком пиджаке и по-домашнему в туфлях, ходил, как подагрик, слегка переваливаясь и потирая руки. Что-то напевая, он тихо мурлыкал и все пожимался от удовольствия, что наконец вернулся домой и принял свой любимый душ.

— Спора нет,— говорил он мне за ужином,— спора нет, все вы милые, симпатичные люди, но почему-то, господа, как только вы беретесь за физический труд или начинаете спасать мужика, то все это у вас в конце концов сводится к сектантству. Разве вы не сектант? Вот вы не пьете водки. Что же это, как не сектантство?

Чтобы доставить ему удовольствие, я выпил водки. Выпил и вина. Мы пробовали сыры, колбасы, паштеты, пикули и всевозможные закуски, которые привез с собою инженер, и вина, полученные в его отсутствие из-за границы. Вина были превосходны. Почему-то вина и сигары инженер получал из-за границы беспошлинно; икру и балыки кто-то присылал ему даром, за квартиру он не платил, так как хозяин дома поставлял на линию керосин; и вообще на меня он и его дочь производили такое впечатление, будто все лучшее в мире было к их услугам и получалось ими совершенно даром.

Я продолжал бывать у них, но уже не так охотно. Инженер стеснял меня, и в его присутствии я чувствовал себя связанным. Я не выносил его ясных, невинных глаз, рассуждения его томили меня, были мне противны; томило и воспоминание о том, что еще так недавно я был подчинен этому сытому, румяному человеку и что он был со мною немилосердно груб. Правда, он брал меня за талию, ласково хлопал по плечу, одобрял мою жизнь, но я чувствовал, что он по-прежнему презирает мое ничтожество и терпит меня только в угоду своей дочери; и я уже не мог смеяться и говорить, что хочу, и держался нелюдимом, и все ждал, что, того и гляди, он обзовет меня Пантелеем, как своего лакея Павла. Как возмущалась моя провинциальная, мещанская гордость! Я, пролетарий, маляр, каждый день хожу к людям богатым, чуждым мне, на которых весь город смотрит, как на иностранцев, и каждый день пью у них дорогие вина и ем необыкновенное — с этим не хотела мириться моя совесть! Идя к ним, я угрюмо избегал встречных и глядел исподлобья, точно в самом деле был сектантом, а когда уходил от инженера домой, то стыдился своей сытости.

А главное, я боялся увлечься. Шел ли я по улице, работал ли, говорил ли с ребятами, я все время думал только о том, как вечером пойду к Марии Викторовне, и воображал себе ее голос, смех, походку. Собираясь к ней, я всякий раз долго стоял у няньки перед кривым зеркалом, завязывая себе галстук, моя триковая

пара казалась мне отвратительною, и я страдал и в то же время презирал себя за то, что я так мелочен. Когда она кричала мне из другой комнаты, что она не одета, и просила подождать, я слышал, как она одевалась; это волновало меня, и я чувствовал, будто подо мною опускается пол. А когда я видел на улице, хотя бы издали, женскую фигуру, то непременно сравнивал; мне казалось тогда, что все наши женщины и девушки вульгарны, нелепо одеты, не умеют держать себя; и эти сравнения возбуждали во мне чувство гордости: Мария Викторовна лучше всех! А по ночам я видел ее и себя во сне.

Как-то за ужином мы вместе с инженером съели целого омара. Возвращаясь потом домой, я вспомнил, что инженер за ужином два раза сказал мне «любезнейший», и я рассудил, что в этом доме ласкают меня, как большого несчастного пса, отбившегося от своего хозяина, что мною забавляются и, когда я надоем, меня прогонят, как пса. Мне стало стыдно и больно, больно до слез, точно меня оскорбили, и я, глядя на небо, дал клятву положить всему этому конец.

На другой день я не пошел к Должиковым. Поздно вечером, когда было совсем темно и лил дождь, я прошелся по Большой Дворянской, глядя на окна. У Ажогиных уже спали, и только в одном из крайних окон светился огонь; это у себя в комнате старуха Ажогина вышивала при трех свечах, воображая, что борется с предрассудками. У наших было темно, а в доме напротив, у Должиковых, окна светились, но ничего нельзя было разглядеть сквозь цветы и занавески. Я все ходил по улице; холодный мартовский дождь поливал меня. Я слышал, как мой отец вернулся из клуба; он постучал в ворота, через минуту в окне показался огонь, и я увидел сестру, которая шла торопливо с лампой и на ходу одною рукой поправляла свои густые волосы. Потом отец ходил в гостиной из угла в угол и говорил о чем-то, потирая руки, а сестра сидела в кресле неподвижно, о чем-то думая, не слушая его.

Но вот они ушли, огонь погас... Я оглянулся на дом инженера — и тут уже было темно. В темноте, под дождем, я почувствовал себя безнадежно одиноким, брошенным на произвол судьбы, почувствовал, как в сравнении с этим моим одиночеством, в сравнении со страданием, настоящим и с тем, которое мне еще предстояло в жизни, мелки все мои дела, желания и все то, что я до сих пор думал, говорил. Увы, дела и мысли живых существ далеко не так значительны, как их скорби! И, не отдавая себе ясно отчета в том, что я делаю, я изо всей силы дернул за звонок у ворот Должикова, порвал его и побежал по улице, как мальчишка, испытывая страх и думая, что сейчас непременно выйдут и узнают меня.

Когда я остановился в конце улицы, чтобы перевести дух, слышно было только, как шумел дождь да как где-то далеко по чугунной доске стучал сторож.

Я целую неделю не ходил к Должиковым. Триковая пара была продана. Малярной работы не было, я опять жил впроголодь, добывая себе по десять — двадцать копеек в день, где придется, тяжелою, неприятною работой. Болтаясь по колена в холодной грязи, надсаживая грудь, я хотел заглушить воспоминания и точно мстил себе за все те сыры и консервы, которыми меня угощали у инженера; но все же, едва я ложился в постель, голодный и мокрый, как мое грешное воображение тотчас же начинало рисовать мне чудные, обольстительные картины, и я с изумлением сознавался себе, что я люблю, страстно люблю, и засыпал крепко и здорово, чувствуя, что от этой каторжной жизни мое тело становится только сильнее и моложе.

В один из вечеров некстати пошел снег и подуло с севера, точно опять наступала зима. Вернувшись с работы в этот вечер, я застал в своей комнате Марию Викторовну. Она сидела в шубке, держа обе руки в муфте.

— Отчего вы не бываете у меня? — спросила она, поднимая свои умные, ясные глаза, а я сильно смутился от радости и стоял перед ней навытяжку, как перед отцом, когда тот собирался бить меня; она смотрела мне в лицо, и по глазам ее было видно, что она понимает, почему я смущен.

— Отчего вы не бываете у меня? — повторила она.— Если вы не хотите бывать, то вот я сама пришла.

Она встала и близко подошла ко мне.

— Не покидайте меня,— сказала она, и глаза ее наполнились слезами.— Я одна, я совершенно одна!

Она заплакала и проговорила, закрывая лицо муфтой:

— Одна! Мне тяжело жить, очень тяжело, и на всем свете нет у меня никого, кроме вас. Не покидайте меня!

Ища платка, чтобы утереть слезы, она улыбнулась; мы молчали некоторое время, потом я обнял ее и поцеловал, при этом оцарапал себе щеку до крови булавкой, которою была приколота ее шапка.

И мы стали говорить так, как будто были близки друг другу уже давно-давно...

X

Дня через два она послала меня в Дубечню, и я был несказанно рад этому. Когда я шел на вокзал и потом сидел в вагоне, то смеялся без причины, и на меня смотрели, как на пьяного. Шел

снег, и был мороз по утрам, но дороги уже потемнели, и над ними, каркая, носились грачи.

Сначала я предполагал устроить помещение для нас обоих, для меня и Маши, в боковом флигеле, против флигеля госпожи Чепраковой, но в нем, как оказалось, издавна жили голуби и утки, и очистить его было невозможно без того, чтобы не разрушить множества гнезд. Пришлось волей-неволей отправляться в неуютные комнаты большого дома с жалюзи. Мужики называли этот дом палатами; в нем было больше двадцати комнат, а мебели только одно фортепиано да детское креслице, лежавшее на чердаке, и если бы Маша привезла из города всю свою мебель, то и тогда все-таки нам не удалось бы устранить этого впечатления угрюмой пустоты и холода. Я выбрал три небольших комнаты с окнами в сад и с раннего утра до ночи убирал их, вставляя новые стекла, оклеивая обоями, заделывая в полу щели и дыры. Это был легкий, приятный труд. То и дело я бегал к реке взглянуть, не идет ли лед; все мне чудилось, что прилетели скворцы. А ночью, думая о Маше, я с невыразимо сладким чувством, с захватывающею радостью прислушивался к тому, как шумели крысы и как над потолком гудел и стучал ветер; казалось, что на чердаке кашлял старый домовой.

Снег был глубокий; его много еще подвалило в конце марта, но он растаял быстро, как по волшебству, вешние воды прошли буйно, так что в начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки. Была чудесная погода. Я каждый день перед вечером ходил к городу встречать Машу, и что это было за наслаждение ступать босыми ногами по просыхающей, еще мягкой дороге! На полпути я садился и смотрел на город, не решаясь подойти к нему близко. Вид его смущал меня. Я все думал: как отнесутся ко мне мои знакомые, узнав о моей любви? Что скажет отец? Особенно же смущала меня мысль, что жизнь моя осложнилась и что я совсем потерял способность управлять ею, и она, точно воздушный шар, уносила меня бог знает куда. Я уже не думал о том, как мне добыть себе пропитание, как жить, а думал — право, не помню о чем.

Маша приезжала в коляске; я садился к ней, и мы ехали вместе в Дубечню, веселые, свободные. Или, дождавшись захода солнца, я возвращался домой недовольный, скучный, недоумевая, отчего не приехала Маша, а у ворот усадьбы или в саду меня встречало неожиданно милое привидение — она! Оказывалось, что она приехала по железной дороге и со станции пришла пешком. Какое это было торжество! В простеньком шерстяном платье, в косыночке, со скромным зонтиком, но затянутая, стройная, в дорогих заграничных ботинках — это была талантливая актриса, играв-

шая мещаночку. Мы осматривали наше хозяйство и решали, где будет чья комната, где у нас будут аллеи, огород, пасека. У нас уже были куры, утки и гуси, которых мы любили за то, что они были наши. У нас уже были приготовлены для посева овес, клевер, тимошка, греча и огородные семена, и мы всякий раз осматривали все это и обсуждали подолгу, какой может быть урожай, и все, что говорила мне Маша, казалось мне необыкновенно умным и прекрасным. Это было самое счастливое время моей жизни.

Вскоре после Фоминой недели мы венчались в нашей приходской церкви, в селе Куриловке, в трех верстах от Дубечни. Маша хотела, чтобы все устроилось скромно; по ее желанию, шаферами у нас были крестьянские парни, пел один дьячок, и возвращались мы из церкви на небольшом тряском тарантасе, и она сама правила. Из городских гостей у нас была только моя сестра Клеопатра, которой дня за три до свадьбы Маша послала записку. Сестра была в белом платье и в перчатках. Во время венчания она тихо плакала от умиления и радости, выражение лица у нее было материнское, бесконечно доброе. Она опьянела от нашего счастья и улыбалась, будто вдыхала в себя сладкий чад, и, глядя на нее во время нашего венчания, я понял, что для нее на свете нет ничего выше любви, земной любви, и что она мечтает о ней тайно, робко, но постоянно и страстно. Она обнимала и целовала Машу и, не зная, как выразить свой восторг, говорила ей про меня:

— Он добрый! Он очень добрый!

Перед тем как уехать от нас, она переоделась в свое обыкновенное платье и повела меня в сад, чтобы поговорить со мною наедине.

— Отец очень огорчен, что ты ничего не написал ему,— сказала она,— нужно было попросить у него благословения. Но, в сущности, он очень доволен. Он говорит, что эта женитьба поднимет тебя в глазах всего общества и что под влиянием Марии Викторовны ты станешь серьезнее относиться к жизни. Мы по вечерам теперь говорим только о тебе, и вчера он даже выразился так: «наш Мисаил». Это меня порадовало. По-видимому, он что-то задумал, и мне кажется, он хочет показать тебе пример великодушия и первый заговорит о примирении. Очень возможно, что на днях он приедет сюда к вам.

Она несколько раз торопливо перекрестила меня и сказала:

— Ну, бог с тобою, будь счастлив. Анюта Благово очень умная девушка, она говорит про твою женитьбу, что это бог посылает тебе новое испытание. Что ж? В семейной жизни не одни радости, но и страдания. Без этого нельзя.

Провожая ее, я и Маша прошли пешком версты три; потом, возвращаясь, мы шли тихо и молча, точно отдыхали. Маша дер-

жала меня за руку, на душе было легко, и уже не хотелось говорить о любви; после венчания мы стали друг другу еще ближе и родней, и нам казалось, что уже ничто не может разлучить нас.

— Твоя сестра — симпатичное существо,— сказала Маша,— но похоже, будто ее долго мучили. Должно быть, твой отец ужасный человек.

Я стал рассказывать ей, как воспитывали меня и сестру и как в самом деле было мучительно и бестолково наше детство. Узнав, что еще так недавно меня бил отец, она вздрогнула и прижалась ко мне.

— Не рассказывай больше,— проговорила она.— Это страшно.

Теперь уже она не расставалась со мною. Мы жили в большом доме, в трех комнатах, и по вечерам крепко запирали дверь, которая вела в пустую часть дома, точно там жил кто-то, кого мы не знали и боялись. Я вставал рано, с рассветом, и тотчас же принимался за какую-нибудь работу. Я починял телеги, проводил в саду дорожки, копал гряды, красил крышу на доме. Когда пришло время сеять овес, я пробовал двоить, скородить, сеять, и делал все это добросовестно, не отставая от работника; я утомлялся, от дождя и от резкого холодного ветра у меня подолгу горели лицо и ноги, по ночам снилась мне вспаханная земля. Но полевые работы не привлекали меня. Я не знал сельского хозяйства и не любил его; это, быть может, оттого, что предки мои не были земледельцами и в жилах моих текла чисто городская кровь. Природу я любил нежно, любил и поле, и луга, и огороды, но мужик, поднимающий сохой землю, понукающий свою жалкую лошадь, оборванный, мокрый, с вытянутою шеей, был для меня выражением грубой, дикой, некрасивой силы, и, глядя на его неуклюжие движения, я всякий раз невольно начинал думать о давно прошедшей, легендарной жизни, когда люди не знали еще употребления огня. Суровый бык, ходивший с крестьянским стадом, и лошади, когда они, стуча копытами, носились по деревне, наводили на меня страх, и все мало-мальски крупное, сильное и сердитое, был ли то баран с рогами, гусак или цепная собака, представлялось мне выражением все той же грубой, дикой силы. Это предубеждение особенно сильно говорило во мне в дурную погоду, когда над черным вспаханным полем нависали тяжелые облака. Главное же, когда я пахал или сеял, а двое-трое стояли и смотрели, как я это делаю, то у меня не было сознания неизбежности и обязательности этого труда, и мне казалось, что я забавляюсь. И я предпочитал делать что-нибудь во дворе, и ничто мне так не нравилось, как красить крышу.

Я ходил через сад и через луг на нашу мельницу. Ее арендовал Степан, куриловский мужик, красивый, смуглый, с густою черною бородой, на вид — силач. Мельничного дела он не любил и считал его скучным и невыгодным, а жил на мельнице только для того, чтобы не жить дома. Он был шорник, и около него всегда приятно пахло смолой и кожей. Разговаривать он не любил, был вял, неподвижен, и все напевал «у-лю-лю-лю», сидя на берегу или на пороге. К нему приходили иногда из Куриловки его жена и теща, обе белолицые, томные, кроткие; они низко кланялись ему и называли его «вы, Степан Петрович». А он, не ответив на их поклон ни движением, ни словом, садился в стороне на берегу и напевал тихо: «у-лю-лю-лю». Проходил в молчании час-другой. Теща и жена, пошептавшись, вставали и некоторое время глядели на него, ожидая, что он оглянется, потом низко кланялись и говорили сладкими, певучими голосами:

— Прощайте, Степан Петрович!

И уходили. После того, убирая оставленный ими узел с баранками или рубаху, Степан вздыхал и говорил, мигнув в их сторону:

— Женский пол!

Мельница в два постава работала днем и ночью. Я помогал Степану, это мне нравилось, и когда он уходил куда-нибудь, я охотно оставался вместо него.

XI

После теплой, ясной погоды наступила распутица; весь май шли дожди, было холодно. Шум мельничных колес и дождя располагал к лени и ко сну. Дрожал пол, пахло мукой, и это тоже нагоняло дремоту. Жена в коротком полушубке, в высоких, мужских калошах, показывалась раза два в день и говорила всегда одно и то же:

— И это называется летом! Хуже, чем в октябре!

Вместе мы пили чай, варили кашу или по целым часам сидели молча, ожидая, не утихнет ли дождь. Раз, когда Степан ушел куда-то на ярмарку, Маша пробыла на мельнице всю ночь. Когда мы встали, то нельзя было понять, который час, так как дождевые облака заволокли все небо; только пели сонные петухи в Дубечне и кричали дергачи на лугу; было еще очень, очень рано... Мы с женой спустились к плёсу и вытащили вершу, которую накануне при нас забросил Степан. В ней бился один большой окунь и, задирая вверх клешню, топорщился рак.

— Выпусти их,— сказала Маша.— Пусть и они будут счастливы.

Оттого, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался очень длинным, самым длинным в моей жизни. Перед вечером вернулся Степан, и я пошел домой, в усадьбу.

— Сегодня приезжал твой отец,— сказала мне Маша.

— Где же он? — спросил я.

— Уехал. Я его не приняла.

Видя, что я стою и молчу, что мне жаль моего отца, она сказала:

— Надо быть последовательным. Я не приняла и велела передать ему, чтобы он уже больше не беспокоился и не приезжал к нам.

Через минуту я уже был за воротами и шел в город, чтобы объясниться с отцом. Было грязно, скользко, холодно. В первый раз после свадьбы мне стало вдруг грустно, и в мозгу моем, утомленном этим длинным серым днем, промелькнула мысль, что, быть может, я живу не так, как надо. Я утомился, мало-помалу мною овладели слабодушие, лень, не хотелось двигаться, соображать, и, пройдя немного, я махнул рукой и вернулся назад.

Среди двора стоял инженер в кожаном пальто с капюшоном и говорил громко:

— Где мебель? Была прекрасная мебель в стиле empire, были картины, были вазы, а теперь хоть шаром покати! Я покупал имение с мебелью, черт бы ее драл!

Около него стоял и мял в руках свою шапку генеральшин работник Моисей, парень лет двадцати пяти, худой, рябоватый, с маленькими наглыми глазами; одна щека у него была больше другой, точно он отлежал ее.

— Вы, ваше высокоблагородие, изволили покупать без мебели,— нерешительно проговорил он.— Я помню-с.

— Замолчать! — крикнул инженер, побагровел, затрясся, и эхо в саду громко повторило его крик.

XII

Когда я делал что-нибудь в саду или на дворе, то Моисей стоял возле и, заложив руки назад, лениво и нагло глядел на меня своими маленькими глазками. И это до такой степени раздражало меня, что я бросал работу и уходил.

От Степана мы узнали, что этот Моисей был любовником у генеральши. Я заметил, что когда к ней приходили за деньгами, то сначала обращались к Моисею, и раз я видел, как какой-то мужик, весь черный, должно быть, угольщик, кланялся ему в ноги; иногда, пошептавшись, он выдавал деньги сам, не доклады-

вая барыне, из чего я заключил, что при случае он оперировал самостоятельно, за свой счет.

Он стрелял у нас в саду под окнами, таскал из нашего погреба съестное, брал, не спросясь, лошадей, а мы возмущались, переставали верить, что Дубечня наша, и Маша говорила, бледнея:

— Неужели мы должны жить с этими гадами еще полтора года?

Сын генеральши, Иван Чепраков, служил кондуктором на нашей дороге. За зиму он сильно похудел и ослабел, так что уже пьянел с одной рюмки и зябнул в тени. Кондукторское платье он носил с отвращением и стыдился его, но свое место считал выгодным, так как мог красть свечи и продавать их. Мое новое положение возбуждало в нем смешанное чувство удивления, зависти и смутной надежды, что и с ним может случиться что-нибудь подобное. Он провожал Машу восхищенными глазами, спрашивал, что я теперь ем за обедом, и на его тощем, некрасивом лице появлялось грустное и сладкое выражение, и он шевелил пальцами, точно осязал мое счастье.

— Послушай, Маленькая польза,— говорил он суетливо, каждую минуту закуривая; там, где он стоял, было всегда насорено, так как на одну папиросу он тратил десятки спичек.— Послушай, жизнь у меня теперь подлейшая. Главное, всякий прапорщик может кричать: «Ты кондуктор! ты!» Понаслушался я, брат, в вагонах всякой всячины и, знаешь, понял: скверная жизнь! Погубила меня мать! Мне в вагоне один доктор сказал: если родители развратные, то дети у них выходят пьяницы или преступники. Вот оно что!

Раз он пришел во двор, шатаясь. Глаза у него бессмысленно блуждали, дыхание было тяжелое; он смеялся, плакал и говорил что-то, как в горячечном бреду, и в его спутанной речи были понятны для меня только слова: «Моя мать! Где моя мать?», которые произносил он с плачем, как ребенок, потерявший в толпе свою мать. Я увел его к себе в сад и уложил там под деревом, и потом весь день и всю ночь я и Маша по очереди сидели возле него. Ему было нехорошо, а Маша с омерзением глядела в его бледное, мокрое лицо и говорила:

— Неужели эти гады проживут в нашем дворе еще полтора года? Это ужасно! Это ужасно!

А сколько огорчений причиняли нам крестьяне! Сколько тяжелых разочарований на первых же порах, в весенние месяцы, когда так хотелось быть счастливым! Моя жена строила школу. Я начертил план школы на шестьдесят мальчиков, и земская управа одобрила его, но посоветовала строить школу в Куриловке, в

большом селе, которое было всего в трех верстах от нас; кстати же куриловская школа, в которой учились дети из четырех деревень, в том числе из нашей Дубечни, была стара и тесна, и по гнилому полу уже ходили с опаской. В конце марта Машу, по ее желанию, назначили попечительницей куриловской школы, а в начале апреля мы три раза собирали сход и убеждали крестьян, что их школа тесна и стара и что необходимо строить новую. Приезжали член земской управы и инспектор народных училищ и тоже убеждали. После каждого схода нас окружали и просили на ведро водки; нам было жарко в толпе, мы скоро утомлялись и возвращались домой недовольные и немного сконфуженные. В конце концов мужики отвели под школу землю и обязались доставить из города на своих лошадях весь строительный материал. И как только управились с яровыми, в первое же воскресенье из Куриловки и Дубечни пошли подводы за кирпичом для фундамента. Выехали чуть свет на заре, а возвратились поздно вечером; мужики были пьяны и говорили, что замучились.

Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май. Дорога испортилась, стало грязно. Подводы, возвращаясь из города, заезжали обыкновенно к нам во двор — и какой это был ужас! Вот в воротах показывается лошадь, расставив передние ноги, пузатая; она, прежде чем въехать во двор, кланяется; вползает на роспусках двенадцатиаршинное бревно, мокрое, осклизлое на вид; возле него, запахнувшись от дождя, не глядя под ноги, не обходя луж, шагает мужик с полой, заткнутою за пояс. Показывается другая подвода — с тёсом, потом третья — с бревном, четвертая... и место перед домом мало-помалу запруживается лошадьми, бревнами, досками. Мужики и бабы с окутанными головами и с подтыканными платьями, озлобленно глядя на наши окна, шумят, требуют, чтобы к ним вышла барыня; слышны грубые ругательства. А в стороне стоит Моисей, и нам кажется, что он наслаждается нашим позором.

— Не станем больше возить! — кричат мужики.— Замучились! Пошла бы сама и возила!

Маша, бледная, оторопев, думая, что сейчас к ней ворвутся в дом, высылает на полведра; после этого шум стихает, и длинные бревна одно за другим ползут обратно со двора.

Когда я собирался на постройку, жена волновалась и говорила:

— Мужики злятся. Как бы они тебе не сделали чего-нибудь. Нет, погоди, и я с тобой поеду.

Мы уезжали в Куриловку вместе, и там плотники просили у нас на чай. Сруб уже был готов, пора уже было класть фундамент, но не приходили каменщики; происходила задержка, и плотники

роптали. А когда наконец пришли каменщики, то оказалось, что нет песку: как-то упустили из виду, что он нужен. Пользуясь нашим безвыходным положением, мужики запросили по тридцати копеек за воз, хотя от постройки до реки, где брали песок, не было и четверти версты, а всех возов понадобилось более пятисот. Конца не было недоразумениям, брани и попрошайству, жена возмущалась, а подрядчик-каменщик, Тит Петров, семидесятилетний старик, брал ее за руку и говорил:

— Гляди ты сюда! Гляди ты сюда! Привези ты мне только песку, пригоню тебе сразу десять человек, и в два дня будет готово. Гляди ты сюда!

Но привезли песок, прошло и два, и четыре дня, и неделя, а на месте будущего фундамента все еще зияла канава.

— Эдак с ума сойдешь! — волновалась жена.— Что за народ! Что за народ!

Во время этих неурядиц к нам приезжал инженер Виктор Иваныч. Он привозил с собою кульки с винами и закусками, долго ел и потом ложился спать на террасе и храпел так, что работники покачивали головами и говорили:

— Одначе!

Маша бывала не рада его приезду, не верила ему и в то же время советовалась с ним; когда он, выспавшись после обеда и вставши не в духе, дурно отзывался о нашем хозяйстве или выражал сожаление, что купил Дубечню, которая принесла ему уже столько убытков, то на лице у бедной Маши выражалась тоска; она жаловалась ему, он зевал и говорил, что мужиков надо драть.

Нашу женитьбу и нашу жизнь он называл комедией, говорил, что это каприз, баловство.

— С нею уже бывало нечто подобное,— рассказывал он мне про Машу.— Она раз вообразила себя оперною певицей и ушла от меня; я искал ее два месяца и, любезнейший, на одни телеграммы истратил тысячу рублей.

Он уже не называл меня ни сектантом, ни господином маляром и не относился с одобрением к моей рабочей жизни, как раньше, а говорил:

— Вы — странный человек! Вы — непормальный человек! Не смею предсказывать, но вы дурно кончите-с!

А Маша плохо спала по ночам и все думала о чем-то, сидя у окна нашей спальни. Не было уже смеха за ужином, ни милых гримас. Я страдал, и когда шел дождь, то каждая капля его врезывалась в мое сердце, как дробь, и я готов был пасть перед Машей на колени и извиняться за погоду. Когда во дворе шумели мужики, то я тоже чувствовал себя виноватым. По целым часам я просиживал на одном месте, думая только о том, какой великолепный

человек Маша, какой это чудесный человек. Я страстно любил ее, и меня восхищало все, что она делала, все, что говорила. У нее была склонность к тихим кабинетным занятиям, она любила читать подолгу, изучать что-нибудь; она, знавшая хозяйство только по книгам, удивляла всех нас своими познаниями, и советы, какие она давала, все пригодились, и ни один из них не пропал в хозяйстве даром. И при всем том сколько благородства, вкуса и благодушия, того самого благодушия, какое бывает только у прекрасно воспитанных людей!

Для этой женщины со здоровым, положительным умом беспорядочная обстановка с мелкими заботами и дрязгами, в которой мы теперь жили, была мучительна; я это видел и сам не мог спать по ночам, голова моя работала, и слезы подступали к горлу. Я метался, не зная, что делать.

Я скакал в город и привозил Маше книги, газеты, конфекты, цветы, я вместе со Степаном ловил рыбу, по целым часам бродя по шею в холодной воде под дождем, чтобы поймать налима и разнообразить наш стол; я униженно просил мужиков не шуметь, поил их водкой, подкупал, давал им разные обещания. И сколько я еще делал глупостей!

Дожди наконец перестали, земля высохла. Встанешь утром, часа в четыре, выйдешь в сад,— роса блестит на цветах, шумят птицы и насекомые, на небе ни одного облачка; и сад, и луг, и река так прекрасны, но воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере! Я и Маша вместе уезжали на беговых дрожках в поле взглянуть на овес. Она правила, я сидел сзади; плечи у нее были приподняты, и ветер играл ее волосами.

— Права держи! — кричала она встречным.

— Ты похожа на ямщика,— сказал я ей как-то.

— А может быть! Ведь мой дед, отец инженера, был ямщик. Ты не знал этого? — спросила она, обернувшись ко мне, и тотчас же представила, как кричат и как поют ямщики.

«И слава богу! — думал я, слушая ее.— Слава богу!»

И опять воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере...

XIII

Приехал на велосипеде доктор Благово. Стала часто бывать сестра. Опять разговоры о физическом труде, о прогрессе, о таинственном иксе, ожидающем человечество в отдаленном будущем. Доктор не любил нашего хозяйства, потому что оно мешало нам спорить, и говорил, что пахать, косить, пасти телят недостойно свободного человека и что все эти грубые виды борьбы за существо-

вание люди со временем возложат на животных и на машины, а сами будут заниматься исключительно научными исследованиями. А сестра все просила отпустить ее пораньше домой, и если оставалась до позднего вечера или ночевать, то волнениям не было конца.

— Боже мой, какой вы еще ребенок! — говорила с упреком Маша.— Это даже смешно наконец.

— Да, смешно,— соглашалась сестра,— я сознаю, что это смешно; но что делать, если я не в силах побороть себя? Мне все кажется, что я поступаю дурно.

Во время сенокоса у меня с непривычки болело все тело; сидя вечером на террасе со своими и разговаривая, я вдруг засыпал, и надо мною громко смеялись. Меня будили и усаживали за стол ужинать, меня одолевала дремота, и я, как в забытьи, видел огни, лица, тарелки, слышал голоса и не понимал их. А вставши рано утром, тотчас же брался за косу или уходил на постройку и работал весь день.

Оставаясь в праздники дома, я замечал, что жена и сестра скрывают от меня что-то и даже как будто избегают меня. Жена была нежна со мною по-прежнему, но были у нее какие-то свои мысли, которых она не сообщала мне. Было несомненно, что раздражение ее против крестьян росло, жизнь для нее становилась все тяжелее, а между тем она уже не жаловалась мне. С доктором теперь она говорила охотнее, чем со мною, и я не понимал, отчего это так.

В нашей губернии был обычай: во время сенокоса и уборки хлеба по вечерам на барский двор приходили рабочие, и их угощали водкой, даже молодые девушки выпивали по стакану. Мы не держались этого; косари и бабы стояли у нас на дворе до позднего вечера, ожидая водки, и потом уходили с бранью. А Маша в это время сурово хмурилась и молчала или же говорила доктору с раздражением, вполголоса:

— Дикари! Печенеги!

В деревне новичков встречают неприветливо, почти враждебно, как в школе. Так встретили и нас. В первое время на нас смотрели, как на людей глупых и простоватых, которые купили себе имение только потому, что некуда девать денег. Над нами смеялись. В нашем лесу и даже в саду мужики пасли свой скот, угоняли к себе в деревню наших коров и лошадей и потом приходили требовать за потраву. Приходили целыми обществами к нам во двор и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой-нибудь не принадлежащей нам Бышеевки или Семенихи; а так как мы еще не знали точно границ нашей земли, то верили на слово и платили штраф; потом же оказывалось, что

косили мы правильно. В нашем лесу драли липки. Один дубеченский мужик, кулак, торговавший водкой без патента, подкупал наших работников и вместе с ними обманывал нас самым предательским образом: новые колеса на телегах заменял старыми, брал наши пахотные хомуты и продавал их нам же и т. п. Но обиднее всего было то, что происходило в Куриловке на постройке; там бабы по ночам крали тес, кирпич, изразцы, железо; староста с понятыми делал у них обыск, сход штрафовал каждую на два рубля, и потом эти штрафные деньги пропивались всем миром.

Когда Маша узнавала об этом, то с негодованием говорила доктору или моей сестре:

— Какие животные! Это ужас! ужас!

И я слышал не раз, как она выражала сожаление, что затеяла строить школу.

— Поймите,— убеждал ее доктор,— поймите, что если вы строите эту школу и вообще делаете добро, то не для мужиков, а во имя культуры, во имя будущего. И чем эти мужики хуже, тем больше поводов строить школу. Поймите!

В голосе его, однако, слышалась неуверенность, и мне казалось, что он вместе с Машей ненавидел мужиков.

Маша часто уходила на мельницу и брала с собою сестру, и обе, смеясь, говорили, что они идут посмотреть на Степана, какой он красивый. Степан, как оказалось, был медлителен и неразговорчив только с мужчинами, в женском же обществе держал себя развязно и говорил без умолку. Раз, придя на реку купаться, я невольно подслушал разговор. Маша и Клеопатра, обе в белых платьях, сидели на берегу под ивой, в широкой тени, а Степан стоял возле, заложив руки назад, и говорил:

— Нешто мужики — люди? Не люди, а, извините, зверье, шарлатаны. Какая у мужика жизнь? Только есть да пить, харчи бы подешевле, да в трактире горло драть без ума; и ни тебе разговоров хороших, ни обращения, ни формальности, а так — невежа! И сам в грязи, и жена в грязи, и дети в грязи, в чем был, в том и лег, картошку из щей тащит прямо пальцами, квас пьет с тараканом,— хоть бы подул!

— Бедность ведь! — вступилась сестра.

— Какая бедность! Оно точно, нужда, да ведь нужда нужде рознь, сударыня. Вот ежели человек в остроге сидит, или, скажем, слепой, или без ног, то это, действительно, не дай бог никому, а ежели он на воле, при своем уме, глаза и руки у него есть, сила есть, бог есть, то чего ему еще? Баловство, сударыня, невежество, а не бедность. Ежели вот вы, положим, хорошие господа, по образованию вашему, из милости пожелаете оказать ему способие, то он ваши деньги пропьет по своей подлости или, того хуже, сам

откроет питейное заведение и на ваши деньги начнет народ грабить. Вы изволите говорить — бедность. А разве богатый мужик живет лучше? Тоже, извините, как свинья. Грубиян, горлан, дубина, идет поперек себя толще, морда пухлая, красная — так бы, кажется, размахнулся и ляпнул его, подлеца. Вот Ларион дубеченский тоже богатый, а небось лубки в вашем лесу дерет не хуже бедного; и сам ругатель, и дети ругатели, а как выпьет лишнее, чкнется носом в лужу и спит. Все они, сударыня, не стоящие. Поживешь с ними в деревне, так словно в аду. Навязла она у меня в зубах, деревня-то эта, и благодарю господа, царя небесного, и сыт я, и одет, отслужил в драгунах свой срок, отходил старостой три года, и вольный я казак теперь: где хочу, там и живу. В деревне жить не желаю, и никто не имеет права меня заставить. Говорят, жена. Ты, говорят, обязан в избе с женой жить. А почему такое? Я к ней не нанимался.

— Скажите, Степан, вы женились по любви?—спросила Маша.

— Какая у нас в деревне любовь? — ответил Степан и усмехнулся.— Собственно, сударыня, ежели вам угодно знать, я женат во второй раз. Я сам не куриловский, а из Залегощa, а в Куриловку меня потом в зятья взяли. Значит, родитель не пожелал делить нас промежду себе — нас всех пять братьев, я поклонился и был таков, пошел в чужую деревню, в зятья. А первая моя жена померла в молодых летах.

— Отчего?

— От глупости. Плачет, бывало, все плачет и плачет без толку, да так и зачахла. Какие-то все травки пила, чтобы покрасиветь, да, должно, повредила внутренность. А вторая моя жена, куриловская,— что́ в ней? Деревенская баба, мужичка, и больше ничего. Когда ее за меня сватали, мне поманилось: думаю, молодая, белая из себя, чисто живут. Мать у ней словно бы хлыстовка и кофей пьет, а главное, значит, чисто живут. Стало быть, женился, а на другой день сели обедать, приказал я теще ложку подать, а она подает ложку и, гляжу, пальцем ее вытерла. Вот тебе на́, думаю, хороша у вас чистота. Пожил с ними год и ушел. Мне, может, на городской бы жениться,— продолжал он, помолчав. — Говорят, жена мужу помощница. Для чего мне помощница, я и сам себе помогу, а ты лучше со мной поговори, да не так, чтоб все те-те-те-те, а обстоятельно, чувствительно. Без хорошего разговора — что за жизнь!

Степан вдруг замолчал, и тотчас же послышалось его скучное, монотонное «у-лю-лю-лю». Это значило, что он увидел меня.

Маша бывала часто на мельнице и в беседах со Степаном, очевидно, находила удовольствие; Степан так искренне и убежденно бранил мужиков — и ее тянуло к нему. Когда она возвра-

щалась с мельницы, то всякий раз мужик-дурачок, который стерег сад, кричал на нее:

— Девка Палашка! Здорово, девка Палашка! — И лаял на нее по-собачьи: — Гав! гав!

А она останавливалась и смотрела на него со вниманием, точно в лае этого дурачка находила ответ на свои мысли, и, вероятно, он притягивал ее так же, как брань Степана. А дома ожидало ее какое-нибудь известие, вроде того, например, что деревенские гуси потолкли у нас на огороде капусту или что Ларион вожжи украл, и она говорила, пожав плечами, с усмешкой:

— Что же вы хотите от этих людей!

Она негодовала, на душе у нее собиралась накипь, а я между тем привыкал к мужикам, и меня все больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, всё с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево только одну голову,— которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость. Я говорил жене, что она видит пятна на стекле, но не видит самого стекла; в ответ она молчала или же напевала, как Степан: «у-лю-лю-лю»... Когда эта добрая, умная женщина бледнела от негодования и с дрожью в голосе говорила с доктором о пьянстве и обманах, то меня приводила в недоумение и поражала ее забывчивость. Как могла она забыть, что ее отец, инженер, тоже пил, много пил, и что деньги, на которые была куплена Дубечня, были приобретены путем целого ряда наглых, бессовестных обманов? Как могла она забыть?

XIV

И сестра тоже жила своею особою жизнью, которую тщательно скрывала от меня. Она часто шепталась с Машей. Когда я подходил к ней, она вся сжималась, и взгляд ее становился виноватым,

умоляющим; очевидно, в ее душе происходило что-то такое, чего она боялась или стыдилась. Чтобы как-нибудь не встретиться в саду или не остаться со мною вдвоем, она все время держалась около Маши, и мне приходилось говорить с нею редко, только за обедом.

Как-то вечером я тихо шел садом, возвращаясь с постройки. Уже начинало темнеть. Не замечая меня, не слыша моих шагов, сестра ходила около старой, широкой яблони, совершенно бесшумно, точно привидение. Она была в черном и ходила быстро, все по одной линии, взад и вперед, глядя в землю. Упало с дерева яблоко, она вздрогнула от шума, остановилась и прижала руки к вискам. В это самое время я подошел к ней.

В порыве нежной любви, которая вдруг прилила к моему сердцу, со слезами, вспоминая почему-то нашу мать, наше детство, я обнял ее за плечи и поцеловал.

— Что с тобою? — спросил я.— Ты страдаешь, я давно это вижу. Скажи, что с тобою?

— Мне страшно...— проговорила она, дрожа.

— Что же с тобой? — допытывался я.— Ради бога, будь откровенна!

— Я буду, буду откровенна, я скажу тебе всю правду. Скрывать от тебя — это так тяжело, так мучительно! Мисаил, я люблю...— продолжала она шепотом.— Я люблю, я люблю... Я счастлива, но почему мне так страшно?

Послышались шаги, показался между деревьями доктор Благово в шелковой рубахе, в высоких сапогах. Очевидно, здесь около яблони у них было назначено свидание. Увидев его, она бросилась к нему порывисто, с болезненным криком, точно его отнимали у нее:

— Владимир! Владимир!

Она прижималась к нему и с жадностью глядела ему в лицо, и только теперь я заметил, как похудела и побледнела она в последнее время. Особенно это было заметно по ее кружевному воротничку, который я давно знал и который теперь свободнее, чем когда-либо, облегал ее шею, тонкую и длинную. Доктор смутился, но тотчас же оправился и сказал, приглаживая ее волосы:

— Ну, полно, полно... Зачем так нервничать? Видишь, я приехал.

Мы молчали, застенчиво поглядывая друг на друга. Потом мы шли втроем, и я слышал, как доктор говорил мне:

— Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Старики утешают себя, что если теперь нет ничего, то было что-то в сороковых или шестидесятых годах; это — старики, мы же с вами мо-

лоды, наших мозгов еще не тронул marasmus senilis [1], мы не можем утешать себя такими иллюзиями. Начало Руси было в восемьсот шестьдесят втором году, а начала культурной Руси, я так понимаю, еще не было.

Но я не вникал в эти соображения. Как-то было странно, не хотелось верить, что сестра влюблена, что она вот идет и держит за руку чужого и нежно смотрит на него. Моя сестра, это нервное, запуганное, забитое, не свободное существо, любит человека, который уже женат и имеет детей! Чего-то мне стало жаль, а чего именно — не знаю; присутствие доктора почему-то было уже неприятно, и я никак не мог понять, что́ может выйти из этой их любви.

XV

Я и Маша ехали в Куриловку на освящение школы.

— Осень, осень, осень...— тихо говорила Маша, глядя по сторонам.— Прошло лето. Птиц нет, и зелены одни только вербы.

Да, уже прошло лето. Стоят ясные, теплые дни, но по утрам свежо, пастухи выходят уже в тулупах, а в нашем саду на астрах роса не высыхает в течение всего дня. Все слышатся жалобные звуки, и не разберешь, ставня ли это ноет на своих ржавых петлях или летят журавли — и становится хорошо на душе и так хочется жить!

— Прошло лето...— говорила Маша.— Теперь мы с тобою можем подвести итоги. Мы много работали, много думали, мы стали лучше от этого,— честь нам и слава,— мы преуспели в личном совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность — все осталось, как и было, и оттого, что ты пахал и сеял, а я тратила деньги и читала книжки, никому не стало лучше. Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя.

Подобные рассуждения сбивали меня, и я не знал, что думать.

— Мы от начала до конца были искренни,— сказал я,— а кто искренен, тот и прав.

— Кто спорит? Мы были правы, но мы неправильно осуществляли то, в чем мы правы. Прежде всего, самые наши внешние приемы — разве они не ошибочны? Ты хочешь быть полезен людям, но уж одним тем, что ты покупаешь имение, ты с самого начала преграждаешь себе всякую возможность сделать для них что-

[1] старческое увядание *(лат.)*.

нибудь полезное. Затем, если ты работаешь, одеваешься и ешь, как мужик, то ты своим авторитетом как бы узаконяешь эту их тяжелую, неуклюжую одежду, ужасные избы, эти их глупые бороды... С другой стороны, допустим, что ты работаешь долго, очень долго, всю жизнь, что в конце концов получаются кое-какие практические результаты, но что они, эти твои результаты, что они могут против таких стихийных сил, как гуртовое невежество, голод, холод, вырождение? Капля в море! Тут нужны другие способы борьбы, сильные, смелые, скорые! Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной деятельности и старайся действовать сразу на массу! Нужна прежде всего шумная, энергичная проповедь. Почему искусство, например, музыка, так живуче, так популярно и так сильно на самом деле? А потому, что музыкант или певец действует сразу на тысячи. Милое, милое искусство! — продолжала она, мечтательно глядя на небо.— Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном.

Когда мы подъезжали к Куриловке, погода была ясная, радостная. Кое-где во дворах молотили, пахло ржаною соломой. За плетнями ярко краснела рябина, и деревья кругом, куда ни взглянешь, были все золотые или красные. На колокольне звонили, несли к школе образа, и было слышно, как пели: «Заступница усердная». А какой прозрачный воздух, как высоко летали голуби!

Служили в классной молебен. Потом куриловские крестьяне поднесли Маше икону, а дубеченские — большой крендель и позолоченную солонку. И Маша разрыдалась.

— А ежели что было сказано лишнее или какие неудовольствия, то простите,— сказал один старик и поклонился ей и мне.

Когда мы ехали домой, Маша оглядывалась на школу; зеленая крыша, выкрашенная мною и теперь блестевшая на солнце, долго была видна нам. И я чувствовал, что взгляды, которые бросала теперь Маша, были прощальные.

XVI

Вечером она собралась в город.

В последнее время она часто уезжала в город и там ночевала. В ее отсутствие я не мог работать, руки у меня опускались и слабели; наш большой двор казался скучным, отвратительным пустырем, сад шумел сердито, и без нее дом, деревья, лошади для меня уже не были «наши».

Я никуда не выходил из дому, а все сидел за ее столом, около ее шкапа с сельскохозяйственными книгами, этими бывшими фаворитами, теперь уже ненужными, смотревшими на меня так сконфуженно. По целым часам, пока било семь, восемь, девять, пока за окнами наступала осенняя ночь, черная, как сажа, я осматривал ее старую перчатку, или перо, которым она всегда писала, или ее маленькие ножницы; я ничего не делал и ясно сознавал, что если раньше делал что-нибудь, если пахал, косил, рубил, то потому только, что этого хотела она. И если бы она послала меня чистить глубокий колодец, где бы я стоял по пояс в воде, то я полез бы и в колодец, не разбирая, нужно это или нет. А теперь, когда ее не было возле, Дубечня с ее развалинами, неубранством, с хлопающими ставнями, с ворами, ночными и дневными, представлялась мне уже хаосом, в котором всякая работа была бы бесполезна. Да и для чего мне было тут работать, для чего заботы и мысли о будущем, если я чувствовал, что из-под меня уходит почва, что роль моя здесь, в Дубечне, уже сыграна, что меня, одним словом, ожидает та же участь, которая постигла книги по сельскому хозяйству? О, какая это была тоска ночью, в часы одиночества, когда я каждую минуту прислушивался с тревогой, точно ждал, что вот-вот кто-нибудь крикнет, что мне пора уходить. Мне не было жаль Дубечни, мне было жаль своей любви, для которой, очевидно, тоже наступила уже своя осень. Какое это огромное счастье любить и быть любимым и какой ужас чувствовать, что начинаешь сваливаться с этой высокой башни!

Маша вернулась из города на другой день к вечеру. Она была недовольна чем-то, но скрывала это и только сказала, зачем это вставлены все зимние рамы,— этак задохнуться можно. Я выставил две рамы. Нам есть не хотелось, но мы сели и поужинали.

— Поди вымой руки,— сказала жена.— От тебя пахнет замазкой.

Она привезла из города новые иллюстрированные журналы, и мы вместе рассматривали их после ужина. Попадались приложения с модными картинками и выкройками. Маша оглядывала их мельком и откладывала в сторону, чтобы потом рассмотреть особо, как следует; но одно платье с широкою, как колокол, гладкою юбкой и с большими рукавами заинтересовало ее, и она минуту смотрела на него серьезно и внимательно.

— Это недурно,— сказала она.

— Да, это платье тебе очень пойдет,— сказал я.— Очень!

И, глядя с умилением на платье, любуясь этим серым пятном только потому, что оно ей понравилось, я продолжал нежно:

— Чудное, прелестное платье! Прекрасная, великолепная Маша! Дорогая моя Маша!

И слезы закапали на картинку.

— Великолепная Маша...— бормотал я.— Милая, дорогая Маша...

Она пошла и легла, а я еще с час сидел и рассматривал иллюстрации.

— Напрасно ты выставил рамы,— сказала она из спальни.— Боюсь, как бы не было холодно. Ишь ведь как задувает!

Я прочел кое-что из «смеси» — о приготовлении дешевых чернил и о самом большом брильянте на свете. Мне опять попалась модная картинка с платьем, которое ей понравилось, и я вообразил себе ее на балу с веером, с голыми плечами, блестящую, роскошную, знающую толк и в музыке, и в живописи, и в литературе, и какою маленькою, короткою показалась мне моя роль!

Наша встреча, это наше супружество были лишь эпизодом, каких будет еще немало в жизни этой живой, богато одаренной женщины. Все лучшее в мире, как я уже сказал, было к ее услугам и получалось ею совершенно даром, и даже идеи и модное умственное движение служили ей для наслаждения, разнообразя ей жизнь, и я был лишь извозчиком, который довез ее от одного увлечения к другому. Теперь уж я не нужен ей, она выпорхнет, и я останусь один.

И как бы в ответ на мои мысли на дворе раздался отчаянный крик:

— Ка-ра-у-л!

Это был тонкий бабий голос, и, точно желая передразнить его, в трубе загудел ветер тоже тонким голосом. Прошло с полминуты, и опять послышалось сквозь шум ветра, но уже как будто с другого конца двора:

— Ка-ра-у-л!

— Мисаил, ты слышишь? — спросила тихо жена.— Ты слышишь?

Она вышла ко мне из спальни в одной сорочке, с распущенными волосами, и прислушалась, глядя на темное окно.

— Кого-то душат! — проговорила она.— Этого еще недоставало.

Я взял ружье и вышел. На дворе было очень темно, дул сильный ветер, так что трудно было стоять. Я прошелся к воротам, прислушался: шумят деревья, свистит ветер, и в саду, должно быть, у мужика-дурачка, лениво подвывает собака. За воротами тьма кромешная, на линии ни одного огонька. И около того флигеля, где в прошлом году была контора, вдруг раздался придушенный крик:

— Ка-ра-у-л!

— Кто там? — окликнул я.

Боролись два человека. Один выталкивал, а другой упирался, и оба тяжело дышали.

— Пусти! — говорил один, и я узнал Ивана Чепракова; он-то и кричал тонким бабьим голосом.— Пусти, проклятый, а то я тебе все руки искусаю!

В другом я узнал Моисея. Я рознял их и при этом не удержался и ударил Моисея по лицу два раза. Он упал, потом поднялся, и я ударил его еще раз.

— Они хотели меня убить,— бормотал он.— К мамашиному комоду подбирались... Их я желаю запереть во флигеле для безопасности-с.

А Чепраков был пьян, не узнавал меня и все глубоко вздыхал, как бы набирая воздуху, чтобы опять крикнуть «караул».

Я оставил их и вернулся в дом; жена лежала в постели, уже одетая. Я рассказал ей о том, что происходило на дворе, и не скрыл даже, что бил Моисея.

— Страшно жить в деревне,— проговорила она.— И какая это длинная ночь, бог с ней.

— Ка-ра-у-л!— послышалось опять немного погодя.

— Я пойду уйму их,— сказал я.

— Нет, пусть они себе там перегрызут горла,— проговорила она с брезгливым выражением.

Она глядела в потолок и прислушивалась, а я сидел возле, не смея заговорить с нею, с таким чувством, как будто я был виноват, что на дворе кричали «караул» и что ночь была такая длинная.

Мы молчали, и я с нетерпением ждал, когда в окнах забрезжит свет. А Маша все время глядела так, будто очнулась от забытья и теперь удивлялась, как это она, такая умная, воспитанная, такая опрятная, могла попасть в этот жалкий провинциальный пустырь, в шайку мелких, ничтожных людей и как это она могла забыться до такой степени, что даже увлеклась одним из этих людей и больше полугода была его женой. Мне казалось, что для нее было уже все равно, что́ я, что́ Моисей, что́ Чепраков; все для нее слилось в этом пьяном, диком «караул» — и я, и наш брак, и наше хозяйство, и осенняя распутица; и когда она вздыхала или двигалась, чтобы лечь поудобнее, то я читал на ее лице: «О, поскорее бы утро!»

Утром она уехала.

Я прожил в Дубечне еще три дня, поджидая ее, потом сложил все наши вещи в одну комнату, запер и пошел в город. Когда я позвонился к инженеру, то был уже вечер, и на нашей Большой Дворянской горели фонари. Павел сказал мне, что никого нет дома: Виктор Иваныч уехал в Петербург, а Мария Викторовна, должно быть, у Ажогиных на репетиции. Помню, с каким волне-

нием я шел потом к Ажогиным, как стучало и замирало мое сердце, когда я поднимался по лестнице и долго стоял вверху на площадке, не смея войти в этот храм муз! В зале на столике, на рояле, на сцене горели свечи, везде по три, и первый спектакль был назначен на тринадцатое число, и теперь первая репетиция была в понедельник — тяжелый день. Борьба с предрассудками! Все любители сценического искусства были уже в сборе; старшая, средняя и младшая ходили по сцене, читая свои роли по тетрадкам. В стороне ото всех неподвижно стоял Редька, прислонившись виском к стене, и с обожанием смотрел на сцену, ожидая начала репетиции. Все как было!

Я направился к хозяйке,— надо было поздороваться, но вдруг все зашикали, замахали мне, чтобы я не стучал ногами. Стало тихо. Подняли крышку у рояля, села какая-то дама, щуря свои близорукие глаза на ноты, и к роялю подошла моя Маша, разодетая, красивая, но красивая как-то особенно, по-новому, совсем не похожая на ту Машу, которая весной приходила ко мне на мельницу; она запела:

Отчего я люблю тебя, светлая ночь?

За все время нашего знакомства это в первый раз я слышал, как она пела. У нее был хороший, сочный, сильный голос, и, пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню. Вот она кончила, ей аплодировали, и она улыбалась очень довольная, играя глазами, перелистывая ноты, поправляя на себе платье, точно птица, которая вырвалась наконец из клетки и на свободе оправляет свои крылья. Волосы у нее были зачесаны на уши, и на лице было нехорошее, задорное выражение, точно она хотела сделать всем нам вызов или крикнуть на нас, как на лошадей: «Эй вы, милые!»

И, должно быть, в это время она была очень похожа на своего деда-ямщика.

— И ты здесь? — спросила она, подавая мне руку.— Ты слышал, как я пела? Ну, как ты находишь? — И, не дожидаясь моего ответа, она продолжала: — Очень кстати, что ты здесь. Сегодня ночью я уезжаю ненадолго в Петербург. Ты меня отпустишь?

В полночь я провожал ее на вокзал. Она нежно обняла меня, вероятно, в благодарность за то, что я не задавал ненужных вопросов, и обещала писать мне, а я долго сжимал ее руки и целовал их, едва сдерживая слезы, не говоря ей ни слова.

А когда она уехала, я стоял, смотрел на удалявшиеся огни, ласкал ее в своем воображении и тихо говорил:

— Милая моя Маша, великолепная Маша...

Ночевал я в Макарихе у Карповны, а утром уже вместе с Редькой обивал мебель у одного богатого купца, выдававшего свою дочь за доктора.

XVII

В воскресенье после обеда приходила ко мне сестра и пила со мною чай.

— Теперь я очень много читаю,— говорила она, показывая мне книги, которые она, идя ко мне, взяла из городской библиотеки.— Спасибо твоей жене и Владимиру, они возбудили во мне самосознание. Они спасли меня, сделали то, что я теперь чувствую себя человеком. Прежде, бывало, я не спала по ночам от разных забот: «Ах, за неделю у нас сошло много сахару! Ах, как бы не пересолить огурцы!» И теперь я тоже не сплю, но у меня уже другие мысли. Я мучаюсь, что так глупо, малодушно прошла у меня половина жизни. Свое прошлое я презираю, стыжусь его, а на отца я смотрю теперь как на своего врага. О, как я благодарна твоей жене! А Владимир? Это такой чудный человек! Они открыли мне глаза.

— Это нехорошо, что ты не спишь по ночам,— сказал я.

— Ты думаешь, я больна? Нисколько. Владимир выслушал меня и говорил, что я совершенно здорова. Но дело не в здоровье, оно не так важно... Ты мне скажи: я права?

Она нуждалась в нравственной поддержке — это было очевидно. Маша уехала, доктор Благово был в Петербурге, и в городе не оставалось никого, кроме меня, кто бы мог сказать ей, что она права. Она пристально вглядывалась мне в лицо, стараясь прочесть мои тайные мысли, и если я при ней задумывался и молчал, то она это принимала на свой счет и становилась печальна. Приходилось все время быть настороже, и когда она спрашивала меня, права ли она, то я спешил ответить ей, что она права и что я глубоко ее уважаю.

— Ты знаешь? Мне у Ажогиных дали роль,— продолжала она.— Хочу играть на сцене. Хочу жить, одним словом, хочу пить из полной чаши. Таланта у меня нет никакого, и роль всего в десять строк, но все же это неизмеримо выше и благороднее, чем разливать чай по пяти раз на день и подглядывать, не съела ли кухарка лишнего куска. А главное, пусть наконец отец увидит, что и я способна на протест.

После чаю она легла на мою постель и полежала некоторое время с закрытыми глазами, очень бледная.

— Какая слабость! — проговорила она, поднимаясь.— Владимир говорил, что все городские женщины и девушки малокровны от безделья. Какой умный человек Владимир! Он прав, бесконечно прав. Надо работать!

Через два дня она пришла к Ажогиным на репетицию, с тетрадкой. Она была в черном платье, с коралловою ниткой на шее, с брошью, похожею издали на слоеный пирожок, и в ушах были большие серьги, в которых блестело по брильянту. Когда я взглянул на нее, то мне стало неловко: меня поразила безвкусица. Что она некстати надела серьги и брильянты и была странно одета, заметили и другие; я видел на лицах улыбки и слышал, как кто-то проговорил, смеясь:

— Клеопатра Египетская.

Она старалась быть светскою, непринужденной, покойной и оттого казалась манерною и странной. Простота и миловидность покинули ее.

— Сейчас я объявила отцу, что ухожу на репетицию,— начала она, подходя ко мне,— и он крикнул, что лишает меня благословения, и даже едва не ударил меня. Представь, я не знаю свой роли,— сказала она, заглядывая в тетрадку.— Я непременно собьюсь. Итак, жребий брошен,— продолжала она в сильном волнении.— Жребий брошен...

Ей казалось, что все смотрят на нее и все изумлены тем важным шагом, на который она решилась, что все ждут от нее чего-то особенного, и убедить ее, что на таких маленьких и неинтересных людей, как я и она, никто не обращает внимания, было невозможно.

До третьего акта ей нечего было делать, и ее роль гостьи, провинциальной кумушки, заключалась лишь в том, что она должна была постоять у двери, как бы подслушивая, и потом сказать короткий монолог. До своего выхода, по крайней мере часа полтора, пока на сцене ходили, читали, пили чай, спорили, она не отходила от меня и все время бормотала свою роль и нервно мяла тетрадку; и, воображая, что все смотрят на нее и ждут ее выхода, она дрожащею рукой поправляла волосы и говорила мне:

— Я непременно собьюсь... Как тяжело у меня на душе, если б ты знал! У меня такой страх, будто меня поведут сейчас на смертную казнь.

Наконец настала ее очередь.

— Клеопатра Алексеевна,— вам! — сказал режиссер.

Она вышла на середину сцены с выражением ужаса на лице, некрасивая, угловатая, и с полминуты простояла, как в столбняке, совершенно неподвижно, и только одни большие сережки качались под ушами.

— В первый раз можно по тетрадке,— сказал кто-то.

Мне было ясно, что она дрожит и от дрожи не может говорить и развернуть тетрадку и что ей вовсе не до роли, и я уже хотел пойти к ней и сказать ей что-нибудь, как она вдруг опустилась на колени среди сцены и громко зарыдала.

Все двигалось, все шумело вокруг, один я стоял, прислонившись к кулисе, пораженный тем, что произошло, не понимая, не зная, что мне делать. Я видел, как ее подняли и увели. Я видел, как ко мне подошла Анюта Благово; раньше я не видел ее в зале, и теперь она точно из земли выросла. Она была в шляпе, под вуалью, и, как всегда, имела такой вид, будто зашла только на минуту.

— Я говорила ей, чтобы она не играла,— сказала она сердито, отрывисто выговаривая каждое слово и краснея.— Это — безумие! Вы должны были удержать ее!

Быстро подошла Ажогина-мать в короткой кофточке с короткими рукавами, с табачным пеплом на груди, худая и плоская.

— Друг мой, это ужасно,— проговорила она, ломая руки и, по обыкновению, пристально всматриваясь мне в лицо.— Это ужасно! Ваша сестра в положении... она беременна! Уведите ее, прошу вас...

Она тяжело дышала от волнения. А в стороне стояли три дочери, такие же, как она, худые и плоские, и пугливо жались друг к другу. Они были встревожены, ошеломлены, точно в их доме только что поймали каторжника. Какой позор, как страшно! А ведь это почтенное семейство всю свою жизнь боролось с предрассудками; очевидно, оно полагало, что все предрассудки и заблуждения человечества только в трех свечах, в тринадцатом числе, в тяжелом дне — понедельнике!

— Прошу вас... прошу...— повторяла госпожа Ажогина, складывая губы сердечком на слоге «шу» и выговаривая его, как «шю».— Прошю, уведите ее домой.

XVIII

Немного погодя я и сестра шли по улице. Я прикрывал ее полой своего пальто; мы торопились, выбирая переулки, где не было фонарей, прячась от встречных, и это было похоже на бегство. Она уже не плакала, а глядела на меня сухими глазами. До Макарихи, куда я вел ее, было ходьбы всего минут двадцать, и, странное дело, за такое короткое время мы успели припомнить всю нашу жизнь, мы обо всем переговорили, обдумали наше положение, сообразили...

Мы решили, что нам уже нельзя больше оставаться в этом городе и что когда я добуду немного денег, то мы переедем куда-нибудь в другое место. В одних домах уже спали, в других играли в карты; мы ненавидели эти дома, боялись их и говорили об изуверстве, сердечной грубости, ничтожестве этих почтенных семейств, этих любителей драматического искусства, которых мы так испугали, и я спрашивал, чем же эти глупые, жестокие, ленивые, нечестные люди лучше пьяных и суеверных куриловских мужиков, или чем лучше они животных, которые тоже приходят в смятение, когда какая-нибудь случайность нарушает однообразие их жизни, ограниченной инстинктами. Что было бы теперь с сестрой, если бы она осталась жить дома? Какие нравственные мучения испытывала бы она, разговаривая с отцом, встречаясь каждый день со знакомыми? Я воображал себе это, и тут же мне приходили на память люди, все знакомые люди, которых медленно сживали со света их близкие и родные, припомнились замученные собаки, сходившие с ума, живые воробьи, ощипанные мальчишками догола и брошенные в воду,— и длинный, длинный ряд глухих медлительных страданий, которые я наблюдал в этом городе непрерывно с самого детства; и мне было непонятно, чем живут эти шестьдесят тысяч жителей, для чего они читают Евангелие, для чего молятся, для чего читают книги и журналы. Какую пользу принесло им все то, что до сих пор писалось и говорилось, если у них все та же душевная темнота и то же отвращение к свободе, что было и сто и триста лет назад? Подрядчик-плотник всю свою жизнь строит в городе дома и все же до самой смерти вместо «галерея» говорит «галдарея», так и эти шестьдесят тысяч жителей поколениями читают и слышат о правде, о милосердии и свободе и все же до самой смерти лгут от утра до вечера, мучают друг друга, а свободы боятся и ненавидят ее, как врага.

— Итак, судьба моя решена,— сказала сестра, когда мы пришли домой.— После того, что случилось, я уже не могу возвратиться *туда*. Господи, как это хорошо! У меня стало легко на душе.

Она тотчас легла в постель. На ресницах у нее блестели слезы, но выражение было счастливое, спала она крепко и сладко, и видно было, что в самом деле у нее легко на душе и что она отдыхает. Давно-давно уже она не спала так!

И вот мы начали жить вместе. Она все пела и говорила, что ей очень хорошо, и книги, которые мы брали в библиотеке, я уносил обратно не читанными, так как она уже не могла читать; ей хотелось только мечтать и говорить о будущем. Починяя мое белье или помогая Карповне около печки, она то напевала, то говорила о своем Владимире, об его уме, прекрасных манерах, доб-

роте, об его необыкновенной учености, и я соглашался с нею, хотя уже не любил ее доктора. Ей хотелось работать, жить самостоятельно, на свой счет, и она говорила, что пойдет в учительницы или в фельдшерицы, как только позволит здоровье, и будет сама мыть полы, стирать белье. Она уже страстно любила своего маленького; его еще не было на свете, но она уже знала, какие у него глаза, какие руки и как он смеется. Она любила поговорить о воспитании, а так как лучшим человеком на свете был Владимир, то и все рассуждения ее о воспитании сводились к тому только, чтобы мальчик был так же очарователен, как его отец. Конца не было разговорам, и все, что она говорила, возбуждало в ней живую радость. Иногда радовался и я, сам не зная чему.

Должно быть, она заразила меня своею мечтательностью. Я тоже ничего не читал и только мечтал; по вечерам, несмотря на утомление, я ходил по комнате из угла в угол, заложив руки в карманы, и говорил о Маше.

— Как ты думаешь,— спрашивал я сестру,— когда она вернется? Мне кажется, она вернется к рождеству, не позже. Что ей там делать?

— Если она тебе не пишет, то, очевидно, вернется очень скоро.

— Это правда,— соглашался я, хотя отлично знал, что Маше уже незачем возвращаться в наш город.

Я сильно соскучился по ней и уже не мог не обманывать себя и старался, чтобы меня обманывали другие. Сестра ожидала своего доктора, а я — Машу, и оба мы непрерывно говорили, смеялись и не замечали, что мешаем спать Карповне, которая лежала у себя на печке и все бормотала:

— Самовар-то гудел поутру, гуде-ел! Ох, не к добру, сердечные, не к добру.

У нас никто не бывал, кроме почтальона, приносившего сестре письма от доктора, да Прокофия, который иногда вечером заходил к нам и, молча поглядев на сестру, уходил и уж у себя в кухне говорил:

— Всякое звание должно свою науку помнить, а кто не желает этого понимать по своей гордости, тому юдоль.

Он любил слово «юдоль». Как-то — это было уже на святках,— когда я проходил базаром, он зазвал меня к себе в мясную лавку и, не подавая мне руки, заявил, что ему нужно поговорить со мною о каком-то очень важном деле. Он был красен от мороза и от водки; возле него за прилавком стоял Николка с разбойничьим лицом, держа в руке окровавленный нож.

— Я желаю выразить вам мои слова,— начал Прокофий.— Это событие не может существовать, потому что, сами понимаете,

за такую юдоль люди не похвалят ни нас, ни вас. Мамаша, конечно, из жалости не может говорить вам неприятности, чтобы ваша сестрица перебралась на другую квартиру по причине своего положения, а я больше не желаю, потому что ихнего поведения не могу одобрить.

Я понял его и вышел из лавки. В тот же день я и сестра перебрались к Редьке. У нас не было денег на извозчика, и мы шли пешком; я нес на спине узел с нашими вещами, у сестры же ничего не было в руках, но она задыхалась, кашляла и все спрашивала, скоро ли мы дойдем.

XIX

Наконец пришло письмо от Маши.

«Милый, хороший М. А.,— писала она,— добрый, кроткий «ангел вы наш», как называет вас старый маляр, прощайте, я уезжаю с отцом в Америку на выставку. Через несколько дней я увижу океан — так далеко от Дубечни, страшно подумать! Это далеко и необъятно, как небо, и мне хочется туда, на волю, я торжествую, я безумствую, и вы видите, как нескладно мое письмо. Милый, добрый, дайте мне свободу, скорее порвите нить, которая еще держится, связывая меня и вас. То, что я встретила и узнала вас, было небесным лучом, озарившим мое существование; но то, что я стала вашею женой, было ошибкой, вы понимаете это, и меня теперь тяготит сознание ошибки, и я на коленях умоляю вас, мой великодушный друг, скорее-скорее, до отъезда моего в океан, телеграфируйте, что вы согласны исправить нашу общую ошибку, снять этот единственный камень с моих крыльев, и мой отец, который примет на себя все хлопоты, обещает мне не слишком отягощать вас формальностями. Итак, вольная на все четыре стороны? Да?

Будьте счастливы, да благословит вас бог, простите меня, грешную.

Жива, здорова. Сорю деньгами, делаю много глупостей и каждую минуту благодарю бога, что у такой дурной женщины, как я, нет детей. Я пою и имею успех, но это не увлечение, нет, это — моя пристань, моя келия, куда я теперь ухожу на покой. У царя Давида было кольцо с надписью: «Все проходит». Когда грустно, то от этих слов становится весело, а когда весело, то становится грустно. И я завела себе такое кольцо с еврейскими буквами, и этот талисман удержит меня от увлечений. Все проходит, пройдет и жизнь, значит, ничего не нужно. Или нужно одно лишь сознание свободы, потому что когда человек свободен, то ему ни-

чего, ничего, ничего не нужно. Порвите же нитку. Вас и сестру крепко обнимаю. Простите и забудьте вашу М.».

Сестра лежала в одной комнате, Редька, который опять был болен и уже выздоравливал,— в другой. Как раз в то время, когда я получил это письмо, сестра тихо прошла к маляру, села возле и стала читать. Она каждый день читала ему Островского или Гоголя, и он слушал, глядя в одну точку, не смеясь, покачивая головой, и изредка бормотал про себя:

— Все может быть! Все может быть!

Если в пьесе изображалось что-нибудь некрасивое, безобразное, то он говорил как бы с злорадством, тыча в книгу пальцем:

— Вот она, лжа-то! Вот она что делает, лжа-то!

Пьесы привлекали его и содержанием, и моралью, и своею сложною, искусною постройкой, и он удивлялся *ему*, никогда не называя *его* по фамилии:

— Как это *он* ловко все пригнал к месту!

Теперь сестра тихо прочла только одну страницу и не могла больше: не хватало голоса. Редька взял ее за руку и, пошевелив высохшими губами, сказал едва слышно, сиплым голосом:

— Душа у праведного белая и гладкая, как мел, а у грешного, как пемза. Душа у праведного — олифа светлая, а у грешного — смола газовая. Трудиться надо, скорбеть надо, болезновать надо,— продолжал он,— а который человек не трудится и не скорбит, тому не будет царства небесного. Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам! Не видать им царствия небесного. Тля ест траву, ржа — железо...

— А лжа — душу,— продолжила сестра и рассмеялась.

Я еще раз прочел письмо. В это время в кухню пришел солдат, приносивший нам раза два в неделю, неизвестно от кого, чай, французские булки и рябчиков, от которых пахло духами. Работы у меня не было, приходилось сидеть дома по целым дням, и, вероятно, тот, кто присылал нам эти булки, знал, что мы нуждаемся.

Я слышал, как сестра разговаривала с солдатом и весело смеялась. Потом она лежа ела булку и говорила мне:

— Когда ты не захотел служить и ушел в маляры, я и Анюта Благово с самого начала знали, что ты прав, но нам было страшно высказать это вслух. Скажи, какая это сила мешает сознаваться в том, что думаешь? Взять вот хотя бы Анюту Благово. Она тебя любит, обожает, она знает, что ты прав; она и меня любит, как сестру, и знает, что я права, и небось в душе завидует мне, но какая-то сила мешает ей прийти к нам, она избегает нас, боится.— Сестра сложила на груди руки и сказала с увлечением:

— Как она тебя любит, если б ты знал! В этой любви она приз-

навалась только мне одной, и то потихоньку, в потемках. Бывало, в саду заведет в темную аллею и начнет шептать, как ты ей дорог. Увидишь, она никогда не пойдет замуж, потому что любит тебя. Тебе жаль ее?

— Да.

— Это она прислала булки. Смешная, право, к чему скрываться? Я тоже была смешной и глупой, а вот ушла оттуда и уже никого не боюсь, думаю и говорю вслух, что хочу,— и стала счастливой. Когда жила дома, и понятия не имела о счастье, а теперь я не поменялась бы с королевой.

Пришел доктор Благово. Он получил докторскую степень и теперь жил в нашем городе, у отца, отдыхал и говорил, что скоро опять уедет в Петербург. Ему хотелось заняться прививками тифа и, кажется, холеры; хотелось поехать за границу, чтобы усовершенствоваться и потом занять кафедру. Он уже оставил военную службу и носил просторные шевиотовые пиджаки, очень широкие брюки и превосходные галстуки. Сестра была в восторге от его булавок, запонок и от красного шелкового платочка, который он, вероятно, из кокетства держал в переднем кармане пиджака. Однажды, от нечего делать, мы с нею принялись считать на память все его костюмы и решили, что у него их, по крайней мере, штук десять. Было ясно, что он по-прежнему любит мою сестру, но он ни разу даже в шутку не сказал, что возьмет ее с собою в Петербург или за границу, и я не мог себе ясно представить, что будет с нею, если она останется жива, что будет с ее ребенком. А она только без конца мечтала и не думала серьезно о будущем, она говорила, что пусть он едет, куда хочет, и пусть даже бросит ее, лишь бы сам был счастлив, а с нее довольно и того, что было.

Обыкновенно, придя к нам, он выслушивал ее очень внимательно и требовал, чтобы она при нем пила молоко с каплями. И в этот раз было то же самое. Он выслушал ее и заставил выпить стакан молока, и после этого в наших комнатах запахло креозотом.

— Вот умница,— сказал он, принимая от нее стакан.— Тебе нельзя много говорить, а в последнее время ты болтаешь, как сорока. Пожалуйста, молчи.

Она засмеялась. Потом он вышел в комнату Редьки, где я сидел, и ласково похлопал меня по плечу.

— Ну, что, старик? — спросил он, наклоняясь к больному.

— Ваше высокоблагородие...— проговорил Редька, тихо пошевелив губами,— ваше высокоблагородие, осмелюсь доложить... все под богом ходим, всем помирать надо... Дозвольте правду сказать... Ваше высокоблагородие, не будет вам царства небесного!

— Что же делать,— пошутил доктор,— надо быть кому-нибудь и в аду.

И вдруг что-то сделалось с моим сознанием; точно мне приснилось, будто зимой, ночью, я стою в бойне на дворе, а рядом со мною Прокофий, от которого пахнет перцовкой; я сделал над собой усилие и протер глаза, и тотчас же мне представилось, будто я иду к губернатору для объяснений. Ничего подобного не было со мной ни раньше, ни потом, и эти странные воспоминания, похожие на сон, я объясняю переутомлением нервов. Я переживал и бойню и объяснение с губернатором и в то же время смутно сознавал, что этого нет на самом деле.

Когда я очнулся, то увидел, что я уже не дома, а на улице, и вместе с доктором стою около фонаря.

— Грустно, грустно,— говорил он, и слезы текли у него по щекам.— Она весела, постоянно смеется, надеется, а положение ее безнадежно, голубчик. Ваш Редька ненавидит меня и все хочет дать понять, что я поступил с нею дурно. Он по-своему прав, но у меня тоже своя точка зрения, и я нисколько не раскаиваюсь в том, что произошло. Надо любить, мы все должны любить — не правда ли? — без любви не было бы жизни; кто боится и избегает любви, тот не свободен.

Мало-помалу он перешел на другие темы, заговорил о науке, о своей диссертации, которая понравилась в Петербурге; он говорил с увлечением и уже не помнил ни о моей сестре, ни о своем горе, ни обо мне. Жизнь увлекала его. У той — Америка и кольцо с надписью, думал я, а у этого — докторская степень и ученая карьера, и только я и сестра остались при старом.

Простившись с ним, я подошел к фонарю и еще раз прочел письмо. И я вспомнил, живо вспомнил, как весной, утром, она пришла ко мне на мельницу, легла и укрылась полушубочком — ей хотелось походить на простую бабу. А когда, в другой раз,— это было тоже утром,— мы доставали из воды вершу, то на нас с прибрежных ив сыпались крупные капли дождя, и мы смеялись...

В нашем доме на Большой Дворянской было темно. Я перелез через забор и, как делал это в прежнее время, прошел черным ходом в кухню, чтобы взять там лампочку. В кухне никого не было; около печи шипел самовар, поджидая моего отца. «Кто-то теперь,— подумал я,— разливает отцу чай?» Взявши лампочку, я пошел в хибарку и тут примостил себе постель из старых газет и лег. Костыли на стенах сурово глядели по-прежнему, и тени их мигали. Было холодно. Мне представилось, что сейчас должна прийти сестра и принести мне ужин, но тотчас же я вспомнил, что она больна и лежит в доме Редьки, и мне показалось странным, что я перелез через забор и лежу в нетопленной хибарке. Сознанье мое путалось, и я видел всякий вздор.

Звонок. С детства знакомые звуки: сначала проволока шур-

шит по стене, потом в кухне раздается короткий, жалобный звон. Это из клуба вернулся отец. Я встал и отправился в кухню. Кухарка Аксинья, увидев меня, всплеснула руками и почему-то заплакала.

— Родной мой! — заговорила она тихо.— Дорогой! О, господи!

И от волнения стала мять в руках свой фартук. На окне стояли четвертные бутыли с ягодами и водкой. Я налил себе чайную чашку и с жадностью выпил, потому что мне сильно хотелось пить. Аксинья только недавно вымыла стол и скамьи, и в кухне был запах, какой бывает в светлых, уютных кухнях у опрятных кухарок. И этот запах и крик сверчка когда-то в детстве манили нас, детей, сюда в кухню и располагали к сказкам, к игре в короли...

— А Клеопатра где? — спрашивала Аксинья тихо, торопясь, сдерживая дыхание.— А шапка твоя где, батюшка? А жена, сказывают, в Питер уехала?

Она служила еще при нашей матери и купала когда-то меня и Клеопатру в корыте, и теперь для нее мы все еще были дети, которых нужно было наставлять. В какие-нибудь четверть часа она выложила передо мною все свои соображения, какие с рассудительностью старой слуги скапливала в тиши этой кухни все время, пока мы не виделись. Она сказала, что доктора можно заставить жениться на Клеопатре,— стоит только припугнуть его, и если хорошо написать прошение, то архиерей расторгнет его первый брак; что хорошо бы потихоньку от жены Дубечню продать, а деньги положить в банк на мое имя; что если бы я и сестра поклонились отцу в ноги и попросили хорошенько, то, быть может, он простил бы нас; что надо бы отслужить молебен царице небесной...

— Ну, иди, батюшка, поговори с ним,— сказала она, когда послышался кашель отца.— Ступай, поговори, поклонись, голова не отвалится.

Я пошел. Отец уже сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с толстою башней, похожею на пожарную каланчу — нечто необыкновенно упрямое и бездарное. Я, войдя в кабинет, остановился так, что мне был виден этот чертеж. Я не знал, зачем я пришел к отцу, но помню, когда я увидел его тощее лицо, красную шею, его тень на стене, то мне захотелось броситься к нему на шею и, как учила Аксинья, поклониться ему в ноги; но вид дачи с готическими окнами и с толстою башней удержал меня.

— Добрый вечер,— сказал я.

Он взглянул на меня и тотчас же опустил глаза на свой чертеж.

— Что тебе нужно? — спросил он немного погодя.

— Я пришел вам сказать,— сестра очень больна. Она скоро умрет,— добавил я глухо.

— Что ж? — вздохнул отец, снимая очки и кладя их на стол.— Что посеешь, то и пожнешь. Что посеешь,— повторил он, вставая из-за стола,— то и пожнешь. Я прошу тебя вспомнить, как два года назад ты пришел ко мне, и вот на этом самом месте я просил тебя, умолял оставить свои заблуждения, напоминал тебе о долге, чести и о твоих обязанностях по отношению к предкам, традиции которых мы должны свято хранить. Послушал ли ты меня? Ты пренебрег моими советами и с упорством продолжал держаться своих ложных взглядов; мало того, в свои заблуждения ты вовлек также сестру и заставил ее потерять нравственность и стыд. Теперь вам обоим приходится нехорошо. Что ж? Что посеешь, то и пожнешь!

Он говорил это и ходил по кабинету. Вероятно, он думал, что я пришел к нему с повинною, и, вероятно, он ждал, что я начну просить за себя и сестру. Мне было холодно, я дрожал как в лихорадке и говорил с трудом, хриплым голосом.

— И я тоже прошу вспомнить,— сказал я,— на этом самом месте я умолял вас понять меня, вдуматься, вместе решить, как и для чего нам жить, а вы в ответ заговорили о предках, о дедушке, который писал стихи. Вам говорят теперь о том, что ваша единственная дочь безнадежна, а вы опять о предках, о традициях... И такое легкомыслие в старости, когда смерть не за горами, когда осталось жить каких-нибудь пять, десять лет!

— Ты зачем пришел сюда?— строго спросил отец, очевидно, оскорбленный тем, что я попрекнул его легкомыслием.

— Не знаю. Я люблю вас, мне невыразимо жаль, что мы так далеки друг от друга,— вот я и пришел. Я еще люблю вас, но сестра уже окончательно порвала с вами. Она не прощает и уже никогда не простит. Ваше одно имя возбуждает в ней отвращение к прошлому, к жизни.

— А кто виноват? — крикнул отец.— Ты же и виноват, негодяй!

— Да, пусть я виноват,— сказал я.— Сознаю, я виноват во многом, но зачем же эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для нас,— зачем она так скучна, так бездарна, зачем ни в одном из этих домов, которые вы строите вот уже тридцать лет, нет людей, у которых я мог бы поучиться, как жить, чтобы не быть виноватым? Во всем городе ни одного честного человека! Эти ваши дома — проклятые гнезда, в которых сживают со света матерей, дочерей, мучают детей... Бедная моя мать!— продолжал я в отчаянии.— Бедная сестра! Нужно одурять себя водкой, картами, сплетнями, надо подличать, ханжить или де-

сятки лет чертить и чертить, чтобы не замечать всего ужаса, который прячется в этих домах. Город наш существует уже сотни лет, и за все время он не дал родине ни одного полезного человека — ни одного! Вы душили в зародыше все мало-мальски живое и яркое! Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, попов, ненужный, бесполезный город, о котором не пожалела бы ни одна душа, если бы он вдруг провалился сквозь землю.

— Я не желаю слушать тебя, негодяй! — сказал отец и взял со стола линейку.— Ты пьян! Ты не смеешь являться в таком виде к отцу! Говорю тебе в последний раз, и передай это своей безнравственной сестре, что вы от меня ничего не получите. Непокорных детей я вырвал из своего сердца, и если они страдают от непокорности и упорства, то я не жалею их. Можешь уходить, откуда пришел! Богу угодно было наказать меня вами, но я со смирением переношу это испытание и, как Иов, нахожу утешение в страданиях и постоянном труде. Ты не должен переступать моего порога, пока не исправишься. Я справедлив, все, что я говорю, это полезно, и если ты хочешь себе добра, то ты должен всю свою жизнь помнить то, что я говорил тебе и говорю.

Я махнул рукой и вышел. Затем не помню, что было ночью и на другой день.

Говорят, что я ходил по улицам без шапки, шатаясь, и громко пел, а за мною толпами ходили мальчишки и кричали:

— Маленькая польза! Маленькая польза!

XX

Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: «Ничто не проходит». Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни.

То, что я пережил, не прошло даром. Мои большие несчастья, мое терпение тронули сердца обывателей, и теперь меня уже не зовут Маленькой пользой, не смеются надо мною и, когда я прохожу торговыми рядами, меня уже не обливают водой. К тому, что я стал рабочим, уже привыкли и не видят ничего странного в том, что я, дворянин, ношу ведра с краской и вставляю стекла; напротив, мне охотно дают заказы, и я считаюсь уже хорошим мастером и лучшим подрядчиком после Редьки, который хотя и выздоровел и хотя по-прежнему красит без подмостков купола на колокольнях, но уже не в силах управляться с ребятами; вместо него я теперь бегаю по городу и ищу заказов, я нанимаю и рассчитываю ребят, я беру деньги взаймы под большие проценты.

И теперь, ставши подрядчиком, я понимаю, как это из-за грошового заказа можно дня по три бегать по городу и искать кровельщиков. Со мною вежливы, говорят мне *вы*, и в домах, где я работаю, меня угощают чаем и присылают спросить, не хочу ли я обедать. Дети и девушки часто приходят и с любопытством и с грустью смотрят на меня.

Как-то я работал в губернаторском саду, красил там беседку под мрамор. Губернатор, гуляя, зашел в беседку и от нечего делать заговорил со мною, и я напомнил ему, как он когда-то приглашал меня к себе для объяснений. Он минуту вглядывался мне в лицо, потом сделал рот, как *о*, развел руками и сказал:

— Не помню!

Я постарел, стал молчалив, суров, строг, редко смеюсь, и говорят, что я стал похож на Редьку и, как он, нагоняю на ребят скуку своими бесполезными наставлениями.

Мария Викторовна, бывшая жена моя, живет теперь за границей, а ее отец, инженер, где-то в восточных губерниях строит дорогу и покупает там имения. Доктор Благово тоже за границей. Дубечня перешла опять к госпоже Чепраковой, которая купила ее, выторговав у инженера двадцать процентов уступки. Моисей ходит уже в шляпе котелком; он часто приезжает в город на беговых дрожках по каким-то делам и останавливается около банка. Говорят, что он уже купил себе имение с переводом долга и постоянно справляется в банке насчет Дубечни, которую тоже собирается купить. Бедный Иван Чепраков долго шатался по городу, ничего не делая и пьянствуя. Я попытался было пристроить его к нашему делу, и одно время он вместе с нами красил крыши и вставлял стекла и даже вошел во вкус и, как настоящий маляр, крал олифу, просил на чай, пьянствовал. Но скоро дело надоело ему, он заскучал и вернулся в Дубечню, и потом ребята признавались мне, что он подговаривал их как-нибудь ночью вместе с ним убить Моисея и ограбить генеральшу.

Отец сильно постарел, сгорбился и по вечерам гуляет около своего дома. Я у него не бываю.

Прокофий во время холеры лечил лавочников перцовкой и дегтем и брал за это деньги, и, как я узнал из нашей газеты, его наказывали розгами за то, что он, сидя в своей мясной лавке, дурно отзывался о докторах. Его приказчик Николка умер от холеры. Карповна еще жива и по-прежнему любит и боится своего Прокофия. Увидев меня, она всякий раз печально качает головой и говорит со вздохом:

— Пропала твоя головушка!

В будни я бываю занят с раннего утра до вечера. А по праздникам, в хорошую погоду, я беру на руки свою крошечную пле-

мянницу (сестра ожидала мальчика, но родилась у нее девочка) и иду не спеша на кладбище. Там я стою или сижу и подолгу смотрю на дорогую мне могилу и говорю девочке, что тут лежит ее мама.

Иногда у могилы я застаю Анюту Благово. Мы здороваемся и стоим молча или говорим о Клеопатре, об ее девочке, о том, как грустно жить на этом свете. Потом, выйдя из кладбища, мы идем молча, и она замедляет шаг — нарочно, чтобы подольше идти со мной рядом. Девочка, радостная, счастливая, жмурясь от яркого дневного света, смеясь, протягивает к ней ручки, и мы останавливаемся и вместе ласкаем эту милую девочку.

А когда входим в город, Анюта Благово, волнуясь и краснея, прощается со мною и продолжает идти одна, солидная, суровая... И уже никто из встречных, глядя на нее, не мог бы подумать, что она только что шла рядом со мною и даже ласкала ребенка.

1896

МУЖИКИ

I

Лакей при московской гостинице «Славянский базар», Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и недаром говорится: дома стены помогают.

Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги — это вместо картин. Бедность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка.

— Кис, кис! — поманила ее Саша.— Кис!
— Она у нас не слышит,— сказала девочка.— Оглохла.
— Отчего?
— Так. Побили.

Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая — не лучше, зато у крайней — железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная, стояла особняком, и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.

За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату, около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом, так же как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою церковью и немного поодаль господский дом.

— Хорошо у вас здесь! — сказала Ольга, крестясь на церковь.— Раздолье, господи!

Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.

— Об эту пору в «Славянском базаре» обеды...— проговорил Николай мечтательно.

Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеяньем и ревом прошло стадо, прилетели с той стороны гуси,— и все смолкло, тихий свет погас в воздухе и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы — невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты,— двое; и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатях, в люльках и во

всех углах, и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег да еще с семьей, — напрасно!

— А где брат Кирьяк? — спросил он, когда поздоровались.

— У купца в сторожах живет,— ответил отец,— в лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко.

— Не добытчик! — проговорила старуха слезливо.— Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная.

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный — все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик:

— Ма-арья!

— Похоже, Кирьяк идет,— сказал старик,— легок на помине.

Все притихли. И немного погодя опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.

— А ты чего, холера? — крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах.— Небось не убьет!

От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады.

— Ма-арья! — раздался крик у самой двери.

— Вступитесь, Христа ради, родименькие,— залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду,— вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица,— страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.

— Экой срам-то, срам,— бормотал старик, полезая на печь,— при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; Фекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей и остановился.

— А, приехали...— проговорил он, выпуская жену.— Родной братец с семейством...

Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжал:

— Братец с семейством приехали в родительский дом... из Москвы, значит. Первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов... Извините...

Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка при общем молчании... Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел.

Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком; Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.

— И-и, касатка,— говорила она, ложась на сене рядом с Марьей,— слезами горю не поможешь! Терпи, и все тут. В Писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую... И-и, касатка!

Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.

— А в Москве дома большие, каменные,— говорила она,— церквей много-много, сорок сороков, касатка, а в домах всё господа, да такие красивые, да такие приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш». Она и другая невестка, Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала,— обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла, на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:

— А ну его!

Поговорили и затихли...

Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый, утренний свет уже пробивался во все щели, Фекла потихоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.

II

Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого, родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб, река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света, церковь сияла, и в господском саду неистово кричали грачи.

— Старик ничего,— рассказывала Марья,— а бабка строгая, дерется все. Своего хлеба хватило до масленой, покупаем муку в трактире,—ну, она серчает: много, говорит, едите.

— И-и, касатка! Терпи, и все тут. Сказано: приидите все труждающие и обремененные.

Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала Евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как «аще» и «дондеже», она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в бога, в божию матерь, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете — ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных; верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из Писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым.

— Ты откуда родом? — спросила Марья.

— Я владимирская. А только я взята в Москву уже давно, восьми годочков.

Подошли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась.

— Это наша Фекла,— узнала Марья,— за реку на барский двор ходила. К приказчикам. Озорная и ругательная — страсть!

Фекла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны.

— Озорная — страсть! — повторила Марья.

Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на де-

ревню, как живо вспомнилось все вчерашнее,— и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение.

Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше. И сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояла все время.

Когда читали Евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье; вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу; она с первого взгляда решила, что это — порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если б она не посторонилась.

А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: «Ма-арья!» — и она вздрагивала.

III

В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвеичевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные (как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники), и так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иваныч, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны; и с того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Николая отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет, и определял его на место Иван Макарыч, из семьи Матвеичевых, служивший тогда капельдинером в саду «Эрмитаж». И теперь, обращаясь к Матвеичевым, Николай говорил наставительно:

— Иван Макарыч — мой благодетель, и я обязан за него бога молить денно и нощно, так как я через него стал хорошим человеком.

— Батюшка ты мой,— проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча,— и ничего про них, голубчика, не слыхать.

— *Зимой служил* он у Омона, а в нынешний сезон, был слух, где-то за городом, в садах... Постарел! Прежде, случалось, лет-

ним делом, приносил домой рублей по десять в день, а теперь повсеместно дела стали тихие, мается старичок.

Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

— Не добытчик ты, Николай Осипыч, не добытчик! Где уж!

И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была мала ростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу.

— Она у меня и читать может! — похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь.— Почитай, детка! — сказала она, доставая из угла Евангелие.— Ты почитай, а православные послушают.

Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспев:

— «Отошедшим же им, се ангел господень... во сне явился Иосифу, глаголя: «Восстав поими отроча и матерь его...»

— Отроча и матерь его,— повторила Ольга и вся раскраснелась от волнения.

— «И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти...»

При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки, все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама; сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на́полдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут зада́ми на ее огород, и она выбегала из избы с длинною палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама; то ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие.

Со своим стариком она обращалась не ласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный

мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал. Он подолгу рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать.

— Да,— рассказывал он, взявшись за бока.— Да... После воздвижения через неделю продал я сено по тридцать копеек за пуд, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значит, везу я утром сено добровольно, никого не трогаю; в недобрый час, гляжу — выходит из трактира староста Антип Седельников. «Куда везешь, такой-сякой?» — и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом.

— Водка-то что делает. Ах ты, боже мой! — бормотал он, встряхивая своею больною головой.— Уж вы, братец и сестрица, простите, Христа ради, сам не рад.

По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала.

Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели. Играли на гармонике. И на заречной стороне тоже горела одна печь и пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила:

— Ах, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире всё еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.

— Оставь,— убеждал старик,— оставь... Она баба смирная... Грех...

— Ма-арья! — крикнул Кирьяк.

— Оставь... Грех... Она баба ничего.

Оба постояли с минуту около сарая и пошли.

— Лю-эблю я цветы полевы-и! — запел вдруг старик высоким, пронзительным тенором.— Лю-эблю по лугам собирать!

Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу.

IV

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду задáми, но они теперь были заняты делом: подбирали овес около трактира, мирно разговаривая, и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой; другие гуси могли прийти снизу, но эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву.

Там она увидала старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро, и все — девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубахе, стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь:

— В церкви бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у бога лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай-угодничек — туп, туп, туп... А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка,— добавила она, подражая своей матери.— А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо.

— С ко-ло-ко-ла-ми? — спросила Мотька басом, растягивая каждый слог.

— С колоколами. А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марье бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо, в рай; а Кирьяку и бабке скажет: а вы идите налево, в огонь. И кто скоромное ел, того тоже в огонь.

Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала:

— Гляди на небо, не мигай,— ангелов видать.

Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании.

— Видишь? — спросила Саша.

— Не видать,— проговорила Мотька басом.

— А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками — мельк, мельк, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя в землю, и спросила:

— Бабка будет гореть?

— Будет, касатка.

От камня до самого низа шел ровный, отлогий скат, покрытый

мягкою зеленою травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз. Мотька с серьезным, строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаха задралась до плеч.

— Как мне стало смешно! — сказала Саша в восторге.

Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей и кричала:

— Всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть, трижды анафемы, язвы, нет на вас погибели!

Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то, и когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его: го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние, громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться; за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду.

— Батюшки мои! — изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу.— Царица небесная!

Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась Фекла, и в избе стало шумно.

— Ничего, ничего! — утешала Ольга, бледная, расстроенная, гладя Сашу по голове.— Она — бабушка, на нее грех сердиться. Ничего, детка.

Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

— Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!

— Ну, околеваешь там на печке, ледащий!— крикнула на него Фекла со злобой.— Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!

И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно

и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти; и только одни дети боятся смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихо, дрожащим голосом:

— Оля, милая, не могу я больше тут. Силы моей нет. Ради бога, ради Христа небесного, напиши ты своей сестрице Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда. О господи,— продолжал он с тоской,— хоть бы одним глазом на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!

А когда наступил вечер и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью; потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо, довольная, что теперь, в успеньев пост, никто не станет есть молока и оно все останется цело. И только немножко, чуть-чуть, она отлила в блюдечко для ребенка Феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребицу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка.

Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж пойдет в ад. Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала Страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как давеча она сама гнала гусей.

V

На успенье, в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, отчего это.

— Пожар! Пожар! — раздался внизу отчаянный крик.— Горим!

Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась

страшная, необыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной крыше, стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем и послышался треск огня.

Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени, пахло гарью; и те, которые бежали снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету, плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике как ни в чем не бывало.

— Дядя Семен горит! — крикнул кто-то громким, грубым голосом.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повыбегали дети в рубашонках. Около избы десятского забили в чугунную доску. Бем, бем, бем...— понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей, пущенный на волю, топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами.

Зазвонили и на той стороне, в церкви.

Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко, до ушей, в пиджаке; его жена лежала лицом вниз, в забытьи, и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не здешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Седельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна, одно за другим — неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо.

— Бабы, воды! — кричал он.— Машину подава-ай! Поворачивайся!

Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах.

— Девки, воды! — кричал староста, тоже пьяный.— Поворачивайся, девки!

Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты, и, вылив в машину, опять убегали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотька. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче.

— Молодец, Антип! — слышались одобрительные голоса.— Старайся!

А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда:

— Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!

Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сараи, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба навеселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле:

— Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована — чего тебе!

Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, отчего загорелось:

— Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: «Пусти, говорит, ночевать...» Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара,— старичка чаем попоить, да не в добрый час заставила самовар в сенях, огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой.

А в чугунную доску били без устали, и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша... А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведра; рядом и ниже сидели бабы и голосили, как по покойнике.

Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к горевшему срубу лестницу и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким, охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров

было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам; растащили хлев, плетень и ближайший стог.

— Не давайте ломать! — раздались в толпе строгие голоса.— Не давай!

Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил, Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу.

Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках,— должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили; студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду.

— Жорж! — кричали ему девушки укоризненно и с тревогой.— Жорж!

Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы,— это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже хотелось разыграть пожар в шутку и как будто даже было жаль, что пожар так скоро кончился.

— Вы, барин, хорошо тушили,— сказала Ольга студенту.— Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар.

— А вы разве из Москвы? — спросила одна из барышень.

— Точно так. Мой муж служил в «Славянском базаре»-с. А это моя дочь,— указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней.— Тоже московская-с.

Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

— Благодарить бога, ваше высокоблагородие, ветра не было,— сказал он, обращаясь к студенту,— а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие,— добавил он конфузливо, тоном ниже,— заря холодная, погреться бы... на полбутылочки с вашей милости.

Ему ничего не дали, и он, крякнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом, как по лугу шли господа; их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказывала мужу с восхищением:

— Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни — как херувимчики.

— Чтоб их рóзорвало! — проговорила сонная Фекла со злобой.

VI

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая; спала где и на чем придется; помои выливала у самого крыльца: выплеснет с порога, да еще пройдется босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь.

— Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские! — говорила она с злорадством.— Погляжу-у!

Однажды утром,— это было уже в начале сентября,— Фекла принесла снизу два ведра воды, розовая от холода, здоровая, красивая; в это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай.

— Чай да сахар! — проговорила Фекла насмешливо.— Барыни какие,— добавила она, ставя ведра,— моду себе взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы вас с чаю-то! — продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу.— Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомясая!

Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу, так что обе невестки только всплеснули руками и проговорили:

— Ах, батюшки.

Потом Фекла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе.

Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк; мотали все, кроме Феклы: она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного — копеек двадцать в неделю.

— При господах лучше было,— говорил старик, мотая шелк.— И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было вволю: ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий себя помнил.

Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет. Старик Осип рассказывал не спеша про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живется так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псковичами, и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битою птицей для молодых господ, как злых наказывали розгами или ссылали в тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был ку-

тила и развратник и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за пьяницу, другая — за мещанина, третью — увезли тайно (сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить), и все они скоро умерли с горя, как и их мать. И, вспомнив об этом, бабка даже всплакнула.

Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули.

— Дядя Осип, пусти ночевать!

Вошел маленький, лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанья, каких нет теперь; было, например, кушанье, которое приготовлялось из бычьих глаз и называлось «поутру проснувшись».

— А котлеты марешаль тогда делали? — спросил Николай.

— Нет.

Николай укоризненно покачал головой и сказал:

— Эх вы, горе-повара!

Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз не мигая; казалось, что их было очень много — точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились; они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабку, которая рассказывала интереснее всех, они слушали не дыша, боясь пошевельнуться.

Ложились спать молча; и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшно холодна эта смерть, которая не за горами,— лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак... Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку — и сна нет, тело такое, точно отлежал его, и лезут в голову всё мысли о смерти; повернулся на другой бок,— о смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздорожала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее...

— О господи! — вздохнул повар.

Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, Фекла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь, потом в сенях вынула засов. Но никто не входил, только с улицы повеяло холодом и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь

было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

— Кто тут? — окликнула Ольга.

— Я,— послышался ответ.— Это я.

Около двери, прижавшись к стене, стояла Фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами, и при ярком свете луны казалась очень бледною, красивою и странною. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза, и особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая, крепкая грудь.

— На той стороне озорники раздели, пустили так...— проговорила она.— Домой без одежи шла... в чем мать родила. Принеси одеться.

— Да ты в избу иди! — тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

— Старики бы не увидали.

В самом деле, бабка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал: «Кто там?» Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Феклу, и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.

— Это ты, гладкая? — сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это.— У, чтоб тебя, полуночница... нет на тебя погибели!

— Ничего, ничего,— шептала Ольга, кутая Феклу,— ничего, касатка.

Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику — боль в спине, бабке — заботы и злость, Марье — страх, детям — чесотка и голод. И теперь тоже сон был тревожный: поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться.

Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов; но часы били как-то странно: пробили пять, потом три.

— О господи! — вздыхал повар.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще светит луна или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила: «Сто-ой!» Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы.

Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки — и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, по-видимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась на ходу. Ей,

вероятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала:

— Нет, воля лучше!

VII

Приехал барин,— так в деревне называли станового пристава. О том, когда и зачем он приедет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч.

Становой остановился в трактире; он «выкушал» тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Седельников, несмотря на молодость,— ему было только тридцать лет с небольшим,— был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он — староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались; случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую; раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться, и продержал ее там целые сутки. В городе он не живал и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил употреблять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осип со своею оброчною книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакенами, в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Седельников.

— За им, ваше высокоблагородие, сто девятнадцать рублей,— сказал он, когда очередь дошла до Осипа.— Перед святой как дал рубль, так с того время ни копейки.

Пристав поднял глаза на Осипа и спросил:

— Почему же это, братец?

— Явите божескую милость, ваше высокоблагородие,— начал Осип, волнуясь,— дозвольте сказать, летошний год лютерецкий барин: «Осип, говорит, продай сено... Ты, говорит, продай». Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи, на лоску бабы накосили... Ну, сторговались... Все хорошо, добровольно...

«Человек в футляре»

Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели; лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые.

— Я не понимаю, зачем ты это все говоришь,— сказал пристав.— Я спрашиваю тебе... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечай?

— Мочи моей нету!

— Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие,— сказал староста.— Действительно, Чикильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся — водка, и озорники очень. Без всякого понимания.

Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды:

— Пошел вон.

Скоро он уехал; и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старосте, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Не успел он отъехать и одну версту, как Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

— Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!

Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи, седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая:

— Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитеся!

— Бабка, бабка,— сказал строго староста,— имей рассудок в своей голове!

Без самовара в избе Чикильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унизительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки,— не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем; в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добывал в «Славянском базаре» по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет,

то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старик крякнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темнело. Антип Седельников паял что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал:

— Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!

— Принеси три рубля, тогда и получишь.

— Мочи моей нету!

Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:

— Отдай!

Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:

— От земского начальника все зависящее. В административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.

Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой.

Дней через десять опять приезжал становой, побыл с час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец, и, пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

— Земство! — говорил Осип.— Кто ж!

— Известно, земство.

Земство обвиняли во всем — и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что́ значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоялые дворы, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет пятнадцать —

двадцать назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега...

Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец и стали решать, кто виноват.

— Земство! — проговорил уныло Осип.— Кто ж!

VIII

Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в великом посту не успевал отговеться, батюшка на святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек.

Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:

— А кто ж его знает!

Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:

— Казанской божьей матери, Смоленской божьей матери, троеручицы божьей матери...

Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше «вы».

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и, только когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:

— Бог милости прислал!

То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на успенье пили, на воздвиженье пили. На покров в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили пятьдесят рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирьяк — все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

— Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки.

— Заступница, матушка! — рыдала Марья.— Матушка!

Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота — вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так

долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка — расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно: «Умира-а-ю!» Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не семьдесят, а пятьдесят восемь лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая,— с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.

Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился. На покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длинноволого выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики: старик портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку и два молодых парня валяли из шерсти валенки; Кирьяк, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и починял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки.

Он ставил банки, а старик портной, Кирьяк и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия.

— Оно хорошо,— говорил портной.— Дай бог, чтоб на пользу.

Выкрест поставил двенадцать банок и потом еще двенадцать, напился чаю и уехал. Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы поси-

нели. Он кутался и в одеяло и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер.

IX

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже с рождества не было своего хлеба, и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы; и зима затянулась: на благовещение задувала настоящая зимняя вьюга, а на святой шел снег.

Но, как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи, зима не уступала, но один теплый денек пересилил наконец,— и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковым и тою стороной все пространство сплошь было уже занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же краски и эти же облака видишь на картине.

Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее, и дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и с нею отправится Кирьяк наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша, с котомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет; вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирьяк был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала, только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного поседела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль

расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теспота, а помощи нет, и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами... И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.

Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:

— Опять я одна осталася, бедная моя головушка, бедная-несчастная...

И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Идти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню и про Марью, им было весело, и все развлекало их. То курган, то ряд телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно; то виден вдали хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди; то лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела;

и дергач кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу.

В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

— Православные христиане, подайте милостыню, Христа ради, что́ милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

— Православные христиане,— запела Саша,— подайте, Христа ради, что́ милость ваша, царство небесное...

1897

НА ПОДВОДЕ

В половине девятого утра выехали из города.

Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле над громадными лужами, похожими на озера, ни это небо, чудное, бездонное, куда, кажется, ушел бы с такою радостью. Вот уж тринадцать лет, как она учительницей, и не сочтешь, сколько раз за все эти годы она ездила в город за жалованьем; и была ли весна, как теперь, или осенний вечер с дождем, или зима,— для нее было все равно, и всегда неизменно хотелось одного: поскорее бы доехать.

У нее было такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно-давно, лет сто, и казалось ей, что на всем пути от города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево. Тут было ее прошлое, ее настоящее; и другого будущего она не могла представить себе, как только школа, дорога в город и обратно, и опять школа, и опять дорога...

О том прошлом, какое было до ее поступления в учительницы, она уже отвыкла вспоминать — и почти все забыла. Когда-то были у нее отец и мать; жили в Москве около Красных ворот, в большой квартире, но от всей этой жизни осталось в памяти что-то смутное и расплывчатое, точно сон. Отец умер, когда ей

было десять лет, потом скоро умерла мать... Был брат-офицер, сначала переписывались, потом брат перестал отвечать на письма, отвык. От прежних вещей сохранилась только фотография матери, но от сырости в школе она потускнела, и теперь ничего не видно, кроме волос и бровей.

Когда отъехали версты три, старик Семен, который правил лошадью, обернулся и сказал:

— А в городе чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идет слух, в Москве с немцами городского голову Алексеева убивал.

— Кто это тебе сказал?

— В трактире Ивана Ионова в газетах читали.

И опять замолчали надолго. Марья Васильевна думала о своей школе, о том, что скоро экзамен и она представит четырех мальчиков и одну девочку. И как раз, пока она думала об экзаменах, ее обогнал помещик Ханов, в коляске четверкой, тот самый, который в прошлом году экзаменовал у нее школу. Поравнявшись, он узнал ее и поклонился.

— Здравствуйте! — сказал он.— Домой изволите ехать?

Этот Ханов, мужчина лет сорока, с поношенным лицом и с вялым выражением, уже начинал заметно стареть, но все еще был красив и нравился женщинам. Он жил в своей большой усадьбе, один, нигде не служил, и про него говорили, что дома он ничего не делал, а только ходил из угла в угол и посвистывал или играл в шахматы со своим старым лакеем. Говорили про него также, что он много пил. В самом деле, в прошлом году на экзамене даже от бумаг, которые он привез с собой, пахло духами и вином. Тогда на нем все было новенькое, и Марье Васильевне он очень нравился, и, сидя рядом с ним, она все конфузилась. Она привыкла видеть у себя экзаменаторов холодных, рассудительных, а этот не помнил ни одной молитвы и не знал, о чем спрашивать, и был чрезвычайно вежлив и деликатен, и ставил одни пятерки.

— А я к Баквисту еду,— продолжал он, обращаясь к Марье Васильевне,— но, говорят, его нет дома?

С шоссе свернули на проселочную дорогу: Ханов впереди, Семен за ним. Четверка ехала по дороге, шагом, с напряжением вытаскивая из грязи тяжелый экипаж. Семен лавировал, объезжая дорогу, то по бугру, то по лугу, часто спрыгивая с телеги и помогая лошади. Марья Васильевна думала все о школе, о том, какая будет задача на экзамене — трудная или легкая. И ей было досадно на земскую управу, в которой она вчера никого не застала. Какие беспорядки! Вот уже два года, как она просит, чтобы уволили сторожа, который ничего не делает, грубит ей и бьет учеников, но ее никто не слушает. Председателя трудно

застать в управе, а если застанешь, то он говорит со слезами на глазах, что ему некогда; инспектор бывает в школе раз в три года и ничего не смыслит в деле, так как раньше служил по акцизу и место инспектора получил по протекции; училищный совет собирается очень редко и неизвестно, где собирается; попечитель — малограмотный мужик, хозяин кожевенного заведения, неумен, груб и в большой дружбе со сторожем,— и бог знает, к кому обращаться с жалобами и за справками...

«Он в самом деле красив»,— подумала она, взглянув на Ханова.

А дорога все хуже и хуже... Въехали в лес. Тут уж сворачивать негде, колеи глубокие, и в них льется и журчит вода. И колючие ветви бьют по лицу.

— Какова дорога? — спросил Ханов и засмеялся.

Учительница смотрела на него и не понимала: зачем этот чудак живет здесь? Что могут дать ему в этой глуши, в грязи, в скуке его деньги, интересная наружность, тонкая воспитанность? Он не получает никаких преимуществ от жизни и вот так же, как Семен, едет шагом, по отвратительной дороге, и терпит такие же неудобства. Зачем жить здесь, если есть возможность жить в Петербурге, за границей? И казалось бы, что стоит ему, богатому человеку, из этой дурной дороги сделать хорошую, чтобы не мучиться так и не видеть этого отчаяния, какое написано на лицах у кучера и Семена; но он только смеется, и, по-видимому, для него все равно и лучшей жизни ему не нужно. Он добр, мягок, наивен, не понимает этой грубой жизни, не знает ее так же, как на экзамене не знал молитв. Жертвует он в школы одни только глобусы и искренне считает себя полезным человеком и видным деятелем по народному образованию. А кому нужны тут его глобусы!

— Держись, Васильевна! — сказал Семен.

Телега сильно накренилась — сейчас упадет; на ноги Марьи Васильевны навалилось что-то тяжелое — это ее покупки. Крутой подъем на гору, по глине; тут в извилистых канавах текут с шумом ручьи, вода точно изгрызла дорогу — и уж как тут ехать! Лошади храпят. Ханов вылез из коляски и идет по краю дороги в своем длинном пальто. Ему жарко.

— Какова дорога? — сказал он опять и засмеялся.— Этак экипаж сломать недолго.

— А кто ж вам велит в такую погоду ездить! — проговорил Семен сурово.— И сидели бы дома.

— Дома, дед, скучно. Я не люблю дома сидеть.

Около старого Семена он казался стройным, бодрым, но в походке его было что-то такое, едва заметное, что выдавало в нем

существо уже отравленное, слабое, близкое к гибели. И точно в лесу вдруг запахло вином. Марье Васильевне стало страшно и стало жаль этого человека, погибающего неизвестно для чего и почему, и ей пришло на мысль, что если бы она была его женой или сестрой, то всю свою жизнь, кажется, отдала бы за то, чтобы спасти его от гибели. Быть женой? Жизнь устроена так, что вот он живет у себя в большой усадьбе один, она живет в глухой деревне одна, но почему-то даже мысль о том, что он и она могли бы быть близки и равны, кажется невозможной, нелепой. В сущности, вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце.

«И непонятно,— думала она,— зачем красоту, эту приветливость, грустные, милые глаза бог дает слабым, несчастным, бесполезным людям, зачем они так нравятся».

— Здесь нам поворачивать вправо,— сказал Ханов, садясь в коляску.— Прощайте! Всего хорошего!

И опять она думала о своих учениках, об экзамене, о сторже, об училищном совете; и когда ветер доносил справа шум удалявшейся коляски, то эти мысли мешались с другими. Хотелось думать о красивых глазах, о любви, о том счастье, какого никогда не будет...

Быть женой? Утром холодно, топить печи некому, сторож ушел куда-то; ученики поприходили чуть свет, нанесли снегу и грязи, шумят; все так неудобно, неуютно. Квартира из одной комнатки, тут же и кухня. После занятий каждый день болит голова, после обеда жжет под сердцем. Нужно собирать с учеников деньги на дрова, на сторожа и отдавать их попечителю, и потом умолять его, этого сытого, наглого мужика, чтобы он, ради бога, прислал дров. А ночью снятся экзамены, мужики, сугробы. И от такой жизни она постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно ее налили свинцом, и всего она боится, и в присутствии члена управы или попечителя школы она встает, не осмеливается сесть, и когда говорит про кого-нибудь из них, то выражается почтительно: «они». И никому она не нравится, и жизнь проходит скучно, без ласки, без дружеского участия, без интересных знакомых. В ее положении какой бы это был ужас, если бы она влюбилась!

— Держись, Васильевна!

Опять крутой подъем на гору...

В учительницы она пошла из нужды, не чувствуя никакого призвания; и никогда она не думала о призвании, о пользе просвещения, и всегда ей казалось, что самое главное в ее деле не ученики и не просвещение, а экзамены. И когда тут думать о при-

звании, о пользе просвещения? Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадном труде не имеют даже утешения думать, что они служат идее, народу, так как все время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих дорогах, болезнях. Жизнь трудная, неинтересная, и выносили ее подолгу только молчаливые ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны; те же живые, нервные, впечатлительные, которые говорили о своем призвании, об идейном служении, скоро утомлялись и бросали дело.

Семен выбирал, как бы проехать посуше и поближе, где лугом, где задами; но там, гляди, мужики не пускают, там попова земля, нет проезда, там Иван Ионов купил у барина участок и окопал его канавой. То и дело поворачивали назад.

Приехали в Нижнее Городище. Около трактира, на унавоженной земле, под которой был еще снег, стояли подводы: везли большие бутыли с купоросным маслом. В трактире было много народа, всё извозчики, и пахло тут водкой, табаком и овчиной. Шел громкий разговор, хлопали дверью на блоке. За стеной в лавочке, не умолкая ни на минуту, играли на гармонике. Марья Васильевна сидела и пила чай, а за соседним столом мужики, распаренные чаем и трактирной духотой, пили водку и пиво.

— Слышь, Кузьма! — раздавались беспорядочно голоса.— Чего там! Господи благослови! Иван Дементьич, я это тебе могу! Сват, гляди!

Мужик маленького роста, с черной бородкой, рябой, уже давно пьяный, вдруг удивился чему-то и нехорошо выбранился.

— Чего ругаешься там? Ты! — отозвался сердито Семен, сидевший далеко в стороне.— Нешто не видишь: барышня!

— Барышня...— передразнил кто-то в другом углу.

— Ворона свинячая!

— Мы ничего...— сконфузился маленький мужик.— Извините. Мы, стало быть, за свои деньги, а барышня за свои... Здравствуйте!

— Здравствуй,— ответила учительница.

— И чувствительно вас благодарим.

Марья Васильевна пила чай с удовольствием и сама становилась красной, как мужики, и думала опять о дровах, о стороже...

— Сват, погоди! — доносилось с соседнего стола.— Учительша из Вязовья... знаем! Барышня хорошая.

— Порядочная!

Дверь на блоке все хлопала, одни входили, другие выходили. Марья Васильевна сидела и думала все про то же, а гармоника за стеной все играла и играла. Солнечные пятна были на полу, потом перешли на прилавок, на стену и совсем исчезли;

значит, солнце уже склонилось за полдень. Мужики за соседним столом стали собираться в путь. Маленький мужик, слегка пошатываясь, подошел к Марье Васильевне и подал ей руку; глядя на него, и другие тоже подали руку на прощанье и вышли один за другим, и дверь на блоке провизжала и хлопнула девять раз.

— Васильевна, собирайся! — окликнул Семен.

Поехали. И опять все шагом.

— Недавнушко школу строили тут, в ихнем Нижнем Городище,— сказал Семен, оборачиваясь.— Греха-то что было!

— А что?

— Будто председатель себе в карман тысячу, и попечитель тоже тысячу, и учитель пятьсот.

— Вся-то школа стоит тысячу. Нехорошо на людей клеветать, дед. Это все вздор.

— Я не знаю... Что народ, то и я.

Но было ясно, что Семен не верил учительнице. Ей крестьяне не верили; они всегда так думали, что она получает слишком большое жалованье — двадцать один рубль в месяц (было бы довольно и пяти), и что из тех денег, которые она собирала с учеников на дрова и на сторожа, бóльшую часть она оставляла себе. Попечитель думал так же, как все мужики, и сам кое-что наживал с дров и за свое попечительство получал с мужиков жалованье, тайно от начальства.

Лес, слава богу, кончился, и теперь до самого Вязовья будет ровное поле. И осталось уже немного: переехать реку, потом железнодорожную линию, а там и Вязовье.

— Куда же ты едешь? — спросила Марья Васильевна у Семена. — Поезжай правой дорогой на мост.

— Чего? И тут проедем. Глыбина не очень чтоб.

— Смотри, как бы нам лошадь не утопить.

— Чего?

— Вот и Ханов поехал на мост,— сказала Марья Васильевна, увидев далеко вправо четверку.— Это, кажется, он едет?

— О-он. Должно, не застал Баквиста. Экой дуролом, господи помилуй, туда поехал, и зачем, тут на цельных три версты ближе.

Подъехали к реке. Летом это была мелкая речушка, которую легко переходили вброд и которая обыкновенно пересыхала к августу, теперь же, после половодья, это была река саженей в шесть ширины, быстрая, мутная, холодная; на берегу и у самой воды видны были свежие колеи, — значит, здесь проезжали.

— Вперед! — крикнул Семен сердито и с тревогой, сильно дергая за вожжи и взмахивая локтями, как птица крыльями.— Вперед!

Лошадь вошла в воду по брюхо и остановилась, но тотчас

же опять пошла, напрягая силы, и Марья Васильевна почувствовала в ногах резкий холод.

— Вперед! — закричала и она, поднимаясь.— Вперед!

Выехали на берег.

— И что оно такое, это самое, господи,— бормотал Семен, поправляя сбрую. — Чистое наказание с эстим земством...

Калоши и башмаки были полны воды, низ платья и шубки и один рукав были мокры, и текло с них; сахар и мука оказались подмоченными — и это было обиднее всего, и с отчаяния Марья Васильевна только всплескивала руками и говорила:

— Ах, Семен, Семен!.. Какой же ты, право!..

На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум: со станции шел курьерский поезд. Марья Васильевна стояла у переезда и ждала, когда он пройдет, и дрожала всем телом от холода. Было уже видно Вязовье — и школу с зеленой крышей, и церковь, у которой горели кресты, отражая вечернее солнце; и окна на станции тоже горели, и из локомотива шел розовый дым... И ей казалось, что все дрожит от холода.

Вот он — поезд; окна отливали ярким светом, как кресты на церкви, больно было смотреть. На площадке одного из вагонов первого класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мельком: мать! Какое сходство! У матери были такие же пышные волосы, такой же точно лоб, наклон головы.. И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате, в кругу родных; чувство радости и счастья вдруг охватило ее, от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбой:

— Мама!

И заплакала, неизвестно отчего. В это время как раз подъезжал на четверке Ханов, и она, видя его, вообразила счастье, какого никогда не было, и улыбалась, кивая ему головой, как равная и близкая, и казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится ее счастье, ее торжество. Да, никогда не умирали ее отец и мать, никогда она не была учительницей, то был длинный, тяжелый, странный сон, а теперь она проснулась...

— Васильевна, садись!

И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченея от холода, села в телегу. Четверка переехала линию, за ней Семен. Сторож на переезде снял шапку.

— А вот и Вязовье. Приехали.

1897

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иваныч, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин.— Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера,— кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной

тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: — Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах,— ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло,— и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице,— знаете, маленьком лице, как у хорька,— он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мысля-

щий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я,—продолжал Буркин,— в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле,— пища не постная, но и нельзя сказать чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом:

— Много уж *их* нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко.

— Очень уж шумят у нас в классах,— говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству.— Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленка, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая,— одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала,— всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто — ужас!».

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить,— тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать...— пояснила свою мысль директорша.— Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот, к чему нам вдруг понадобилось женить этого

Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко.— Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание: тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно,— голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик,— проговорил Иван Иваныч.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится,— говорил он мне со слабой кривой улыбочкой,— и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... все это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему. — Женитесь, вот и все.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов, он сделал бы предложение, и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Scandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю,— говорил он нам, пожимая плечами,— не понимаю, как вы переваривaете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники — все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому,— это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу,— выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, замореная, но веселая, радостная.

— А мы,— кричит она,— вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня...

— Позвольте, что же это такое? — спросил он.— Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного? — сказал я.— И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно? — крикнул он, изумляясь моему спокойствию.— Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу,— проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке,— напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!

— Что же, собственно, вам угодно?

— Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя... Что же хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! — сказал Коваленко и побагровел.— А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать,— сказал он.— И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой.— Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно,— сказал он, выходя из передней на площадку лестницы.— Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

— Доложить? Ступай докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя,— ах, как бы чего не вышло! — нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хох-

лушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия,— чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть,— сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть,— повторил Иван Иваныч.— А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт,— разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать,— сказал Буркин.— До завтра.

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и

задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит,— сказал Буркин.

Шаги затихли.

— Видеть и слышать, как лгут,— проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок,— и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена,— нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч,— сказал учитель.— Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

1898

КРЫЖОВНИК

Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин,— вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остано-

вились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь,— сказал Буркин.— Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плёс с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плёса был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском; вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом,— сказал он, улыбаясь.— Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа,— говорил Алехин, входя за ними в переднюю.— Вот не ожидал! Пелагея,— обратился он к горничной,— дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да, кстати, и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся,— говорил он, раздеваясь.— Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то все некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь...— проговорил Иван Иваныч, значительно глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся...— повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте, и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой...— повторял он, наслаждаясь.— Ах, боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плёса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял.

— Ах, боже мой...— говорил он.— Ах, господи помилуй!

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата,— начал он,— я, Иван Иваныч, и другой — Николай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, все равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал

в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства,— говорил он, бывало.— Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: a) барский дом, b) людская, c) огород, d) крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом,

слышу, женился. Все с тою же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится: в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы,— сказал Буркин.

— После смерти жены,— продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты,— брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но все же, в конце концов, ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки,— и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед,— того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, и теперь оба седы, и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уже обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами, и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат «ура» и, пьяные, кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться,— говорил он.— Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу.

И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовника. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник молча, со слезами,— он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и все повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого чело-

века, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину,— и все обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив,— продолжал Иван Иваныч, вставая.— Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина.— Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется

в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константиныч! — проговорил он умоляющим голосом,— не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет, и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И все это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящею улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами — говорило, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея,— это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что́ только что говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе,

«Ионыч»

не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать,— сказал Буркин, поднимаясь.— Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иваныч молча разделся и лег.

— Господи, прости нас, грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

1898

О ЛЮБВИ

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и, пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

— Как зарождается любовь,— сказал Алехин,— почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло́,— тут у нас все зовут его мурло́м,— поскольку в любви важны вопросы личного счастья — все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, ко-

торые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему,— это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

— Совершенно верно,— согласился Буркин.

— Мы, русские порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или не честно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает,— это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

— Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно,— начал Алехин,— с тех пор как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям — кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает немного, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я

спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами, и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке,— какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, все юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди — это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

— Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минуту зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня все было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней су-

щество близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу:

— Дмитрий, как же это так?

Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

— Мы с вами не поджигали,— говорил он мягко,— и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем все лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

— Вы похудели,— сказала она.— Вы были больны?

— Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

— У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память, и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

— Но сегодня у вас вялый вид,— повторила она.— Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

— Кто там? — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

— Это Павел Константиныч, — отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

— Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь, как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и, если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

— Если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что, точно

так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

— Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу; и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей,— понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я все старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти, или, просто, если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось

бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей,— и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали, и все молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

— Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

— Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в по-

следний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез,— о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе,— оно было пусто,— и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плёс, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.

1898

И О Н Ы Ч

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиоте-

ка, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-nez, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было вознесение,— после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и, кстати, купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и все время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста,— сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце.— Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка,— продолжал он, представляя доктора жене,— я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь,— говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя.— Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, цыпка, баловница...— нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб.— Вы очень кстати пожаловали,— обратился он опять к гостю,— моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик,— сказала Вера Иосифовна мужу,— dites que l'on nous donne du thé [1].

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера, мало-помалу, сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника,— читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли,— не хотелось вставать...

— Недурственно...— тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку»,

---

[1] скажи, чтобы нам дали чаю *(франц.)*.

которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет,— отвечала она,— я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она.— Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь,— сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки,— было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла как никогда,— сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала.— Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению.— Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны.— В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна.— Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду,— сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженый, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно»,— подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев

приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле,— говорил он, идя за ней,— потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю,— продолжал Старцев,— а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с — ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. — Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ»,— ответила Котик.— А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому.— Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера,— прочел Старцев,— будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно,— подумал он, придя в себя.— При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности,— думал он.— Котик тоже странная, и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет»,— и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое,— мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но

в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота,— уже было темно, как в осеннюю ночь,— потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах,— сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало»,— думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну, что ж? — думал он.— И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней,— продолжал кусочек,— то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну, что ж? — думал он.— В городе так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего,— сказал Иван Петрович,— поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь,— говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску,— он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище,— начал Старцев.— Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто

поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно,— сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас,— выговорил наконец Старцев,— будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч,— сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав.— Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но...— она встала и продолжала стоя,— но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех...— у нее слезы навернулись на глазах,— я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено,— он не ожидал отказа,— и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спек-

такле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик и заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник, и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время

говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу,— это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью,— было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.».

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами.— Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее,— он и сам не

мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад,— и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен,— думал он,— не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно,— сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим,— сказала она, подходя к нему.— Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас,— продолжала она нервно,— я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала,— бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку,— ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь,— сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо,— но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом

под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он.— Тогда шел дождь, было темно...

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом.— Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением.— Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни,— продолжала она.— Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина,— говорил Иван Петрович, провожая его.— Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то,

он вспомнил все сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она.— Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.

Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е. Т.».

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным: «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обык-

новенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о́ пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует. За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о́ пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

1898

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому, владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева.

Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре. За Королевым выслали на станцию тройку; кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски: «Никак нет!», «Точно так!». Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли

рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце,— отдыхать и, быть может, молиться...

Он родился и вырос в Москве, деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними; и когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность.

Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяла на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет; тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской.

— Пожалуйте, господин доктор,— говорили женские голоса в сенях и в передней; и при этом слышались вздохи и шепот.— Пожалуйте, заждались... чистое горе. Вот сюда пожалуйте.

Госпожа Ляликова, полная, пожилая дама, в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в pince-nez, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни, с мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело.

Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка двадцати лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница; она давно уже болела и лечилась у раз-

ных докторов, а в последнюю ночь, с вечера до утра, у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали; боялись, как бы не умерла.

— Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая,— рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой.— Доктора говорят,— нервы, но когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, так вот, думаю, может, от этого.

Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, непричесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов.

— А мы к вам,— начал Королев,— пришли вас лечить. Здравствуйте.

Он назвал себя и пожал ей руку,— большую, холодную, некрасивую руку. Она села, и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.

— У меня сердцебиение,— сказала она.— Всю ночь был такой ужас... я едва не умерла от ужаса! Дайте мне чего-нибудь.

— Дам, дам! Успокойтесь.

Королев осмотрел ее и пожал плечами.

— Сердце как следует,— сказал он,— все обстоит благополучно, все в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать.

В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Королев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи! Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтоб обучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашала для нее десяток учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку, и теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук, не понимала и терялась, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение, точно она упустила

что-то еще очень важное, чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого — неизвестно.

— Лизанька, ты опять... ты опять,— говорила она, прижимая к себе дочь.— Родная моя, голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи.

Обе горько плакали. Королев сел на край постели и взял Лизу за руку.

— Полноте, стоит ли плакать? — сказал он ласково.— Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это...

А сам подумал:

«Замуж бы ее пора...»

— Наш фабричный доктор давал ей кали-брома́ти,— сказала гувернантка,— но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, что ли.

И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание, точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине.

Королеву стало скучно.

— Я не нахожу ничего особенного,— сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери.— Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача. Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьезного...

Он говорил не спеша, надевая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами.

— До десятичасового поезда осталось полчаса,— сказал он,— надеюсь, я не опоздаю.

— А вы не можете у нас остаться? — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам.—Совестно вас беспокоить, но будьте так добры... ради бога,— продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь,— переночуйте у нас. Она у меня одна... единственная дочь... Напугала прошлую ночь, опомниться не могу... Не уезжайте, бога ради...

Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья; ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки.

В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перелистывал ноты, потом осматривал картины на стенах, портреты. На картинах, написанных масляными красками,

в золотых рамах, были виды Крыма, бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и все это сухо, зализано, бездарно... На портретах ни одного красивого, интересного лица, все широкие скулы, удивленные глаза; у Ляликова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо, мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста. Культура бедная, роскошь случайная, не осмысленная, неудобная, как этот мундир; полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее...

Из передней доносился шепот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь; они отозвались в его душе странно и неприятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить...» — подумал он и опять принялся за ноты.

— Доктор, пожалуйте закусить! — позвала вполголоса гувернантка.

Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое: он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через pince-nez:

— Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну, чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные, и когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют.

— Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины,— сказал Королев.

— Ни одного. Петр Никанорыч помер полтора года назад, и мы одни остались. Так и живем втроем. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже одиннадцать лет живу. Как своя.

К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот; вина были дорогие, французские.

— Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии,— говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие.— Пожалуйста, кушайте.

После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать, было душно, и в комнате пахло краской; он надел пальто и вышел.

На дворе было прохладно; уже брезжил рассвет, и в сыром воздухе ясно обозначались все пять корпусов с их длинными тру-

бами, бараки и склады. По случаю праздника не работали, было в окнах темно, и только в одном из корпусов горела еще печь, два окна были багровы, и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей.

Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней.

«Тут недоразумение, конечно...— думал он, глядя на багровые окна.— Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двоетрое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в pince-nez. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер... дер... дер...». Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые — «дрын... дрын... дрын...». Одиннадцать раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов.

Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак...» И так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами и рабочими и обманывал и тех и других.

Королев вышел со двора в поле.

— Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом.

«Точно в остроге...» — подумал он и ничего не ответил.

Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда; кричали где-то сонные петухи, но все же ночь была тиха, мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб, тут был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать:

«Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается,— это дьявол».

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королев, сидя на досках, и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился все бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем; совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...

И опять послышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты и — раздается в другом конце двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» — подумал Королев.

— Жак... жак...— раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой,— жак... жак...

И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло; и опять такое впечатление, будто вымерло все кругом.

Королев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель и босых ног.

«Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Королев.

Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло, и в зале на стене и на полу дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была отворена, и сама она сидела в кресле около постели, в капоте, окутанная в шаль, непричесанная. Шторы на окнах были опущены.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Королев.

— Благодарю вас.

Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб.

— Вы не спите,— сказал он.— На дворе прекрасная погода, весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и о чем-то думаете.

Она слушала и глядела ему в лицо; глаза у нее были грустные, умные, и было видно, что она хочет что-то сказать ему.

— Часто это с вами бывает? — спросил он.

Она пошевелила губами и ответила:

— Часто. Мне почти каждую ночь тяжело.

В это время на дворе сторожа начали бить два часа. Послышалось «дер... дер...», и она вздрогнула.

— Вас беспокоят эти стуки?— спросил он.

— Не знаю. Меня тут все беспокоит,— ответила она и задумалась.— Все беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие, мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем.

— Говорите, прошу вас.

— Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я, и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат,— продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво,— я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или не права.

— Разве у вас нет друзей? — спросил Королев.

— Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Так жизнь сложилась... Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственна; они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола.

— А вы много читаете?

— Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам — пустая голова, вместо мыслей какие-то тени.

— Вы что-нибудь видите по ночам? — спросил Королев.

— Нет, но я чувствую...

Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно; и ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренне и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он.

И он знал, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это.

Но он не знал, как это сказать. Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный.

«Как сказать? — раздумывал Королев.— Да и нужно ли говорить?»

И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем:

— Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот,— правы они или нет,— будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть.

— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда?.. Да куда угодно,— сказал Королев и засмеялся.— Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.

Он взглянул на часы.

— Уже солнце взошло, однако,— сказал он.— Вам пора

спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами,— продолжал он, пожимая ей руку.— Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи!

Он пошел к себе и лег спать.

На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, с цветком в волосах, бледная, томная; она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила, и все с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное,— только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке в хорошей коляске и греться на солнышке.

1898

ДУШЕЧКА

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.

— Опять! — говорил он с отчаянием.— Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше,— и что же? С одной стороны, публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!

И на третий день то же...

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но все же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую, наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» — и тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:

— Душечка!

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:

— Душечка!

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние, улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.

— Но разве публика понимает это? — говорила она.— Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим «Орфея в аду», приходите.

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.

— Какой ты у меня славненький! — говорила она совершенно искренне, приглаживая ему волосы.— Какой ты у меня хорошенький!

В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.

— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом.— Вам телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:

«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сючала ждем распоряжений хохороны вторник».

Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сючала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька.— Ванечка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалася? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду и, как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.

— Душечка! — говорили соседки, крестясь.— Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!

Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей, Василий Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна,— говорил он степенно, с сочувствием в голосе,— и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос и, едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.

Пустовалов и Оленька, пожепившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов,— говорила она покупателям и знакомым.— Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф!— говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками.— Какой тариф!

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно:

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.

— И всё вы дома или в конторе,— говорили знакомые.— Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.

— Нам с Васечкой некогда по театрам ходить,— отвечала она степенно.— Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?

По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной, в праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.

— Ничего, живем хорошо,— говорила Оленька знакомым,— слава богу. Дай бог всякому жить, как мы с Васечкой.

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси вас господи,— говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы.— Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная...

И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то небось все понимает.

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.

И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой? — рыдала она, похоронив мужа.— Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую...

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал

ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных, в сущности, надо заботиться так же, как о здоровье людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это наконец скучно!

А она смотрела на него с изумлением и с трёвогой и спрашивала:

— Володечка, о чем же мне говорить?

И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она точно поневоле.

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем

ей говорить. А как это ужасно, не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как и на дворе. И так жутко и так горько, как будто объелась полыни.

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:

— Поди, поди... Нечего тут!

И так день за днем, год за годом,— и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости.— Владимир Платоныч! Откуда бог принес?

— Хочу здесь совсем поселиться,— рассказывал он.— Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.

— А где же она? — спросила Оленька.

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму,— заволновалась Оленька и опять заплакала.— Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех.

— Тетенька, это ваша кошка? — спросил он у Оленьки.— Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала:

— Голубчик мой, красавчик... Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.

— Островом называется,— прочел он,— часть суши, со всех сторон окруженная водою.

— Островом называется часть суши...— повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры.

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты, и, случалось, не живал дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его.

— Сашенька,— говорит она печально,— вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, не твердо выучил басню,— говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу.— Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает— почему?

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало в гимназии учиться,— рассказывает она на базаре.— Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут маленькому?

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках,— то же самое, что говорит о них Саша.

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, же-

нится и у него родятся дети... Она засыпает и все думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет:

— Мур... мур... мур...

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.

«Это телеграмма из Харькова,— думает она, начиная дрожать всем телом.— Мать требует Сашу к себе в Харьков... О господи!»

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.

«Ну, слава богу»,— думает она.

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду.

— Я ттебе! Пошел вон! Не дерись!

1899

ДАМА С СОБАЧКОЙ

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых,— соображал Гуров,— то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно,

изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение, в конце концов, становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели; но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается,— сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — и когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре — и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж,—в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым,— должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки»,— подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бро-

сались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше,— сказал он.— Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам...— проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких,—как, например, его жена,— которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению,— так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо,— сказала она.— Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров.— Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами.— Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же,— говорила я себе,— другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать...

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю,— сказал он тихо,— что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас...— говорила она.— Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно...— бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц,— сказал Гуров.— Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож,— посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалось такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве,— сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водо-

пад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю,— говорила она Гурову.— Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

— Дайте я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать,— говорила она.— Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север,— думал Гуров, уходя с платформы.— Пора!»

III

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время

вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном охватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном, и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме,— это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь»,— думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доно-

сились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил, и все больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как все это глупо и беспокойно,— думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер.— Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях»,— думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой, и, казалось, постоянно кланялся.

Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная.— О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите...— проговорил он вполголоса, торопясь.— Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его.— Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя.— Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать...— продолжала Анна Сергеевна шепотом.— Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива... Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни,— и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег,— говорил Гуров дочери.— Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи,— все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит

его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он.— Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу»,— подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая,— говорил он,— поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову.— Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

1899

В ОВРАГЕ

I

Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:

— Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел.

Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру всё помнили. Жизнь ли была так бедна здесь или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали.

В нем не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже

летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики — три ситцевых и одна кожевенная — находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно, с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом; в одном помещалось волостное правление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин, Григорий Петров, епифанский мещанин.

Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый.

У него было два сына. Старший, Анисим, служил в полиции, в сыскном отделении, и редко бывал дома. Младший, Степан, пошел по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух; его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в амбар, то в погреб, то в лавку, и старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались, и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте.

У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына-сыщика и невестку. Аксинья, едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость, и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя, держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала; и, что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал:

— Ай да невестушка! Ай да красавица, матушка...

Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку

Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке, в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми как снег скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки; послышались под окнами жалобные, певучие голоса уклеевских баб и виноватый капель слабых, испитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать и из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило.

— Тут мамаша взяли две осьмушки чаю,— сообщил он потом отцу.— Куда это записать?

Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене.

— Варварушка, ежели тебе, матушка,— сказал он ласково,— понадобится что в лавке, то ты бери. Бери себе на здоровье, не сомневайся.

И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей:

— Вы, мамаша, ежели что нужно,— берите!

В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки; милостыня ее действовала в эти тягостные, туманные дни, как предохранительный клапан в машине.

Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких, ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодце-

вато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже пятьдесят шесть лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на нем был хороший, чистый сюртук и в дрожки был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший триста рублей, старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами; он ненавидел мужиков и брезговал ими, и если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно:

— Что стал там? Проходи дальше!

Или кричал, если то был нищий:

— Бог дасьть!

Он уезжал по делам; жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала и как сердились покупатели, которых она обижала; и в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай; раза четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко.

В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых Старших, Хрыминых Младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефон и в волостное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал:

— Да, теперь нам без телефона будет трудновато.

Хрымины Старшие постоянно судились с Младшими, иногда и Младшие ссорились между собою и начинали судиться, и тогда их фабрика не работала месяц, два, пока они опять не мирились, и это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хрымины Младшие устраивали катанье, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице, около своей лавки; Младшие подхватывали ее и увозили как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару.

Вечером, после катанья, когда ложились спать, во дворе у Младших играли на дорогой гармонике, и если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеево уже не казалось ямой.

II

Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе писчей бумаги, в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре: «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности».

Внизу каждого письма было нацарапано, точно испорченным пером: «Анисим Цыбукин», и под этим опять тем же превосходным почерком: «Агент».

Письма читались вслух по нескольку раз, и старик, растроганный, красный от волнения, говорил:

— Вот, не захотел дома жить, пошел по ученой части. Что ж, пускай! Кто к чему приставлен.

Как-то перед масленицей пошел сильный дождь с крупой; старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а глядь — Анисим едет в санях со станции. Его совсем не ждали. Он вошел в комнату беспокойный и чем-то встревоженный, и таким оставался потом все время; и держал себя как-то развязно. Не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду; она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой.

— Как же это такое, батюшки? — говорила она.— Этих-тех, парню уже двадцать восьмой годочек пошел, а он все холостой разгуливает, ох-тех-те...

Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так: «Ох-тех-те». Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков.

Решили женить Анисима.

— Ох-тех-те!.. Младшего брата давно оженили,— говорила Варвара,— а ты все без пары, словно петух на базаре. По-каковски это? Этих-тех, оженишься, бог даст, там как хочешь, поедешь на службу, а жена останется дома помощницей-те. Без порядку-те живешь, парень, и все порядки, вижу, забыл. Ох-тех-те, грех один с вами, с городскими.

Когда Цыбукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскали тоже красивую. Сам он имел неинтересную, незаметную наружность; при слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные, пухлые щеки, точно он надувал их; глаза не ми-

гали, и взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая, и, задумавшись, он все совал ее в рот и кусал; и к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невеста, очень красивая, то он сказал:

— Ну, да ведь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, все красивые.

Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала одна вдова; у нее была сестра, совсем бедная, ходившая на поденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуеве, и только смущала всех ее ужасная бедность; рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе «так», а при ней и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево.

Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином, и Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными чертами, смуглая от работы на воздухе; грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски — доверчиво и с любопытством.

Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться, это — ее большие мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни.

— Нет приданого — и мы без внимания,— говорил старик тетке,— для сына нашего Степана мы взяли тоже из бедного семейства, а теперь не нахвалимся. Что в доме, что в деле — золотые руки.

Липа стояла у двери и как будто хотела сказать: «Делайте со мной что хотите: я вам верю», а ее мать Прасковья, поденщица, пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то, еще в молодости, один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно:

— Что же это вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно.

А Прасковья, оробев, прижимая руки к своей тощей, исхудалой груди, отвечала:

— Что вы, помилуйте-с... Много вами довольны-с.

После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал или же, вдруг вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро, на красной горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай: сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды,— был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно.

III

В деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры-хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай. Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксинье — светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать.

Анисим приехал за три дня до свадьбы, во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое.

Степенно помолившись богу, он поздоровался с отцом и дал ему десять серебряных рублей и десять полтинников; и Варваре дал столько же, Аксинье — двадцать четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щеки, и от него пахло вином; вероятно, на каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе.

— Ничего, благодарить бога, живут хорошо,— говорил Анисим.— Только вот у Ивана Егорова происшествие в семейной

жизни: померла его старуха Софья Никифоровна. От чахотки. Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера, по два с полтиной с персоны. И виноградное вино было. Которые мужики,— наши земляки,— и за них тоже по два с полтиной. Ничего не ели. Нешто мужик понимает соус!

— Два с полтиной! — сказал старик и покачал головой.

— А что же? Там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, спросишь того-другого, компания соберется, выпьешь — ан глядишь, уже рассвет, и пожалуйте по три или по четыре рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, чтоб после всего кофий с коньяком, а коньяк по шести гривен рюмочка-с.

— И все врет,— проговорил старик в восхищении.— И все врет!

— Я теперь всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолепно пишет. И если б рассказать, мамаша,— весело продолжал Анисим, обращаясь к Варваре,— какой человек есть этот самый Самородов, то вы не поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки — весь черный. Я его насквозь вижу, все дела его знаю вот как свои пять пальцев, мамаша, и он это чувствует и все за мной ходит, не отстает, и нас теперь водой не разольешь. Ему как будто жутковато, но и без меня жить не может. Куда я, туда и он. У меня, мамаша, верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке: мужик рубаху продает.— Стой, рубаха краденая! — И верно, так и выходит: рубаха краденая.

— Откуда же ты знаешь? — спросила Варвара.

— Ниоткуда, глаз у меня такой. Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней: краденая, и все тут. У нас в сыскном так уж и говорят: «Ну, Анисим пошел вальдшнепов стрелять!» Это значит — искать краденое. Да... Украсть всякий может, да вот как сберечь! Велика земля, а спрятать краденое негде.

— А в нашем селе у Гунторевых на прошлой неделе угнали барана и двух ярок,— сказала Варвара и вздохнула.— И поискать некому... Ох-тех-те...

— Что ж? Поискать можно. Это ничего, можно.

Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колоколами, тройки и пары с разноцветными лентами на дугах и в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цыбукиных свадьба.

В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки со шпротами, разные соленья и маринады,

и множество бутылок с водкой и винами, пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постукивая каблучками и точа нож о нож, ходил старик. Варвару то и дело окликали, чего-нибудь требовали, и она с растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от Костюкова и белая кухарка от Хрыминых Младших. Аксинья, завитая, без платья, в корсете, в новых скрипучих ботинках, носилась по двору, как вихрь, и только мелькали ее голые колени и грудь. Было шумно, слышалась брань, божба; прохожие останавливались у настежь открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное.

— За невестой поехали!

Звонки заливались и замирали далеко за деревней... В третьем часу побежал народ; опять послышались звонки, везут невесту! Церковь была полна, горело паникадило, певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие платья ослепили Липу, ей казалось, что певчие своими громкими голосами стучат по ее голове, как молотками; корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее, и выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморока,— глядит и не понимает. Анисим, в черном сюртуке, с красным шнурком вместо галстука, задумался, глядя в одну точку, и, когда певчие громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление, хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства; когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клиросе с мальчиками; ему так памятны каждый уголок, каждая икона. Его вот венчают, его нужно женить для порядка, но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем; он молился и просил у бога, чтобы несчастья, неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивши.

Послышался тревожный детский плач:

— Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!

— Тише там,— крикнул священник.

Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ; около лавки, около ворот и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко, изо

всей силы, вскрикнули певчие, которые уже стояли в сенях со своими нотами; заиграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, и подрядчик плотник Елизаров, высокий, худощавый старик с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым:

— Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и царица небесная вас не оставит.— Он припал к плечу старика и всхлипнул.— Григорий Петров, восплачем, восплачем от радости! — проговорил он тонким голоском и тотчас же вдруг захохотал и продолжал громко, басом: — Хо-хо-хо! И эта хороша у тебя невестка! Все, значит, в ней на месте, все гладенько, не громыхнет, вся механизма в исправности, винтов много.

Он был родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в уезде и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным, и давно уже его звали Костылем. Быть может, оттого, что больше сорока лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом,— он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности: не нужен ли ремонт. И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли, и сига тоже потрогал.

После шипучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. Пели в сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали, все в один голос,— и была какая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которой кружилась голова.

Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешал говорить, и то плакал, то хохотал.

— Деточки, деточки, деточки...— бормотал он быстро.— Аксиньюшка матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные...

Он пил мало и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Эта отвратительная горькая, сделанная неизвестно из чего, одурманила всех, кто пил ее, точно ушибла. Стали заплетаться языки.

Тут было духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других деревень. Волостной старшина и волостной писарь, служившие вместе уже четырнадцать лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенни-

«Дама с собачкой»

ческая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собой всех своих детей и, точно хищная птица, косилась на тарелки и хватала все, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы.

Липа сидела окаменелая, все с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у нее голос; и теперь, сидя рядом, он все молчал и пил английскую горькую, а когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив:

— У меня есть друг, по фамилии Самородов. Человек специальный. Личный почетный гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька!

Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и все так богато,— никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался; уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба:

— Насосались нашей крови, ироды, нет на вас погибели!

Вечером были танцы под музыку. Приехали Хрымины Младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали кадриль, держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг вприсядку; зеленая Аксинья только мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то оттоптал ей внизу оборку, и Костыль крикнул:

— Эй, внизу плинтус оторвали! Деточки!

У Аксиньи были серые, наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее; он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи и раскусывал их так громко, что казалось, стрелял из пистолета.

Но вот и сам старик Цыбукин вышел на средину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения:

— *Сам* вышел! *Сам*!

Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и пере-

бирал каблучками, но те, которые там, во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все — и его богатство, и обиды.

— Молодчина Григорий Петров! — слышалось в толпе.— Так, старайся! Значит, еще можешь заниматься! Ха-ха!

Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощанье певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому:

— Свадьба две тысячи стоила.

Когда расходились, у шикаловского трактирщика кто-то обменил хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать:

— Стой! Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!

Он выбежал на улицу, погнался за кем-то; его поймали, повели под руку домой и пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли.

IV

Прошло пять дней. Анисим, собравшийся уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти.

— Мало с нами пожил,— сказала она.— Заскучал небось? Ох-тех-те... Живем мы хорошо, всего у нас много, и свадьбу твою сыграли порядком, правильно; старик сказывал: две тысячи пошло. Одно слово, живем, как купцы, только вот скучно у нас. Уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как — и боже мой! Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем — на всем обман! Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать?

— Кто к чему приставлен, мамаша.

— Да ведь умирать надо? Ой-ой, право, поговорил бы ты с отцом!..

— А вы бы сами поговорили.

— Ну-ну! Я ему свое, а он мне, как ты, в одно слово: кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У бога суд праведный.

— Конечно, никто не станет разбирать,— сказал Анисим и вздохнул.— Бога-то ведь все равно нет, мамаша. Чего уж там разбирать!

Варвара посмотрела на него с удивлением, и засмеялась, и всплеснула руками. Оттого, что она так искренне удивилась его словам и смотрела на него, как на чудака, он смутился.

— Бог, может, и есть, а только веры нет,— сказал он.— Когда меня венчали, мне было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг запищала, и, пока меня венчали, я все думал: есть бог! А как вышел из церкви — и ничего. Да и откуда мне знать, есть бог или нет? Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учат: кто к чему приставлен. Папаша ведь тоже в бога не верует. Вы как-то сказывали, что у Гунторева баранов угнали... Я нашел: это шикаловский мужик украл; он украл, а шкурки-то у папаши... Вот вам и вера!

Анисим подмигнул глазом и покачал головой.

— И старшина тоже не верит в бога,— продолжал он,— и писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили, и на тот случай, что, может, и в самом деле Страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел оттого, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что все горе оттого, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю. Ежели у человека рубаха краденая, я вижу. Человек сидит в трактире, и вам так кажется, будто он чай пьет, и больше ничего, а я, чай-то чаем, вижу еще, что в нем совести нет. Так целый день ходишь — и ни одного человека с совестью. И вся причина, потому что не знают, есть бог или нет... Ну-с, мамаша, прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихом.

Анисим поклонился Варваре в ноги.

— Благодарим вас за все, мамаша,— сказал он.— Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен.

Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал:

— Меня Самородов впутал в одно дело: богат буду или пропаду. Ежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя.

— Ну, вот, что там! Ох-тех-те... Бог милостив. А ты бы, Анисим, этих-тех, жену бы свою приласкал, а то глядите друг на дружку надутые оба; хоть бы усмехнулись, право.

— Да, какая-то она чудна́я...— сказал Анисим и вздохнул.— Не понимает ничего, молчит все. Молода очень, пускай подрастет.

У крыльца уже стоял высокий, сытый, белый жеребец, запряженный в шарабан.

Старик Цыбукин разбежался, и сел молодцевато, и взял вожжи. Анисим поцеловался с Варварой, с Аксиньей и с братом. На крыльце стояла также Липа, стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так, неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке слегка, чуть-чуть.

— Прощай,— сказал он.

И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно; лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее. Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым.

Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим все оглядывался назад, на село. Был теплый, ясный день. В первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху и внизу, пели жаворонки. Анисим оглядывался на церковь, стройную, беленькую — ее недавно побелили,— и вспомнил, как пять дней назад молился в ней; оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой когда-то купался и удил рыбу, и радость колыхнулась в груди, и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена и не пустила бы его дальше, и он остался бы только с одним прошлым.

На станции подошли к буфету и выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить.

— Я угощаю! — сказал Анисим.

Старик в умилении похлопал его по плечу и подмигнул буфетчику: вот-де какой у меня сын.

— Остался бы ты, Анисим, дома, при деле,— сказал он,— цены бы тебе не было! Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до ног.

— Никак нельзя, папаша.

Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке.

Когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей младшей невестки. Как только муж выехал со двора, Липа изменилась, вдруг повеселела. Босая, в старой, поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце со своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок.

Старый работник, который проходил мимо крыльца, покачал головой и крякнул.

— Да, и невестки же у тебя, Григорий Петров, бог тебе послал! — сказал он.— Не бабы, а чистый клад!

V

Восьмого июля, в пятницу, Елизаров, по прозванию Костыль, и Липа возвращались из села Казанского, куда они ходили на богомолье, по случаю храмового праздника — Казанской божией матери. Далеко позади шла мать Липы Прасковья, которая все отставала, так как была больна и задыхалась. Время было близко к вечеру.

— А-а-а!..— удивлялся Костыль, слушая Липу.— А-а!.. Ну-у?

— Я, Илья Макарыч, до варенья очень охотница,— говорила Липа.— Сяду себе в уголочке и все чай пью с вареньем. Или с Варварой Николаевной вместе пьем, а оне что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенья много — четыре банки. «Кушай, говорят, Липа, не сомневайся».

— А-аа!.. Четыре банки!

— Богато живут. Чай с белой булкой; и говядины тоже сколько хочешь. Богато живут, только страшно у них, Илья Макарыч. И-и, как страшно!

— Чего ж тебе страшно, деточка? — спросил Костыль и оглянулся, чтобы посмотреть, далеко ли отстала Прасковья.

— Первое, как свадьбу сыграли, Анисима Григорьича боялась. Они ничего, не обижали, а только, как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз, по всем косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, все тряслась и бога молила. А теперь Аксиньи боюсь, Илья Макарыч. Она ничего, все усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глазы у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву у овцы. Хрымины Младшие ее сбивают: «У вашего старика, говорят, есть землица Бутёкино, десятин сорок, землица, говорят, с песочком, и вода есть, так ты, говорят, Аксюша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем». Кирпич теперь двадцать рублей тысяча. Дело спорое. Вчерась за обедом Аксинья и говорит старику: «Я, говорит, хочу в Бутёкине кирпичный завод ставить, буду сама себе купчиха». Говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели; видно, не понравилось. «Пока, говорят, я жив, нельзя врозь, надо всем вместе». А она глазами метнула, зубами заскриготела... Подали оладьи — не ест!

— А-а-а!..— удивился Костыль.— Не ест!

— И скажи, сделай милость, когда она спит! — продолжала Липа.— С полчасика поспит, а там вскочит, ходит, все ходит, заглядывает: не сожгли б чего мужики, не украли б чего... Страшно с ней, Илья Макарыч! А Хрымины Младшие после свадьбы

и спать не ложились, а поехали в город судиться; и народ болтает, будто через Аксинью все. Два брата пообещались ей завод построить, а третий обижается; а фабрика с месяц стояла, и мой дяденька Прохор без работы по дворам корочки сбирал. Ты бы, говорю, дяденька, пока что пахать пошел или дрова пилить, что́ срамиться! «Отбился, говорит, я от хрестианской работы, ничего, говорит, не умею, Липынька!..»

Около молодой осиновой рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью. Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду пешком, с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая руками. И идти с ним рядом было трудно.

У входа в рощу стоял межевой столб. Елизаров потрогал его: прочен ли. Подошла Прасковья, задыхаясь. Ее сморщенное, всегда испуганное лицо сияло счастьем: она была сегодня в церкви, как люди, потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас! С ней это бывало редко, и даже ей казалось теперь, будто она жила в свое удовольствие сегодня первый раз в жизни. Отдохнувши, все трое пошли рядом. Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах. Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевские девушки давно ушли вперед, но задержались тут в роще: вероятно, подбирали грибы.

— Эй, девки-и! — кричал Елизаров.— Эй, красотки!

В ответ слышался смех:

— Костыль идет! Костыль! Старый хрен!

И эхо тоже смеялось. Вот и роща осталась позади. Видны уже были верхушки фабричных труб, сверкнул крест на колокольне: это было село, «то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Вот почти уже и дома, оставалось только спуститься в этот большой овраг. Липа и Прасковья, которые шли босиком, сели на траву, чтобы обуться; с ними сел и подрядчик. Если взглянуть сверху, то Уклеево со своими вербами, белой церковью и речкой казалось красивым, тихим, и мешали только крыши фабричные, выкрашенные из экономии в мрачный дикий цвет. Видна была на той стороне по скату рожь — и копны, и снопы там-сям, точно раскиданные бурей, и только что скошенная, в рядах; и овес уже поспел и теперь на солнце отсвечивал, как перламутр. Была страда. Сегодня праздник, завтра, в субботу, убирать рожь, возить сено, а потом воскресенье, опять праздник; каждый день погромыхивал дальний гром; парило, похоже было на дождь, и, глядя теперь на поле, каждый думал о том, дал бы бог вовремя убраться с хлебом, и было весело и радостно и непокойно на душе.

— Косари нынче до́роги,— сказала Прасковья.— Рубль сорок в день!

А с ярмарки из Казанского народ все шел и шел; бабы, фабричные в новых картузах, нищие, ребята... То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь и точно была рада, что ее не продали, то вели за рога корову, которая упрямилась, то опять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах; мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу; уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно.

— А наши фабриканты что-то не в себе...— сказал Елизаров.— Беда! Костюков осерчал на меня. «Много, говорит, тесу пошло на карнизы». Как много? Сколько надо было, Василий Данилыч, столько, говорю, и пошло. Я его не с кашей ем, тес-то. «Как, говорит, ты можешь мне такие слова? Болван, такой-сякой! Не забывайся! Я, кричит, тебя подрядчиком сделал!» Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не был в подрядчиках, все равно каждый день чай пил. «Все, говорит, вы жулики...» Я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаю, а вы на том свете будете жулики. Хо-хо-хо! На другой день отмяк. «Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч, за мои слова. Ежели, говорит, я что лишнее, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии, старше тебя,— ты смолчать должен». Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилыч. А потом этого, после, значит, разговору, я и думаю: кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки!

Костыль подумал и добавил:

— Оно так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше.

Солнце уже зашло, и над рекой, в церковной ограде и на полянах около фабрик поднимался густой туман, белый, как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни, и когда казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть, Липе и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных, кротких душ,— быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то; им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо.

Наконец вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось

в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай; и горела на столе лампа.

— Дедушка-а! — говорил за воротами косарь, как бы дразня.— Заплати хоть половину. Дедушка-а!

И тотчас же слышался смех, а потом опять пели чуть слышно... Костыль сел тоже чай пить.

— Были мы, значит, на ярмарке,— начал он рассказывать.— Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе господи. И случай такой вышел, нехороший: кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник, значит, купцу. А полтинник фальшивый,— продолжал Костыль и оглянулся; ему хотелось говорить шепотом, но говорил он придушенным, сиплым голосом, и всем было слышно.— А полтинник, выходит, фальшивый. Спрашивают: где взял? А это, говорит, мне Анисим Цыбукин дал. Когда, говорит, я у него на свадьбе гулял... Кликнули урядника, повели... Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору...

— Дедушка-а! — дразнил все тот же голос за воротами.— Дедушка-а!

Наступило молчание.

— Ах, деточки, деточки, деточки...— быстро забормотал Костыль и встал; его одолевала дремота.— Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки. Пора и спать. Стал уж я трухлявый, балки во мне все подгнили. Хо-хо-хо!

И, уходя, он сказал:

— Умирать, должно, пора!

И всхлипнул. Старик Цыбукин не допил своего чаю, но еще посидел, подумал; и выражение у него было такое, будто он прислушивался к шагам Костыля, бывшего уже далеко на улице.

— А Сашка-кузнец, чай, наврал,— сказала Аксинья, угадав его мысли.

Он пошел в дом и немного погодя вернулся со свертком; развернул — и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб, бросил на поднос; потом бросил другой...

— Рубли-то взаправду фальшивые...— проговорил он, глядя на Аксинью и точно недоумевая.— Это те... Анисим тогда привез, его подарок. Ты, дочка, возьми,— зашептал он и сунул ей в руки сверток,—возьми, брось в колодец... Ну их! И гляди, чтобы разговору не было. Чего бы не вышло... Убирай самовар, туши огонь...

Липа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни; только наверху у Варвары светились синие

и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого, и когда приходила, то робко жалась в сенях, улыбалась просительно, и ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и после того, как уехал муж, спала не на своей кровати, а где придется — в кухне или сарае, и каждый день мыла полы или стирала, и ей казалось, что она на поденке. И теперь, вернувшись с богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами. Около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирал лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко, у Хрыминых Младших играли на дорогой гармонике... Прасковья и Липа стали засыпать.

И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны; у входа в сарай стояла Аксинья, держа в руках постель.

— Тут, пожалуй, прохладней...— проговорила она, потом вошла и легла почти у самого порога, и луна освещала ее всю.

Она не спала и тяжко вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти все — и при волшебном свете луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло немного времени, и послышались опять шаги: в дверях показался старик, весь белый.

— Аксинья! — позвал он.— Ты здесь, что ли?

— Ну! — отозвалась она сердито.

— Я тебе давеча сказал, чтобы бросила деньги в колодец. Ты бросила?

— Вот еще, добро в воду бросать! Я косарям отдала...

— Ах, боже мой! — проговорил старик в изумлении и в испуге.— Озорная ты баба... Ах, боже мой!

Он всплеснул руками и ушел и, пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой, потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла.

— И зачем ты отдала меня сюда, маменька! — проговорила Липа.

— Замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено.

И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью.

И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули.

VI

Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме; и когда звонили на погосте, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда.

Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша поржавела, дверь в лавке, обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла или, как говорил глухой, «зашкорубла»; и сам старик Цыбукин потемнел как будто. Он давно уже не подстригал волос и бороды, оброс, уже садился в тарантас без подскока и не кричал нищим: «Бог дасьть!» Сила у него пошла на убыль, и это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал по-прежнему, что следует; и три раза вызывали в город, чтобы судить за тайную торговлю вином, и дело все откладывалось за неявкой свидетелей, и старик замучился.

Он часто ездил к сыну, нанимал кого-то, подавал кому-то прошения, пожертвовал куда-то хоругвь. Смотрителю тюрьмы, в которой сидел Анисим, он поднес серебряный подстаканник с надписью по эмали «душа меру знает» и с длинной ложечкой.

— Похлопотать-те, похлопотать-те путем некому,— говорила Варвара.— Ох-тех-те... Попросить бы кого из господ, написали бы главным начальникам... До суда бы хоть выпустили бы! Что парня томить-то!

Она тоже была огорчена, но пополнела, побелела, по-прежнему зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме все было чисто, и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. Глухой и Аксинья торговали в лавке. Затеяли новое дело — кирпичный завод в Бутёкине, и Аксинья ездила туда почти каждый день, в тарантасе; она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. А Липа все играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький, и было странно, что он кричит, смотрит и что его считают человеком и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила, кланяясь:

— Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

И бежала к нему опрометью и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять:

— Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

А он задирал свои красные ножки, и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова.

Наконец был назначен суд. Старик выехал дней за пять. Потом, слышно было, из села погнали мужиков, вызванных свидетелями; выехал и старый работник, получивший тоже повестку.

Суд был в четверг. Но прошло уже воскресенье, а старик все не возвращался, и не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась: не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребенком. Она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении:

— Ты вырастешь большо-ой, большой! Будешь ты мужик, вместе на поденку пойдем! На поденку пойдем!

— Ну-у! — обиделась Варвара.— Какую там еще поденку выдумала, глупенькая? Он у нас купец будет!..

Липа запела тихо, но немного погодя забылась и опять:

— Вырастешь большо-ой, большой, мужик будешь, вместе на поденку пойдем!

— Ну-у! Заладила!

Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила:

— Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? — продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез.— Кто он? Какой он из себя? Легкий как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает.

Варвара прислушалась: донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся, и это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатила телега, быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то...

— Решение прав и всего состояния,— громко сказал он,— и в Сибирь, в каторжную работу на шесть лет.

Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья; она только что отпускала керосин и в одной руке держала бутылку, в другой — лейку, и во рту у нее были серебряные деньги.

— А папаша где? — спросила она, шепелявя.

— На станции,— ответил работник.— «Ужо, говорит, будет потемней, тогда приеду».

И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнике, думая, что этого требует приличие:

— И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьич, соколик ясный...

Залаяли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке, изо всей силы напрягая голос:

— Бу-удет тебе, Степанида, бу-удет! Не томи, Христа ради!

Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком.

Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам молча; не ужинал.

— Похлопотать-те некому...— начала Варвара, когда они остались вдвоем.— Говорила я, чтоб господ попросить,— не послушали тогда... Прошение бы...

— Хлопотал я! — сказал старик и махнул рукой.— Как Анисима осудили, я к тому барину, что его защищал. «Ничего, говорит, теперь нельзя, поздно». И сам Анисим так говорит: поздно. А все ж я, как вышел из суда, одного адвоката договорил; задаток ему дал... Погожу еще недельку, а там опять поеду. Что бог даст.

Старик опять молча прошелся по всем комнатам, и когда вернулся к Варваре, то сказал:

— Должно, нездоров я. В голове того... туманится. Мысли мутятся.

Он затворил дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжал тихо:

— С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими... И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатыч, все, бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот, бывало, дяденька как выпьет, то смеется: «Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие». Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые.

— Ну, вот, бог с тобой!

— Покупаю на вокзале билет, даю три рубля, и думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне. Должно, нездоров.

— Что говорить, все под богом ходим... Ох-тех-те...— проговорила Варвара и покачала головой.— Надо б об этом подумать бы, Петрович... Не ровен час, что случится, человек ты не молодой. Помрешь, и гляди, без тебя б внучка не обидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят! Отца, считай так, уже нет, мать молодая, глупая... Записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю, Бутёкино-то это, Петрович, право! Подумай! — продолжала убеждать Варвара.— Мальчик-то хорошенький, жалко! Вот завтра поезжай и напиши бумагу. Чего ждать?

— А я забыл про внучка-то...— сказал Цыбукин.— Надо поздороваться. Так ты говоришь: мальчик ничего? Ну, что ж, пускай растет. Дай бог!

Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках.

— Ты, Липынька, если что нужно, спрашивай,— сказал он.— И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова...— Он перекрестил ребенка.— И внучка береги. Сына нет, так внучек остался.

Слезы потекли у него по щекам; он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко, после семи бессонных ночей.

VII

Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксинье, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика.

— Не стану я больше работать на вас! — крикнула она громко и вдруг зарыдала.— Выходит, я у вас не невестка, а работница! Весь народ смеется: «Гляди, говорят, Цыбукины какую себе работницу нашли!» Я у вас не нанималась! Я не нищая, не хамка какая, есть у меня отец и мать.

Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева; лицо и шея у нее были красны и напряжены, так как кричала она изо всей силы.

— Не желаю я больше служить! — продолжала она.— Замучилась! Как работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой,— так это мне, а как землю дарить,— так это каторжанке с ее чертенком! Она тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! Все отдайте ей, арестантке, пусть подавится, я уйду домой! Найдите себе другую дуру, ироды окаянные!

Старик ни разу в жизни не бранил и не наказывал детей и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно; и теперь он очень испугался, побежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками, точно оборонялась от пчелы.

— Ой, что ж это, батюшки? — бормотала она в ужасе.— Что ж это она кричит? Ох-тех-те... Народ-то услышит! Потише бы... Ой, потише бы!

— Отдали каторжанке Бутёкино,— продолжала Аксинья кричать,— отдайте ей теперь все,— мне от вас ничего не надо! Провались вы! Все вы тут одна шайка! Нагляделась я, будет с меня! Грабили и прохожих и проезжих, разбойники, грабили старого и малого! А кто водку продавал без патента? А фальшивые деньги? Понабили себе сундуки фальшивыми деньгами — и теперь уж я не нужна стала!

Около настежь открытых ворот уже собралась толпа и смотрела во двор.

— Пускай народ глядит! — кричала Аксинья.— Я вас осрамлю! Вы у меня сгорите со срама! Вы у меня в ногах наваляетесь! Эй, Степан! — позвала она глухого.— Поедем в одну минуту домой! К моему отцу, к матери поедем, с арестантами я не хочу жить! Собирайся!

Во дворе на протянутых веревках висело белье; она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала.

— Ой, батюшки, уймите ее! — стонала Варвара.— Что же она такое? Отдайте ей Бутёкино, отдайте, ради Христа небесного!

— Ну, ба-а-ба! — говорили у ворот.— Вот так ба-а-ба! Расходилась — страсть!

Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Аксинья вошла, Липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе...

— Отдай сюда! — проговорила Аксинья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку.— Не твое это дело мое белье трогать! Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть!

Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла и вся помертвела...

— Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.

После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней наивной улыбкой... Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там.

VIII

Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой.

Больница, новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе; она вся светилась от заходившего солнца и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила.

— Чего же тебе еще? — говорила женщина тихо, в недоумении.— Чего же тебе?

Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе.

— Не пьет...— сказала Липа, глядя на лошадь.

Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!

На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст двенадцать, но сил не хватало, не было соображения, как идти; месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшим голосом, со смехом, точно дразнила: ой, гляди, собьешься с дороги! Липа шла быстро, потеряла с головы платок... Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: идет ли следом за ней или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик!

— Бу-у! — кричала выпь.— Бу-у!

И вдруг ясно послышалась человеческая речь:

— Запрягай, Вавила!

Впереди, у самой дороги, горел костер; пламени уже не было, светились одни красные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы,— одна с бочкой, другая, пониже, с мешками, и два человека: один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, заложив назад руки. Заворчала около подводы собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал:

— Словно кто идет по дороге.

— Шарик, молчи! — крикнул другой на собаку.

И по голосу можно было понять, что этот другой был старик. Липа остановилась и сказала:

— Бог в помощь!

Старик подошел к ней и ответил не сразу:

— Здравствуй!

— Ваша собачка не порвет, дедушка?

— Ничего, иди. Не тронет.

— Я в больнице была,— сказала Липа, помолчав.— Сыночек у меня там помер. Вот домой несу.

Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо:

— Это ничего, милая. Божья воля. Копаешься, парень! — сказал он, обернувшись к спутнику.— Ты бы поживей!

— Твоей дуги нету,— сказал парень.— Не видать.

— Прямой ты, Вавила!

Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты мать,— сказал он.— Всякой матери свое дитё жалко.

И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал,— и тотчас же стало очень темно; видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами, да шумели птицы, мешая друг другу спать. И коростель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер.

Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик, и длинный Вавила. Телеги скрипели, выезжая на дорогу.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет. Мы из Фирсанова.

— Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые.

— Тебе далече ли?

— В Уклеево.

— Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево.

Вавила сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавила впереди.

— Мой сыночек весь день мучился,— сказала Липа.— Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи батюшка, царица небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

— А кто ж его знает! — ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

— Всего знать нельзя, зачем да как,— сказал старик.— Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает.

— Мне, дедушка, идти пешком легче. А теперь сердце трясется.

— Ничего. Сиди.

Старик зевнул и перекрестил рот.

— Ничего...— повторил он.— Твое горе с полгоря. Жизнь долгая,— будет еще и хорошего и дурного, всего будет. Велика матушка-Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны.— Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая.

Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке-России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме,— если помер, то царство ему небесное,— глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные...» А домой приехал, как говорится, ни кола ни двора; баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было больше. А велика матушка-Россия! — сказал он, и опять посмотрел в стороны, и оглянулся.

— Дедушка,— спросила Липа,— когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?

— А кто ж его знает! Вот спросим Вавилу,— он в школу ходил. Теперь всему учат. Вавила! — позвал старик.

— А!

— Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?

Вавила остановил лошадь и тогда уж ответил:

— Девять дён. Мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом тринадцать дён.

— Почему ты знаешь?

— Тринадцать дён в печке стучало.

— Ну, ладно. Трогай,— сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил.

Около Кузьменок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась в овраг, то уклеевские избы и церковь прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит все та же кукушка.

Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли: все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик; он сразу, с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова и только чмокал губами.

— Эх, Липа,— проговорил он,— не уберегла ты внучка...

Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стали убирать ребенка.

— И мальчик-то был хорошенечкий...— приговаривла она.— Ох-тех-те... Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая...

Служили панихиду утром и вечером. На другой день хоронили, и после похорон гости и духовенство ели много и с такою жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом,

и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей:

— Не горюйте о младенце. Таковых есть царствие небесное.

И только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут ни при чем, лишняя; и другие это тоже чувствовали.

— Ну, что голосишь там? — крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях; по случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась.— Замолчи!

Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.

— Слышишь? — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой.— Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон!

— Ну, ну, ну!..— засуетился старик.— Аксюта, угомонись, матушка... Плачет, понятное дело... дите померло...

— Понятное дело...— передразнила его Аксинья.— Пускай переночует, а завтра чтобы и духу ее тут не было! Понятное дело!..— передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку.

На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери.

IX

В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые, на окнах по-прежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило три года назад в доме и во дворе Цыбукина, уже почти забыто.

Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович, на самом же деле все перешло в руки Аксиньи; она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо; оттого, что требуют кирпич на железную дорогу, цена его дошла до двадцати четырех рублей за тысячу; бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны и получают за это по четвертаку в день.

Аксинья вошла в долю с Хрыминым, и их фабрика теперь называется так: «Хрымины Младшие и К°». Открыли около станции трактир, и уже играют на дорогой гармонике не на фабрике, а в этом трактире, и сюда часто ходит начальник почтового отделения, который тоже завел какую-то торговлю, и начальник станции тоже. Глухому Степану Хрымины Младшие подарили золотые часы, и он то и дело вынимает их из кармана и подносит к уху.

В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу; и правда, когда она утром едет к себе на завод, с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит ей:

— Покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна.

Один помещик, щеголь, в поддевке из тонкого сукна и в высоких лакированных сапогах, уже пожилой, как-то, продавая ей лошадь, так увлекся разговором с ней, что уступил ей, сколько она пожелала. Он долго держал ее за руку и, глядя ей в ее веселые, лукавые, наивные глаза, говорил:

— Для такой женщины, как вы, Ксения Абрамовна, я готов сделать всякое удовольствие. Только скажите, когда мы можем увидеться, чтобы нам никто не помешал?

— Да когда вам угодно!

И после этого пожилой щеголь заезжает в лавочку почти каждый день, чтобы выпить пива. А пиво ужасное, горькое, как полынь. Помещик мотает головой, но пьет.

Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых, но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит; уже привыкли обедать без него, и Варвара часто говорит:

— А наш вчерась опять лег не евши.

И говорит равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно, надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию, или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко.

В селе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть и будто он кормится подаянием: одни рады, другие жалеют.

Варвара еще больше пополнела и побелела и по-прежнему творит добрые дела, и Аксинья не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевают съедать до новых ягод; оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать.

Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения,

все тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я все болею тут, мне тяжко, помогите, ради Христа».

Однажды — это было в ясный осенний день, перед вечером — старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали.

— Дети должны кормить стариков, поить... чти отца твоего и мать,— говорил Яков с раздражением,— а она, невестка-то, выгнала свекра из цобственного дома. Старику ни поесть, ни попить — куда пойдет? Третий день не евши.

— Третий день! — удивился Костыль.

— Вот так сидит, все молчит. Ослаб. А чего молчать? Подать в суд,— ее б в суде не похвалили.

— Кого в суде хвалили? — спросил Костыль, не расслышав.

— Чего?

— Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя... без греха то есть...

— Из цобственного дома,— продолжал Яков с раздражением.— Наживи свой дом, тогда и гони. Эка, нашлась какая, подумаешь! Я-аз-ва!

Цыбукин слушал и не шевелился.

— Собственный дом или чужой, все равно, лишь бы тепло было да бабы не ругались...— сказал Костыль и засмеялся.— Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая. И, бывало, все: «Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а все говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеши не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего.

— Муж-то глухой, глупый,— продолжал Яков, не слушая Костыля,— так, дурак дураком, все равно что гусь. Нешто он может понимать? Ударь гуся по голове палкой — и то не поймет.

Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду.

Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под

глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала.

— Здравствуй, Макарыч! — сказала Липа, увидев Костыля.— Здравствуй, голубчик!

— Здравствуй, Липынька! — обрадовался Костыль.— Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хо-хо! Деточки мои, деточки (Костыль всхлипнул). Топорики мои любезные.

Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и, когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.

Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.

1900

АРХИЕРЕЙ

I

Под вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было все как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица — и старые, и молодые, и мужские, и женские — походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка.

Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная! Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И не-

приятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и — плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, монашеский хор пел, уже не плакали, все было по-прежнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени, и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось теперь, жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом; и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко, все — и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда.

Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Еракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие темные улицы, одна за другою, безлюдные, земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших, золотых, блестящих глав,— это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. И тут также высоко над монастырем тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам...

— А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали,— доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

— Маменька? Когда она приехала?

— Перед всенощной. Справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь.

— Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

— Они велели, ваше преосвященство, доложить,— продолжал келейник,— что придут завтра. С ними девочка, должно, внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

— Который теперь час?

— Двенадцатый в начале.

— Эх, досадно!

Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть.

Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с семнадцати до шестидесяти лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет и — как любил! Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери.

Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... Скрип колес, блеянье овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном,— о, как сладко думать об этом! Припомнился священник лесопольский, отец Симеон, кроткий, смирный, добродушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом; как-то попович обозлился на кухарку и выбранил ее: «Ах ты ослица Иегудиилова!», и отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в Священном писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаич, из семинаристов, добрый, неглупый человек, но

тоже пьяница; он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розог, а под ним надпись на латинском языке, совершенно бессмысленная,— Betula kinderbalsamica secuta [1]. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так: Синтаксис.

И преосвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!» По крайней мере, до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: «Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: помесячно или поденно?»

Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.

«Моя мать приехала...» — вспомнил он и засмеялся.

Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут «бывший отец эконом»; ему семьдесят лет, живет он в монастыре, в шестнадцати верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках...

В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.

— Отец Сисой! — позвал преосвященный.

---

[1] Набор разноязычных слов; приблизительный перевод: лечебная детская секущая береза.— *Ред.*

Сисой ушел к себе и немного погодя явился уже в сапогах, со свечкой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.

— Не спится мне,— сказал преосвященный, садясь.— Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар!

— Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать.

Сисой постоял немного и зевнул: «О господи, прости меня, грешного!»

— У Еракина нынче электричество зажигали,— сказал он.— Не ндравится мне!

Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.

— Не ндравится! — повторил он, уходя.— Не ндравится, бог с ним совсем!

II

На другой день, в вербное воскресение, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и, наконец, поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

— Уже девять лет, как мы не видались,— говорила старуха,— а вчера в монастыре как поглядела на вас — господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели и бородка длинней стала. Царица небесная, матушка! И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И, несмотря на ласковость, с какою она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя, не мигая, глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то,

много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю...

— У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей,— рассказывала она,— вот эта Катя самая старшая, и бог его знает от какой причины зять отец Иван захворал, это, и помер дня за три до успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

— А как Никанор? — спросил преосвященный про своего старшего брата.

— Ничего, слава богу. Хоть и ничего, а, благодарить бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.

— Николаша мертвецов режет,— сказала Катя и пролила воду себе на колени.

— Сиди, деточка, смирно,— заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан.— Кушай с молитвой.

— Сколько времени мы не видались! — сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке.— Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

— Благодарим вас.

— Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и кажется, все бы отдал, только бы домой, вас повидать...

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила:

— Благодарим вас.

Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, все время хотелось пить...

После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей.

Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть в гостиной, отец Сисой говорил о политике:

— У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, все

равно что черногорцы, одного племени. Под игом турецким вместе были.

А потом послышался голос Марии Тимофеевны:

— Значит, богу помолившись, это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное, это...

И то и дело «чаю напившись», или «напимшись», и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было тридцать два года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить все и уехать за границу.

— А потом что? — спросил Сисой в соседней комнате.

— А потом чай пили...— ответила Марья Тимофеевна.

— Батюшка, у вас борода зеленая! — проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась.

Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.

— Господи боже мой, наказание с этой девочкой! — проговорил громко Сисой, рассердившись.— Балованная какая! Сиди смирно!

Вспомнилась преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря. Квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит викарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось...

В спальню вошел отец Сисой со свечой.

— Эва,— удивился он,— вы уже спите, преосвященнейший?

— Что такое?

— Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.

— У меня жар...— проговорил преосвященный и сел.— В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо...

Сисой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом.

— Вот так... вот так...— говорил он.— Господи Иисусе Христе... Вот так. Сегодня ходил я в город, был у того — как его? — протоиерея Сидонского... Чай пил у него... Не ндравится он мне! Господи Иисусе Христе.... Вот так... Не ндравится!

III

Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проведывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и все это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то, в молодые годы, писал «Учения о свободе воли», теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о боге. За границей преосвященный, должно быть, отвык от русской жизни, она была нелегка для него; народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги. И положительно нет ни одной свободной минуты, целый день душа дрожит, и успокаивался преосвященный Петр, только когда бывал в церкви.

Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики протоиереи, все «бухали» ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко,— с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренне, попросту, по-человечески; даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та! И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней?

Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек.

Во вторник после обедни преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему нездоровилось, тянуло в постель; но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит.

— Дай бог, чтоб! — говорил он, уходя.— Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!

После него приезжала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

«Как они сегодня хорошо поют! — думал он, прислушиваясь к пению. — Как хорошо!»

IV

В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное,

призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек... Мария Тимофеевна весело, с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисою, а этот угрюмо, недовольным голосом отвечал: «Ну их! Где уж! Куда там!» И преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни, в его присутствии все искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец? Тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова...

Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось; должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито:

— Чистое наказание с этой девочкой, господи, прости меня, грешного! Не напасешься!

Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы, по обыкновению, поднимались из-за гребенки, как сияние.

— Ты, Катя? — спросил он.— Кто это там внизу все отворяет и затворяет дверь?

— Я не слышу,— ответила Катя и прислушалась.

— Вот сейчас кто-то прошел.

— Да это у вас в животе, дядечка!

Он рассмеялся и погладил ее по голове.

— Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? — спросил он, помолчав.

— Да. Учится.

— А он добрый?

— Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.

— А отец твой от какой болезни умер?

— Папаша были слабые и худые-худые, и вдруг — горло. И я тогда захворала, и брат Федя,— у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели.

У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.

— Ваше преосвященство,— проговорила она тонким голоском, уже горько плача,— дядечка, мы с мамашей остались несчастными... Дайте нам немножечко денег... будьте такие добрые... голубчик!..

Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал:

— Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит светлое Христово воскресение, тогда потолкуем... Я помогу... помогу...

Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила:

— Не покушаете ли супчику?

— Нет, благодарю...— ответил он.— Не хочется.

— А вы, похоже, нездоровы... как я погляжу. Еще бы, как не захворать! Целый день на ногах, целый день — и боже мой, даже глядеть на вас и то тяжко. Ну, святая не за горами, отдохнете, бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка,— пусть владыка поспит.

И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно так же, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным.... Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сисой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь: вошел в спальню келейник.

— Ваше преосвященство! — окликнул он.

— Что?

— Лошади поданы, пора к страстям господним.

— Который час?

— Четверть восьмого.

Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое евангелие «Ныне прославися сын человеческий» он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве

«Невеста»

и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор — одному богу известно.

Отец его был дьякон, дед — священник, прадед — дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно, сильно разболелась голова, и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле, ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает.

Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже богу не молился. Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставен, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги в соседней компате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках.

— Вы уже легли, преосвященнейший? — спросил он.— А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе... Вот так... Вот так... А я сейчас в нашем монастыре был... Не ндравится мне! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе... Вот так...

Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в бога... Ему самому было непопятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.

— Уйду завтра. Бог с ним со всем!

— Мне бы потолковать с вами... все никак не соберусь,— проговорил преосвященный тихо, через силу.— Я ведь тут никого и ничего не знаю.

— До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!

— Какой я архиерей? — продолжал тихо преосвященный.— Мне бы быть деревенским священником, дьячком... или простым монахом... Меня давит все это... давит...

— Что? Господи Иисусе Христе... Вот так... Ну, спите себе, преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! Спокойной ночи!

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и все покачивал головой и хмурился, потом сказал:

— Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф!

От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

«Как хорошо! — думал он.— Как хорошо!»

Пришла старуха мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

— Павлуша, голубчик,— заговорила она,— родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!

— Сыночек, Павлуша, отвечай же мне! — говорила старуха.— Что с тобой? Родной мой!

— Не беспокойте владыку,— проговорил Сисой сердито, проходя через комнату.— Пущай поспит... Нечего там... чего уж!..

Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить.

А на другой день была пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках,— одним словом, было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын-архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...

И ей в самом деле не все верили.

1902

НЕВЕСТА

I

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.

В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

Ей, Наде, было уже двадцать три года; с шестнадцати лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь наконец она была неве-

стой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце; это Александр Тимофеич, или попросту Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаяньем ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.

На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженая, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными, худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой.

Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.

— Хорошо у вас здесь,— сказал он.

— Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить.

— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.

Он засмеялся без причины и сел рядом.

— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму,— сказала Надя.— Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости,— добавила она, помолчав,— но все же она необыкновенная женщина.

— Да, хорошая...— согласился Саша.— Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лох-

мотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама небось по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать.

Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.

— Мне все здесь как-то дико с непривычки,— продолжал он.— Черт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы — тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.

Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

— Все это старо и давно надоело,— сказала она и встала.— Вы бы придумали что-нибудь поновее.

Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.

— И говорите вы много лишнего,— сказала она.— Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.

— Моего Андрея... Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.

Когда вошли в залу, там уже садились ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в pince-nez и с брильянтами на каждом пальце; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника,— все трое говорили о гипнотизме.

— Ты у меня в неделю поправишься,— сказала бабуля, обращаясь к Саше,— только вот кушай побольше. И на что ты похож! — вздохнула она.— Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть, блудный сын.

— Отеческого дара расточив богатство,— проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами,— с бессмысленными скоты пасохся окаянный...

— Люблю я своего батьку,— сказал Андрей Андреич и потрогал отца за плечо.— Славный старик. Добрый старик.

Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку.

— Стало быть, вы верите в гипнотизм? — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.

— Я не могу, конечно, утверждать, что я верю,— ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение,— но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного.

— Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного.

Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели брильянты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась.

— Хотя я и не смею спорить с вами,— сказала она,— но, согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!

— Ни одной, смею вас уверить.

После ужина Андрей Андреич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояле. Он десять лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительною целью; и в городе называли его артистом.

Андрей Андреич играл; все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке; все засмеялись, засуетились и стали прощаться.

Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала бабушка). Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец все затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате, внизу, покашливал басом Саша.

II

Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были все

те же, что в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязчивые, мысли о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.

«Тик-ток, тик-ток...— лениво стучал сторож.— Тик-ток...»

В большое старое окно виден сад, дальше кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На далеких деревьях кричат сонные грачи.

— Боже мой, отчего мне так тяжело!

Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши! Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же, как по-писаному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?

Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным.

Уже проснулась бабуля. Закашлял грубым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар, как двигали стульями.

Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а все еще тянется утро.

Вот Нина Ивановна, заплаканная, со стаканом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и все это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом.

— О чем ты плакала, мама? — спросила она.

— Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слез,— сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана.— Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула.

— А мне все эти дни так невесело,— сказала Надя, помолчав.— Отчего я не сплю по ночам?

— Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот этак, и рисую себе Анну Каренину, как

она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое, из древнего мира.

Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.

А в два часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей.

Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скоромный суп и постный борщ. Он шутил все время, пока обедали, но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и выходило совсем не смешно, когда он, перед тем как сострить, поднимал вверх свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые пальцы, и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете, тогда становилось жаль его до слез.

После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. Нина Ивановна недолго поиграла на рояле и потом тоже ушла.

— Ах, милая Надя,— начал Саша свой обычный послеобеденный разговор,— если бы вы послушались меня! если бы!

Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате, из угла в угол.

— Если бы вы поехали учиться! — говорил он.— Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне,— все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!

— Нельзя, Саша. Я выхожу замуж.

— Э, полно! Кому это нужно?

Вышли в сад, прошлись немного.

— И как бы там ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, как нечиста, как безнравственна эта ваша праздная жизнь,— продолжал Саша.— Поймите же, ведь если, например, вы, и ваша мать, и ваша бабулька ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь, а разве это чисто, не грязно?

Надя хотела сказать: «да, это правда»; хотела сказать, что она

понимает; но слезы показались у нее на глазах, она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе.

Перед вечером приходил Андрей Андреич и, по обыкновению, долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку, быть может, потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки.

— Дорогая, милая моя, прекрасная!..— бормотал он.— О, как я счастлив! Я безумствую от восторга!

И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то... в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном.

В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампадке, и все, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забрезжил свет, она уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело. Она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе... Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины.

И Саша не спал внизу,— слышно было, как он кашлял. Это странный, наивный человек, думала Надя, и в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое; но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости столько прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как все сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга.

— Но лучше не думать, лучше не думать...— шептала она.— Не надо думать об этом.

«Тик-ток...— стучал сторож где-то далеко.— Тик-ток... тик-ток...»

III

Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву.

— Не могу я жить в этом городе,— говорил он мрачно.— Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая...

— Да погоди, блудный сын! — убеждала бабушка почему-то шепотом,— седьмого числа свадьба!

— Не желаю.

— Хотел ведь у нас до сентября прожить!

— А теперь вот не желаю. Мне работать нужно!

Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, все в саду глядело неприветливо, уныло, хотелось в самом деле работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей! Суета раздражала Сашу; он сидел у себя в комнате и сердился; но все же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше.

Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреич пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.

— Чудесная картина,— проговорил Андрей Андреич и из уважения вздохнул.— Это художника Шишмачевского.

Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камилавке и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андреич водил Надю по комнатам и все время держал ее за талию; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мутило от нагой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или, быть может, не любила его никогда; но как это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи... Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреич привел ее в ванную и

здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и вдруг потекла вода.

— Каково? — сказал он и рассмеялся.— Я велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду.

Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь.

— Тебе не холодно? — спросил Андрей Андреич, щурясь от пыли.

Она промолчала.

— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю,— сказал он, помолчав немного.— Что же, он прав! бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О матушка-Русь! О матушка-Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!

И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени.

— Когда женимся,— продолжал он,— то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея.

— А вот и отец идет! — обрадовался Андрей Андреич и замахал шляпой.— Люблю я своего батьку, право,— сказал он, расплачиваясь с извозчиком.— Славный старик. Добрый старик.

Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какою она всегда казалась при гостях, сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой.

— Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье,— сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно.

IV

Ветер стучал в окна, в крышу; слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде все чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке, со свечой.

— Что это застучало, Надя? — спросила она.

Мать, с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Наде вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила; а теперь никак не могла вспомнить этих слов; все, что приходило на память, было так слабо, ненужно.

В печке раздалось пение нескольких басов и даже послышалось: «А-ах, бо-о-же мой!» Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала.

— Мама, мама,— проговорила она,— родная моя, если б ты знала, что со мной делается! Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!

— Куда? — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать.— Куда уехать?

Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова.

— Позволь мне уехать из города! — сказала она наконец.— Свадьбы не должно быть и не будет, пойми! Я не люблю этого человека... И говорить о нем не могу.

— Нет, родная моя, нет,— заговорила Нина Ивановна быстро, страшно испугавшись.— Ты успокойся,— это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем, но милые бранятся — только тешатся.

— Ну, уйди, мама, уйди! — зарыдала Надя.

— Да,— сказала Нина Ивановна, помолчав.— Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.

— Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна,— сказала Надя,— ты очень несчастна,— зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем?

Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке, стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла

к матери. Нина Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.

— Мама, выслушай меня! — проговорила Надя.— Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреич? Ведь он же не умен, мама! Господи боже мой! Пойми, мама, он глуп!

Нина Ивановна порывисто села.

— Ты и твоя бабка мучаете меня! — сказала она, всхлипнув.— Я жить хочу! Жить! — повторила она и раза два ударила кулачком по груди.— Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..

Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал.

Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай; все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.

— Что? — спросил Саша.

— Не могу...— проговорила она.— Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь...

— Ну, ну...— проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело.— Это ничего... Это хорошо.

— Эта жизнь опостылела мне,— продолжала Надя,— я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, бога ради!

Саша минуту смотрел на нее с удивлением; наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.

— Великолепно! — говорил он, потирая руки.— Боже, как это хорошо!

А она глядела на него, не мигая, большими, влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности; он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полная ожиданий, готовая на все, хотя бы на смерть.

— Завтра я уезжаю,— сказал он, подумав,— и вы поедете на вокзал провожать меня... Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму; а во время третьего звонка вы войдете в вагон,— мы и поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?

— Есть.

— Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь,— сказал Саша с увлечением.— Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно. Итак, значит, завтра поедем?

— О да! Бога ради!

Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать; но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой, до самого вечера.

V

Послали за извозчиком. Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на все свое; она постояла в своей комнате около постели, еще теплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты две... Потом не спеша вернулась вниз.

На дворе шел сильный дождь. Извозчик с крытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.

— Не поместишься с ним, Надя,— сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы.— И охота в такую погоду провожать! Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой!

Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша подсадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился рядом.

— В добрый час! Господь благословит! — кричала с крыльца бабушка.— Ты же, Саша, пиши нам из Москвы!

— Ладно. Прощайте, бабуля!

— Сохрани тебя царица небесная!

— Ну, погодка! — проговорил Саша.

Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. Прощай, город! И все ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой; и все это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко и уходило все назад и назад. А когда сели

в вагон и поезд тронулся, то все это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание: она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это все равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.

— Ничего-о!— говорил Саша, ухмыляясь.— Ничего-о!

VI

Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и казалось, все уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был все такой же, как и прошлым летом: бородатый, со всклокоченной головой, все в том же сюртуке и парусинковых брюках, все с теми же большими, прекрасными глазами; но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и все покашливал. И почему-то показался он Наде серым, провинциальным.

— Боже мой, Надя приехала! — сказал он и весело рассмеялся.— Родная моя, голубушка!

Посидели в литографии, где было накурено и сильно, до духоты, пахло тушью и красками; потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано; на столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, и на столе и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, об его личной жизни, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.

— Ничего, все обошлось благополучно,— рассказывала Надя торопливо.— Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только все ходит в мою комнату и крестит стены.

Саша глядел весело, но покашливал и говорил надтреснутым голосом, и Надя вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно или ей это только так кажется.

— Саша, дорогой мой,— сказала она,— а ведь вы больны!

— Нет, ничего. Болен, но не очень...

— Ах, боже мой,— заволновалась Надя,— отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья? Дорогой мой, милый Саша,— проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреич, и голая дама с вазой, и все ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство; и заплакала она оттого, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, каким был в прошлом году.— Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знаю что сделала, чтобы вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана! Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша! В сущности, для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек.

Они посидели, поговорили; и теперь, после того как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу.

— Я послезавтра на Волгу поеду,— сказал Саша,— ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек; все сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.

Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками; а когда поезд тронулся и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и едва ли проживет долго.

Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но все еще по-прежнему была затянута, и брильянты блестели у нее на пальцах.

— Милая моя! — говорила она, дрожа всем телом.— Милая моя!

Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и бесповоротно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости; так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, окажется, растратил, подделал,— и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь!

Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми, наивными занавесками, а в окнах тот же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, посидела, подумала. И обедала хорошо и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели.

Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робко и с оглядкой.

— Ну, как, Надя? — спросила она, помолчав.— Ты довольна? Очень довольна?

— Довольна, мама.

Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.

— А я, как видишь, стала религиозной,— сказала она.— Знаешь, я теперь занимаюсь философией и все думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму.

— Скажи, мама, как здоровье бабушки?

— Как будто бы ничего. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка, как прочла, так и упала; три дня лежала без движения. Потом все богу молилась и плакала. А теперь ничего.

Она встала и прошлась по комнате.

«Тик-ток...— стучал сторож.— Тик-ток, тик-ток...»

— Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму,— сказала она,— то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности.

Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула.

Прошел май, настал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала; Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию; она попрежнему проживала в доме, как приживалка, и должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились все ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреич. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь,

когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет! Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте,— будет же время, когда от этого дома не останется и следа и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора; когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом:

— Невеста! Невеста!

Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым, танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею. И ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким, далеким прошлым! Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушивалась. И в самом деле, послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то... Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма.

Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеич, или попросту Саша.

Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.

«Прощай, милый Саша!» — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее.

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город,— как полагала, навсегда.

1903

ПЬЕСЫ

ЧАЙКА

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса.
Константин Гаврилович Треплев, ее сын, молодой человек.
Петр Николаевич Сорин, ее брат.
Нина Михайловна Заречная, молодая девушка, дочь богатого помещика.
Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сорина.
Полина Андреевна, его жена.
Маша, его дочь.
Борис Алексеевич Тригорин, беллетрист.
Евгений Сергеевич Дорн, врач.
Семен Семенович Медведенко, учитель.
Яков, работник.
Повар.
Горничная.

Действие происходит в усадьбе Сорина.— Между третьим и четвертым действием проходит два года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. Несколько стульев, столик.

Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; слышатся кашель и стук. Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки.

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Медведенко. Отчего? *(В раздумье.)* Не понимаю... Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура.

Садятся.

Маша. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.

Медведенко. Это в теории, а на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего двадцать три рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись.

Маша *(оглядываясь на эстраду)*. Скоро начнется спектакль.

Медведенко. Да. Играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома, каждый день хожу пешком шесть верст сюда да шесть обратно и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это

понятно. Я без средств, семья у меня большая... Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?

М а ш а. Пустяки. *(Нюхает табак.)* Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. *(Протягивает ему табакерку.)* Одолжайтесь.

М е д в е д е н к о. Не хочется.

Пауза.

М а ш а. Душно, должно быть, ночью будет гроза. Вы всё философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность, а по-моему, в тысячу раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого...

Входят справа С о р и н и Т р е п л е в.

С о р и н *(опираясь на трость)*. Мне, брат, в деревне как-то не того, и, понятная вещь, никогда я тут не привыкну. Вчера лег в десять и сегодня утром проснулся в девять с таким чувством, как будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу и все такое. *(Смеется.)* А после обеда нечаянно опять уснул, и теперь я весь разбит, испытываю кошмар, в конце концов...

Т р е п л е в. Правда, тебе нужно жить в городе. *(Увидев Машу и Медведенка.)* Господа, когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.

С о р и н *(Маше)*. Марья Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку, а то она воет. Сестра опять всю ночь не спала.

М а ш а. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста. *(Медведенку.)* Пойдемте!

М е д в е д е н к о *(Треплеву)*. Так вы перед началом пришлите сказать.

Оба уходят.

С о р и н. Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история, никогда в деревне я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на двадцать восемь дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все, но тут тебя так доймут всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. *(Смеется.)* Всегда я уезжал отсюда с удовольствием... Ну, а теперь я в отставке, деваться некуда в конце концов. Хочешь — не хочешь, живи...

Я к о в *(Треплеву)*. Мы, Константин Гаврилыч, купаться пойдем.

Т р е п л е в. Хорошо, только через десять минут будьте на местах. *(Смотрит на часы.)* Скоро начнется.

Я к о в. Слушаю. *(Уходит.)*

Треплев *(окидывая взглядом эстраду)*. Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.

Сорин. Великолепно.

Треплев. Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут ее, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. *(Поправляет дяде галстук.)* Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

Сорин *(расчесывая бороду)*. Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил — и все. Меня никогда не любили женщины. *(Садясь.)* Отчего сестра не в духе?

Треплев. Отчего? Скучает. *(Садясь рядом.)* Ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.

Сорин *(смеется)*. Выдумаешь, право...

Треплев. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. *(Посмотрев на часы.)* Психологический курьез — моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел; но попробуй похвалить при ней Дузе. Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенною игрой в «La dame aux camélias»[1] или в «Чад жизни», но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы — ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей, тринадцатого числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке семьдесят тысяч — это я знаю наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать.

Сорин. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся, мать тебя обожает.

Треплев *(обрывая у цветка лепестки)*. Любит — не любит, любит — не любит, любит — не любит. *(Смеется.)* Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы! Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже двадцать пять лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только тридцать два года, при мне же сорок три, и за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит

---

[1] «Дама с камелиями» *(франц.)*.

театр, ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству, а по-моему, современный театр — это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же,— то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью.

Сорин. Без театра нельзя.

Треплев. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно. *(Смотрит на часы.)* Я люблю мать, сильно люблю; но она ведет бестолковую жизнь, вечно носится с этим беллетристом, имя ее постоянно треплют в газетах,— и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного; бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и, кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения: бывало, у нее сидят в гостях сплошь всё знаменитости, артисты и писатели, и между ними только один я — ничто, и меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции не зависящим, никаких талантов, денег ни гроша, а по паспорту я — киевский мещанин. Мой отец ведь киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда, бывало, в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество,— я угадывал их мысли и страдал от унижения...

Сорин. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот беллетрист? Не поймешь его. Все молчит.

Треплев. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло... Что касается его писаний, то... как тебе сказать? Мило, талантливо... но... после Толстого или Зола не захочешь читать Тригорина.

Сорин. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей: хотел жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое. Да. И маленьким литератором приятно быть в конце концов.

Треплев *(прислушивается)*. Я слышу шаги... *(Обнимает дядю.)* Я без нее жить не могу... Даже звук ее шагов прекрасен...

Я счастлив безумно. *(Быстро идет навстречу Нине Заречной, которая входит.)* Волшебница, мечта моя...

Нина *(взволнованно)*. Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...

Треплев *(целуя ее руки)*. Нет, нет, нет...

Нина. Весь день я беспокоилась, мне было так страшно! Я боялась, что отец не пустит меня... Но он сейчас уехал с мачехой. Красное небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала. *(Смеется.)* Но я рада. *(Крепко жмет руку Сорина.)*

Сорин *(смеется)*. Глазки, кажется, заплаканы... Ге-ге! Нехорошо!

Нина. Это так... Видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду, надо спешить. Нельзя, нельзя, бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.

Треплев. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех.

Сорин. Я схожу, и все. Сию минуту. *(Идет вправо и поет.)* «Во Францию два гренадера...» *(Оглядывается.)* Раз так же вот я запел, а один товарищ прокурора и говорит мне: «А у вас, ваше превосходительство, голос сильный...» Потом подумал и прибавил: «Но... противный». *(Смеется и уходит.)*

Нина. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема... боятся, как бы я не пошла в актрисы... А меня тянет сюда к озеру, как чайку... Мое сердце полно вами. *(Оглядывается.)*

Треплев. Мы одни.

Нина. Кажется, кто-то там...

Треплев. Никого.

Поцелуй.

Нина. Это какое дерево?

Треплев. Вяз.

Нина. Отчего оно такое темное?

Треплев. Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.

Нина. Нельзя.

Треплев. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.

Нина. Нельзя, вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять.

Треплев. Я люблю вас.

Нина. Тсс...

Треплев *(услышав шаги)*. Кто там? Вы, Яков?

Я к о в *(за эстрадой.)* Точно так.

Т р е п л е в. Становитесь по местам. Пора. Луна восходит?

Я к о в. Точно так.

Т р е п л е в. Спирт есть? Сера есть? Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. *(Нине.)* Идите, там все приготовлено. Вы волнуетесь?..

Н и н а. Да, очень. Ваша мама — ничего, ее я не боюсь, но у вас Тригорин... Играть при нем мне страшно и стыдно... Известный писатель... Он молод?

Т р е п л е в. Да.

Н и н а. Какие у него чудесные рассказы!

Т р е п л е в *(холодно)*. Не знаю, не читал.

Н и н а. В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц.

Т р е п л е в. Живые лица! Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах.

Н и н а. В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь...

Оба уходят за эстраду.
Входят П о л и н а А н д р е е в н а и Д о р н.

П о л и н а А н д р е е в н а. Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.

Д о р н. Мне жарко.

П о л и н а А н д р е е в н а. Вы не бережете себя. Это упрямство. Вы — доктор и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала; вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе...

Д о р н *(напевает)*. «Не говори, что молодость сгубила».

П о л и н а А н д р е е в н а. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной... вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится...

Д о р н. Мне пятьдесят пять лет.

П о л и н а А н д р е е в н а. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинам.

Д о р н. Так что же вам угодно?

П о л и н а А н д р е е в н а. Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все!

Д о р н *(напевает)*. «Я вновь пред тобою...» Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это — идеализм.

П о л и н а А н д р е е в н а. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм?

Д о р н *(пожав плечами)*. Что ж? В отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет десять — пятнадцать назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком.

П о л и н а А н д р е е в н а *(хватает его за руку)*. Дорогой мой!

Д о р н. Тише. Идут.

Входят А р к а д и н а под руку с С о р и н ы м, Т р и г о р и н, Ш а м р а е в, М е д в е д е н к о и М а ш а.

Ш а м р а е в. В тысяча восемьсот семьдесят третьем году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг! Чудно играла! Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семеныч? В Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемая. Где он теперь?

А р к а д и н а. Вы всё спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю! *(Садится.)*

Ш а м р а е в *(вздохнув)*. Пашка Чадин! Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна! Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.

Д о р н. Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.

Ш а м р а е в. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil [1].

Т р е п л е в выходит из-за эстрады.

А р к а д и н а *(сыну)*. Мой милый сын, когда же начало?

Т р е п л е в. Через минуту. Прошу терпения.

А р к а д и н а *(читает из Гамлета)*. «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах — нет спасенья!»

Т р е п л е в *(из Гамлета)*. «И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступленья?»

За эстрадой играют в рожок.

Господа, начало! Прошу внимания!

Пауза.

Я начинаю. *(Стучит палочкой и говорит громко.)* О вы, почтенные, старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим

[1] О вкусах — или хорошо, или ничего *(лат.)*.

озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!

С о р и н. Через двести тысяч лет ничего не будет.

Т р е п л е в. Так вот пусть изобразят нам это ничего.

А р к а д и н а. Пусть. Мы спим.

Поднимается занавес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Н и н а З а р е ч н а я, вся в белом.

Н и н а. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды, и те, которых нельзя было видеть глазом,— словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно.

Пауза.

Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.

Показываются болотные огни.

А р к а д и н а *(тихо)*. Это что-то декадентское.

Т р е п л е в *(умоляюще и с упреком)*. Мама!

Н и н а. Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит... И вы, бледные огни, не слышите меня... Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух.

Пауза.

Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне

суждено победить, и после того материя и дух сольются в гармонии прекрасной и наступит царство мировой воли. Но это будет, лишь когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль... А до тех пор ужас, ужас...

Пауза; на фоне озера показываются две красных точки.

Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза...

А р к а д и н а. Серой пахнет. Это так нужно?

Т р е п л е в. Да.

А р к а д и н а *(смеется)*. Да, это эффект.

Т р е п л е в. Мама!

Н и н а. Он скучает без человека...

П о л и н а А н д р е е в н а *(Дорну)*. Вы сняли шляпу. Наденьте, а то простудитесь.

А р к а д и н а. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.

Т р е п л е в *(вспылив, громко)*. Пьеса кончена! Довольно! Занавес!

А р к а д и н а. Что же ты сердишься?

Т р е п л е в. Довольно! Занавес! Подавай занавес! *(Топнув ногой.)* Занавес!

Занавес опускается.

Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию! Мне... я... *(Хочет еще что-то сказать, но машет рукой и уходит влево.)*

А р к а д и н а. Что с ним?

С о р и н. Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием.

А р к а д и н а. Что же я ему сказала?

С о р и н. Ты его обидела.

А р к а д и н а. Он сам предупреждал, что это шутка, и я относилась к его пьесе, как к шутке.

С о р и н. Все-таки...

А р к а д и н а. Теперь оказывается, что он написал великое произведение! Скажите пожалуйста! Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил серой не для шутки, а для демонстрации... Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть. Наконец это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки, воля ваша, надоедят хоть кому! Капризный, самолюбивый мальчик.

С о р и н. Он хотел доставить тебе удовольствие.

А р к а д и н а. Да? Однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер.

Т р и г о р и н. Каждый пишет так, как хочет и как может.

А р к а д и н а. Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое.

Д о р н. Юпитер, ты сердишься...

А р к а д и н а. Я не Юпитер, а женщина. *(Закуривает.)* Я не сержусь, мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.

М е д в е д е н к о. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. *(Живо, Тригорину.)* А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат — учитель. Трудно, трудно живется!

А р к а д и н а. Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой славный! Слышите, господа, поют? *(Прислушивается.)* Как хорошо!

П о л и н а А н д р е е в н а. Это на том берегу.

Пауза.

А р к а д и н а *(Тригорину)*. Сядьте возле меня. Лет десять—пятнадцать назад, здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Помню, смех, шум, стрельба, и всё романы, романы... Jeune premier'ом [1] и кумиром всех этих шести усадеб был тогда вот, рекомендую *(кивает на Дорна)*, доктор Евгений Сергеич. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. *(Громко.)* Костя! Сын! Костя!

М а ш а. Я пойду поищу его.

А р к а д и н а. Пожалуйста, милая.

М а ш а *(идет влево)*. Ау! Константин Гаврилович!.. Ау! *(Уходит.)*

Н и н а *(выходя из-за эстрады)*. Очевидно, продолжения не будет, мне можно выйти. Здравствуйте! *(Целуется с Аркадиной и Полиной Андреевной.)*

С о р и н. Браво! браво!

А р к а д и н а. Браво, браво! Мы любовались. С такою наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть

[1] Первым любовником *(франц.)*.

в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!

Нина. О, это моя мечта! *(Вздохнув.)* Но она никогда не осуществится.

Аркадина. Кто знает? Вот позвольте вам представить: Тригорин, Борис Алексеевич.

Нина. Ах, я так рада... *(Сконфузившись.)* Я всегда вас читаю...

Аркадина *(усаживая ее возле)*. Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.

Дорн. Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко.

Шамраев *(громко)*. Яков, подними-ка, братец, занавес!

Занавес поднимается.

Нина *(Тригорину)*. Не правда ли, странная пьеса?

Тригорин. Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли. И декорация была прекрасная.

Пауза.

Должно быть, в этом озере много рыбы.

Нина. Да.

Тригорин. Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.

Нина. Но, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.

Аркадина *(смеясь)*. Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается.

Шамраев. Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бас из наших синодальных певчих, и вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим с галереи: «Браво, Сильва!» — целою октавой ниже... Вот этак *(низким басом)*: «Браво, Сильва...» Театр так и замер.

Пауза.

Дорн. Тихий ангел пролетел.

Нина. А мне пора. Прощайте.

Аркадина. Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим.

Нина. Меня ждет папа.

Аркадина. Какой он, право...

Целуются.

Ну, что делать. Жаль, жаль вас отпускать.

Н и н а. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать!

А р к а д и н а. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка.

Н и н а *(испуганно)*. О нет, нет!

С о р и н *(ей, умоляюще)*. Останьтесь!

Н и н а. Не могу, Петр Николаевич.

С о р и н. Останьтесь на один час, и все. Ну, что, право...

Н и н а *(подумав, сквозь слезы)*. Нельзя! *(Пожимает руку и быстро уходит.)*

А р к а д и н а. Несчастная девушка, в сущности. Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, и теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал все своей второй жене. Это возмутительно.

Д о р н. Да, ее папенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему полную справедливость.

С о р и н *(потирая озябшие руки)*. Пойдемте-ка, господа, и мы, а то становится сыро. У меня ноги болят.

А р к а д и н а. Они у тебя, как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. *(Берет его под руку.)*

Ш а м р а е в *(подавая руку жене)*. Мадам?

С о р и н. Я слышу, опять воет собака. *(Шамраеву.)* Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать ее.

Ш а м р а е в. Нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня просо. *(Идущему рядом Медведенку.)* Да, на целую октаву ниже: «Браво, Сильва!» А ведь не певец, простой синодальный певчий.

М е д в е д е н к о. А сколько жалованья получает синодальный певчий?

Все уходят, кроме Дорна.

Д о р н *(один)*. Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть. Когда эта девочка говорила об одиночестве и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно... Вот, кажется, он идет. Мне хочется наговорить ему побольше приятного.

Т р е п л е в *(входит)*. Уже нет никого.

Д о р н. Я здесь.

Т р е п л е в. Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.

Д о р н. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не слышал, и все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать.

Треплев крепко жмет ему руку и обнимает порывисто.

Фуй, какой нервный. Слезы на глазах... Я что хочу сказать? Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны!

Треплев. Так вы говорите — продолжать?

Дорн. Да... Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту.

Треплев. Виноват, где Заречная?

Дорн. И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас.

Треплев *(нетерпеливо)*. Где Заречная?

Дорн. Она уехала домой.

Треплев *(в отчаянии)*. Что же мне делать? Я хочу ее видеть... Мне необходимо ее видеть... Я поеду...

Маша входит.

Дорн *(Треплеву)*. Успокойтесь, мой друг.

Треплев. Но все-таки я поеду. Я должен поехать.

Маша. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она непокойна.

Треплев. Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!

Дорн. Но, но, но, милый... нельзя так... Нехорошо.

Треплев *(сквозь слезы)*. Прощайте, доктор. Благодарю... *(Уходит.)*

Дорн *(вздохнув)*. Молодость, молодость!

Маша. Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость, молодость... *(Нюхает табак.)*

Дорн *(берет у нее табакерку и швыряет в кусты)*. Это гадко!

Пауза.

В доме, кажется, играют. Надо идти.

Маша. Погодите.

Дорн. Что?

Маша. Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить... *(Волнуясь.)* Я не люблю своего отца... но к вам лежит мое

сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки... Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своею жизнью, испорчу ее... Не могу дольше...

Д о р н. Что? В чем помочь?

М а ш а. Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий! *(Кладет ему голову на грудь, тихо.)* Я люблю Константина.

Д о р н. Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро! *(Нежно.)* Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Площадка для крокета. В глубине направо дом с большою террасой, налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Цветники. Полдень. Жарко. Сбоку площадки, в тени старой липы, сидят на скамье А р к а д и н а, Д о р н и М а ш а. У Дорна на коленях раскрытая книга.

А р к а д и н а *(Маше)*. Вот встанемте.

Обе встают.

Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеич, кто из нас моложавее?

Д о р н. Вы, конечно.

А р к а д и н а. Вот-с... А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите всё на одном месте, не живете... И у меня правило: не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.

М а ш а. А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает никакой охоты жить. *(Садится.)* Конечно, это все пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.

Д о р н *(напевает тихо)*. «Расскажите вы ей, цветы мои...»

А р к а д и н а. Затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut [1]. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого

[1] как надлежит *(франц.)*.

я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... *(Подбоченясь, прохаживается по площадке.)* Вот вам,— как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть.

Д о р н. Ну-с, тем не менее все-таки я продолжаю. *(Берет книгу.)* Мы остановились на лабазнике и крысах...

А р к а д и н а. И крысах. Читайте. *(Садится.)* Впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь. *(Берет книгу и ищет в ней глазами.)* И крысах... Вот оно... *(Читает.)* «И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений...» Ну, это у французов, может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполонить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость. Недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина...

Идет С о р и н, опираясь на трость, и рядом с ним Н и н а; М е д в е д е н к о катит за ними пустое кресло.

С о р и н *(тоном, каким ласкают детей)*. Да? У нас радость? Мы сегодня веселы в конце концов? *(Сестре.)* У нас радость! Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых три дня.

Н и н а *(садится рядом с Аркадиной и обнимает ее)*. Я счастлива! Я теперь принадлежу вам.

С о р и н *(садится в свое кресло)*. Она сегодня красивенькая.

А р к а д и н а. Нарядная, интересная... За это вы умница. *(Целует Нину.)* Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?

Н и н а. Он в купальне рыбу удит.

А р к а д и н а. Как ему не надоест! *(Хочет продолжать читать.)*

Н и н а. Это вы что?

А р к а д и н а. Мопассан, «На воде», милочка. *(Читает несколько строк про себя.)* Ну, дальше неинтересно и неверно. *(Закрывает книгу.)* Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его почти совсем не вижу.

М а ш а. У него нехорошо на душе. *(Нине, робко.)* Прошу вас, прочтите из его пьесы!

Н и н а *(пожав плечами)*. Вы хотите? Это так неинтересно!

М а ш а *(сдерживая восторг)*. Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос, а манеры, как у поэта.

Слышно, как храпит Сорин.

Д о р н. Спокойной ночи!
А р к а д и н а. Петруша!
С о р и н. А?
А р к а д и н а. Ты спишь?
С о р и н. Нисколько.

Пауза.

А р к а д и н а. Ты не лечишься, а это нехорошо, брат.
С о р и н. Я рад бы лечиться, да вот доктор не хочет.
Д о р н. Лечиться в шестьдесят лет!
С о р и н. И в шестьдесят лет жить хочется.
Д о р н *(досадливо)*. Э! Ну, принимайте валериановые капли.
А р к а д и н а. Мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды.
Д о р н. Что ж? Можно поехать. Можно и не поехать.
А р к а д и н а. Вот и пойми.
Д о р н. И понимать нечего. Все ясно.

Пауза.

М е д в е д е н к о. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.
С о р и н. Пустяки.
Д о р н. Нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то; у вас расплывается ваше я, и вы уже относитесь к самому себе, как к третьему лицу — он.
С о р и н *(смеется)*. Вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я? Я прослужил по судебному ведомству двадцать восемь лет, но еще не жил, ничего не испытал в конце концов, и, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, и потому имеете наклонность к философии, я же хочу жить и потому пью за обедом херес и курю сигары, и все. Вот и все.
Д о р н. Надо относиться к жизни серьезно, а лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие.
М а ш а *(встает)*. Завтракать пора, должно быть. *(Идет ленивою, вялою походкой.)* Ногу отсидела... *(Уходит.)*

Д о р н. Пойдет и перед завтраком две рюмочки пропустит.

С о р и н. Личного счастья нет у бедняжки.

Д о р н. Пустое, ваше превосходительство.

С о р и н. Вы рассуждаете, как сытый человек.

А р к а д и н а. Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют... Хорошо с вами, друзья, приятно вас слушать, но... сидеть у себя в номере и учить роль — куда лучше!

Н и н а *(восторженно)*. Хорошо! Я понимаю вас.

С о р и н. Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада, телефон... на улице извозчики, и все...

Д о р н *(напевает)*. «Расскажите вы ей, цветы мои...»

Входит Ш а м р а е в, за ним П о л и н а А н д р е е в н а.

Ш а м р а е в. Вот и наши. Добрый день! *(Целует руку у Аркадиной, потом у Нины.)* Весьма рад видеть вас в добром здоровье. *(Аркадиной.)* Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с нею вместе в город. Это правда?

А р к а д и н а. Да, мы собираемся.

Ш а м р а е в. Гм... Это великолепно, но на чем же вы поедете, многоуважаемая? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?

А р к а д и н а. На каких? Почем я знаю — на каких!

С о р и н. У нас же выездные есть.

Ш а м р а е в *(волнуясь)*. Выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно! Это непостижимо! Высокоуважаемая! Извините, я благоговею перед вашим талантом, готов отдать за вас десять лет жизни, но лошадей я вам не могу дать!

А р к а д и н а. Но если я должна ехать? Странное дело!

Ш а м р а е в. Многоуважаемая! Вы не знаете, что значит хозяйство!

А р к а д и н а *(вспылив)*. Это старая история! В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком!

Ш а м р а е в *(вспылив)*. В таком случае я отказываюсь от места! Ищите себе другого управляющего! *(Уходит.)*

А р к а д и н а. Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют! Нога моя здесь больше не будет! *(Уходит влево, где предполагается купальня; через минуту видно, как она проходит в дом; за нею идет Тригорин с удочками и с ведром.)*

С о р и н *(вспылив)*. Это нахальство! Это черт знает что такое! Мне это надоело в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей!

Н и н а *(Полине Андреевне)*. Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке! Разве всякое желание ее, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Просто невероятно!

П о л и н а А н д р е е в н а *(в отчаянии)*. Что я могу? Войдите в мое положение: что я могу?

С о р и н *(Нине)*. Пойдемте к сестре... Мы все будем умолять ее, чтобы она не уезжала. Не правда ли? *(Глядя по направлению, куда ушел Шамраев.)* Невыносимый человек! Деспот!

Н и н а *(мешая ему встать)*. Сидите, сидите... Мы вас довезем...

Она и Медведенко катят кресло.

О, как это ужасно!..

С о р и н. Да, да, это ужасно... Но он не уйдет, я сейчас поговорю с ним.

Уходят; остаются только Дорн и Полина Андреевна.

Д о р н. Люди скучны. В сущности, следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею, а ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения. Вот увидите!

П о л и н а А н д р е е в н а. Он и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня! Я заболеваю; видите, я дрожу... Я не выношу его грубости. *(Умоляюще.)* Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать...

Пауза.

Д о р н. Мне пятьдесят пять лет, уже поздно менять свою жизнь.

П о л и н а А н д р е е в н а. Я знаю, вы отказываете мне потому, что, кроме меня, есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите, я надоела вам.

Н и н а показывается около дома; она рвет цветы.

Д о р н. Нет, ничего.

П о л и н а А н д р е е в н а. Я страдаю от ревности. Конечно, вы доктор, вам нельзя избегать женщин. Я понимаю...

Д о р н *(Нине, которая подходит)*. Как там?

Н и н а. Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма.

Д о р н *(встает)*. Пойти дать обоим валериановых капель...

Н и н а *(подает ему цветы)*. Извольте!

Д о р н. Merci bien [1]. *(Идет к дому.)*

П о л и н а А н д р е е в н а *(идя с ним)*. Какие миленькие цветы! *(Около дома, глухим голосом.)* Дайте мне эти цветы! Дайте мне эти цветы! *(Получив цветы, рвет их и бросает в сторону.)*

Оба идут в дом.

Н и н а *(одна)*. Как странно видеть, что известная артистка плачет, да еще по такому пустому поводу! И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух голавлей. Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу и своею славой, блеском своего имени как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность происхождения и богатство. Но они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все...

Т р е п л е в *(входит без шляпы, с ружьем и с убитою чайкой)*. Вы одни здесь?

Н и н а. Одна.

Треплев кладет у ее ног чайку.

Что это значит?

Т р е п л е в. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.

Н и н а. Что с вами? *(Поднимает чайку и глядит на нее.)*

Т р е п л е в *(после паузы)*. Скоро таким же образом я убью самого себя.

Н и н а. Я вас не узнаю.

Т р е п л е в. Да, после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне, ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас.

Н и н а. В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ, но, простите, я не понимаю... *(Кладет чайку на скамью.)* Я слишком проста, чтобы понимать вас.

Т р е п л е в. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчаст-

[1] Весьма благодарен *(франц.)*.

лив! Ваше охлаждение страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. О, что тут понимать?! Пьеса не понравилась, вы презираете мое вдохновение, уже считаете меня заурядным, ничтожным, каких много... *(Топнув ногой.)* Как это я хорошо понимаю, как понимаю! У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как змея... *(Увидев Тригорина, который идет, читая книжку.)* Вот идет истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. *(Дразнит.)* «Слова, слова, слова...» Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. *(Уходит быстро.)*

Тригорин *(записывая в книжку)*. Нюхает табак и пьет водку... Всегда в черном. Ее любит учитель...

Нина. Здравствуйте, Борис Алексеевич!

Тригорин. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль. Мне приходится не часто встречать молодых девушек, молодых и интересных, я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствуют себя в восемнадцать — девятнадцать лет, и потому у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете и вообще что вы за штучка.

Нина. А я хотела бы побывать на вашем месте.

Тригорин. Зачем?

Нина. Чтобы узнать, как чувствует себя известный, талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?

Тригорин. Как? Должно быть, никак. Об этом я никогда не думал. *(Подумав.)* Что-нибудь из двух: или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается.

Нина. А если читаете про себя в газетах?

Тригорин. Когда хвалят, приятно, а когда бранят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.

Нина. Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам,— вы один из миллиона,— выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения... Вы счастливы...

Тригорин. Я? *(Пожимая плечами.)* Гм... Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной

жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, все равно что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.

Нина. Ваша жизнь прекрасна!

Тригорин. Что же в ней особенно хорошего? *(Смотрит на часы.)* Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда... *(Смеется.)* Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни... Ну-с, с чего начнем? *(Подумав немного.)* Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан — нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро — новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною как со здоровым? «Что пописываете? Чем нас подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение — все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно

страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение!

Нина. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?

Тригорин. Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но... едва вышло из печати, как я не выношу и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... *(Смеясь.)* А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».

Нина. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом.

Тригорин. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу... Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и проч. и проч., и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив, фальшив до мозга костей.

Нина. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собою, но для других вы велики и прекрасны! Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице.

Тригорин. Ну, на колеснице... Агамемнон я, что ли?

Оба улыбнулись.

Н и н а. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... *(Закрывает лицо руками.)* Голова кружится... Уф!..

Голос Аркадиной из дому: «Борис Алексеевич!»

Т р и г о р и н. Меня зовут... Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать. *(Оглядывается на озеро.)* Ишь ведь какая благодать!.. Хорошо!

Н и н а. Видите на том берегу дом и сад?

Т р и г о р и н. Да.

Н и н а. Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нем каждый островок.

Т р и г о р и н. Хорошо у вас тут! *(Увидев чайку.)* А это что?

Н и н а. Чайка. Константин Гаврилыч убил.

Т р и г о р и н. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. *(Записывает в книжку.)*

Н и н а. Что это вы пишете?

Т р и г о р и н. Так, записываю... Сюжет мелькнул... *(Пряча книжку.)* Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку.

Пауза.

В окне показывается А р к а д и н а.

А р к а д и н а. Борис Алексеевич, где вы?

Т р и г о р и н. Сейчас! *(Идет и оглядывается на Нину; у окна, Аркадиной.)* Что?

А р к а д и н а. Мы остаемся.

Тригорин уходит в дом.

Н и н а *(подходит к рампе; после некоторого раздумья.)* Сон!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Столовая в доме Сорина. Направо и налево двери. Буфет. Шкаф с лекарствами. Посреди комнаты стол. Чемодан и картонки; заметны приготовления к отъезду. Тригорин завтракает. Маша стоит у стола.

Маша. Все это я рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести: если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву.

Тригорин. Каким же образом?

Маша. Замуж выхожу. За Медведенка.

Тригорин. Это за учителя?

Маша. Да.

Тригорин. Не понимаю, какая надобность.

Маша. Любить безнадежно, целые годы все ждать чего-то... А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?

Тригорин. А не много ли будет?

Маша. Ну вот! *(Наливает по рюмке.)* Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство тайно. Да. И всё водку или коньяк. *(Чокается.)* Желаю вам! Вы человек простой, жалко с вами расставаться.

Пьют.

Тригорин. Мне самому не хочется уезжать.

Маша. А вы попросите, чтобы она осталась.

Тригорин. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы... Но ведь всем хватит места, и новым и старым,— зачем толкаться?

Маша. Ну, и ревность. Впрочем, это не мое дело.

Пауза. Яков проходит слева направо с чемоданом; входит Нина и останавливается у окна.

Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко. И его мать-старушку жалко. Ну-с, позвольте пожелать вам всего хорошего. Не поминайте лихом. *(Крепко пожимает руку.)* Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите «многоуважаемой», а просто

так: «Марье, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете». Прощайте! *(Уходит.)*

Нина *(протягивая в сторону Тригорина руку, сжатую в кулак)*. Чет или нечет?

Тригорин. Чет.

Нина *(вздохнув)*. Нет. У меня в руке только одна горошина. Я загадала: идти мне в актрисы или нет? Хоть бы посоветовал кто.

Тригорин. Тут советовать нельзя.

Пауза.

Нина. Мы расстаемся и... пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы... а с этой стороны название вашей книжки: «Дни и ночи».

Тригорин. Как грациозно! *(Целует медальон.)* Прелестный подарок!

Нина. Иногда вспоминайте обо мне.

Тригорин. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас, какою вы были в тот ясный день — помните? — неделю назад, когда вы были в светлом платье... Мы разговаривали... еще тогда на скамье лежала белая чайка.

Нина *(задумчиво)*. Да, чайка...

Пауза.

Больше нам говорить нельзя, сюда идут... Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас... (*Уходит влево.*)

Одновременно входят справа Аркадина, Сорин во фраке со звездой, потом Яков, озабоченный укладкой.

Аркадина. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? *(Тригорину.)* Это кто сейчас вышел? Нина?

Тригорин. Да.

Аркадина. Pardon, мы помешали... *(Садится.)* Кажется, все уложила. Замучилась.

Тригорин *(читает на медальоне)*. «Дни и ночи», страница 121, строки 11 и 12.

Яков *(убирая со стола)*. Удочки тоже прикажете уложить?

Тригорин. Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.

Яков. Слушаю.

Тригорин *(про себя)*. Страница 121, строки 11 и 12. Что же в этих строках? *(Аркадиной.)* Тут в доме есть мои книжки?

А р к а д и н а. У брата в кабинете, в угловом шкапу.

Т р и г о р и н. Страница 121... *(Уходит.)*

А р к а д и н а. Право, Петруша, остался бы дома...

С о р и н. Вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.

А р к а д и н а. А в городе что же?

С о р и н. Особенного ничего, но все же. *(Смеется.)* Будет закладка земского дома и все такое... Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой пескариной жизни, а то очень уж я залежался, точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выедем.

А р к а д и н а *(после паузы)*. Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его. Наставляй.

Пауза.

Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше.

С о р и н. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан, но все же в конце концов ему кажется, что он лишний в доме, что он тут нахлебник, приживал. Понятная вещь, самолюбие...

А р к а д и н а. Горе мне с ним! *(В раздумье.)* Поступить бы ему на службу, что ли...

С о р и н *(насвистывает, потом нерешительно)*. Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... дала ему немного денег. Прежде всего ему нужно одеться по-человечески, и все. Посмотри, один и тот же сюртучишко он таскает три года, ходит без пальто... *(Смеется.)* Да и погулять малому не мешало бы... Поехать за границу, что ли... Это ведь не дорого стоит.

А р к а д и н а. Все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но чтобы за границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу. *(Решительно.)* Нет у меня денег!

Сорин смеется.

Нет!

С о р и н *(насвистывает)*. Так-с. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю... Ты великодушная, благородная женщина.

А р к а д и н а *(сквозь слезы)*. Нет у меня денег!

С о р и н. Будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему, но у меня ничего нет, ни пятачка. *(Смеется.)* Всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, ско-

товодство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают...

А р к а д и н а. Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка; одни туалеты разорили совсем.

С о р и н. Ты добрая, милая... Я тебя уважаю... Да... Но опять со мною что-то того... *(Пошатывается.)* Голова кружится. *(Держится за стол.)* Мне дурно, и все.

А р к а д и н а *(испуганно)*. Петруша! *(Стараясь поддержать его.)* Петруша, дорогой мой... *(Кричит.)* Помогите мне! Помогите!..

Входят Т р е п л е в с повязкой на голове, М е д в е д е н к о.

Ему дурно!

С о р и н. Ничего, ничего... *(Улыбается и пьет воду.)* Уже прошло... и все...

Т р е п л е в *(матери)*. Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. *(Дяде.)* Тебе, дядя, надо полежать.

С о р и н. Немножко, да... А все-таки в город я поеду... Полежу и поеду... понятная вещь... *(Идет, опираясь на трость.)*

М е д в е д е н к о *(ведет его под руку)*. Есть загадка: утром на четырех, в полдень на двух, вечером на трех...

С о р и н *(смеется)*. Именно. А ночью на спине. Благодарю вас, я сам могу идти...

М е д в е д е н к о. Ну вот, церемонии!..

Он и Сорин уходят.

А р к а д и н а. Как он меня напугал!

Т р е п л е в. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему взаймы тысячи полторы-две, то он мог бы прожить в городе целый год.

А р к а д и н а. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша.

Пауза.

Т р е п л е в. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь.

А р к а д и н а *(достает из аптечного шкафа йодоформ и ящик с перевязочным материалом)*. А доктор опоздал.

Т р е п л е в. Обещал быть к десяти, а уже полдень.

А р к а д и н а. Садись. *(Снимает у него с головы повязку.)* Ты как в чалме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. *(Целует его в голову.)* А ты без меня опять не сделаешь чик-чик?

Т р е п л е в. Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою. Больше это не повторится. *(Целует*

ей руку.) У тебя золотые руки. Помню, очень давно, когда ты еще служила на казенной сцене — я тогда был маленьким,— у нас во дворе была драка, сильно побили жилицу-прачку. Помнишь? Ее подняли без чувств... ты все ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?

А р к а д и н а. Нет. *(Накладывает новую повязку.)*

Т р е п л е в. Две балерины жили тогда в том же доме, где мы... Ходили к тебе кофе пить...

А р к а д и н а. Это помню.

Т р е п л е в. Богомольные они такие были.

Пауза.

В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя, теперь у меня никого не осталось. Только зачем, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?

А р к а д и н а. Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность...

Т р е п л е в. Однако когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает. Позорное бегство!

А р к а д и н а. Какой вздор! Я сама прошу его уехать отсюда.

Т р е п л е в. Благороднейшая личность! Вот мы с тобою почти ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами... развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений.

А р к а д и н а. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.

Т р е п л е в. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но прости, я лгать не умею, от его произведений мне претит.

А р к а д и н а. Это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями ничего больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение!

Т р е п л е в *(иронически)*. Настоящие таланты! *(Гневно.)* Я талантливее вас всех, коли на то пошло! *(Срывает с головы повязку.)* Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите! Не признаю я вас! Не признаю ни тебя, ни его!

А р к а д и н а. Декадент!..

Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!

Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал!

Треплев. Скряга!

Аркадина. Оборвыш!

Треплев садится и тихо плачет.

Ничтожество! *(Пройдясь в волнении.)* Не плачь. Не нужно плакать... *(Плачет.)* Не надо... *(Целует его в лоб, в щеки, в голову.)* Милое мое дитя, прости... Прости свою грешную мать. Прости меня, несчастную.

Треплев *(обнимает ее)*. Если бы ты знала! Я все потерял. Она меня не любит, я уже не могу писать... пропали все надежды...

Аркадина. Не отчаивайся... Все обойдется. Он сейчас уедет, она опять тебя полюбит. *(Утирает ему слезы.)* Будет. Мы уже помирились.

Треплев *(целует ей руки)*. Да, мама.

Аркадина *(нежно)*. Помирись и с ним. Не надо дуэли... Ведь не надо?

Треплев. Хорошо... Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело... выше сил...

Входит Тригорин.

Вот... Я выйду... *(Быстро убирает в шкаф лекарства.)* А повязку ужо доктор сделает...

Тригорин *(ищет в книжке)*. Страница 121... строки 11 и 12... Вот... *(Читает.)* «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Треплев подбирает с полу повязку и уходит.

Аркадина *(поглядев на часы)*. Скоро лошадей подадут.

Тригорин *(про себя)*. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Аркадина. У тебя, надеюсь, все уже уложено?

Тригорин *(нетерпеливо)*. Да, да... *(В раздумье.)* Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?.. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. *(Аркадиной.)* Останемся еще на один день!

Аркадина отрицательно качает головой.

Останемся!

А р к а д и н а. Милый, я знаю, что́ удерживает тебя здесь. Но имей над собою власть. Ты немного опьянел, отрезвись.

Т р и г о р и н. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна, умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг... *(Жмет ей руку.)* Ты способна на жертвы... Будь моим другом, отпусти меня.

А р к а д и н а *(в сильном волнении)*. Ты так увлечен?

Т р и г о р и н. Меня манит к ней! Быть может, это именно то, что мне нужно.

А р к а д и н а. Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!

Т р и г о р и н. Иногда люди спят на ходу, так вот я говорю с тобою, а сам будто сплю и вижу ее во сне... Мною овладели сладкие, дивные мечты... Отпусти...

А р к а д и н а *(дрожа)*. Нет, нет... Я обыкновенная женщина, со мною нельзя говорить так... Не мучай меня, Борис... Мне страшно...

Т р и г о р и н. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенною. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез,— на земле только она одна может дать счастье! Такой любви я не испытал еще... В молодости было некогда, я обивал пороги редакций, боролся с нуждой... Теперь вот она, эта любовь, пришла наконец, манит... Какой же смысл бежать от нее?

А р к а д и н а *(с гневом)*. Ты сошел с ума!

Т р и г о р и н. И пускай.

А р к а д и н а. Вы все сговорились сегодня мучить меня! *(Плачет.)*

Т р и г о р и н *(берет себя за голову)*. Не понимает! Не хочет понять!

А р к а д и н а. Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною можно, не стесняясь, говорить о других женщинах? *(Обнимает его и целует.)* О, ты обезумел! Мой прекрасный, дивный... Ты последняя страница моей жизни! *(Становится на колени.)* Моя радость, моя гордость, мое блаженство... *(Обнимает его колени.)* Если ты покинешь меня хотя на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель...

Т р и г о р и н. Сюда могут войти. *(Помогает ей встать.)*

А р к а д и н а. Пусть, я не стыжусь моей любви к тебе. *(Целует ему руки.)* Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу... *(Смеется.)* Ты мой... ты мой... И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная на-

дежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью? Вот и видишь, я одна умею ценить тебя; одна говорю тебе правду, мой милый, чудный... Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?..

Тригорин. У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный — неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не отпускай от себя ни на шаг...

Аркадина *(про себя)*. Теперь он мой. *(Развязно, как ни в чем не бывало.)* Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить?

Тригорин. Нет, уж поедем вместе.

Аркадина. Как хочешь. Вместе, так вместе...

Пауза.

Тригорин записывает в книжку.

Что ты?

Тригорин. Утром слышал хорошее выражение: «Девичий бор...» Пригодится. *(Потягивается.)* Значит, ехать? Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры...

Шамраев *(входит)*. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже, многоуважаемая, ехать на станцию; поезд приходит в два и пять минут. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справочку: где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то... В «Ограбленной почте» играл неподражаемо... С ним тогда, помню, в Елисаветграде служил трагик Измайлов, тоже личность замечательная... Не торопитесь, многоуважаемая, пять минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков, и когда их вдруг накрыли, то надо было сказать: «Мы попали в западню», а Измайлов — «Мы попали в запандю»... *(Хохочет.)* Запандю!..

Пока он говорит, Яков хлопочет около чемоданов, горничная приносит Аркадиной шляпу, манто, зонтик, перчатки; все помогают Аркадиной одеться. Из левой двери выглядывает повар, который немного погодя входит нерешительно. Входит Полина Андреевна, потом Сорин и Медведенко.

Полина Андреевна *(с корзиночкой)*. Вот вам слив на дорогу... Очень сладкие. Может, захотите полакомиться...

А р к а д и н а. Вы очень добры, Полина Андреевна.

П о л и н а А н д р е е в н а. Прощайте, моя дорогая! Если что было не так, то простите. *(Плачет.)*

А р к а д и н а *(обнимает ее)*. Все было хорошо, все было хорошо. Только вот плакать не нужно.

П о л и н а А н д р е е в н а. Время наше уходит!

А р к а д и н а. Что же делать!

С о р и н *(в пальто с пелериной, в шляпе, с палкой, выходит из левой двери; проходя через комнату)*. Сестра, пора, как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться. *(Уходит.)*

М е д в е д е н к о. А я пойду пешком на станцию... провожать. Я живо... *(Уходит.)*

А р к а д и н а. До свиданья, мои дорогие... Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся...

Горничная, Яков и повар целуют у нее руку.

Не забывайте меня. *(Подает повару рубль.)* Вот вам рубль на троих.

П о в а р. Покорнейше благодарим, барыня. Счастливой вам дороги! Много вами довольны!

Я к о в. Дай бог час добрый!

Ш а м р а е в. Письмецом бы осчастливили! Прощайте, Борис Алексеевич!

А р к а д и н а. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте лихом. *(Якову.)* Я дала рубль повару. Это на троих.

Все уходят вправо. Сцена пуста. За сценой шум, какой бывает, когда провожают. Г о р н и ч н а я возвращается, чтобы взять со стола корзину со сливами, и опять уходит.

Т р и г о р и н *(возвращаясь)*. Я забыл свою трость. Она, кажется, там на террасе. *(Идет и у левой двери встречается с Ниной, которая входит.)* Это вы? Мы уезжаем.

Н и н а. Я чувствовала, что мы еще увидимся. *(Возбужденно.)* Борис Алексеевич, я решила бесповоротно, жребий брошен, я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь, я ухожу от отца, покидаю все, начинаю новую жизнь... Я уезжаю, как и вы... в Москву. Мы увидимся там.

Т р и г о р и н *(оглянувшись)*. Остановитесь в «Славянском базаре»... Дайте мне тотчас же знать... Молчановка, дом Грохольского... Я тороплюсь...

Пауза.

Н и н а. Еще одну минуту...

Т р и г о р и н *(вполголоса)*. Вы так прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся!

Она склоняется к нему на грудь.

Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку... эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты... Дорогая моя...

Продолжительный поцелуй.

З а н а в е с

Между третьим и четвертым действием проходит два года.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий кабинет. Направо и налево двери, ведущие во внутренние покои. Прямо стеклянная дверь на террасу. Кроме обычной гостиной мебели, в правом углу письменный стол, возле левой двери турецкий диван, шкаф с книгами, книги на окнах, на стульях.— Вечер. Горит одна лампа под колпаком. Полумрак.

Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах. Стучит сторож.

М е д в е д е н к о и М а ш а входят.

М а ш а *(окликает)*. Константин Гаврилыч! Константин Гаврилыч! *(Осматриваясь.)* Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя... Жить без него не может...

М е д в е д е н к о. Боится одиночества. *(Прислушиваясь.)* Какая ужасная погода! Это уже вторые сутки.

М а ш а *(припускает огня в лампе)*. На озере волны. Громадные.

М е д в е д е н к о. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал...

М а ш а. Ну вот...

Пауза.

М е д в е д е н к о. Поедем, Маша, домой!

М а ш а *(качает отрицательно головой)*. Я здесь останусь ночевать.

М е д в е д е н к о *(умоляюще)*. Маша, поедем! Наш ребеночек небось голоден.

М а ш а. Пустяки. Его Матрена покормит.

Пауза.

Медведенко. Жалко. Уже третью ночь без матери.

Маша. Скучный ты стал. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок, домой, ребенок, домой,— и больше от тебя ничего не услышишь.

Медведенко. Поедем, Маша!

Маша. Поезжай сам.

Медведенко. Твой отец не даст мне лошади.

Маша. Даст. Ты попроси, он и даст.

Медведенко. Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь?

Маша *(нюхает табак)*. Ну, завтра. Пристал...

Входят Треплев и Полина Андреевна; Треплев принес подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное белье; кладут на турецкий диван, затем Треплев идет к своему столу и садится.

Зачем это, мама?

Полина Андреевна. Петр Николаевич просил постлать ему у Кости.

Маша. Давайте я... *(Постилает постель.)*

Полина Андреевна *(вздохнув)*. Старый что малый... *(Подходит к письменному столу и, облокотившись, смотрит в рукопись.)*

Пауза.

Медведенко. Так я пойду. Прощай, Маша. *(Целует у жены руку.)* Прощайте, мамаша. *(Хочет поцеловать руку у тещи.)*

Полина Андреевна *(досадливо)*. Ну! Иди с богом.

Медведенко. Прощайте, Константин Гаврилыч.

Треплев молча подает руку; Медведенко уходит.

Полина Андреевна *(глядя в рукопись)*. Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава богу, и деньги стали вам присылать из журналов. *(Проводит рукой по его волосам.)* И красивый стал... Милый Костя, хороший, будьте поласковее с моей Машенькой!..

Маша *(постилая)*. Оставьте его, мама.

Полина Андреевна *(Треплеву)*. Она славненькая.

Пауза.

Женщине, Костя, ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.

Треплев встает из-за стола и молча уходит.

Маша. Вот и рассердили. Надо было приставать!

Полина Андреевна. Жалко мне тебя, Машенька.

М а ш а. Очень нужно!

П о л и н а А н д р е е в н а. Сердце мое за тебя переболело. Я ведь все вижу, все понимаю.

М а ш а. Все глупости. Безнадежная любовь — это только в романах. Пустяки. Не нужно только распускать себя и все чего-то ждать, ждать у моря погоды... Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда,— все забуду... с корнем из сердца вырву.

Через две комнаты играют меланхолический вальс.

П о л и н а А н д р е е в н а. Костя играет. Значит, тоскует.

М а ш а *(делает бесшумно два-три тура вальса)*. Главное, мама, перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.

Открывается левая дверь, Д о р н и М е д в е д е н к о катят в кресле С о р и н а.

М е д в е д е н к о. У меня теперь в доме шестеро. А мука семь гривен пуд.

Д о р н. Вот тут и вертись.

М е д в е д е н к о. Вам хорошо смеяться. Денег у вас куры не клюют.

Д о р н. Денег? За тридцать лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет.

М а ш а *(мужу)*. Ты не уехал?

М е д в е д е н к о *(виновато)*. Что ж? Когда не дают лошади!

М а ш а *(с горькою досадой, вполголоса)*. Глаза бы мои тебя не видели!

Кресло останавливается в левой половине комнаты; Полина Андреевна, Маша и Дорн садятся возле; Медведенко, опечаленный, отходит в сторону.

Д о р н. Сколько у вас перемен, однако! Из гостиной сделали кабинет.

М а ш а. Здесь Константину Гаврилычу удобнее работать. Он может, когда угодно, выходить в сад и там думать.

Стучит сторож.

С о р и н. Где сестра?

Д о р н. Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется.

С о р и н. Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. *(Помолчав.)* Вот история, я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.

Дорн. А чего вы хотите? Валериановых капель? Соды? Хины?

Сорин. Ну, начинается философия. О, что за наказание! *(Кивнув головой на диван.)* Это для меня постлано?

Полина Андреевна. Для вас, Петр Николаевич.

Сорин. Благодарю вас.

Дорн *(напевает)*. «Месяц плывет по ночным небесам...»

Сорин. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел». «L'homme, qui a voulu». В молодости когда-то хотел я сделаться литератором — и не сделался; хотел красиво говорить — и говорил отвратительно *(дразнит себя)*: «и все и все такое, того, не того...» и, бывало, резюме везешь, везешь, даже в пот ударит; хотел жениться — и не женился; хотел всегда жить в городе — и вот кончаю свою жизнь в деревне, и все.

Дорн. Хотел стать действительным статским советником — и стал.

Сорин *(смеется)*. К этому я не стремился. Это вышло само собою.

Дорн. Выражать недовольство жизнью в шестьдесят два года, согласитесь,— это не великодушно.

Сорин. Какой упрямец. Поймите, жить хочется!

Дорн. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.

Сорин. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты и потому равнодушны к жизни, вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.

Дорн. Страх смерти — животный страх... Надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий, во-вторых,— какие у вас грехи? Вы двадцать пять лет прослужили по судебному ведомству — только всего.

Сорин *(смеется)*. Двадцать восемь...

Входит Треплев и садится на скамеечке у ног Сорина. Маша все время не отрывает от него глаз.

Дорн. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать.

Треплев. Нет, ничего.

Пауза.

Медведенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?

Дорн. Генуя.

Т р е п л е в. Почему Генуя?

Д о р н. Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Где она и как?

Т р е п л е в. Должно быть, здорова.

Д о р н. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?

Т р е п л е в. Это, доктор, длинная история.

Д о р н. А вы покороче.

Пауза.

Т р е п л е в. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно?

Д о р н. Знаю.

Т р е п л е в. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а, по бесхарактерности, как-то ухитрился и тут и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.

Д о р н. А сцена?

Т р е п л е в. Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Тогда я не упускал ее из виду и некоторое время куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты.

Д о р н. Значит, все-таки есть талант?

Т р е п л е в. Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.

Пауза.

Что же вам еще сказать? Потом я, когда уже вернулся домой, получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные; она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна; что ни строчка, то больной, натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой. В «Русалке» мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка. Теперь она здесь.

Дорн. То есть как здесь?

Треплев. В городе, на постоялом дворе. Уже дней пять как живет там в номере. Я было поехал к ней, и вот Марья Ильинишна ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто вчера после обеда видел ее в поле, в двух верстах отсюда.

Медведенко. Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.

Треплев. Не придет она.

Пауза.

Отец и мачеха не хотят ее знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. *(Отходит с доктором к письменному столу.)* Как легко, доктор, быть философом на бумаге и как это трудно на деле!

Сорин. Прелестная была девушка.

Дорн. Что-с?

Сорин. Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.

Дорн. Старый ловелас.

Слышен смех Шамраева.

Полина Андреевна. Кажется, наши приехали со станции...

Треплев. Да, я слышу маму.

Входят Аркадина, Тригорин, за ними Шамраев.

Шамраев *(входя)*. Мы все стареем, выветриваемся под влиянием стихий, а вы, многоуважаемая, все еще молоды... Светлая кофточка, живость... грация...

Аркадина. Вы опять хотите сглазить меня, скучный человек!

Тригорин *(Сорину)*. Здравствуйте, Петр Николаевич! Что это вы всё хвораете? Нехорошо! *(Увидев Машу, радостно.)* Марья Ильинична!

Маша. Узнали? *(Жмет ему руку.)*

Тригорин. Замужем?

Маша. Давно.

Тригорин. Счастливы? *(Раскланивается с Дорном и с Медведенком, потом нерешительно подходит к Треплеву.)* Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.

Треплев протягивает ему руку.

А р к а д и н а *(сыну)*. Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.

Т р е п л е в *(принимая книгу, Тригорину)*. Благодарю вас. Вы очень любезны.

Садятся.

Т р и г о р и н. Вам шлют поклон ваши почитатели... В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня всё спрашивают про вас. Спрашивают: какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают все почему-то, что вы уже немолоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как Железная Маска.

Т р е п л е в. Надолго к нам?

Т р и г о р и н. Нет, завтра же думаю в Москву. Надо. Тороплюсь кончить повесть, и затем еще обещал дать что-нибудь в сборник. Одним словом — старая история.

Пока они разговаривают, Аркадина и Полина Андреевна ставят среди комнаты ломберный стол и раскрывают его; Шамраев зажигает свечи, ставит стулья. Достают из шкафа лото.

Погода встретила меня неласково. Ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где — помните? — играли вашу пьесу. У меня созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия.

М а ш а *(отцу)*. Папа, позволь мужу взять лошадь! Ему нужно домой.

Ш а м р а е в *(дразнит)*. Лошадь... домой... *(Строго.)* Сама видела: сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.

М а ш а. Но ведь есть другие лошади... *(Видя, что отец молчит, машет рукой.)* С вами связываться...

М е д в е д е н к о. Я, Маша, пешком пойду. Право...

П о л и н а А н д р е е в н а *(вздохнув)*. Пешком, в такую погоду... *(Садится за ломберный стол.)* Пожалуйте, господа.

М е д в е д е н к о. Ведь всего только шесть верст... Прощай... *(Целует жене руку.)* Прощайте, мамаша.

Теща нехотя протягивает ему для поцелуя руку.

Я бы никого не беспокоил, но ребеночек... *(Кланяется всем.)* Прощайте... *(Уходит; походка виноватая.)*

Ш а м р а е в. Небось дойдет. Не генерал.

П о л и н а А н д р е е в н а *(стучит по столу)*. Пожалуйте, господа. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут.

Шамраев, Маша и Дорн садятся за стол.

А р к а д и н а *(Тригорину)*. Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните: старинное лото, в которое еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами партию? *(Садится с Тригориным за стол.)* Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. *(Сдает всем по три карты.)*

Т р е п л е в *(перелистывая журнал)*. Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал. *(Кладет журнал на письменный стол, потом направляется к левой двери; проходя мимо матери, целует ее в голову.)*

А р к а д и н а. А ты, Костя?

Т р е п л е в. Прости, что-то не хочется... Я пройдусь. *(Уходит.)*

А р к а д и н а. Ставка — гривенник. Поставьте за меня, доктор.

Д о р н. Слушаю-с.

М а ш а. Все поставили? Я начинаю... Двадцать два!

А р к а д и н а. Есть.

М а ш а. Три!..

Д о р н. Так-с.

М а ш а. Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять!

Ш а м р а е в. Не спеши.

А р к а д и н а. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!

М а ш а. Тридцать четыре!

За сценой играют меланхолический вальс.

А р к а д и н а. Студенты овацию устроили... Три корзины, два венка и вот... *(Снимает с груди брошь и бросает на стол.)*

Ш а м р а е в. Да, это вещь...

М а ш а. Пятьдесят!..

Д о р н. Ровно пятьдесят?

А р к а д и н а. На мне был удивительный туалет... Что-что, а уж одеться я не дура.

П о л и н а А н д р е е в н а. Костя играет. Тоскует бедный.

Ш а м р а е в. В газетах бранят его очень.

М а ш а. Семьдесят семь!

А р к а д и н а. Охота обращать внимание.

Т р и г о р и н. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица.

М а ш а. Одиннадцать!

А р к а д и н а *(оглянувшись на Сорина)*. Петруша, тебе скучно?

Пауза.

Спит.

Д о р н. Спит действительный статский советник.

М а ш а. Семь! Девяносто!

Т р и г о р и н. Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы, что удил рыбу.

М а ш а. Двадцать восемь!

Т р и г о р и н. Поймать ерша или окуня — это такое блаженство!

Д о р н. А я верю в Константина Гаврилыча. Что-то есть! Что-то есть! Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?

А р к а д и н а. Представьте, я еще не читала. Все некогда.

М а ш а. Двадцать шесть!

Т р е п л е в тихо входит и идет к своему столу.

Ш а м р а е в *(Тригорину)*. А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь.

Т р и г о р и н. Какая?

Ш а м р а е в. Как-то Константин Гаврилыч застрелил чайку, и вы поручили мне заказать из нее чучело.

Т р и г о р и н. Не помню. *(Раздумывая.)* Не помню!

М а ш а. Шестьдесят шесть! Один!

Т р е п л е в *(распахивает окно, прислушивается)*. Как темно! Не понимаю, отчего я испытываю такое беспокойство.

А р к а д и н а. Костя, закрой окно, а то дует.

Треплев закрывает окно.

М а ш а. Восемьдесят восемь!

Т р и г о р и н. У меня партия, господа.

А р к а д и н а *(весело)*. Браво! Браво!

Ш а м р а е в. Браво!

А р к а д и н а. Этому человеку всегда и везде везет. *(Встает.)* А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. *(Сыну.)* Костя, оставь свои рукописи, пойдем есть.

Т р е п л е в. Не хочу, мама, я сыт.

А р к а д и н а. Как знаешь. *(Будит Сорина.)* Петруша, ужинать! *(Берет Шамраева под руку.)* Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове...

Полина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катят кресло. Все уходят в левую дверь; на сцене остается один Треплев за письменным столом.

Т р е п л е в *(собирается писать; пробегает то, что уже написано)*. Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. *(Читает.)* «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамленное темными волосами...» Гласила, обрамленное... Это бездарно. *(Зачеркивает.)* Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно.

Пауза.

Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души.

Кто-то стучит в окно, ближайшее к столу.

Что такое? *(Глядит в окно.)* Ничего не видно... *(Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад.)* Кто-то пробежал вниз по ступеням. *(Окликает.)* Кто здесь? *(Уходит; слышно, как он быстро идет по террасе; через полминуты возвращается с Ниной Заречной.)* Нина! Нина!

Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно рыдает.

(Растроганный.) Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась ужасно. *(Снимает с нее шляпу и тальму.)* О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будем плакать, не будем.

Н и н а. Здесь есть кто-то.

Т р е п л е в. Никого.

Н и н а. Заприте двери, а то войдут.

Т р е п л е в. Никто не войдет.

Н и н а. Я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте двери...

Т р е п л е в *(запирает правую дверь на ключ, подходит к левой)*. Тут нет замка. Я заставлю креслом. *(Ставит у двери кресло.)* Не бойтесь, никто не войдет.

Н и н а *(пристально глядит ему в лицо)*. Дайте я посмотрю на вас. *(Оглядываясь.)* Тепло, хорошо... Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась?

Т р е п л е в. Да... Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то странно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти неделю... Я каждый день ходил к вам по нескольку раз, стоял у вас под окном, как нищий.

Н и н а. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! С самого приезда я все ходила тут... около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась войти. Давайте сядем.

Садятся.

Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно... Слышите — ветер? У Тургенева есть место: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол». Я — чайка... Нет, не то. *(Трет себе лоб.)* О чем я? Да... Тургенев... «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам...» Ничего. *(Рыдает.)*

Т р е п л е в. Нина, вы опять... Нина!

Н и н а. Ничего, мне легче от этого... Я уже два года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на душе. Видите, я уже не плачу. *(Берет его за руку.)* Итак, вы стали уже писателем... Вы писатель, я — актриса... Попали и мы с вами в круговорот... Жила я радостно, по-детски — проснешься утром и запоешь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!

Т р е п л е в. Зачем в Елец?

Н и н а. Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать.

Т р е п л е в. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима,— я страдаю... Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни...

Н и н а *(растерянно)*. Зачем он так говорит, зачем он так говорит?

Т р е п л е в. Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и, что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Останьтесь здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне уехать с вами!

Нина быстро надевает шляпу и тальму.

Нина, зачем? Бога ради, Нина... *(Смотрит, как она одевается.)*

Пауза.

Н и н а. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду... *(Сквозь слезы.)* Дайте воды...

Т р е п л е в *(дает ей напиться)*. Вы куда теперь?

Н и н а. В город.

Пауза.

Ирина Николаевна здесь?

Т р е п л е в. Да... В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.

Н и н а. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. *(Склоняется к столу.)* Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! *(Поднимает голову.)* Я — чайка... Не то. Я — актриса. Ну да! *(Услышав смех Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потом бежит к левой двери и смотрит в замочную скважину.)* И он здесь... *(Возвращаясь к Треплеву.)* Ну да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом... А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно ... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я — чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа. Это не то... *(Трет себе лоб.)* О чем я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

Треплев *(печально)*. Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание.

Нина *(прислушиваясь)*. Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... *(Жмет ему руку.)* Уже поздно. Я еле на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...

Треплев. Останьтесь, я дам вам поужинать...

Нина. Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю, страстно, до отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства,— чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните?.. *(Читает.)* «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды, и те, которых нельзя было видеть глазом,— словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах...» *(Обнимает порывисто Треплева и убегает в стеклянную дверь.)*

Треплев *(после паузы)*. Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму... *(В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит.)*

Дорн *(стараясь отворить левую дверь)*. Странно. Дверь как будто заперта... *(Входит и ставит на место кресло.)* Скачка с препятствиями.

Входят Аркадина, Полина Андреевна, за ними Яков с бутылками и Маша, потом Шамраев и Тригорин.

Аркадина. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда, на стол. Мы будем играть и пить. Давайте садиться, господа.

Полина Андреевна *(Якову)*. Сейчас же подавай и чай. *(Зажигает свечи, садится за ломберный стол.)*

Шамраев *(подводит Тригорина к шкафу)*. Вот вещь, о которой я давеча говорил... *(Достает из шкафа чучело чайки.)* Ваш заказ.

Т р и г о р и н *(глядя на чайку)*. Не помню! *(Подумав.)* Не помню!

Направо за сценой выстрел; все вздрагивают.

А р к а д и н а *(испуганно)*. Что такое?

Д о р н. Ничего. Это, должно быть, в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. *(Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается.)* Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. *(Напевает.)* «Я вновь пред тобою стою очарован...»

А р к а д и н а *(садясь за стол)*. Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как... *(Закрывает лицо руками.)* Даже в глазах потемнело...

Д о р н *(перелистывая журнал, Тригорину)*. Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... *(берет Тригорина за талию и отводит к рампе)* так как я очень интересуюсь этим вопросом... *(Тоном ниже, вполголоса.)* Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...

З а н а в е с

1896

ТРИ СЕСТРЫ

ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Прозоров Андрей Сергеевич.
Наталья Ивановна, его невеста, потом жена.
Ольга, Маша, Ирина } его сестры.
Кулыгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши.
Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник, батарейный командир.
Тузенбах Николай Львович, барон, поручик.
Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан.
Чебутыкин Иван Романович, военный доктор.
Федотик Алексей Петрович, подпоручик.
Родэ Владимир Карлович, подпоручик.
Ферапонт, сторож из земской управы, старик.
Анфиса, нянька, старуха 80 лет.

Действие происходит в губернском городе.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака. О л ь г а в синем форменном платье учительницы женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу; М а ш а в черном платье, со шляпкой на коленях, сидит и читает книжку; И р и н а в белом платье, стоит задумавшись.

О л ь г а. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет...

Часы бьют двенадцать.

И тогда также били часы.

Пауза.

Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег.

И р и н а. Зачем вспоминать!

За колоннами, в зале около стола показываются барон Т у з е н б а х, Ч е б у т ы к и н и С о л е н ы й.

О л ь г а. Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы одиннадцать лет назад, и, я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору, в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела

массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно.

Чебутыкин. Черта с два!

Тузенбах. Конечно, вздор.

Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню.

Ольга. Не свисти, Маша. Как это ты можешь!

Пауза.

Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы и молодость. И только растет и крепнет одна мечта...

Ирина. Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь, и в Москву...

Ольга. Да! Скорее в Москву.

Чебутыкин и Тузенбах смеются.

Ирина. Брат, вероятно, будет профессором, он все равно не станет жить здесь. Только вот остановка за бедной Машей.

Ольга. Маша будет приезжать в Москву на все лето, каждый год.

Маша тихо насвистывает песню.

Ирина. Бог даст, все устроится. *(Глядя в окно.)* Хорошая погода сегодня. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло! Сегодня утром вспомнила, что я именинница, и вдруг почувствовала радость, и вспомнила детство, когда еще была жива мама! И какие чудные мысли волновали меня, какие мысли!

Ольга. Сегодня ты вся сияешь, кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей был бы хорош, только он располнел очень, это к нему не идет. А я постарела, похудела сильно, оттого, должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне двадцать восемь лет, только... Все хорошо, все от бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, то это было бы лучше.

Пауза.

Я бы любила мужа.

Тузенбах *(Соленому)*. Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать. *(Входя в гостиную.)* Забыл сказать. Сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин. *(Садится у пианино.)*

Ольга. Ну, что ж! Очень рада.

И р и н а. Он старый?

Т у з е н б а х. Нет, ничего. Самое большее, лет сорок, сорок пять. *(Тихо наигрывает.)* По-видимому, славный малый. Не глуп — это несомненно. Только говорит много.

И р и н а. Интересный человек?

Т у з е н б а х. Да, ничего себе, только жена, теща и две девочки. Притом женат во второй раз. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и две девочки. И здесь скажет. Жена какая-то полоумная, с длинной девической косой, говорит одни высокопарные вещи, философствует и часто покушается на самоубийство, очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только жалуется.

С о л е н ы й *(входя из залы в гостиную с Чебутыкиным)*. Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже шесть пудов. Из этого я заключаю, что два человека сильнее одного не вдвое, а втрое, даже больше...

Ч е б у т ы к и н *(читает на ходу газету)*. При выпадении волос... два золотника нафталина на полбутылки спирта... растворить и употреблять ежедневно... *(Записывает в книжку.)* Запишем-с! *(Соленому.)* Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная трубочка... Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов...

И р и н а. Иван Романыч, милый Иван Романыч!

Ч е б у т ы к и н. Что, девочка моя, радость моя?

И р и н а. Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо и носятся большие белые птицы. Отчего это? Отчего?

Ч е б у т ы к и н *(целуя ей обе руки, нежно)*. Птица моя белая...

И р и н а. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романыч, я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то что человеком, лучше быть волом, лучше быть простою лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается... о, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. И если я не буду рано вставать и трудиться, то откажите мне в вашей дружбе, Иван Романыч.

Ч е б у т ы к и н *(нежно)*. Откажу, откажу...

О л ь г а. Отец приучил нас вставать в семь часов. Теперь

Ирина просыпается в семь и, по крайней мере, до девяти лежит и о чем-то думает. А лицо серьезное! *(Смеется.)*

И р и н а. Ты привыкла видеть меня девочкой, и тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Мне двадцать лет!

Т у з е н б а х. Тоска по труде, о боже мой, как она мне понятна! Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге, холодном и праздном, в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, когда другие на меня смотрели иначе. Меня оберегали от труда. Только едва ли удалось оберечь, едва ли! Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь двадцать пять — тридцать лет работать будет уже каждый человек. Каждый!

Ч е б у т ы к и н. Я не буду работать.

Т у з е н б а х. Вы не в счет.

С о л е н ы й. Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, слава богу. Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. *(Вынимает из кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь, руки.)*

Ч е б у т ы к и н *(смеется)*. А я в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел из университета, так не ударил пальцем о палец, даже ни одной книжки не прочел, а читал только одни газеты... *(Вынимает из кармана другую газету.)* Вот... Знаю по газетам, что был, положим, Добролюбов, а что он там писал — не знаю... Бог его знает...

Слышно, как стучат в пол из нижнего этажа.

Вот... Зовут меня вниз, кто-то ко мне пришел. Сейчас приду... погодите... *(Торопливо уходит, расчесывая бороду.)*

И р и н а. Это он что-то выдумал.

Т у з е н б а х. Да. Ушел с торжественной физиономией, очевидно, принесет вам сейчас подарок.

И р и н а. Как это неприятно!

О л ь г а. Да, это ужасно. Он всегда делает глупости.

М а ш а. У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... Златая цепь на дубе том... *(Встает и напевает тихо.)*

О л ь г а. Ты сегодня невеселая, Маша.

Маша, напевая, надевает шляпу.

Куда ты?

М а ш а. Домой.

И р и н а. Странно...

Т у з е н б а х. Уходить с именин!

М а ш а. Все равно... Приду вечером. Прощай, моя хорошая... *(Целует Ирину.)* Желаю тебе еще раз, будь здорова, будь счастлива... В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именины приходило всякий раз по тридцать — сорок офицеров, было шумно, а сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне... Я уйду... Сегодня я в мерлехлюндии, невесело мне, и ты не слушай меня. *(Смеясь сквозь слезы.)* После поговорим, а пока прощай, моя милая, пойду куда-нибудь.

И р и н а *(недовольная)*. Ну, какая ты...

О л ь г а *(со слезами)*. Я понимаю тебя, Маша.

С о л е н ы й. Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика; если же философствует женщина или две женщины, то уж это будет — потяни меня за палец.

М а ш а. Что вы хотите этим сказать, ужасно страшный человек?

С о л е н ы й. Ничего. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел.

Пауза.

М а ш а *(Ольге, сердито)*. Не реви!

Входят А н ф и с а и Ф е р а п о н т с тортом.

А н ф и с а. Сюда, батюшка мой. Входи, ноги у тебя чистые. *(Ирине.)* Из земской управы, от Протопопова, Михаила Иваныча... Пирог.

И р и н а. Спасибо. Поблагодари. *(Принимает торт.)*

Ф е р а п о н т. Чего?

И р и н а *(громче)*. Поблагодари!

О л ь г а. Нянечка, дай ему пирога. Ферапонт, иди, там тебе пирога дадут.

Ф е р а п о н т. Чего?

А н ф и с а. Пойдем, батюшка Ферапонт Спиридоныч. Пойдем... *(Уходит с Ферапонтом.)*

М а ш а. Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапыча или Иваныча. Его не следует приглашать.

И р и н а. Я не приглашала.

М а ш а. И прекрасно.

Входит Ч е б у т ы к и н, за ним с о л д а т с серебряным самоваром; гул изумления и недовольства.

О л ь г а *(закрывает лицо руками)*. Самовар! Это ужасно! *(Уходит в залу к столу.)*

И р и н а. Голубчик Иван Романыч, что вы делаете!

Т у з е н б а х *(смеется)*. Я говорил вам!

М а ш а. Иван Романыч, у вас просто стыда нет!

Ч е б у т ы к и н. Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные, вы для меня самое дорогое, что только есть на свете. Мне скоро шестьдесят, я старик, одинокий, ничтожный старик... Ничего во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам, и если бы не вы, то я бы давно уже не жил на свете... *(Ирине.)* Милая, деточка моя, я знал вас со дня вашего рождения... носил на руках... я любил покойницу маму...

И р и н а. Но зачем такие дорогие подарки!

Ч е б у т ы к и н *(сквозь слезы, сердито)*. Дорогие подарки... Ну вас совсем! *(Денщику.)* Неси самовар туда... *(Дразнит.)* Дорогие подарки...

Денщик уносит самовар в залу.

А н ф и с а *(проходя через гостиную)*. Милые, полковник незнакомый! Уж пальто снял, деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, вежливенькая... *(Уходя.)* И завтракать уже давно пора... господи...

Т у з е н б а х. Вершинин, должно быть.

Входит В е р ш и н и н.

Подполковник Вершинин!

В е р ш и н и н *(Маше и Ирине)*. Честь имею представиться: Вершинин. Очень, очень рад, что наконец я у вас. Какие вы стали! Ай! ай!

И р и н а. Садитесь, пожалуйста. Нам очень приятно.

В е р ш и н и н *(весело)*. Как я рад, как я рад! Но ведь вас три сестры. Я помню — три девочки. Лиц уж не помню, но что у вашего отца, полковника Прозорова, были три маленьких девочки, я отлично помню и видел собственными глазами. Как идет время! Ой, ой, как идет время!

Т у з е н б а х. Александр Игнатьевич из Москвы.

И р и н а. Из Москвы? Вы из Москвы?

В е р ш и н и н. Да, оттуда. Ваш покойный отец был там батарейным командиром, а я в той же бригаде офицером. *(Маше.)* Вот ваше лицо немножко помню, кажется.

М а ш а. А я вас — нет!

И р и н а. Оля! Оля! *(Кричит в залу.)* Оля, иди же!

О л ь г а входит из залы в гостиную.

Подполковник Вершинин, оказывается, из Москвы.

В е р ш и н и н. Вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая... А вы Мария... А вы Ирина — младшая...

О л ь г а. Вы из Москвы?

В е р ш и н и н. Да. Учился в Москве и начал службу в Москве, долго служил там, наконец получил здесь батарею — перешел сюда, как видите. Я вас не помню собственно, помню только, что вас было три сестры. Ваш отец сохранился у меня в памяти, вот закрою глаза и вижу как живого. Я у вас бывал в Москве...

О л ь г а. Мне казалось, я всех помню, и вдруг...

В е р ш и н и н. Меня зовут Александром Игнатьевичем...

И р и н а. Александр Игнатьевич, вы из Москвы... Вот неожиданность!

О л ь г а. Ведь мы туда переезжаем.

И р и н а. Думаем, к осени уже будем там. Наш родной город, мы родились там... На Старой Басманной улице...

Обе смеются от радости.

М а ш а. Неожиданно земляка увидели. *(Живо.)* Теперь вспомнила! Помнишь, Оля, у нас говорили: «влюбленный майор». Вы были тогда поручиком, и в кого-то были влюблены, и вас все дразнили почему-то майором...

В е р ш и н и н *(смеется)*. Вот, вот... Влюбленный майор, это так...

М а ш а. У вас были тогда только усы... О, как вы постарели! *(Сквозь слезы.)* Как вы постарели!

В е р ш и н и н. Да, когда меня звали влюбленным майором, я был еще молод, был влюблен. Теперь не то.

О л ь г а. Но у вас еще ни одного седого волоса. Вы постарели, но еще не стары.

В е р ш и н и н. Однако уже сорок третий год. Вы давно из Москвы?

И р и н а. Одиннадцать лет. Ну, что ты, Маша, плачешь, чудачка... *(Сквозь слезы.)* И я заплачу...

М а ш а. Я ничего. А на какой вы улице жили?

В е р ш и н и н. На Старой Басманной.

О л ь г а. И мы там тоже...

В е р ш и н и н. Одно время я жил на Немецкой улице. С Немецкой улицы я хаживал в Красные казармы. Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе.

Пауза.

А здесь какая широкая, какая богатая река! Чудесная река!

О л ь г а. Да, но только холодно. Здесь холодно и комары...

Вершинин. Что вы! Здесь такой здоровый, хороший, славянский климат. Лес, река... и здесь тоже березы. Милые, скромные березы, я люблю их больше всех деревьев. Хорошо здесь жить. Только странно, вокзал железной дороги в двадцати верстах... И никто не знает, почему это так.

Соленый. А я знаю, почему это так.

Все глядят на него.

Потому что если бы вокзал был близко, то не был бы далеко, а если он далеко, то, значит, не близко.

Неловкое молчание.

Тузенбах. Шутник, Василий Васильич.

Ольга. Теперь и я вспомнила вас. Помню.

Вершинин. Я вашу матушку знал.

Чебутыкин. Хорошая была, царство ей небесное.

Ирина. Мама в Москве погребена.

Ольга. В Ново-Девичьем...

Маша. Представьте, я уж начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить. Забудут.

Вершинин. Да. Забудут. Такова уж судьба наша, ничего не поделаешь. То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным,—придет время,—будет забыто или будет казаться неважным.

Пауза.

И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или, положим, Колумба не казалось в первое время ненужным, смешным, а какой-нибудь пустой вздор, написанный чудаком, не казался истиной? И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной...

Тузенбах. Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий.

Соленый *(тонким голосом)*. Цып, цып, цып... Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать.

Тузенбах. Василий Васильич, прошу вас оставить меня в покое... *(Садится на другое место.)* Это скучно наконец.

Соленый *(тонким голосом)*. Цып, цып, цып...

Тузенбах *(Вершинину)*. Страдания, которые наблю-

даются теперь,— их так много! — говорят все-таки об известном нравственном подъеме, которого уже достигло общество...

Вершинин. Да, да, конечно.

Чебутыкин. Вы только что сказали, барон, нашу жизнь назовут высокой; но люди всё же низенькие... *(Встает.)* Глядите, какой я низенький. Это для моего утешения надо говорить, что жизнь моя высокая, понятная вещь.

За сценой игра на скрипке.

Маша. Это Андрей играет, наш брат.

Ирина. Он у нас ученый. Должно быть, будет профессором. Папа был военным, а его сын избрал себе ученую карьеру.

Маша. По желанию папы.

Ольга. Мы сегодня его задразнили. Он, кажется, влюблен немножко.

Ирина. В одну здешнюю барышню. Сегодня она будет у нас, по всей вероятности.

Маша. Ах, как она одевается! Не то чтобы некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная, яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. И щеки такие вымытые, вымытые! Андрей не влюблен — я не допускаю, все-таки у него вкус есть, а просто он так, дразнит нас, дурачится. Я вчера слышала, она выходит за Протопопова, председателя здешней управы. И прекрасно... *(В боковую дверь.)* Андрей, поди сюда! Милый, на минутку!

Входит Андрей.

Ольга. Это мой брат, Андрей Сергеич.

Вершинин. Вершинин.

Андрей. Прозоров. *(Утирает вспотевшее лицо.)* Вы к нам батарейным командиром?

Ольга. Можешь представить, Александр Игнатьич из Москвы.

Андрей. Да? Ну, поздравляю, теперь мои сестрицы не дадут вам покою.

Вершинин. Я уже успел надоесть вашим сестрам.

Ирина. Посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей! *(Показывает рамочку.)* Это он сам сделал.

Вершинин *(глядя на рамочку и не зная, что сказать)*. Да... вещь...

Ирина. И вот ту рамочку, что над пианино, он тоже сделал.

Андрей машет рукой и отходит.

О л ь г а. Он у нас и ученый, и на скрипке играет, и выпиливает разные штучки — одним словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи! У него манера — всегда уходить. Поди сюда!

Маша и Ирина берут его под руки и со смехом ведут назад.

М а ш а. Иди, иди!

А н д р е й. Оставьте, пожалуйста.

М а ш а. Какой смешной! Александра Игнатьевича называли когда-то влюбленным майором, и он нисколько не сердился.

В е р ш и н и н. Нисколько!

М а ш а. А я хочу тебя назвать: влюбленный скрипач!

И р и н а. Или влюбленный профессор!..

О л ь г а. Он влюблен! Андрюша влюблен!

И р и н а *(аплодируя)*. Браво, браво! Бис! Андрюшка влюблен!

Ч е б у т ы к и н *(подходит сзади к Андрею и берет его обеими руками за талию)*. Для любви одной природа нас на свет произвела! *(Хохочет; он все время с газетой.)*

А н д р е й. Ну, довольно, довольно... *(Утирает лицо.)* Я всю ночь не спал и теперь немножко не в себе, как говорится. До четырех часов читал, потом лег, но ничего не вышло. Думал о том, о сем, а тут ранний рассвет, солнце так и лезет в спальню. Хочу за лето, пока буду здесь, перевести одну книжку с английского.

В е р ш и н и н. А вы читаете по-английски?

А н д р е й. Да. Отец, царство ему небесное, угнетал нас воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом все-таки надо сознаться, после его смерти я стал полнеть и вот располнел в один год, точно мое тело освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки, а Ирина знает еще по-итальянски. Но чего это стоило!

М а ш а. В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего.

В е р ш и н и н. Вот те на! *(Смеется.)* Знаете много лишнего! Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек. Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три. Само собою разумеется, вам не победить окружающей вас темной массы; в течение вашей жизни, мало-помалу, вы должны будете уступить и затеряться в стотысячной толпе, вас заглушит жизнь, но все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния; таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так

далее, пока наконец такие, как вы, не станут большинством. Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней, он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец. *(Смеется.)* А вы жалуетесь, что знаете много лишнего.

М а ш а *(снимает шляпу)*. Я остаюсь завтракать.

И р и н а *(со вздохом)*. Право, все это следовало бы записать...

Андрея нет, он незаметно ушел.

Т у з е н б а х. Через много лет, вы говорите, жизнь на земле будет прекрасной, изумительной. Это правда. Но, чтобы участвовать в ней теперь, хотя издали, нужно приготовляться к ней, нужно работать...

В е р ш и н и н *(встает)*. Да. Сколько, однако, у вас цветов! *(Оглядываясь.)* И квартира чудесная. Завидую! А я всю жизнь мою болтался по квартиркам с двумя стульями, с одним диваном и с печами, которые всегда дымят. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов... *(Потирает руки.)* Эх! Ну, да что!

Т у з е н б а х. Да, нужно работать. Вы небось думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный...

Пауза.

В е р ш и н и н *(ходит по сцене)*. Я часто думаю: что, если бы начать жить снова, притом сознательно? Если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерно, другая — начисто! Тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого себя, по крайней мере, создал бы для себя иную обстановку жизни, устроил бы себе такую квартиру с цветами, с массою света... У меня жена, двое девочек, притом жена дама нездоровая и так далее и так далее, ну, а если бы начинать жизнь сначала, то я не женился бы... Нет, нет!

Входит К у л ы г и н в форменном фраке.

К у л ы г и н *(подходит к Ирине)*. Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела и пожелать искренно, от души, здоровья и всего того, что можно пожелать девушке твоих лет. И потом поднести тебе в подарок вот эту книжку. *(Подает книжку.)* История нашей гимназии за пятьдесят лет, написанная мною. Пустяшная книжка, написана от нечего делать,

но ты все-таки прочти. Здравствуйте, господа! *(Вершинину.)* Кулыгин, учитель здешней гимназии. Надворный советник. *(Ирине.)* В этой книжке ты найдешь список всех, кончивших курс в нашей гимназии за эти пятьдесят лет. Feci, quod potui, faciant meliora potentes [1]. *(Целует Машу.)*

И р и н а. Но ведь на пасху ты уже подарил мне такую книжку.

К у л ы г и н *(смеется)*. Не может быть! В таком случае отдай назад или вот лучше отдай полковнику. Возьмите, полковник. Когда-нибудь прочтете от скуки.

В е р ш и н и н. Благодарю вас. *(Собирается уйти.)* Я чрезвычайно рад, что познакомился...

О л ь г а. Вы уходите? Нет, нет!

И р и н а. Вы останетесь у нас завтракать. Пожалуйста.

О л ь г а. Прошу вас!

В е р ш и н и н *(кланяется)*. Я, кажется, попал на именины. Простите, я не знал, не поздравил вас... *(Уходит с Ольгой в залу.)*

К у л ы г и н. Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будем же отдыхать, будем веселиться каждый сообразно со своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы... Персидским порошком или нафталином... Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать, у них была mens sana in corpore sano [2]. Жизнь их текла по известным формам. Наш директор говорит: главное во всякой жизни — это ее форма... Что теряет свою форму, то кончается — и в нашей обыденной жизни то же самое. *(Берет Машу за талию, смеясь.)* Маша меня любит. Моя жена меня любит. И оконные занавески тоже туда с коврами... Сегодня я весел, в отличном настроении духа. Маша, в четыре часа сегодня мы у директора. Устраивается прогулка педагогов и их семейств.

М а ш а. Не пойду я.

К у л ы г и н *(огорченный)*. Милая Маша, почему?

М а ш а. После об этом... *(Сердито.)* Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста... *(Отходит.)*

К у л ы г и н. А затем вечер проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным. Превосходная, светлая личность. Великолепный человек. Вчера, после совета, он мне говорит: «Устал, Федор Ильич! Устал!» *(Смотрит на стенные часы, потом на свои.)* Ваши часы спешат на семь минут. Да, говорит, устал!

За сценой игра на скрипке.

---

[1] Сделал, что мог, пусть, кто может, сделает лучше *(лат.)*.

[2] здоровый дух в здоровом теле *(лат.)*.

О л ь г а. Господа, милости просим, пожалуйте завтракать! Пирог!

К у л ы г и н. Ах, милая моя Ольга, милая моя! Я вчера работал с утра до одиннадцати часов вечера, устал и сегодня чувствую себя счастливым. *(Уходит в залу к столу.)* Милая моя...

Ч е б у т ы к и н *(кладет газету в карман, причесывает бороду)*. Пирог? Великолепно!

М а ш а *(Чебутыкину, строго)*. Только смотрите: ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить.

Ч е б у т ы к и н. Эва! У меня уж прошло. Два года как запоя не было. *(Нетерпеливо.)* Э, матушка, да не все ли равно!

М а ш а. Все-таки не смейте пить. Не смейте. *(Сердито, но так, чтобы не слышал муж.)* Опять, черт подери, скучать целый вечер у директора!

Т у з е н б а х. Я бы не пошел на вашем месте... Очень просто.

Ч е б у т ы к и н. Не ходите, дуся моя.

М а ш а. Да, не ходите... Эта жизнь проклятая, невыносимая... *(Идет в залу.)*

Ч е б у т ы к и н *(идет за ней)*. Ну-у!

С о л е н ы й *(проходя в залу)*. Цып, цып, цып...

Т у з е н б а х. Довольно, Василий Васильич. Будет!

С о л е н ы й. Цып, цып, цып...

К у л ы г и н *(весело)*. Ваше здоровье, полковник! Я педагог и здесь, в доме, свой человек, Машин муж... Она добрая, очень добрая.

В е р ш и н и н. Я выпью вот этой темной водки... *(Пьет.)* Ваше здоровье! *(Ольге.)* Мне у вас так хорошо!..

В гостиной остаются только Ирина и Тузенбах.

И р и н а. Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж восемнадцати лет, когда он казался ей самым умным человеком. А теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный.

О л ь г а *(нетерпеливо)*. Андрей, иди же наконец!

А н д р е й *(за сценой)*. Сейчас. *(Входит и идет к столу.)*

Т у з е н б а х. О чем вы думаете?

И р и н а. Так. Я не люблю и боюсь этого вашего Соленого. Он говорит одни глупости...

Т у з е н б а х. Странный он человек. Мне и жаль его и досадно, но больше жаль. Мне кажется, он застенчив... Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков, а в обществе он грубый человек, бретер. Не ходите, пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. О чем вы думаете?

Пауза.

Вам двадцать лет, мне еще нет тридцати. Сколько лет нам осталось впереди, длинный, длинный ряд дней, полных моей любви к вам.

И р и н а. Николай Львович, не говорите мне о любви.

Т у з е н б а х *(не слушая)*. У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина, и, как нарочно, вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной! О чем вы думаете?

И р и н а. Вы говорите: прекрасна жизнь. Да, но если она только кажется такой! У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава... Текут у меня слезы. Это не нужно... *(Быстро вытирает лицо, улыбается.)* Работать нужно, работать. Оттого нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд...

Н а т а л ь я И в а н о в н а входит; она в розовом платье, с зеленым поясом.

Н а т а ш а. Там уже завтракать садятся... Я опоздала... *(Мельком глядится в зеркало, поправляется.)* Кажется, причесана ничего себе... *(Увидев Ирину.)* Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас! *(Целует крепко и продолжительно.)* У вас много гостей, мне, право, совестно... Здравствуйте, барон!

О л ь г а *(входя в гостиную)*. Ну, вот и Наталия Ивановна. Здравствуйте, моя милая!

Целуются.

Н а т а ш а. С именинницей. У вас такое большое общество, я смущена ужасно...

О л ь г а. Полно, у нас всё свои. *(Вполголоса, испуганно.)* На вас зеленый пояс! Милая, это нехорошо!

Н а т а ш а. Разве есть примета?

О л ь г а. Нет, просто не идет... и как-то странно...

Н а т а ш а *(плачущим голосом)*. Да? Но ведь это не зеленый, а скорее матовый. *(Идет за Ольгой в залу.)*

В зале садятся завтракать; в гостиной ни души.

К у л ы г и н. Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего. Пора тебе уж выходить.

Ч е б у т ы к и н. Наталья Ивановна, и вам женишка желаю.

К у л ы г и н. У Натальи Ивановны уже есть женишок.

М а ш а *(стучит вилкой по тарелке)*. Выпью рюмочку винца! Эхма, жизнь малиновая, где наша не пропадала!

К у л ы г и н. Ты ведешь себя на три с минусом.

В е р ш и н и н. А наливка вкусная. На чем это настояно?

Соленый. На тараканах.

Ирина *(плачущим голосом)*. Фу! Фу! Какое отвращение!..

Ольга. За ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками. Слава богу, сегодня целый день я дома, вечером — дома... Господа, вечером приходите...

Вершинин. Позвольте и мне прийти вечером!

Ирина. Пожалуйста.

Наташа. У них попросту.

Чебутыкин. Для любви одной природа нас на свет произвела. *(Смеется.)*

Андрей *(сердито)*. Перестаньте, господа! Не надоело вам.

Федотик и Родэ входят с большой корзиной цветов.

Федотик. Однако уже завтракают.

Родэ *(громко и картавя)*. Завтракают? Да, уже завтракают...

Федотик. Погоди минутку! *(Снимает фотографию.)* Раз! Погоди еще немного... *(Снимает другую фотографию.)* Два! Теперь готово!

Берут корзину и идут в залу, где их встречают с шумом.

Родэ *(громко)*. Поздравляю, желаю всего, всего! Погода сегодня очаровательная, одно великолепие. Сегодня все утро гулял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнастику...

Федотик. Можете двигаться, Ирина Сергеевна, можете! *(Снимая фотографию.)* Вы сегодня интересны. *(Вынимает из кармана волчок.)* Вот, между прочим, волчок... Удивительный звук...

Ирина. Какая прелесть!

Маша. У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... Златая цепь на дубе том... *(Плаксиво.)* Ну, зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра...

Кулыгин. Тринадцать за столом!

Родэ *(громко)*. Господа, неужели вы придаете значение предрассудкам?

Смех.

Кулыгин. Если тринадцать за столом, то, значит, есть тут влюбленные. Уж не вы ли, Иван Романович, чего доброго...

Смех.

Чебутыкин. Я старый грешник, а вот отчего Наталья Ивановна сконфузилась, решительно понять не могу.

Громкий смех; Наташа выбегает из залы в гостиную, за ней Андрей.

А н д р е й. Полно, не обращайте внимания! Погодите... постойте, прошу вас...

Н а т а ш а. Мне стыдно... Я не знаю, что со мной делается, а они поднимают меня на смех. То, что я сейчас вышла из-за стола, неприлично, но я не могу... не могу... *(Закрывает лицо руками.)*

А н д р е й. Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь. Уверяю вас, они шутят, они от доброго сердца. Дорогая моя, моя хорошая, они все добрые, сердечные люди и любят меня и вас. Идите сюда к окну, нас здесь не видно им... *(Оглядывается.)*

Н а т а ш а. Я так не привыкла бывать в обществе!..

А н д р е й. О молодость, чудная, прекрасная молодость! Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь так!.. Верьте мне, верьте... Мне так хорошо, душа полна любви, восторга... О, нас не видят! Не видят! За что, за что я полюбил вас, когда полюбил — о, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой! Я вас люблю, люблю... как никого никогда...

Поцелуй.

Д в а о ф и ц е р а входят и, увидев целующуюся пару, останавливаются в изумлении.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорация первого акта.

Восемь часов вечера. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня. Входит Н а т а л ь я И в а н о в н а в капоте, со свечой; она идет и останавливается у двери, которая ведет в комнату Андрея.

Н а т а ш а. Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь? Ничего, я так только... *(Идет, отворяет другую дверь и, заглянув в нее, затворяет.)* Огня нет ли...

А н д р е й *(входит с книгой в руке)*. Ты что, Наташа?

Н а т а ш а. Смотрю, огня нет ли... Теперь масленица, прислуга сама не своя, гляди да и гляди, чтоб чего не вышло. Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. Кто зажег, так и не добилась толку. *(Ставит свечу.)* Который час?

А н д р е й *(взглянув на часы)*. Девятого четверть.

Н а т а ш а. А Ольги и Ирины до сих пор еще нет. Не пришли. Все трудятся, бедняжки. Ольга на педагогическом совете, Ирина на телеграфе... *(Вздыхает.)* Сегодня утром говорю твоей сестре: «Побереги, говорю, себя, Ирина, голубчик». И не слушает. Четверть девятого, говоришь? Я боюсь, Бобик наш совсем нездоров.

Отчего он холодный такой? Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь... Я так боюсь!

А н д р е й. Ничего, Наташа. Мальчик здоров.

Н а т а ш а. Но все-таки лучше пускай диета. Я боюсь. И сегодня в десятом часу, говорили, ряженые у нас будут, лучше бы они не приходили, Андрюша.

А н д р е й. Право, я не знаю. Их ведь звали.

Н а т а ш а. Сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня, и вдруг улыбнулся: значит, узнал. «Бобик, говорю, здравствуй! Здравствуй, милый!» А он смеется. Дети понимают, отлично понимают. Так, значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженых не принимали.

А н д р е й *(нерешительно)*. Да ведь это как сестры. Они тут хозяйки.

Н а т а ш а. И они тоже, я им скажу. Они добрые... *(Идет.)* К ужину я велела простокваши. Доктор говорит, тебе нужно одну простоквашу есть, иначе не похудеешь. *(Останавливается.)* Бобик холодный. Я боюсь, ему холодно в его комнате, пожалуй. Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате. Например, у Ирины комната как раз для ребенка: и сухо, и целый день солнце. Надо ей сказать, она пока может с Ольгой в одной комнате... Все равно днем дома не бывает, только ночует...

Пауза.

Андрюшанчик, отчего ты молчишь?

А н д р е й. Так, задумался... Да и нечего говорить...

Н а т а ш а. Да... что-то я хотела тебе сказать... Ах да, там из управы Ферапонт пришел, тебя спрашивает.

А н д р е й *(зевает)*. Позови его.

Наташа уходит; Андрей, нагнувшись к забытой ею свече, читает книгу. Входит Ф е р а п о н т; он в старом трепаном пальто, с поднятым воротником, уши повязаны.

Здравствуй, душа моя. Что скажешь?

Ф е р а п о н т. Председатель прислал книжку и бумагу какую-то. Вот... *(Подает книгу и пакет.)*

А н д р е й. Спасибо. Хорошо. Отчего же ты пришел так не рано? Ведь девятый час уже.

Ф е р а п о н т. Чего?

А н д р е й *(громче)*. Я говорю, поздно пришел, уже девятый час.

Ф е р а п о н т. Так точно. Я пришел к вам, еще светло было, да не пускали все. Барин, говорят, занят. Ну что ж. Занят так

занят, спешить мне некуда. *(Думая, что Андрей спрашивает его о чем-то.)* Чего?

А н д р е й. Ничего. *(Рассматривая книгу.)* Завтра пятница, у нас нет присутствия, но я все равно приду... Займусь. Дома скучно...

Пауза.

Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь! Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял в руки вот эту книгу — старые университетские лекции, и мне стало смешно... Боже мой, я секретарь земской управы, той управы, где председательствует Протопопов, я секретарь, и самое большее, на что я могу надеяться,— это быть членом земской управы! Мне быть членом здешней земской управы! Мне, которому снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля!

Ф е р а п о н т. Не могу знать... Слышу-то плохо...

А н д р е й. Если бы ты слышал как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой. Мне нужно говорить с кем-нибудь, а жена меня не понимает, сестер я боюсь почему-то, боюсь, что они засмеют меня, застыдят... Я не пью, трактиров не люблю, но с каким удовольствием я посидел бы теперь в Москве у Тестова или в Большом Московском, голубчик мой.

Ф е р а п о н т. А в Москве, в управе давеча рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели блины; один, который съел сорок блинов, будто помер. Не то сорок, не то пятьдесят. Не упомню.

А н д р е й. Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь, и тебя никто не знает, и в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всех знаешь и тебя все знают, но чужой, чужой... Чужой и одинокий.

Ф е р а п о н т. Чего?

Пауза.

И тот же подрядчик сказывал — может, и врет,— будто поперек всей Москвы канат протянут.

А н д р е й. Для чего?

Ф е р а п о н т. Не могу знать. Подрядчик говорил.

А н д р е й. Чепуха. *(Читает книгу.)* Ты был когда-нибудь в Москве?

Ф е р а п о н т *(после паузы)*. Не был. Не привел бог.

Пауза.

Мне идти?

А н д р е й. Можешь идти. Будь здоров.

Ферапонт уходит.

Будь здоров. *(Читая.)* Завтра утром придешь, возьмешь тут бумаги... Ступай...

Пауза.

Он ушел.

Звонок.

Да, дела... *(Потягивается и не спеша уходит к себе.)*

За сценой поет нянька, укачивая ребенка. Входят М а ш а и В е р ш и н и н. Пока они беседуют, г о р н и ч н а я зажигает лампу и свечи.

М а ш а. Не знаю.

Пауза.

Не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди — это военные.

В е р ш и н и н. Мне пить хочется. Я бы выпил чаю.

М а ш а *(взглянув на часы)*. Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было восемнадцать лет, и я своего мужа боялась, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь уж не то, к сожалению.

В е р ш и н и н. Так... да.

М а ш а. Про мужа я не говорю, к нему я привыкла, но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость, я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю...

В е р ш и н и н. Да-с... Но мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинаково неинтересно, по крайней мере, в этом городе. Все равно! Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадьми замучился... Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?

М а ш а. Почему?

В е р ш и н и н. Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились?

М а ш а. Вы сегодня немножко не в духе.

В е р ш и н и н. Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко, а когда болеют мои

девочки, то мною овладевает тревога, меня мучает совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы видели ее сегодня! Что за ничтожество! Мы начали браниться с семи часов утра, а в девять я хлопнул дверью и ушел.

Пауза.

Я никогда не говорю об этом и, странно, жалуюсь только вам одной. *(Целует руку.)* Не сердитесь на меня. Кроме вас одной, у меня нет никого, никого...

Пауза.

М а ш а. Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так.

В е р ш и н и н. Вы с предрассудками?

М а ш а. Да.

В е р ш и н и н. Странно это. *(Целует руку.)* Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная! Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз.

М а ш а *(садится на другой стул)*. Здесь светлей...

В е р ш и н и н. Я люблю, люблю, люблю... Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся... Великолепная, чудная женщина!

М а ш а *(тихо смеясь)*. Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас... *(Вполголоса.)* А впрочем, говорите, мне все равно... *(Закрывает лицо руками.)* Мне все равно. Сюда идут, говорите о чем-нибудь другом...

И р и н а и Т у з е н б а х входят через залу.

Т у з е н б а х. У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах-Кроне-Альтшауер, но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало, разве только терпеливость, упрямство, с каким я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер.

И р и н а. Как я устала!

Т у з е н б а х. И каждый день буду приходить на телеграф и провожать вас домой, буду десять — двадцать лет, пока вы не прогоните... *(Увидев Машу и Вершинина, радостно.)* Это вы? Здравствуйте.

И р и н а. Вот я и дома наконец. *(Маше.)* Сейчас приходит одна дама, телеграфирует своему брату в Саратов, что у ней сегодня сын умер, и никак не может вспомнить адреса. Так и послала без адреса, просто в Саратов. Плачет. И я ей нагрубила ни с того ни с сего. «Мне, говорю, некогда». Так глупо вышло. Сегодня у нас ряженые?

М а ш а. Да.

И р и н а *(садится в кресло)*. Отдохнуть. Устала.

Т у з е н б а х *(с улыбкой)*. Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой молоденькой, несчастненькой...

Пауза.

И р и н а. Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю.

М а ш а. Ты похудела... *(Насвистывает.)* И помолодела, и на мальчишку стала похожа лицом.

Т у з е н б а х. Это от прически.

И р и н а. Надо поискать другую должность, а эта не по мне. Чего я так хотела, о чем мечтала, того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей...

Стук в пол.

Доктор стучит. *(Тузенбаху.)* Милый, постучите... Я не могу... устала...

Тузенбах стучит в пол.

Сейчас придет. Надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе и опять проигрались. Говорят, Андрей двести рублей проиграл.

М а ш а *(равнодушно)*. Что ж теперь делать!

И р и н а. Две недели назад проиграл, в декабре проиграл. Скорее бы все проиграл, быть может, уехали бы из этого города. Господи боже мой, мне Москва снится каждую ночь, я совсем как помешанная. *(Смеется.)* Мы переезжаем туда в июне, а до июня осталось еще... февраль, март, апрель, май... почти полгода!

М а ш а. Надо только, чтобы Наташа не узнала как-нибудь о проигрыше.

И р и н а. Ей, я думаю, все равно.

Ч е б у т ы к и н, только что вставший с постели,— он отдыхал после обеда,— входит в залу и причесывает бороду, потом садится за стол и вынимает из кармана газету.

М а ш а. Вот пришел... Он заплатил за квартиру?

И р и н а *(смеется)*. Нет. За восемь месяцев ни копеечки. Очевидно, забыл.

М а ш а *(смеется)*. Как он важно сидит!

Все смеются; пауза.

И р и н а. Что вы молчите, Александр Игнатьич?

В е р ш и н и н. Не знаю. Чаю хочется. Полжизни за стакан чаю! С утра ничего не ел...

Чебутыкин. Ирина Сергеевна!

Ирина. Что вам?

Чебутыкин. Пожалуйте сюда. Venez ici[1].

Ирина идет и садится за стол.

Я без вас не могу.

Ирина раскладывает пасьянс.

Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем.

Тузенбах. Давайте. О чем?

Вершинин. О чем? Давайте помечтаем... например, о той жизни, какая будет после нас, лет через двести — триста.

Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «Ах, тяжко жить!» — вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.

Вершинин *(подумав)*. Как вам сказать? Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести — триста, наконец тысячу лет,— дело не в сроке,— настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее — и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье.

Маша тихо смеется.

Тузенбах. Что вы?

Маша. Не знаю. Сегодня весь день смеюсь с утра.

Вершинин. Я кончил там же, где и вы, в академии я не был; читаю я много, но выбирать книг не умею и читаю, быть может, совсем не то, что нужно, а между тем, чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах, как мало! Но все же, мне кажется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье — это удел наших далеких потомков.

Пауза.

Не я, то хоть потомки потомков моих.

Федотик и Родэ показываются в зале; они садятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре.

---

[1] Идите сюда *(франц.)*.

Т у з е н б а х. По-вашему, даже не мечтать о счастье! Но если я счастлив!

В е р ш и н и н. Нет.

Т у з е н б а х *(всплеснув руками и смеясь)*. Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас?

Маша тихо смеется.

(Показывая ей палец.) Смейтесь! *(Вершинину.)* Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была; она не меняется, остается постоянною, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят, и какие бы мысли, высокие или малые, ни бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них; и пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели...

М а ш а. Все-таки смысл?

Т у з е н б а х. Смысл... Вот снег идет. Какой смысл?

Пауза.

М а ш а. Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава.

Пауза.

В е р ш и н и н. Все-таки жалко, что молодость прошла...

М а ш а. У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа!

Т у з е н б а х. А я скажу: трудно с вами спорить, господа! Ну вас совсем...

Ч е б у т ы к и н *(читая газету)*. Бальзак венчался в Бердичеве.

Ирина напевает тихо.

Даже запишу себе это в книжку. *(Записывает.)* Бальзак венчался в Бердичеве. *(Читает газету.)*

И р и н а *(раскладывает пасьянс, задумчиво)*. Бальзак венчался в Бердичеве.

Т у з е н б а х. Жребий брошен. Вы знаете, Мария Сергеевна, я подал в отставку.

М а ш а. Слышала. И ничего я не вижу в этом хорошего. Не люблю я штатских.

Тузенбах. Все равно... *(Встает.)* Я некрасив, какой я военный? Ну, да все равно, впрочем... Буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть тотчас же. *(Уходя в залу.)* Рабочие, должно быть, спят крепко!

Федотик *(Ирине)*. Сейчас на Московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек...

Ирина. Вы привыкли обращаться со мной, как с маленькой, но ведь я уже выросла... *(Берет карандаши и ножичек, радостно.)* Какая прелесть!

Федотик. А для себя я купил ножик... вот поглядите... нож, еще другой нож, третий, это в ушах ковырять, это ножнички, это ногти чистить...

Родэ *(громко)*. Доктор, сколько вам лет?

Чебутыкин. Мне? Тридцать два.

Смех.

Федотик. Я сейчас покажу вам другой пасьянс... *(Раскладывает пасьянс)*.

Подают самовар; Анфиса около самовара; немного погодя приходит Наташа и тоже суетится около стола; приходит Соленый и, поздоровавшись, садится за стол.

Вершинин. Однако какой ветер!

Маша. Да. Надоела зима. Я уже и забыла, какое лето.

Ирина. Выйдет пасьянс, я вижу. Будем в Москве.

Федотик. Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку пик. *(Смеется.)* Значит, вы не будете в Москве.

Чебутыкин *(читает газету)*. Цицикар. Здесь свирепствует оспа.

Анфиса *(подходя к Маше)*. Маша, чай кушать, матушка. *(Вершинину.)* Пожалуйте, ваше высокоблагородие... простите, батюшка, забыла имя, отчество...

Маша. Принеси сюда, няня. Туда не пойду.

Ирина. Няня!

Анфиса. Иду-у!

Наташа *(Соленому)*. Грудные дети прекрасно понимают. «Здравствуй, говорю, Бобик. Здравствуй, милый!» Он взглянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать, но нет, нет, уверяю вас! Это необыкновенный ребенок.

Соленый. Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы. *(Идет со стаканом в гостиную и садится в угол.)*

Наташа *(закрыв лицо руками)*. Грубый, невоспитанный человек!

М а ш а. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась бы равнодушно к погоде...

В е р ш и н и н. На днях я читал дневник одного французского министра, писанный в тюрьме. Министр был осужден за Панаму. С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит в тюремном окне и которых не замечал раньше, когда был министром. Теперь, конечно, когда он выпущен на свободу, он уже по-прежнему не замечает птиц. Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней. Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его.

Т у з е н б а х *(берет со стола коробку.)* Где же конфеты?

И р и н а. Соленый съел.

Т у з е н б а х. Все?

А н ф и с а *(подавая чай)*. Вам письмо, батюшка.

В е р ш и н и н. Мне? *(Берет письмо.)* От дочери. *(Читает.)* Да, конечно... Я, извините, Мария Сергеевна, уйду потихоньку. Чаю не буду пить. *(Встает взволнованный.)* Вечно эти истории...

М а ш а. Что такое? Не секрет?

В е р ш и н и н *(тихо)*. Жена опять отравилась. Надо идти. Я пройду незаметно. Ужасно неприятно все это. *(Целует Маше руку.)* Милая моя, славная, хорошая женщина... Я здесь пройду потихоньку... *(Уходит.)*

А н ф и с а. Куда ж он? А я чай подала... Экой какой.

М а ш а *(рассердившись)*. Отстань! Пристаешь тут, покоя от тебя нет... *(Идет с чашкой к столу.)* Надоела ты мне, старая!

А н ф и с а. Что ж ты обижаешься? Милая!

Голос Андрея: «Анфиса!»

(Дразнит.) Анфиса! Сидит там... *(Уходит.)*

М а ш а *(в зале у стола, сердито.)* Дайте же мне сесть! *(Мешает на столе карты.)* Расселись тут с картами. Пейте чай!

И р и н а. Ты, Машка, злая.

М а ш а. Раз я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня!

Ч е б у т ы к и н *(смеясь)*. Не трогайте ее, не трогайте...

М а ш а. Вам шестьдесят лет, а вы, как мальчишка, всегда городите черт знает что.

Н а т а ш а *(вздыхает)*. Милая Маша, к чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной наружности в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Je vous prie pardonnez moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières [1].

[1] Прошу извинить меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры *(франц.)*.

Тузенбах *(сдерживая смех)*. Дайте мне... дайте мне... Там, кажется, коньяк...

Наташа. Il paraît, que mon Бобик déjà ne dort pas[1], проснулся. Он у меня сегодня нездоров. Я пойду к нему, простите... *(Уходит.)*

Ирина. А куда ушел Александр Игнатьич?

Маша. Домой. У него опять с женой что-то необычайное.

Тузенбах *(идет к Соленому, в руках графинчик с коньяком)*. Все вы сидите один, о чем-то думаете — и не поймешь, о чем. Ну, давайте мириться. Давайте выпьем коньяку.

Пьют.

Сегодня мне придется играть на пианино всю ночь, вероятно, играть всякий вздор. Куда ни шло!

Соленый. Почему мириться? Я с вами не ссорился.

Тузенбах. Всегда вы возбуждаете такое чувство, как будто между нами что-то произошло. У вас характер странный, надо сознаться.

Соленый *(декламируя)*. Я странен, не странен кто ж! Не сердись, Алеко!

Тузенбах. И при чем тут Алеко...

Пауза.

Соленый. Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего, я как все, но в обществе я уныл, застенчив и... говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень, очень многих... И могу это доказать.

Тузенбах. Я часто сержусь на вас, вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе, но все же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло, напьюсь сегодня. Выпьем!

Соленый. Выпьем.

Пьют.

Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. *(Тихо.)* Я даже немножко похож на Лермонтова... как говорят... *(Достает из кармана флакон с духами и льет на руки.)*

Тузенбах. Подаю в отставку. Баста! Пять лет все раздумывал и наконец решил. Буду работать.

Соленый *(декламируя)*. Не сердись, Алеко... Забудь, забудь мечтания свои...

Пока они говорят, Андрей входит с книгой тихо и садится у свечи.

---

[1] Кажется, мой Бобик уже не спит *(франц.)*.

Тузенбах. Буду работать...

Чебутыкин *(идя в гостиную с Ириной)*. И угощение было тоже настоящее кавказское: суп с луком, а на жаркое — чехартма, мясное.

Соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука.

Чебутыкин. Нет-с, ангел мой. Чехартма не лук, а жаркое из баранины.

Соленый. А я вам говорю, черемша — лук.

Чебутыкин. А я вам говорю, чехартма — баранина.

Соленый. А я вам говорю, черемша — лук.

Чебутыкин. Что же я буду с вами спорить. Вы никогда не были на Кавказе и не ели чехартмы.

Соленый. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока.

Андрей *(умоляюще)*. Довольно, господа! Прошу вас!

Тузенбах. Когда придут ряженые?

Ирина. Обещали к девяти; значит, сейчас.

Тузенбах *(обнимает Андрея)*. Ах, вы, сени, мои сени, сени новые мои...

Андрей *(пляшет и поет)*. Сени новые, кленовые...

Чебутыкин *(пляшет)*. Решетчаты-е!

Смех.

Тузенбах *(целует Андрея)*. Черт возьми, давайте выпьем, Андрюша, давайте выпьем на «ты». И я с тобой, Андрюша, в Москву, в университет.

Соленый. В какой? В Москве два университета.

Андрей. В Москве один университет.

Соленый. А я вам говорю — два.

Андрей. Пускай хоть три. Тем лучше.

Соленый. В Москве два университета!

Ропот и шиканье.

В Москве два университета: старый и новый. А если вам неугодно слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу не говорить. Я даже могу уйти в другую комнату... *(Уходит в одну из дверей.)*

Тузенбах. Браво, браво! *(Смеется.)* Господа, начинайте, я сажусь играть! Смешной этот Соленый... *(Садится за пианино, играет вальс.)*

Маша *(танцует вальс одна)*. Барон пьян, барон пьян, барон пьян!

Входит Наташа.

Н а т а ш а *(Чебутыкину)*. Иван Романыч! *(Говорит о чем-то Чебутыкину, потом тихо уходит.)*

Чебутыкин трогает Тузенбаха за плечо и шепчет ему о чем-то.

И р и н а. Что такое?

Ч е б у т ы к и н. Нам пора уходить. Будьте здоровы.

Т у з е н б а х. Спокойной ночи. Пора уходить.

И р и н а. Позвольте... А ряженые?..

А н д р е й *(сконфуженный)*. Ряженых не будет. Видишь ли, моя милая, Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров, и потому... Одним словом, я не знаю, мне решительно все равно.

И р и н а *(пожимая плечами)*. Бобик нездоров!

М а ш а. Где наша не пропадала! Гонят, стало быть, надо уходить. *(Ирине.)* Не Бобик болен, а она сама... Вот! *(Стучит пальцем по лбу.)* Мещанка!

Андрей уходит в правую дверь к себе, Чебутыкин идет за ним; в зале прощаются.

Ф е д о т и к. Какая жалость! Я рассчитывал провести вечерок, но если болен ребеночек, то, конечно... Я завтра принесу ему игрушек...

Р о д э *(громко)*. Я сегодня нарочно выспался после обеда, думал, что всю ночь буду танцевать. Ведь теперь только девять часов.

М а ш а. Выйдем на улицу, там потолкуем. Решим, что и как.

Слышно: «Прощайте! Будьте здоровы!» Слышен веселый смех Тузенбаха. Все уходят. Анфиса и горничная убирают со стола, тушат огни. Слышно, как поет нянька. А н д р е й в пальто и шляпе и Ч е б у т ы к и н тихо входят.

Ч е б у т ы к и н. Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния, да и потому, что безумно любил твою матушку, которая была замужем...

А н д р е й. Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно.

Ч е б у т ы к и н. Так-то оно так, да одиночество. Как там ни философствуй, а одиночество страшная штука, голубчик мой... Хотя, в сущности... конечно, решительно все равно!

А н д р е й. Пойдемте скорей.

Ч е б у т ы к и н. Что же спешить? Успеем.

А н д р е й. Я боюсь, жена бы не остановила.

Ч е б у т ы к и н. А!

А н д р е й. Сегодня я играть не стану, только так посижу. Нездоровится... Что мне делать, Иван Романыч, от одышки?

Ч е б у т ы к и н. Что спрашивать! Не помню, голубчик. Не знаю.

А н д р е й. Пройдем кухней.

Звонок, потом опять звонок; слышны голоса, смех. Уходят.

И р и н а *(входит)*. Что там?

А н ф и с а *(шепотом)*. Ряженые!

Звонок.

И р и н а. Скажи, нянечка, дома нет никого. Пусть извинят.

Анфиса уходит. Ирина в раздумье ходит по комнате; она взволнована. Входит С о л е н ы й.

С о л е н ы й *(в недоумении)*. Никого нет... А где же все?

И р и н а. Ушли домой.

С о л е н ы й. Странно. Вы одни тут?

И р и н а. Одна.

Пауза.

Прощайте.

С о л е н ы й. Давеча я вел себя недостаточно сдержанно, нетактично. Но вы не такая, как все, вы высоки и чисты, вам видна правда... Только вы одна можете понять меня. Я люблю, глубоко, бесконечно люблю...

И р и н а. Прощайте! Уходите.

С о л е н ы й. Я не могу жить без вас. *(Идя за ней.)* О мое блаженство! *(Сквозь слезы.)* О счастье! Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины...

И р и н а *(холодно)*. Перестаньте, Василий Васильич!

С о л е н ы й. Первый раз я говорю о любви к вам, и точно я не на земле, а на другой планете. *(Трет себе лоб.)* Ну, да все равно. Насильно мил не будешь, конечно... Но счастливых соперников у меня не должно быть... Не должно... Кляпусь вам всем святым, соперника я убью... О чудная!

Наташа проходит со свечой.

Н а т а ш а *(заглядывает в одну дверь, в другую и проходит мимо двери, ведущей в комнату мужа)*. Тут Андрей. Пусть читает. Вы простите, Василий Васильич, я не знала, что вы здесь, я по-домашнему...

С о л е н ы й. Мне все равно. Прощайте! *(Уходит.)*

Н а т а ш а. А ты устала, милая, бедная моя девочка! *(Целует Ирину.)* Ложилась бы спать пораньше.

И р и н а. Бобик спит?

Н а т а ш а. Спит. Но неспокойно спит. Кстати, милая, я хо-

тела тебе сказать, да все то тебя нет, то мне некогда... Бобику в теперешней детской, мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребенка. Милая, родная, переберись пока к Оле!

И р и н а *(не понимая)*. Куда?

Слышно, к дому подъезжает тройка с бубенчиками.

Н а т а ш а. Ты с Олей будешь в одной комнате, пока что, а твою комнату Бобику. Он такой милашка, сегодня я говорю ему: «Бобик, ты мой! Мой!» А он на меня смотрит своими глазеночками.

Звонок.

Должно быть, Ольга. Как она поздно!

Г о р н и ч н а я подходит к Наташе и шепчет ей на ухо.

Протопопов? Какой чудак. Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке. *(Смеется.)* Какие странные эти мужчины...

Звонок.

Кто-то там пришел. Поехать разве на четверть часика прокатиться... *(Горничной.)* Скажи, сейчас.

Звонок.

Звонят... там Ольга, должно быть... *(Уходит.)*

Горничная убегает; Ирина сидит задумавшись; входят К у л ы г и н, О л ь г а, за ними В е р ш и н и н.

К у л ы г и н. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер.

В е р ш и н и н. Странно, я ушел недавно, полчаса назад, и ждали ряженых...

И р и н а. Все ушли.

К у л ы г и н. И Маша ушла? Куда она ушла? А зачем Протопопов внизу ждет на тройке? Кого он ждет?

И р и н а. Не задавайте вопросов... Я устала.

К у л ы г и н. Ну, капризница.

О л ь г а. Совет только что кончился. Я замучилась. Наша начальница больна, теперь я вместо нее. Голова, голова болит, голова... *(Садится.)* Андрей проиграл вчера в карты двести рублей... Весь город говорит об этом...

К у л ы г и н. Да, и я устал на совете. *(Садится.)*

В е р ш и н и н. Жена моя сейчас вздумала попугать меня, едва не отравилась. Все обошлось, и я рад, отдыхаю теперь... Стало быть, надо уходить? Что ж, позвольте пожелать всего хоро-

шего. Федор Ильич, поедемте со мной куда-нибудь! Я дома не могу оставаться, совсем не могу... Поедемте!

К у л ы г и н. Устал. Не поеду. *(Встает.)* Устал. Жена домой пошла?

И р и н а. Должно быть.

К у л ы г и н *(целует Ирине руку)*. Прощай. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего! *(Идет.)* Чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе и — о, fallacem hominum spem![1] Винительный падеж при восклицании...

В е р ш и н и н. Значит, один поеду. *(Уходит с Кулыгиным, посвистывая.)*

О л ь г а. Голова болит, голова... Андрей проиграл... весь город говорит.... Пойду лягу. *(Идет.)* Завтра я свободна... О боже мой, как это приятно! Завтра свободна, послезавтра свободна... Голова болит, голова... *(Уходит.)*

И р и н а *(одна)*. Все ушли. Никого нет.

На улице гармоника, нянька поет песню.

Н а т а ш а *(в шубе и шапке идет через залу; за ней горничная)*. Через полчаса я буду дома. Только проедусь немножко. *(Уходит.)*

И р и н а *(оставшись одна, тоскует)*. В Москву! В Москву! В Москву!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната Ольги и Ирины. Налево и направо постели, загороженные ширмами. Третий час ночи. За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме еще не ложились спать. На диване лежит М а ш а, одетая, как обыкновенно, в черное платье. Входят О л ь г а и А н ф и с а.

А н ф и с а. Сидят теперь внизу под лестницей... Я говорю — «пожалуйте наверх, нешто, говорю, можно так»,— плачут. «Папаша, говорят, не знаем где. Не дай бог, говорят, сгорел». Выдумали! И на дворе какие-то... тоже раздетые.

О л ь г а *(вынимает из шкафа платье)*. Вот это серенькое возьми... И вот это... кофточку тоже... И эту юбку бери, нянечка... Что же это такое, боже мой! Кирсановский переулок весь сгорел, очевидно... Это возьми... Это возьми... *(Кидает ей на руки платье.)* Вершинины, бедные, напугались... Их дом едва не сгорел. Пусть

[1] о, призрачная надежда людская! *(лат.)*

у нас переночуют... домой их нельзя пускать... У бедного Федотика все сгорело, ничего не осталось...

А н ф и с а. Ферапонта позвала бы, Олюшка, а то не донесу...

О л ь г а *(звонит)*. Не дозвонишься... *(В дверь.)* Подите сюда, кто там есть!

В открытую дверь видно окно, красное от зарева; слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда.

Какой это ужас! И как надоело!

Входит Ф е р а п о н т.

Вот возьми снеси вниз... Там под лестницей стоят барышни Колотилины... отдай им. И это отдай...

Ф е р а п о н т. Слушаю. В двенадцатом году Москва тоже горела. Господи ты боже мой! Французы удивлялись.

О л ь г а. Иди, ступай.

Ф е р а п о н т. Слушаю. *(Уходит.)*

О л ь г а. Нянечка, милая, все отдавай. Ничего нам не надо, все отдавай, нянечка... Я устала, едва на ногах стою... Вершининых нельзя отпускать домой... Девочки лягут в гостиной, а Александра Игнатьича вниз к барону... Федотика тоже к барону, или пусть у нас в зале... Доктор, как нарочно, пьян, ужасно пьян, и к нему никого нельзя. И жену Вершинина тоже в гостиной.

А н ф и с а *(утомленно)*. Олюшка, милая, не гони ты меня! Не гони!

О л ь г а. Глупости ты говоришь, няня. Никто тебя не гонит.

А н ф и с а *(кладет ей голову на грудь)*. Родная моя, золотая моя, я тружусь, я работаю... Слаба стану, все скажут: пошла! А куда я пойду? Куда? Восемьдесят лет. Восемьдесят второй год...

О л ь г а. Ты посиди, нянечка... Устала ты, бедная... *(Усаживает ее.)* Отдохни, моя хорошая. Побледнела как!

Н а т а ш а входит.

Н а т а ш а. Там, говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж? Прекрасная мысль. Вообще нужно помогать бедным людям, это обязанность богатых. Бобик и Софочка спят себе, спят как ни в чем не бывало. У нас так много народу везде, куда ни пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюэнца, боюсь, как бы не захватили дети.

О л ь г а *(не слушая ее)*. В этой комнате не видно пожара, тут покойно...

Н а т а ш а. Да... Я, должно быть, растрепанная. *(Перед зеркалом.)* Говорят, я пополнела... и неправда! Ничуть! А Маша

спит, утомилась, бедная... *(Анфисе, холодно.)* При мне не смей сидеть! Встань! Ступай отсюда!

Анфиса уходит; пауза.

И зачем ты держишь эту старуху, не понимаю!

О л ь г а *(оторопев)*. Извини, я тоже не понимаю...

Н а т а ш а. Ни к чему она тут. Она крестьянка, должна в деревне жить... Что за баловство! Я люблю в доме порядок! Лишних не должно быть в доме. *(Гладит ее по щеке.)* Ты, бедняжка, устала! Устала наша начальница! А когда моя Софочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться.

О л ь г а. Не буду я начальницей.

Н а т а ш а. Тебя выберут, Олечка. Это решено.

О л ь г а. Я откажусь. Не могу... Это мне не по силам... *(Пьет воду.)* Ты сейчас так грубо обошлась с няней... Прости, я не в состоянии переносить... в глазах потемнело...

Н а т а ш а *(взволнованно)*. Прости, Оля, прости... Я не хотела тебя огорчать.

Маша встает, берет подушку и уходит сердитая.

О л ь г а. Пойми, милая... мы воспитаны, быть может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю... я просто падаю духом!

Н а т а ш а. Прости, прости... *(Целует ее.)*

О л ь г а. Всякая, даже малейшая, грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня...

Н а т а ш а. Я часто говорю лишнее, это правда, но согласись, моя милая, она могла бы жить в деревне.

О л ь г а. Она уже тридцать лет у нас.

Н а т а ш а. Но ведь теперь она не может работать! Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять! Она не способна к труду, она только спит или сидит.

О л ь г а. И пускай сидит.

Н а т а ш а *(удивленно)*. Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга. *(Сквозь слезы.)* Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная, кухарка... для чего же нам еще эта старуха? Для чего?

За сценой бьют в набат.

О л ь г а. В эту ночь я постарела на десять лет.

Н а т а ш а. Нам нужно уговориться, Оля. Ты в гимназии, я — дома, у тебя ученье, у меня — хозяйство. И если я говорю что насчет прислуги, то знаю, что говорю; я знаю, что го-во-рю... И чтоб завтра же не было здесь этой старой воровки, старой хры-

човки... *(стучит ногами)* этой ведьмы!.. Не сметь меня раздражать! Не сметь! *(Спохватившись.)* Право, если ты не переберешься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно.

Входит К у л ы г и н.

К у л ы г и н. Где Маша? Пора бы уже домой. Пожар, говорят, стихает. *(Потягивается.)* Сгорел только один квартал, а ведь был ветер, вначале казалось, что горит весь город. *(Садится.)* Утомился. Олечка моя милая... Я часто думаю: если бы не Маша, то я на тебе бы женился, Олечка. Ты очень хорошая... Замучился. *(Прислушивается.)*

О л ь г а. Что?

К у л ы г и н. Как нарочно, у доктора запой, пьян он ужасно. Как нарочно! *(Встает.)* Вот он идет сюда, кажется... Слышите? Да, сюда... *(Смеется.)* Экий какой, право... я спрячусь... *(Идет к шкафу и становится в углу.)* Этакий разбойник.

О л ь г а. Два года не пил, а тут вдруг взял и напился... *(Идет с Наташей в глубину комнаты.)*

Ч е б у т ы к и н входит; не шатаясь, как трезвый, проходит по комнате, останавливается, смотрит, потом подходит к рукомойнику и начинает мыть руки.

Ч е б у т ы к и н *(угрюмо)*. Черт бы всех побрал... подрал... Думают, что я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего.

Ольга и Наташа, незаметно для него, уходят.

Черт бы побрал. В прошлую среду лечил на Засыпи женщину — умерла, и я виноват, что она умерла. Да... Кое-что знал лет двадцать пять назад, а теперь ничего не помню. Ничего. Может быть, я и не человек, а только вот делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова; может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю. *(Плачет.)* О, если бы не существовать! *(Перестает плакать, угрюмо.)* Черт знает... Третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость! Низость! И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась... и все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко... пошел запил...

И р и н а, В е р ш и н и н и Т у з е н б а х входят; на Тузенбахе штатское платье, новое и модное.

И р и н а. Здесь посидим. Сюда никто не войдет.

В е р ш и н и н. Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы! *(Потирает от удовольствия руки.)* Золотой народ! Ах, что за молодцы!

К у л ы г и н *(подходя к ним)*. Который час, господа?

Т у з е н б а х. Уже четвертый час. Светает.

И р и н а. Все сидят в зале, никто не уходит. И ваш этот Соленый сидит... *(Чебутыкину.)* Вы бы, доктор, шли спать.

Ч е б у т ы к и н. Ничего-с... Благодарю-с. *(Причесывает бороду.)*

К у л ы г и н *(смеется)*. Назюзюкался, Иван Романыч! *(Хлопает по плечу.)* Молодец! In vino veritas [1],— говорили древние.

Т у з е н б а х. Меня все просят устроить концерт в пользу погорельцев.

И р и н а. Ну, кто там...

Т у з е н б а х. Можно бы устроить, если захотеть. Марья Сергеевна, по-моему, играет на рояле чудесно.

К у л ы г и н. Чудесно играет!

И р и н а. Она уже забыла. Три года не играла... или четыре.

Т у з е н б а х. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки, ни одна душа, но я, я понимаю и честным словом уверяю вас, что Мария Сергеевна играет великолепно, почти талантливо.

К у л ы г и н. Вы правы, барон. Я ее очень люблю, Машу. Она славная.

Т у з е н б а х. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что тебя никто, никто не понимает!

К у л ы г и н *(вздыхает)*. Да... Но прилично ли ей участвовать в концерте?

Пауза.

Я ведь, господа, ничего не знаю. Может быть, это и хорошо будет. Должен признаться, наш директор хороший человек, даже очень хороший, умнейший, но у него такие взгляды... Конечно, не его дело, но все-таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю с ним.

Чебутыкин берет в руки фарфоровые часы и рассматривает их.

В е р ш и н и н. На пожаре я загрязнился весь, ни на что не похож.

Пауза.

Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Одни говорят, в Царство Польское, другие — будто в Читу.

---

[1] Истина в вине *(лат.)*.

Т у з е н б а х. Я тоже слышал. Что ж? Город тогда совсем опустеет.

И р и н а. И мы уедем!

Ч е б у т ы к и н *(роняет часы, которые разбиваются)*. Вдребезги!

Пауза; все огорчены и сконфужены.

К у л ы г и н *(подбирая осколки)*. Разбить такую дорогую вещь — ах, Иван Романыч, Иван Романыч! Ноль с минусом вам за поведение!

И р и н а. Это часы покойной мамы.

Ч е б у т ы к и н. Может быть... Мамы так мамы. Может, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Ничего я не знаю, никто ничего не знает. *(У двери.)* Что смотрите? У Наташи романчик с Протопоповым, а вы не видите... Вы вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с Протопоповым... *(Поет.)* Не угодно ль этот финик вам принять... *(Уходит.)*

В е р ш и н и н. Да... *(Смеется.)* Как все это, в сущности, странно!

Пауза.

Когда начался пожар, я побежал скорей домой; подхожу, смотрю — дом наш цел и невредим и вне опасности, но мои две девочки стоят у порога в одном белье, матери нет, суетится народ, бегают лошади, собаки, и у девочек на лицах тревога, ужас, мольба, не знаю что; сердце у меня сжалось, когда я увидел эти лица. Боже мой, думаю, что придется пережить еще этим девочкам в течение долгой жизни! Я хватаю их, бегу и все думаю одно: что им придется еще пережить на этом свете!

Набат; пауза.

Прихожу сюда, а мать здесь, кричит, сердится.

М а ш а входит с подушкой и садится на диван.

И когда мои девочки стояли у порога в одном белье и улица была красной от огня, был страшный шум, то я подумал, что нечто похожее происходило много лет назад, когда набегал неожиданно враг, грабил, зажигал... Между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть и что было! А пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести — триста лет, и на нашу теперешнюю жизнь так же будут смотреть и со страхом и с насмешкой, все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь!

(Смеется.) Простите, я опять зафилософствовался. Позвольте продолжать, господа. Мне ужасно хочется философствовать, такое у меня теперь настроение.

Пауза.

Точно спят все. Так я говорю: какая это будет жизнь! Вы можете себе только представить... Вот таких, как вы, в городе теперь только три, но в следующих поколениях будет больше, все больше и больше, и придет время, когда все изменится по-вашему, жить будут по-вашему, а потом и вы устареете, народятся люди, которые будут лучше вас... *(Смеется.)* Сегодня у меня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски... *(Поет.)* Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны... *(Смеется.)*

М а ш а. Трам-там-там...

В е р ш и н и н. Там-там...

М а ш а. Тра-ра-ра?

В е р ш и н и н. Тра-та-та. *(Смеется.)*

Входит Ф е д о т и к.

Ф е д о т и к *(танцует)*. Погорел, погорел! Весь дочиста!

Смех.

И р и н а. Что ж за шутки. Все сгорело?

Ф е д о т и к *(смеется)*. Все дочиста. Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма... И хотел подарить вам записную книжечку — тоже сгорела.

Входит С о л е н ы й.

И р и н а. Нет, пожалуйста, уходите, Василий Васильич. Сюда нельзя.

С о л е н ы й. Почему же это барону можно, а мне нельзя?

В е р ш и н и н. Надо уходить, в самом деле. Как пожар?

С о л е н ы й. Говорят, стихает. Нет, мне положительно странно, почему это барону можно, а мне нельзя? *(Вынимает флакон с духами и прыскается.)*

В е р ш и н и н. Трам-там-там?

М а ш а. Трам-там.

В е р ш и н и н *(смеется, Соленому)*. Пойдемте в залу.

С о л е н ы й. Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно б боле пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздразнить... *(Глядя на Тузенбаха.)* Цып, цып, цып... *(Уходит с Вершининым и Федотиком.)*

И р и н а. Как накурил этот Соленый... *(В недоумении.)* Барон спит! Барон! Барон!

Т у з е н б а х *(очнувшись)*. Устал я, однако... Кирпичный завод... Это я не брежу, а в самом деле скоро поеду на кирпичный завод, начну работать... Уже был разговор. *(Ирине, нежно.)* Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная... Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет... Вы печальны, вы недовольны жизнью... О, поедемте со мной, поедемте работать вместе!..

М а ш а. Николай Львович, уходите отсюда.

Т у з е н б а х *(смеясь)*. Вы здесь? Я не вижу. *(Целует Ирине руку.)* Прощайте, я пойду... Я гляжу на вас теперь, и вспоминается мне, как когда-то давно, в день ваших именин, вы, бодрая, веселая, говорили о радостях труда... И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь! Где она? *(Целует руку.)* У вас слезы на глазах. Ложитесь спать, уж светает... начинается утро... Если бы мне было позволено отдать за вас жизнь свою!

М а ш а. Николай Львович, уходите! Ну что, право...

Т у з е н б а х. Ухожу... *(Уходит.)*

М а ш а *(ложась)*. Ты спишь, Федор?

К у л ы г и н. А?

М а ш а. Шел бы домой.

К у л ы г и н. Милая моя Маша, дорогая моя Маша...

И р и н а. Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федя.

К у л ы г и н. Сейчас уйду... Жена моя хорошая, славная... Люблю тебя, мою единственную...

М а ш а *(сердито)*. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant[1].

К у л ы г и н *(смеется)*. Нет, право, она удивительная. Женат я на тебе семь лет, а кажется, что венчались только вчера. Честное слово. Нет, право, ты удивительная женщина. Я доволен, я доволен, я доволен!

М а ш а. Надоело, надоело, надоело... *(Встает и говорит сидя.)* И вот не выходит у меня из головы... Просто возмутительно. Сидит гвоздем в голове, не могу молчать. Я про Андрея... Заложил он этот дом в банке, и все деньги забрала его жена, а ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым! Он должен это знать, если он порядочный человек.

К у л ы г и н. Охота тебе, Маша! На что тебе? Андрюша кругом должен, ну, и бог с ним.

М а ш а. Это, во всяком случае, возмутительно. *(Ложится.)*

К у л ы г и н. Мы с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю... Я честный человек. Простой... Omnia mea mecum porto[2], как говорится.

---

[1] Люблю, любишь и т. д. *(лат.)*.

[2] Все мое ношу с собой *(лат.)*.

М а ш а. Мне ничего не нужно, но меня возмущает несправедливость.

Пауза.

Ступай, Федор!

К у л ы г и н *(целует ее)*. Ты устала, отдохни с полчасика, а я там посижу, подожду. Спи... *(Идет.)* Я доволен, я доволен, я доволен. *(Уходит.)*

И р и н а. В самом деле, как измельчал наш Андрей, как он выдохся и постарел около этой женщины! Когда-то готовился в профессора, а вчера хвалился, что попал наконец в члены земской управы. Он член управы, а Протопопов председатель... Весь город говорит, смеется, и только он один ничего не знает и не видит... И вот все побежали на пожар, а он сидит у себя в комнате и никакого внимания. Только на скрипке играет. *(Нервно.)* О, ужасно, ужасно, ужасно! *(Плачет.)* Я не могу, не могу переносить больше!.. Не могу, не могу!..

О л ь г а входит, убирает около своего столика.

(Громко рыдает.) Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу!..

О л ь г а *(испугавшись)*. Что ты, что ты? Милая!

И р и н а *(рыдая)*. Куда? Куда все ушло? Где оно? О боже мой, боже мой! Я все забыла, забыла... У меня перепуталось в голове... Я не помню, как по-итальянски окно или вот потолок... Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву... Я вижу, что не уедем...

О л ь г а. Милая, милая...

И р и н а *(сдерживаясь)*. О, я несчастная... Не могу я работать, не стану работать. Довольно, довольно! Была телеграфисткой, теперь служу в городской управе и ненавижу и презираю все, что только мне дают делать... Мне уже двадцать четвертый год, работаю уже давно, и мозг высох, похудела, подурнела, постарела, и ничего, ничего, никакого удовлетворения, а время идет, и все кажется, что уходишь от настоящей прекрасной жизни, уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть. Я в отчаянии, и как я жива, как не убила себя до сих пор, не понимаю.

О л ь г а. Не плачь, моя девочка, не плачь... Я страдаю.

И р и н а. Я не плачу, не плачу... Довольно... Ну, вот я уже не плачу. Довольно... Довольно!

О л ь г а. Милая, говорю тебе как сестра, как друг, если хочешь моего совета, выходи за барона!

Ирина тихо плачет.

Ведь ты его уважаешь, высоко ценишь... Он, правда, некрасивый, но он такой порядочный, чистый... Ведь замуж выходят не из люб-

ви, а для того, чтобы исполнить свой долг. Я, по крайней мере, так думаю, и я бы вышла без любви. Кто бы ни посватал, все равно бы пошла, лишь бы порядочный человек. Даже за старика бы пошла...

И р и н а. Я все ждала, переселимся в Москву, там мне встретится мой настоящий, я мечтала о нем, любила... Но оказалось, все вздор, все вздор...

О л ь г а *(обнимает сестру)*. Милая моя, прекрасная сестра, я все понимаю; когда барон Николай Львович оставил военную службу и пришел к нам в пиджаке, то показался мне таким некрасивым, что я даже заплакала... Он спрашивает: «Что вы плачете?» Как я ему скажу! Но если бы бог привел ему жениться на тебе, то я была бы счастлива. Тут ведь другое, совсем другое.

Н а т а ш а со свечой проходит через сцену из правой двери в левую молча.

М а ш а *(садится)*. Она ходит так, как будто она подожгла.

О л ь г а. Ты, Маша, глупая. Самая глупая в нашей семье — это ты. Извини, пожалуйста.

Пауза.

М а ш а. Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя. Покаюсь вам и уж больше никому, никогда... Скажу сию минуту. *(Тихо.)* Это моя тайна, но вы все должны знать... Не могу молчать...

Пауза.

Я люблю, люблю... Люблю этого человека... Вы его только что видели... Ну, да что там. Одним словом, люблю Вершинина...

О л ь г а *(идет к себе за ширмы)*. Оставь это. Я все равно не слышу.

М а ш а. Что же делать! *(Берется за голову.)* Он казался мне сначала странным, потом я жалела его... потом полюбила... полюбила с его голосом, его словами, несчастьями, двумя девочками...

О л ь г а *(за ширмой)*. Я не слышу все равно. Какие бы ты глупости ни говорила, я все равно не слышу.

М а ш а. Э, глупая ты, Оля. Люблю — такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая... И он меня любит... Это все страшно. Да? Нехорошо это? *(Тянет Ирину за руку, привлекает к себе.)* О моя милая... Как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет... Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает и каждый должен решать сам за себя... Милые мои, сестры мои... Призналась вам, теперь буду молчать... Буду теперь, как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание...

А н д р е й, за ним Ф е р а п о н т.

А н д р е й *(сердито)*. Что тебе нужно? Я не понимаю.

Ф е р а п о н т *(в дверях, нетерпеливо)*. Я, Андрей Сергеевич, уже говорил раз десять.

А н д р е й. Во-первых, я тебе не Андрей Сергеевич, а ваше высокоблагородие!

Ф е р а п о н т. Пожарные, ваше высокородие, просят, позвольте на реку садом проехать. А то кругом ездиют, ездиют — чистое наказание.

А н д р е й. Хорошо. Скажи, хорошо.

Ферапонт уходит.

Надоели. Где Ольга?

О л ь г а выходит из-за ширмы.

Я пришел к тебе, дай мне ключ от шкапа, я затерял свой. У тебя есть такой маленький ключик.

Ольга подает ему молча ключ. Ирина идет к себе за ширму.

Пауза.

А какой громадный пожар! Теперь стало утихать. Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт, я сказал ему глупость... Ваше высокоблагородие...

Пауза.

Что же ты молчишь, Оля?

Пауза.

Пора уже оставить эти глупости и не дуться так, здорово живешь. Ты, Маша, здесь, Ирина здесь, ну вот прекрасно — объяснимся начистоту, раз навсегда. Что вы имеете против меня? Что?

О л ь г а. Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся. *(Волнуясь.)* Какая мучительная ночь!

А н д р е й *(он очень смущен)*. Не волнуйся. Я совершенно хладнокровно вас спрашиваю: что вы имеете против меня? Говорите прямо.

Голос Вершинина: «Трам-там-там!»

М а ш а *(встает, громко)*. Тра-та-та! *(Ольге.)* Прощай, Оля, господь с тобой. *(Идет за ширму, целует Ирину.)* Спи покойно... Прощай, Андрей. Уходи, они утомлены... завтра объяснишься... *(Уходит.)*

О л ь г а. В самом деле, Андрюша, отложим до завтра... *(Идет к себе за ширму.)* Спать пора.

А н д р е й. Только скажу и уйду. Сейчас... Во-первых, вы имеете что-то против Наташи, моей жены, и это я замечаю с самого дня моей свадьбы. Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный — вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю, понимаете, уважаю, и требую, чтобы ее уважали также и другие. Повторяю, она честный, благородный человек, а все ваши неудовольствия, простите, это просто капризы.

Пауза.

Во-вторых, вы как будто сердитесь за то, что я не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу в земстве, я член земской управы, и это свое служение считаю таким же святым и высоким, как служение науке. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать...

Пауза.

В-третьих... Я еще имею сказать... Я заложил дом, не испросив у вас позволения... В этом я виноват, да, и прошу меня извинить. Меня побудили к этому долги... тридцать пять тысяч... Я уже не играю в карты, давно бросил, но главное, что могу сказать в свое оправдание, это то, что вы девушки, вы получаете пенсию, я же не имел... заработка, так сказать...

Пауза.

К у л ы г и н *(в дверь)*. Маши здесь нет? *(Встревоженно.)* Где же она? Это странно... *(Уходит.)*

А н д р е й. Не слушают. Наташа превосходный, честный человек. *(Ходит по сцене молча, потом останавливается.)* Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы... все счастливы... Но боже мой... *(Плачет.)* Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте... *(Уходит.)*

К у л ы г и н *(в дверь встревоженно)*. Где Маша? Здесь Маши нет? Удивительное дело. *(Уходит.)*

Набат, сцена пустая.

И р и н а *(за ширмами)*. Оля! Кто это стучит в пол?

О л ь г а. Это доктор Иван Романыч. Он пьян.

И р и н а. Какая беспокойная ночь!

Пауза.

Оля! *(Выглядывает из-за ширмы.)* Слышала? Бригаду берут от нас, переводят куда-то далеко.

О л ь г а. Это слухи только.

И р и н а. Останемся мы тогда одни... Оля!

О л ь г а. Ну?

И р и н а. Милая, дорогая, я уважаю, я ценю барона, он прекрасный человек, я выйду за него, согласна, только поедем в Москву! Умоляю тебя, поедем! Лучше Москвы ничего нет на свете! Поедем, Оля! Поедем!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки — лес. Направо терраса дома; здесь на столе бутылки и стаканы; видно, что только что пили шампанское. Двенадцать часов дня. С улицы к реке через сад ходят изредка прохожие; быстро проходят человек п я т ь с о л д а т. Ч е б у т ы к и н в благодушном настроении, которое не покидает его в течение всего акта, сидит в кресле, в саду, ждет, когда его позовут; он в фуражке и с палкой. И р и н а, К у л ы г и н, с орденом на шее, без усов, и Т у з е н б а х, стоя на террасе, провожают Ф е д о т и к а и Р о д э, которые сходят вниз; оба офицера в походной форме.

Т у з е н б а х *(целуется с Федотиком)*. Вы хороший, мы жили так дружно. *(Целуется с Родэ.)* Еще раз... Прощайте, дорогой мой!

И р и н а. До свиданья!

Ф е д о т и к. Не до свиданья, а прощайте, мы больше уж никогда не увидимся!

К у л ы г и н. Кто знает! *(Вытирает глаза, улыбается.)* Вот я и заплакал.

И р и н а. Когда-нибудь встретимся.

Ф е д о т и к. Лет через десять — пятнадцать? Но тогда мы едва узнаем друг друга, холодно поздороваемся... *(Снимает фотографию.)* Стойте... Еще в последний раз.

Р о д э *(обнимает Тузенбаха)*. Не увидимся больше... *(Целует руку Ирине.)* Спасибо за все, за все!

Ф е д о т и к *(с досадой)*. Да постой!

Т у з е н б а х. Даст бог, увидимся. Пишите же нам. Непременно пишите.

Р о д э *(окидывает взглядом сад)*. Прощайте, деревья! *(Кричит.)* Гоп-гоп!

Пауза.

Прощай, эхо!

К у л ы г и н. Чего доброго, женитесь там в Польше... Женаполька обнимет и скажет: «Кохане!» *(Смеется.)*

Ф е д о т и к *(взглянув на часы)*. Осталось меньше часа. Из нашей батареи только Соленый пойдет на барже, мы же со строевой

частью. Сегодня уйдут три батареи дивизионно, завтра опять три— и в городе наступит тишина и спокойствие.

Тузенбах. И скучища страшная.

Родэ. А Мария Сергеевна где?

Кулыгин. Маша в саду.

Федотик. С ней проститься.

Родэ. Прощайте, надо уходить, а то я заплачу... *(Обнимает быстро Тузенбаха и Кулыгина, целует руку Ирине.)* Прекрасно мы здесь пожили...

Федотик *(Кулыгину)*. Это вам на память... книжка с карандашиком... Мы здесь пойдем к реке...

Отходят, оба оглядываются.

Родэ *(кричит)*. Гоп-гоп!

Кулыгин *(кричит)*. Прощайте.

В глубине сцены Федотик и Родэ встречаются с Машей и прощаются с нею; она уходит с ними.

Ирина. Ушли... *(Садится на нижнюю ступень террасы.)*

Чебутыкин. А со мной забыли проститься.

Ирина. Вы же чего?

Чебутыкин. Да и я как-то забыл. Впрочем, скоро увижусь с ними, ухожу завтра. Да... Еще один денек остался. Через год дадут мне отставку, опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас... Мне до пенсии только один годочек остался... *(Кладет в карман газету, вынимает другую.)* Приеду сюда к вам и изменю жизнь коренным образом... Стану таким тихоньким, благо... благоугодным, приличненьким...

Ирина. А вам надо бы изменить жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь.

Чебутыкин. Да. Чувствую. *(Тихо напевает.)* Тарара... бумбия... сижу на тумбе я...

Кулыгин. Неисправим Иван Романыч! Неисправим.

Чебутыкин. Да, вот к вам бы на выучку. Тогда бы исправился.

Ирина. Федор сбрил себе усы. Видеть не могу!

Кулыгин. А что?

Чебутыкин. Я бы сказал, на что теперь похожа ваша физиономия, да не могу.

Кулыгин. Что ж! Так принято, это modus vivendi[1]. Директор у нас с выбритыми усами, и я тоже, как стал инспектором, по-

[1] Здесь: так уж заведено *(лат.)*.

брился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволен. С усами я или без усов, и я одинаково доволен. *(Садится.)*

В глубине сада Андрей провозит в колясочке спящего ребенка.

Ирина. Иван Романыч, голубчик, родной мой, я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре, скажите, что произошло там?

Чебутыкин. Что произошло? Ничего. Пустяки. *(Читает газету.)* Все равно!

Кулыгин. Так рассказывают, будто Соленый и барон встретились вчера на бульваре около театра...

Тузенбах. Перестаньте! Ну что, право... *(Машет рукой и уходит в дом.)*

Кулыгин. Около театра... Соленый стал придираться к барону, а тот не стерпел, сказал что-то обидное...

Чебутыкин. Не знаю. Чепуха все.

Кулыгин. В какой-то семинарии учитель написал на сочинении «чепуха», а ученик прочел «реникса» — думал, что по-латыни написано... *(Смеется.)* Смешно удивительно. Говорят, будто Соленый влюблен в Ирину и будто возненавидел барона... Это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу, такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя и у Маши, впрочем, тоже очень хороший характер. Я ее люблю, Машу.

В глубине сада за сценой: «Ау! Гоп-гоп!»

Ирина *(вздрагивает)*. Меня как-то все пугает сегодня.

Пауза.

У меня уже все готово, я после обеда отправляю свои вещи. Мы с бароном завтра венчаемся, завтра же уезжаем на кирпичный завод, и послезавтра я уже в школе, начинается новая жизнь. Как-то мне поможет бог! Когда я держала экзамен на учительницу, то даже плакала от радости, от благости...

Пауза.

Сейчас придет подвода за вещами...

Кулыгин. Так-то оно так, только как-то все это не серьезно. Одни только идеи, а серьезного мало. Впрочем, от души тебе желаю.

Чебутыкин *(в умилении)*. Славная моя, хорошая... Золотая моя... Далеко вы ушли, не догонишь вас. Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может лететь. Летите, мои милые, летите с богом!

Пауза.

Напрасно, Федор Ильич, вы усы себе сбрили.

К у л ы г и н. Будет вам! *(Вздыхает.)* Вот сегодня уйдут военные, и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили, Маша хорошая, честная женщина, я ее очень люблю и благодарю свою судьбу... Судьба у людей разная... Тут в акцизе служит некто Козырев. Он учился со мной, его уволили из пятого класса гимназии за то, что никак не мог понять ut consecutivum[1]. Теперь он ужасно бедствует, болен, и я когда встречаюсь, то говорю ему: «Здравствуй, ut consecutivum!» Да, говорит, именно, consecutivum, а сам кашляет... А мне вот всю мою жизнь везет, я счастлив, вот имею даже Станислава второй степени и сам теперь преподаю другим это ut consecutivum. Конечно, я умный человек, умнее очень многих, но счастье не в этом...

В доме играют на рояле «Молитву девы».

И р и н а. А завтра вечером я уже не буду слышать этой «Молитвы девы», не буду встречаться с Протопоповым...

Пауза.

А Протопопов сидит там в гостиной; и сегодня пришел...

К у л ы г и н. Начальница еще не приехала?

И р и н а. Нет. За ней послали. Если б только вы знали, как мне трудно жить здесь одной, без Оли... Она живет в гимназии; она начальница, целый день занята делом, а я одна, мне скучно, нечего делать, и ненавистна комната, в которой живу... Я так и решила: если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть. Значит, судьба. Ничего не поделаешь... Все в божьей воле, это правда. Николай Львович сделал мне предложение... Что ж? Подумала и решила. Он хороший человек, удивительно даже, такой хороший... И у меня вдруг точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать, работать... Только вот вчера произошло что-то, какая-то тайна нависла надо мной...

Ч е б у т ы к и н. Реникса. Чепуха.

Н а т а ш а *(в окно)*. Начальница!

К у л ы г и н. Приехала начальница. Пойдем.

Уходит с Ириной в дом.

Ч е б у т ы к и н *(читает газету, тихо напевает)*. Та-ра-ра... бумбия... сижу на тумбе я...

М а ш а подходит; в глубине А н д р е й провозит колясочку.

---

[1] Синтаксический оборот в латинском языке.

М а ш а. Сидит себе здесь, посиживает...

Ч е б у т ы к и н. А что?

М а ш а *(садится)*. Ничего...

Пауза.

Вы любили мою мать?

Ч е б у т ы к и н. Очень.

М а ш а. А она вас?

Ч е б у т ы к и н *(после паузы)*. Этого я уже не помню.

М а ш а. Мой здесь? Так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городового: мой. Мой здесь?

Ч е б у т ы к и н. Нет еще.

М а ш а. Когда берешь счастье урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющей... *(Указывает себе на грудь.)* Вот тут у меня кипит... *(Глядя на брата Андрея, который провозит колясочку.)* Вот Андрей наш, братец... Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда и денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг, ни с того ни с сего. Так и Андрей...

А н д р е й. И когда наконец в доме успокоятся. Такой шум.

Ч е б у т ы к и н. Скоро. *(Смотрит на часы.)* У меня часы старинные, с боем... *(Заводит часы, они бьют.)* Первая, вторая и пятая батарея уйдут ровно в час...

Пауза.

А я завтра.

А н д р е й. Навсегда?

Ч е б у т ы к и н. Не знаю. Может, через год вернусь. Хотя, черт его знает... все равно...

Слышно, как где-то далеко играют на арфе и скрипке.

А н д р е й. Опустеет город. Точно его колпаком накроют.

Пауза.

Что-то произошло вчера около театра; все говорят, а я не знаю.

Ч е б у т ы к и н. Ничего. Глупости. Соленый стал придираться к барону, а тот вспылил и оскорбил его, и вышло так в конце концов, что Соленый обязан был вызвать его на дуэль. *(Смотрит на часы.)* Пора бы, кажется, уж... В половине первого, в казенной роще, вот в той, что отсюда видать за рекой... Пиф-паф. *(Смеется.)* Соленый воображает, что он Лермонтов, и даже стихи пишет. Вот шутки шутками, а уж у него третья дуэль.

М а ш а. У кого?

Ч е б у т ы к и н. У Соленого.

М а ш а. А у барона?
Ч е б у т ы к и н. Что у барона?

Пауза.

М а ш а. В голове у меня перепуталось... Все-таки я говорю, не следует им позволять. Он может ранить барона или даже убить.

Ч е б у т ы к и н. Барон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше — не все ли равно? Пускай! Все равно!

За садом крик: «Ау! Гоп-гоп!»

Подождешь. Это Скворцов кричит, секундант. В лодке сидит.

Пауза.

А н д р е й. По-моему, и участвовать на дуэли, и присутствовать на ней, хотя бы в качестве врача, просто безнравственно.

Ч е б у т ы к и н. Это только кажется... Нас нет, ничего нет на свете, мы не существуем, а только кажется, что существуем... И не все ли равно!

М а ш а. Так вот целый день говорят, говорят... *(Идет.)* Живешь в таком климате, того гляди, снег пойдет, и тут еще эти разговоры... *(Останавливаясь.)* Я не пойду в дом, я не могу туда ходить... Когда придет Вершинин, скажете мне... *(Идет по аллее.)* А уже летят перелетные птицы... *(Глядит вверх.)* Лебеди или гуси... Милые мои, счастливые мои... *(Уходит.)*

А н д р е й. Опустеет наш дом. Уедут офицеры, уедете вы, сестра замуж выйдет, и останусь в доме я один.

Ч е б у т ы к и н. А жена?

Ф е р а п о н т входит с бумагами.

А н д р е й. Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но в ней есть при всем том нечто принижающее ее до мелкого, слепого, этакого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Говорю вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу, это так, но иногда она кажется мне удивительно пошлой, и тогда я теряюсь, не понимаю, за что, отчего я так люблю ее или, по крайней мере, любил...

Ч е б у т ы к и н *(встает)*. Я, брат, завтра уезжаю, может, никогда не увидимся, так вот тебе мой совет. Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи... уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше.

С о л е н ы й проходит в глубине сцены с д в у м я о ф и ц е р а м и; увидев Чебутыкина, он поворачивается к нему; офицеры идут дальше.

С о л е н ы й. Доктор, пора! Уже половина первого. *(Здоровается с Андреем.)*

Ч е б у т ы к и н. Сейчас. Надоели вы мне все. *(Андрею.)* Если кто спросит меня, Андрюша, то скажешь, что я сейчас... *(Вздыхает.)* Ох-хо-хо!

С о л е н ы й. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. *(Идет с ним.)* Что вы кряхтите, старик?

Ч е б у т ы к и н. Ну!

С о л е н ы й. Как здоровье?

Ч е б у т ы к и н *(сердито)*. Как масло коровье.

С о л е н ы й. Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного, я только подстрелю его, как вальдшнепа. *(Вынимает духи и брызгает на руки.)* Вот вылил сегодня целый флакон, а они все пахнут. Они у меня пахнут трупом.

Пауза.

Так-с... Помните стихи? А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой...

Ч е б у т ы к и н. Да. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. *(Уходит с Соленым.)*

Слышны крики: «Гоп-гоп! Ау!» А н д р е й и Ф е р а п о н т входят.

Ф е р а п о н т. Бумаги подписать...

А н д р е й *(нервно)*. Отстань от меня! Отстань! Умоляю! *(Уходит с колясочкой.)*

Ф е р а п о н т. На то ведь и бумаги, чтоб их подписывать. *(Уходит в глубину сцены.)*

Входят И р и н а и Т у з е н б а х в соломенной шляпе, К у л ы г и н проходит через сцену, крича: «Ау, Маша, ау!»

Т у з е н б а х. Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходят военные.

И р и н а. Это понятно.

Пауза.

Наш город опустеет теперь.

Т у з е н б а х *(поглядев на часы)*. Милая, я сейчас приду.

И р и н а. Куда ты?

Т у з е н б а х. Мне нужно в город, затем... проводить товарищей.

И р и н а. Неправда... Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня?

Пауза.

Что вчера произошло около театра?

Т у з е н б а х *(нетерпеливое движение)*. Через час я вернусь и опять буду с тобой. *(Целует ей руки.)* Ненаглядная моя... *(Всматривается ей в лицо.)* Уже пять лет прошло, как я люблю тебя, и все не могу привыкнуть, и ты кажешься мне все прекраснее. Какие прелестные, чудные волосы! Какие глаза! Я увезу тебя завтра, мы будем работать, будем богаты, мечты мои оживут. Ты будешь счастлива. Только вот одно, только одно: ты меня не любишь!

И р и н а. Это не в моей власти. Я буду твоей женой, и верной и покорной, но любви нет, что же делать! *(Плачет.)* Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян.

Пауза.

У тебя беспокойный взгляд.

Т у з е н б а х. Я не спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня, и только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать... Скажи мне что-нибудь.

Пауза.

Скажи мне что-нибудь...

И р и н а. Что? Что сказать? Что?

Т у з е н б а х. Что-нибудь.

И р и н а. Полно! Полно!

Пауза.

Т у з е н б а х. Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение вдруг, ни с того ни с сего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом! Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!

Крик: «Ау! Гоп-гоп!»

Надо идти, уже пора... Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая... *(Целует руки.)* Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе, под календарем.

И р и н а. И я с тобой пойду.

Т у з е н б а х *(тревожно)*. Нет, нет! *(Быстро идет, на аллее останавливается.)* Ирина!

И р и н а. Что?

Тузенбах *(не зная, что сказать)*. Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили... *(Быстро уходит.)*

Ирина стоит задумавшись, потом уходит в глубину сцены и садится на качели. Входит Андрей с колясочкой; показывается Ферапонт.

Ферапонт. Андрей Сергеич, бумаги-то ведь не мои, а казенные. Не я их выдумал.

Андрей. О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны... Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему... Только едят, пьют, спят, потом умирают... родятся другие и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери... *(Ферапонту, сердито.)* Что тебе?

Ферапонт. Чего? Бумаги подписать.

Андрей. Надоел ты мне.

Ферапонт *(подавая бумаги)*. Сейчас швейцар из казенной палаты сказывал... Будто, говорит, зимой в Петербурге мороз был в двести градусов.

Андрей. Настоящее противно, но зато когда я думаю о будущем, то как хорошо! Становится так легко, так просторно; и вдали забрезжит свет, я вижу свободу, я вижу, как я и дети мои становимся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства...

Ферапонт. Две тысячи людей померзло будто. Народ, говорит, ужасался. Не то в Петербурге, не то в Москве — не упомню.

Андрей *(охваченный нежным чувством)*. Милые мои сестры, чудные мои сестры! *(Сквозь слезы.)* Маша, сестра моя...

Наташа *(в окне)*. Кто здесь разговаривает так громко? Это ты, Андрюша? Софочку разбудишь. Il ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormée déjà. Vous êtes un ours[1]. *(Рассердившись.)*

[1] Не шумите, Софи уже спит. Вы — медведь (искаж. *франц.*).

Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Ферапонт, возьми у барина колясочку!

Ферапонт. Слушаю. *(Берет колясочку.)*

Андрей *(сконфуженно)*. Я говорю тихо.

Наташа *(за окном, лаская своего мальчика)*. Бобик! Шалун Бобик! Дурной Бобик!

Андрей *(оглядывая бумаги)*. Ладно, пересмотрю и, что нужно, подпишу, а ты снесешь опять в управу... *(Уходит в дом, читая бумаги; Ферапонт везет колясочку в глубину сада.)*

Наташа *(за окном)*. Бобик, как зовут твою маму? Милый, милый! А это кто? Это тетя Оля, скажи тете: здравствуй, Оля!

Бродячие музыканты, мужчина и девушка, играют на скрипке и арфе; из дому выходят Вершинин, Ольга и Анфиса и с минуту слушают молча; подходит Ирина.

Ольга. Наш сад как проходной двор, через него и ходят и ездят. Няня, дай этим музыкантам что-нибудь!..

Анфиса *(подает музыкантам)*. Уходите с богом, сердечные.

Музыканты кланяются и уходят.

Горький народ. От сытости не заиграешь. *(Ирине.)* Здравствуй, Ариша! *(Целует ее.)* И-и, деточка, вот живу! Вот живу! В гимназии на казенной квартире, золотая, вместе с Олюшкой — определил господь на старости лет. Отродясь я, грешница, так не жила... Квартира большая, казенная, и мне цельная комнатка и кроватка. Все казенное. Проснусь ночью и — о господи, матерь божия, счастливей меня человека нету!

Вершинин *(взглянув на часы)*. Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора.

Пауза.

Я желаю вам всего, всего... Где Мария Сергеевна?

Ирина. Она где-то в саду... Я пойду поищу ее.

Вершинин. Будьте добры. Я тороплюсь.

Анфиса. Пойду и я поищу. *(Кричит.)* Машенька, ау! *(Уходит вместе с Ириной в глубину сада.)* А-у, а-у!

Вершинин. Все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. *(Смотрит на часы.)* Город давал нам что-то вроде завтрака, пили шампанское, городской голова говорил речь; я ел и слушал, а душой был здесь, у вас... *(Оглядывает сад.)* Привык я к вам.

Ольга. Увидимся ли мы еще когда-нибудь?

Вершинин. Должно быть, нет.

Пауза.

Жена моя и обе девочки проживут здесь еще месяца два; пожалуйста, если что случится или что понадобится...

О л ь г а. Да, да, конечно. Будьте покойны.

Пауза.

В городе завтра не будет уже ни одного военного, все станет воспоминанием, и, конечно, для нас начнется новая жизнь...

Пауза.

Все делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей, и все-таки сделалась ею. В Москве, значит, не быть...

В е р ш и н и н. Ну... Спасибо вам за все... Простите мне, если что не так... Много, очень уж много я говорил — и за это простите, не поминайте лихом.

О л ь г а *(утирает глаза)*. Что ж это Маша не идет...

В е р ш и н и н. Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать?.. *(Смеется.)* Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой. *(Смотрит на часы.)* Пора мне, пора! Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами, теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить; человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее!

Пауза.

Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие. *(Смотрит на часы.)* Мне, однако, пора...

О л ь г а. Вот она идет.

М а ш а входит.

В е р ш и н и н. Я пришел проститься...

Ольга отходит немного в сторону, чтобы не помешать прощанию.

М а ш а *(смотря ему в лицо)*. Прощай...

Продолжительный поцелуй.

О л ь г а. Будет, будет...

Маша сильно рыдает.

В е р ш и н и н. Пиши мне... Не забывай! пусти меня... пора... Ольга Сергеевна, возьмите ее, мне уже... пора... опоздал... *(Растроганный, целует руки Ольге, потом еще раз обнимает Машу и быстро уходит.)*

О л ь г а. Будет, Маша! Перестань, милая.

Входит К у л ы г и н.

К у л ы г и н *(в смущении)*. Ничего, пусть поплачет, пусть... Хорошая моя Маша, добрая моя Маша... Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было... Я не жалуюсь, не делаю тебе ни одного упрека... Вот и Оля свидетельница... Начнем жить опять по-старому, и я тебе ни одного слова, ни намека...

М а ш а *(сдерживая рыдания)*. У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... златая цепь на дубе том... Я с ума схожу... У лукоморья... дуб зеленый...

О л ь г а. Успокойся, Маша... Успокойся... Дай ей воды.

М а ш а. Я больше не плачу...

К у л ы г и н. Она уже не плачет... она добрая...

Слышен глухой, далекий выстрел.

М а ш а. У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... Кот зеленый... дуб зеленый... Я путаю... *(Пьет воду.)* Неудачная жизнь... ничего мне теперь не нужно... Я сейчас успокоюсь... Все равно... Что значит у лукоморья? Почему это слово у меня в голове? Путаются мысли.

И р и н а входит.

О л ь г а. Успокойся, Маша, Ну, вот умница... Пойдем в комнату.

М а ш а *(сердито)*. Не пойду я туда. *(Рыдает, но тотчас же останавливается.)* Я в дом уже не хожу, и не пойду...

И р и н а. Давайте посидим вместе, хоть помолчим. Ведь завтра я уезжаю...

Пауза.

К у л ы г и н. Вчера в третьем классе у одного мальчугана я отнял вот усы и бороду... *(Надевает усы и бороду.)* Похож на учителя немецкого языка... *(Смеется.)* Не правда ли? Смешные эти мальчишки.

М а ш а. В самом деле похож на вашего немца.

О л ь г а *(смеется)*. Да.

Маша плачет.

И р и н а. Будет, Маша!

К у л ы г и н. Очень похож...

Входит Н а т а ш а.

Н а т а ш а *(горничной)*. Что? С Софочкой посидит Протопопов, Михаил Иваныч, а Бобика пусть покатает Андрей Сергеич.

Столько хлопот с детьми... *(Ирине.)* Ирина, ты завтра уезжаешь— такая жалость. Останься еще хоть недельку. *(Увидев Кулыгина, вскрикивает; тот смеется и снимает усы и бороду.)* Ну вас совсем, испугали! *(Ирине.)* Я к тебе привыкла и расстаться с тобой, ты думаешь, мне будет легко? В твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой,— пусть там пилит! — а в его комнату мы поместим Софочку. Дивный, чудный ребенок! Что за девчурка! Сегодня она посмотрела на меня такими глазками и — «мама»!

К у л ы г и н. Прекрасный ребенок, это верно.

Н а т а ш а. Значит, завтра я уже одна тут. *(Вздыхает.)* Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен... По вечерам он такой некрасивый... *(Ирине.)* Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс... Это безвкусица... Надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах... *(Строго.)* Зачем здесь на скамье валяется вилка? *(Проходя в дом, горничной.)* Зачем здесь на скамье валяется вилка, я спрашиваю? *(Кричит.)* Молчать!

К у л ы г и н. Разошлась!

За сценой музыка играет марш; все слушают.

О л ь г а. Уходят.

Входит Ч е б у т ы к и н.

М а ш а. Уходят наши. Ну, что ж... Счастливый им путь! *(Мужу.)* Надо домой... Где моя шляпа и тальма?

К у л ы г и н. Я в дом отнес... Принесу сейчас. *(Уходит в дом.)*

О л ь г а. Да, теперь можно по домам. Пора.

Ч е б у т ы к и н. Ольга Сергеевна!

О л ь г а. Что?

Пауза.

Что?

Ч е б у т ы к и н. Ничего... Не знаю, как сказать вам... *(Шепчет ей на ухо.)*

О л ь г а *(в испуге)*. Не может быть!

Ч е б у т ы к и н. Да... Такая история... Утомился я, замучился, больше не хочу говорить... *(С досадой.)* Впрочем, все равно!

М а ш а. Что случилось?

О л ь г а *(обнимает Ирину)*. Ужасный сегодня день... Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая...

И р и н а. Что? Говорите скорей: что? Бога ради! *(Плачет.)*

Ч е б у т ы к и н. Сейчас на дуэли убит барон...

И р и н а *(тихо плачет)*. Я знала, я знала...

Ч е б у т ы к и н *(в глубине сцены садится на скамью)*. Утомился... *(Вынимает из кармана газету.)* Пусть поплачут... *(Тихо напевает.)* Та-ра-ра-бумбия... сижу на тумбе я... Не все ли равно!

Три сестры стоят, прижавшись друг к другу.

М а ш а. О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем, навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить...

И р и н а *(кладет голову на грудь Ольги)*. Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить... надо работать, только работать! Завтра я поеду одна, буду учить в школе и всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, нужна. Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать...

О л ь г а *(обнимает обеих сестер)*. Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!

Музыка играет все тише и тише; Кулыгин, веселый, улыбающийся, несет шляпу и тальму, Андрей везет колясочку, в которой сидит Бобик.

Ч е б у т ы к и н *(тихо напевает)*. Тара-ра-бумбия... сижу на тумбе я... *(Читает газету.)* Все равно! Все равно!

О л ь г а. Если бы знать, если бы знать!

З а н а в е с.

1900

ВИШНЕВЫЙ САД

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Раневская Любовь Андреевна, помещица.
Аня, ее дочь, 17 лет.
Варя, ее приемная дочь, 24 лет.
Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской.
Лопахин Ермолай Алексеевич, купец.
Трофимов Петр Сергеевич, студент.
Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик.
Шарлотта Ивановна, гувернантка.
Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик.
Дуняша, горничная.
Фирс, лакей, старик 87 лет.
Яша, молодой лакей.
Прохожий.
Начальник станции.
Почтовый чиновник.
Гости, прислуга.

Действие происходит в имении Л. А. Раневской.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты.

Входят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке.

Лопахин. Пришел поезд, слава богу. Который час?

Дуняша. Скоро два. *(Тушит свечу.)* Уже светло.

Лопахин. На сколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. *(Зевает и потягивается.)* Я-то хорош, какого дурака свалял! Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал... Сидя уснул. Досада... Хоть бы ты меня разбудила.

Дуняша. Я думала, что вы уехали. *(Прислушивается.)* Вот, кажется, уже едут.

Лопахин *(прислушивается)*. Нет... Багаж получить, то да се...

Пауза.

Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала... Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет пятнадцати, отец мой покойный — он тогда здесь на деревне в лавке торговал — ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу... Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет...»

Пауза.

Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Только

что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком... *(Перелистывает книгу.)* Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул.

Пауза.

Д у н я ш а. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.

Л о п а х и н. Что ты, Дуняша, такая...

Д у н я ш а. Руки трясутся. Я в обморок упаду.

Л о п а х и н. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить.

Входит Е п и х о д о в с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят; войдя, он роняет букет.

Е п и х о д о в *(поднимает букет)*. Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить. *(Отдает Дуняше букет.)*

Л о п а х и н. И квасу мне принесешь.

Д у н я ш а. Слушаю. *(Уходит.)*

Е п и х о д о в. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. *(Вздыхает.)* Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?

Л о п а х и н. Отстань. Надоел.

Е п и х о д о в. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь.

Д у н я ш а входит, подает Лопахину квас.

Я пойду. *(Натыкается на стул, который падает.)* Вот... *(Как бы торжествуя.)* Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... Это просто даже замечательно! *(Уходит.)*

Д у н я ш а. А мне, Ермолай Алексеич, признаться, Епиходов предложение сделал.

Л о п а х и н. А!

Д у н я ш а. Не знаю уж как... Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья...

Л о п а х и н *(прислушивается)*. Вот, кажется, едут...

Д у н я ш а. Едут! Что ж это со мной... похолодела вся.

Л о п а х и н. Едут, в самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня? Пять лет не видались.

Д у н я ш а *(в волнении)*. Я сейчас упаду... Ах, упаду!

Слышно, как к дому подъезжают два экипажа. Лопахин и Дуняша быстро уходят. Сцена пуста. В соседних комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Ф и р с, ездивший встречать Любовь Андреевну; он в старинной ливрее и в высокой шляпе, что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сценой все усиливается. Голос: «Вот пройдемте здесь...» Л ю б о в ь А н д р е е в н а, А н я и Ш а р л о т т а И в а н о в н а с собачкой на цепочке, одетые по-дорожному. В а р я в пальто и платке. Г а е в, С и м е о н о в - П и щ и к, Л о п а х и н, Д у н я ш а с узлом и зонтиком, п р и с л у г а с вещами — все идут через комнату.

А н я. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната?

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(радостно, сквозь слезы)*. Детская!

В а р я. Как холодно, у меня руки закоченели. *(Любови Андреевне.)* Ваши комнаты, белая и фиолетовая, такими же и остались, мамочка.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Детская, милая моя, прекрасная комната... Я тут спала, когда была маленькой... *(Плачет.)* И теперь я как маленькая... *(Целует брата, Варю, потом опять брата.)* А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала... *(Целует Дуняшу.)*

Г а е в. Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?

Ш а р л о т т а *(Пищику)*. Моя собака и орехи кушает.

П и щ и к *(удивленно)*. Вы подумайте!

Уходят все, кроме Ани и Дуняши.

Д у н я ш а. Заждались мы... *(Снимает с Ани пальто, шляпу.)*

А н я. Я не спала в дороге четыре ночи... теперь озябла очень.

Д у н я ш а. Вы уехали в великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Милая моя! *(Смеется, целует ее.)* Заждалась вас, радость моя, светик... Я скажу вам сейчас, одной минутки не могу утерпеть...

А н я *(вяло)*. Опять что-нибудь...

Д у н я ш а. Конторщик Епиходов после святой мне предложение сделал.

А н я. Ты все об одном... *(Поправляя волосы.)* Я растеряла все шпильки... *(Она очень утомлена, даже пошатывается.)*

Д у н я ш а. Уж я не знаю, что и думать. Он меня любит, так любит!

А н я *(глядит в свою дверь, нежно)*. Моя комната, мои окна, как будто я не уезжала. Я дома! Завтра утром встану, побегу в сад...

О, если бы я могла уснуть! Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.

Д у н я ш а. Третьего дня Петр Сергеич приехали.

А н я *(радостно)*. Петя!

Д у н я ш а. В бане спят, там и живут. Боюсь, говорят, стеснить. *(Взглянув на свои карманные часы.)* Надо бы их разбудить, да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди.

Входит В а р я, на поясе у нее вязка ключей.

В а р я. Дуняша, кофе поскорей... Мамочка кофе просит.

Д у н я ш а. Сию минуточку. *(Уходит.)*

В а р я. Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. *(Ласкаясь.)* Душечка моя приехала! Красавица приехала!

А н я. Натерпелась я.

В а р я. Воображаю!

А н я. Выехала я на страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлотту...

В а р я. Нельзя же тебе одной ехать, душечка. В семнадцать лет!

А н я. Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на пятом этаже, прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом все ласкалась, плакала...

В а р я *(сквозь слезы)*. Не говори, не говори...

А н я. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва доехали. И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию, просто ужасно. Ведь у мамы лакей Яша, мы привезли его сюда...

В а р я. Видела подлеца.

А н я. Ну что, как? Заплатили проценты?

В а р я. Где там.

А н я. Боже мой, боже мой...

В а р я. В августе будут продавать имение...

А н я. Боже мой...

Л о п а х и н *(заглядывает в дверь и мычит)*. Ме-е-е... *(Уходит.)*

В а р я *(сквозь слезы)*. Вот так бы и дала ему... *(Грозит кулаком.)*

А н я *(обнимает Варю, тихо)*. Варя, он сделал предложение? *(Варя отрицательно качает головой.)* Ведь он же тебя любит... Отчего вы не объяснитесь, чего вы ждете?

В а р я. Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много, ему не до меня... и внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть... Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, все как сон... *(Другим тоном.)* У тебя брошка вроде как пчелка.

А н я *(печально)*. Это мама купила. *(Идет в свою комнату, говорит весело, по-детски.)* А в Париже я на воздушном шаре летала!

В а р я. Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Д у н я ш а уже вернулась с кофейником и варит кофе.

(Стоит около двери.) Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойной, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благолепие!..

А н я. Птицы поют в саду. Который теперь час?

В а р я. Должно, третий. Тебе пора спать, душечка. *(Входя в комнату к Ане.)* Благолепие!

Входит Я ш а с пледом, дорожной сумочкой.

Я ш а *(идет через сцену, деликатно)*. Тут можно пройти-с?

Д у н я ш а. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.

Я ш а. Гм... А вы кто?

Д у н я ш а. Когда вы уезжали отсюда, я была этакой... *(Показывает от пола.)* Дуняша, Федора Козоедова дочь. Вы не помните!

Я ш а. Гм... Огурчик! *(Оглядывается и обнимает ее; она вскрикивает и роняет блюдечко. Яша быстро уходит.)*

В а р я *(в дверях, недовольным голосом)*. Что еще тут?

Д у н я ш а *(сквозь слезы)*. Блюдечко разбила...

В а р я. Это к добру.

А н я *(выйдя из своей комнаты)*. Надо бы маму предупредить: Петя здесь...

В а р я. Я приказала его не будить.

А н я *(задумчиво)*. Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки... *(Вздрагивает.)* Как я ее понимаю, если бы она знала!

Пауза.

А Петя Трофимов был учителем Гриши, он может напомнить...

Входит Фирс, он в пиджаке и белом жилете.

Фирс *(идет к кофейнику, озабоченно)*. Барыня здесь будут кушать... *(Надевает белые перчатки.)* Готов кофий? *(Строго Дуняше.)* Ты! А сливки?

Дуняша. Ах, боже мой... *(Быстро уходит.)*

Фирс *(хлопочет около кофейника)*. Эх ты, недотепа... *(Бормочет про себя.)* Приехали из Парижа... И барин когда-то ездил в Париж... на лошадях... *(Смеется.)*

Варя. Фирс, ты о чем?

Фирс. Чего изволите? *(Радостно.)* Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть... *(Плачет от радости.)*

Входят Любовь Андреевна, Гаев и Симеонов-Пищик; Симеонов-Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя, руками и туловищем делает движения, как будто играет на бильярде.

Любовь Андреевна. Как это? Дай-ка вспомнить... Желтого в угол! Дуплет в середину!

Гаев. Режу в угол! Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно...

Лопахин. Да, время идет.

Гаев. Кого?

Лопахин. Время, говорю, идет.

Гаев. А здесь пачулями пахнет.

Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. *(Целует мать.)*

Любовь Андреевна. Ненаглядная дитюся моя. *(Целует ей руки.)* Ты рада, что ты дома? Я никак в себя не приду.

Аня. Прощай, дядя.

Гаев *(целует ей лицо, руки)*. Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать! *(Сестре.)* Ты, Люба, в ее годы была точно такая.

Аня подает руку Лопахину и Пищику, уходит и затворяет за собой дверь.

Любовь Андреевна. Она утомилась очень.

Пищик. Дорога небось длинная.

Варя *(Лопахину и Пищику)*. Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать.

Любовь Андреевна *(смеется)*. Ты все такая же, Варя. *(Привлекает ее к себе и целует.)* Вот выпью кофе, тогда все уйдем.

Фирс кладет ей под ноги подушечку.

Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью его и днем и ночью. Спасибо, мой старичок. *(Целует Фирса.)*

В а р я. Поглядеть, все ли вещи привезли... *(Уходит.)*

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Неужели это я сижу? *(Смеется.)* Мне хочется прыгать, размахивать руками. *(Закрывает лицо руками.)* А вдруг я сплю! Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала. *(Сквозь слезы.)* Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.

Ф и р с. Позавчера.

Г а е в. Он плохо слышит.

Л о п а х и н. Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить... Вы все такая же великолепная.

П и щ и к *(тяжело дышит)*. Даже похорошела... Одета по-парижскому... пропадай моя телега, все четыре колеса...

Л о п а х и н. Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше, чем родную.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Я не могу усидеть, не в состоянии... *(Вскакивает и ходит в сильном волнении.)* Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой родной... *(Целует шкаф.)* Столик мой.

Г а е в. А без тебя тут няня умерла.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(садится и пьет кофе)*. Да, царство небесное. Мне писали.

Г а е в. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел и теперь в городе у пристава живет. *(Вынимает из кармана коробку с леденцами, сосет.)*

П и щ и к. Дочка моя, Дашенька... вам кланяется...

Л о п а х и н. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. *(Взглянув на часы.)* Сейчас уеду, некогда разговаривать... ну, да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть... Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи,

то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода.

Гаев. Извините, какая чепуха!

Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич.

Лопахин. Вы будете брать с дачников самое малое по двадцать пять рублей в год за десятину, и если теперь же объявите, то, я ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить... например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад...

Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад.

Лопахин. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.

Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад.

Лопахин *(взглянув на часы)*. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то двадцать второго августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет.

Фирс. В прежнее время, лет сорок — пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало...

Гаев. Помолчи, Фирс.

Фирс. И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...

Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ?

Фирс. Забыли. Никто не помнит.

Пищик *(Любови Андреевне)*. Что в Париже? Как? Ели лягушек?

Любовь Андреевна. Крокодилов ела.

Пищик. Вы подумайте...

Лопахин. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей

одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...

Гаев *(возмущаясь)*. Какая чепуха!

Входят Варя и Яша.

Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. *(Выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф.)* Вот они.

Любовь Андреевна. Это из Парижа. *(Рвет телеграммы, не прочитав.)* С Парижем кончено...

Гаев. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкапу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкап сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки как-никак книжный шкап.

Пищик *(удивленно.)* Сто лет... Вы подумайте!..

Гаев. Да... Это вещь... *(Ощупав шкаф.)* Дорогой, многоуважаемый шкап! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая *(сквозь слезы)* в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.

Пауза.

Лопахин. Да...

Любовь Андреевна. Ты все такой же, Леня.

Гаев *(немного сконфуженный)*. От шара направо в угол! Режу в среднюю!

Лопахин *(поглядев на часы)*. Ну, мне пора.

Яша *(подает Любови Андреевне лекарства)*. Может, примете сейчас пилюли...

Пищик. Не надо принимать медикаменты, милейшая... от них ни вреда, ни пользы... Дайте-ка сюда... многоуважаемая. *(Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом.)* Вот!

Любовь Андреевна *(испуганно)*. Да вы с ума сошли!

Пищик. Все пилюли принял.

Лопахин. Экая прорва.

Все смеются.

Фирс. Они были у нас на святой, полведра огурцов скушали... *(Бормочет.)*

Любовь Андреевна. О чем это он?

Варя. Уж три года так бормочет. Мы привыкли.

Я ш а. Преклонный возраст.

Ш а р л о т т а И в а н о в н а в белом платье, очень худая, стянутая, с лорнеткой на поясе проходит через сцену.

Л о п а х и н. Простите, Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. *(Хочет поцеловать у нее руку.)*

Ш а р л о т т а *(отнимая руку)*. Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо...

Л о п а х и н. Не везет мне сегодня.

Все смеются.

Шарлотта Ивановна, покажите фокус!

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Шарлотта, покажите фокус!

Ш а р л о т т а. Не надо. Я спать желаю. *(Уходит.)*

Л о п а х и н. Через три недели увидимся. *(Целует Любови Андреевне руку.)* Пока прощайте. Пора. *(Гаеву.)* До свиданция. *(Целуется с Пищиком.)* До свиданция. *(Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше.)* Не хочется уезжать. *(Любови Андреевне.)* Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать, я взаймы тысяч пятьдесят достану. Серьезно подумайте.

В а р я *(сердито)*. Да уходите же наконец!

Л о п а х и н. Ухожу, ухожу... *(Уходит.)*

Г а е в. Хам. Впрочем, пардон... Варя выходит за него замуж, это Варин женишок.

В а р я. Не говорите, дядечка, лишнего.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек.

П и щ и к. Человек, надо правду говорить... достойнейший... И моя Дашенька... тоже говорит, что... разные слова говорит. *(Храпит, но тотчас же просыпается.)* А все-таки, многоуважаемая, одолжите мне... взаймы двести сорок рублей... завтра по закладной проценты платить...

В а р я *(испуганно)*. Нету, нету!

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. У меня в самом деле нет ничего.

П и щ и к. Найдутся. *(Смеется.)* Не теряю никогда надежды. Вот, думаю, уж все пропало, погиб, ан глядь,— железная дорога по моей земле прошла, и... мне заплатили. А там, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня-завтра... Двести тысяч выиграет Дашенька... у нее билет есть.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Кофе выпит, можно на покой.

Ф и р с *(чистит щеткой Гаева, наставительно)*. Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!

В а р я *(тихо)*. Аня спит. *(Тихо отворяет окно.)* Уже взошло солнце, не холодно. Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!

Г а е в *(отворяет другое окно)*. Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(глядит в окно на сад)*. О мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. *(Смеется от радости.)* Весь, весь белый! О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!

Г а е в. Да, и сад продадут за долги, как это ни странно...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом платье! *(Смеется от радости.)* Это она.

Г а е в. Где?

В а р я. Господь с вами, мамочка.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину...

Входит Т р о ф и м о в в поношенном студенческом мундире, в очках.

Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо...

Т р о ф и м о в. Любовь Андреевна!

Она оглянулась на него.

Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. *(Горячо целует руку.)* Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения...

Любовь Андреевна глядит с недоумением.

В а р я *(сквозь слезы)*. Это Петя Трофимов...

Т р о ф и м о в. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши... Неужели я так изменился?

Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет.

Г а е в *(смущенно)*. Полно, полно, Люба.

В а р я *(плачет)*. Говорила ведь, Петя, чтобы погодили до завтра.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Гриша мой... мой мальчик... Гриша... сын...

В а р я. Что же делать, мамочка. Воля божья.

Т р о ф и м о в *(мягко, сквозь слезы)*. Будет, будет...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(тихо плачет)*. Мальчик погиб, утонул... Для чего? Для чего, мой друг? *(Тише.)* Там Аня

спит, а я громко говорю... поднимаю шум... Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?

Трофимов. Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин.

Любовь Андреевна. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы негустые, очки. Неужели вы все еще студент? *(Идет к двери.)*

Трофимов. Должно быть, я буду вечным студентом.

Любовь Андреевна *(целует брата, потом Варю)*. Ну, идите спать... Постарел и ты, Леонид.

Пищик *(идет за ней)*. Значит, теперь спать... Ох, подагра моя. Я у вас останусь... Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... двести сорок рублей.

Гаев. А этот все свое.

Пищик. Двести сорок рублей... проценты по закладной платить.

Любовь Андреевна. Нет у меня денег, голубчик.

Пищик. Отдам, милая... Сумма пустяшная...

Любовь Андреевна. Ну, хорошо, Леонид даст... Ты дай, Леонид.

Гаев. Дам я ему, держи карман.

Любовь Андреевна. Что же делать, дай... Ему нужно... Он отдаст.

Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша.

Гаев. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами. *(Яше.)* Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.

Яша *(с усмешкой)*. А вы, Леонид Андреич, все такой же, как были.

Гаев. Кого? *(Варе.)* Что он сказал?

Варя *(Яше)*. Твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться...

Яша. Бог с ней совсем!

Варя. Ах, бесстыдник!

Яша. Очень нужно. Могла бы и завтра прийти. *(Уходит.)*

Варя. Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если бы ей волю, она бы все раздала.

Гаев. Да...

Пауза.

Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, напрягаю мозги, у меня много средств, очень много и, значит, в сущности, ни одного. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство, хорошо

бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини. Тетка ведь очень, очень богата.

В а р я *(плачет)*. Если бы бог помог.

Г а е в. Не реви. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянина...

А н я показывается в дверях.

Вышла за не дворянина и вела себя нельзя сказать чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но, как там ни придумывай смягчающие обстоятельства, все же, надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.

В а р я *(шепотом)*. Аня стоит в дверях.

Г а е в. Кого?

Пауза.

Удивительно, мне что-то в правый глаз попало... плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде...

Входит А н я.

В а р я. Что же ты не спишь, Аня?

А н я. Не спится. Не могу.

Г а е в. Крошка моя. *(Целует Ане лицо, руки.)* Дитя мое... *(Сквозь слезы.)* Ты не племянница, ты мой ангел, ты для меня все. Верь мне, верь...

А н я. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают... но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Что ты говорил только что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорил?

Г а е в. Да, да... *(Ее рукой закрывает себе лицо.)* В самом деле, это ужасно! Боже мой! Боже, спаси меня! И сегодня я речь говорил перед шкапом... так глупо! И только когда кончил, понял, что глупо.

В а р я. Правда, дядечка, вам надо бы молчать. Молчите себе, и все.

А н я. Если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее.

Г а е в. Молчу. *(Целует Ане и Варе руки.)* Молчу. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде, ну, сошлась компания, начался разговор о том, о сем, пятое-десятое, и, кажется, вот можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк.

В а р я. Если бы господь помог!

Г а е в. Во вторник поеду, еще раз поговорю. *(Варе.)* Не ре-

ви. *(Ане.)* Твоя мама поговорит с Лопахиным; он, конечно, ей не откажет... А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов — и дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден... *(Кладет в рот леденец.)* Честью моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано! *(Возбужденно.)* Счастьем моим клянусь! Вот тебе моя рука, назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона! Всем существом моим клянусь!

А н я *(спокойное настроение вернулось к ней, она счастлива).* Какой ты хороший, дядя, какой умный! *(Обнимает дядю.)* Я теперь покойна! Я покойна! Я счастлива!

Входит Ф и р с.

Ф и р с *(укоризненно).* Леонид Андреич, бога вы не боитесь! Когда же спать?

Г а е в. Сейчас, сейчас. Ты уходи, Фирс. Я уж, так и быть, сам разденусь. Ну, детки, бай-бай... Подробности завтра, а теперь идите спать. *(Целует Аню и Варю.)* Я человек восьмидесятых годов... Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать! Надо знать, с какой...

А н я. Опять ты, дядя!

В а р я. Вы, дядечка, молчите.

Ф и р с *(сердито).* Леонид Андреич!

Г а е в. Иду, иду... Ложитесь. От двух бортов в середину! Кладу чистого... *(Уходит, за ним семенит Фирс.)*

А н я. Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется, я не люблю бабушку, но все же я покойна. Спасибо дяде. *(Садится.)*

В а р я. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. В старой людской, как тебе известно, живут одни старые слуги: Ефимьюшка, Поля, Евстигней, ну и Карп. Стали они пускать к себе ночевать каких-то проходимцев — я промолчала. Только вот, слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли... И это все Евстигней... Хорошо, думаю. Коли так, думаю, то погоди же. Зову я Евстигнея...*(Зевает.)* Приходит... Как же ты, говорю, Евстигней... дурак ты этакой... *(Поглядев на Аню.)* Анечка!..

Пауза.

Заснула!.. *(Берет Аню под руку.)* Пойдем в постельку... Пойдем!.. *(Ведет ее.)* Душечка моя уснула! Пойдем...

Идут.

Далеко за садом пастух играет на свирели. Т р о ф и м о в идет через сцену и, увидев Варю и Аню, останавливается.

В а р я. Тссс... Она спит... спит... Пойдем, родная.

А н я *(тихо, в полусне)*. Я так устала... все колокольчики... Дядя... милый... и мама и дядя...

В а р я. Пойдем, родная, пойдем... *(Уходят в комнату Ани.)*.

Т р о ф и м о в *(в умилении)*. Солнышко мое! Весна моя!

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце. Ш а р л о т т а, Я ш а и Д у н я ш а сидят на скамье; Е п и х о д о в стоит возле и играет на гитаре; все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке, она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне.

Ш а р л о т т а *(в раздумье)*. У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала salto-mortale и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я— не знаю... Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю. *(Достает из кармана огурец и ест.)* Ничего не знаю.

Пауза.

Так хочется поговорить, а не с кем... Никого у меня нет.

Е п и х о д о в *(играет на гитаре и поет.)* «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги...» Как приятно играть на мандолине!

Д у н я ш а. Это гитара, а не мандолина. *(Глядится в зеркальце и пудрится.)*

Е п и х о д о в. Для безумца, который влюблен, это мандолина... *(Напевает.)* «Было бы сердце согрето жаром взаимной любви...»

Яша подпевает.

Ш а р л о т т а. Ужасно поют эти люди... фуй! Как шакалы.

Д у н я ш а *(Яше)*. Все-таки какое счастье побывать за границей.

Яша. Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. *(Зевает, потом закуривает сигару.)*

Епиходов. Понятное дело. За границей все давно уж в полной комплекции.

Яша. Само собой.

Епиходов. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне, собственно, хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он... *(Показывает револьвер.)*

Шарлотта. Кончила. Теперь пойду. *(Надевает ружье.)* Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный; тебя должны безумно любить женщины. Бррр! *(Идет.)* Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить... Все одна, одна, никого у меня нет и... и кто я, зачем я, неизвестно... *(Уходит не спеша.)*

Епиходов. Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук... Вот такой. *(Показывает обеими руками.)* И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана.

Пауза.

Вы читали Бокля?

Пауза.

Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов.

Дуняша. Говорите.

Епиходов. Мне бы желательно с вами наедине... *(Вздыхает.)*

Дуняша *(смущенно)*. Хорошо... только сначала принесите мне мою тальмочку... Она около шкапа... тут немножко сыро...

Епиходов. Хорошо-с... принесу-с... Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером... *(Берет гитару и уходит, наигрывая.)*

Яша. Двадцать два несчастья! Глупый человек, между нами говоря. *(Зевает.)*

Дуняша. Не дай бог, застрелится.

Пауза.

Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благо-

родная, всего боюсь... Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами.

Яша *(целует ее)*. Огурчик! Конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения.

Дуняша. Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать.

Пауза.

Яша *(зевает)*. Да-с... По-моему, так: ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная.

Пауза.

Приятно выкурить сигару на чистом воздухе... *(Прислушивается.)* Сюда идут... Это господа...

Дуняша порывисто обнимает его.

Идите домой, будто ходили на реку купаться, идите этой дорожкой, а то встретятся и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу.

Дуняша *(тихо кашляет)*. У меня от сигары голова разболелась... *(Уходит.)*

Яша остается, сидит возле часовни.

Входят Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин.

Лопахин. Надо окончательно решить,— время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!

Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары... *(Садится.)*

Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. *(Садится.)* Съездили в город и позавтракали... желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию...

Любовь Андреевна. Успеешь.

Лопахин. Только одно слово! *(Умоляюще.)* Дайте же мне ответ!

Гаев *(зевая)*. Кого?

Любовь Андреевна *(глядит в свое портмоне)*. Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно. *(Уронила портмоне, рассыпала золотые.)* Ну, посыпались... *(Ей досадно.)*

Яша. Позвольте, я сейчас подберу. *(Собирает монеты.)*

Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем

я поехала завтракать... Дрянной ваш ресторан с музыкой; скатерти пахнут мылом... Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много и все некстати. О семидесятых годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах!

Лопахин. Да.

Гаев *(машет рукой)*. Я неисправим, это очевидно... *(Раздраженно Яше.)* Что такое, постоянно вертишься перед глазами...

Яша *(смеется)*. Я не могу без смеха вашего голоса слышать.

Гаев *(сестре)*. Или я, или он...

Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте...

Яша *(отдает Любови Андреевне кошелек)*. Сейчас уйду. *(Едва удерживается от смеха.)* Сию минуту... *(Уходит.)*

Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лично.

Любовь Андреевна. А вы откуда слышали?

Лопахин. В городе говорят.

Гаев. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно...

Лопахин. Сколько она пришлет? Тысяч сто? Двести?

Любовь Андреевна. Ну... Тысяч десять — пятнадцать, и на том спасибо.

Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.

Любовь Андреевна. Что же нам делать? Научите, что?

Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад, и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее,— аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтобы были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.

Любовь Андреевна. Дачи и дачники — это так пошло, простите.

Гаев. Совершенно с тобой согласен.

Лопахин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили! *(Гаеву.)* Баба вы!

Гаев. Кого?

Лопахин. Баба! *(Хочет уйти.)*

Любовь Андреевна *(испуганно)*. Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь!

Л о п а х и н. О чем тут думать!

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее...

Пауза.

Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.

Г а е в *(в глубоком раздумье)*. Дуплет в угол... Круазе в середину...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Уж очень много мы грешили...

Л о п а х и н. Какие у вас грехи...

Г а е в *(кладет в рот леденец)*. Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах... *(Смеется.)*

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. О, мои грехи... Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского,— он страшно пил,— и, на несчастье, я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время,— это было первое наказание, удар прямо в голову,— вот тут на реке... утонул мой мальчик, и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки... Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а *он* за мной... безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как *он* заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж, и там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться... Так глупо, так стыдно... И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей... *(Утирает слезы.)* Господи, господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше! *(Достает из кармана телеграмму.)* Получила сегодня из Парижа... Просит прощения, умоляет вернуться... *(Рвет телеграмму.)* Словно где-то музыка. *(Прислушивается.)*

Г а е в. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок.

Л о п а х и н *(прислушивается)*. Не слыхать... *(Тихо напевает.)* «И за деньги русака немцы офранцузят». *(Смеется.)* Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. И, наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного.

Л о п а х и н. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая...

Пауза.

Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья.

Любовь Андреевна. Жениться вам нужно, мой друг.

Лопахин. Да... Это правда.

Любовь Андреевна. На нашей бы Варе. Она хорошая девушка.

Лопахин. Да.

Любовь Андреевна. Она у меня из простых, работает целый день, а главное, вас любит. Да и вам-то давно нравится.

Лопахин. Что же? Я не прочь... Она хорошая девушка.

Пауза.

Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год... Слыхала?

Любовь Андреевна. Где тебе! Сиди уж...

Фирс входит; он принес пальто.

Фирс *(Гаеву)*. Извольте, сударь, надеть, а то сыро.

Гаев *(надевает пальто)*. Надоел ты, брат.

Фирс. Нечего там... Утром уехали, не сказавшись. *(Оглядывает его.)*

Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фирс!

Фирс. Чего изволите?

Лопахин. Говорят, ты постарел очень!

Фирс. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было... *(Смеется.)* А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах...

Пауза.

И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.

Лопахин. Прежде очень хорошо было. По крайней мере, драли.

Фирс *(не расслышав)*. А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего.

Гаев. Помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город. Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.

Лопахин. Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.

Любовь Андреевна. Это он бредит. Никаких генералов нет.

Входят Трофимов, Аня и Варя.

Гаев. А вот и наши идут.

Аня. Мама сидит.

Любовь Андреевна *(нежно)*. Иди, иди... Родные мои... *(Обнимая Аню и Варю.)* Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь, рядом, вот так.

Все усаживаются.

Лопахин. Наш вечный студент все с барышнями ходит.

Трофимов. Не ваше дело.

Лопахин. Ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент.

Трофимов. Оставьте ваши дурацкие шутки.

Лопахин. Что же ты, чудак, сердишься?

Трофимов. А ты не приставай.

Лопахин *(смеется)*. Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?

Трофимов. Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен.

Все смеются.

Варя. Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.

Любовь Андреевна. Нет, давайте продолжим вчерашний разговор.

Трофимов. О чем это?

Гаев. О гордом человеке.

Трофимов. Мы вчера говорили долго, но ни к чему не пришли. В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать.

Гаев. Все равно умрешь.

Трофимов. Кто знает? И что значит — умрешь? Быть может, у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы.

Любовь Андреевна. Какой вы умный, Петя!..

Лопахин *(иронически)*. Страсть!

Трофимов. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь

станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина... Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!

Л о п а х и н. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...»

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Вам понадобились великаны... Они только в сказках хороши, а так они пугают.

В глубине сцены проходит Е п и х о д о в и играет на гитаре.

(Задумчиво.) Епиходов идет...

А н я *(задумчиво)*. Епиходов идет...

Г а е в. Солнце село, господа.

Т р о ф и м о в. Да.

Г а е в *(негромко, как бы декламируя)*. О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь...

В а р я *(умоляюще)*. Дядечка!

А н я. Дядя, ты опять!

Т р о ф и м о в. Вы лучше желтого в середину дуплетом.

Г а е в. Я молчу, молчу.

Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.

Любовь Андреевна. Это что?

Лопахин. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко.

Гаев. А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли.

Трофимов. Или филин...

Любовь Андреевна *(вздрагивает)*. Неприятно почему-то.

Пауза.

Фирс. Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

Гаев. Перед каким несчастьем?

Фирс. Перед волей.

Пауза.

Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет. *(Ане.)* У тебя на глазах слезы... Что ты, девочка? *(Обнимает ее.)*

Аня. Это так, мама. Ничего.

Трофимов. Кто-то идет.

Показывается прохожий в белой потасканной фуражке, в пальто; он слегка пьян.

Прохожий. Позвольте вас спросить, могу ли я пройти здесь прямо на станцию?

Гаев. Можете. Идите по этой дороге.

Прохожий. Чувствительно вам благодарен. *(Кашлянув.)* Погода превосходная... *(Декламирует.)* Брат мой, страдающий брат... выдь на Волгу, чей стон... *(Варе.)* Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать...

Варя испугалась, вскрикивает.

Лопахин *(сердито)*. Всякому безобразию есть свое приличие!

Любовь Андреевна *(оторопев)*. Возьмите... вот вам... *(Ищет в портмоне.)* Серебра нет... Все равно, вот вам золотой...

Прохожий. Чувствительно вам благодарен! *(Уходит.)*

Смех.

Варя *(испуганная)*. Я уйду... я уйду... Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой.

Любовь Андреевна. Что ж со мной, глупой, делать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай Алексеич, дадите мне еще взаймы!..

Лопахин. Слушаю.

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, поздравляю.

Варя *(сквозь слезы)*. Этим, мама, шутить нельзя.

Лопахин. Охмелия, иди в монастырь...

Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде.

Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!

Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать.

Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит.

Лопахин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..

Уходят все, кроме Трофимова и Ани.

Аня *(смеясь)*. Спасибо прохожему, напугал Варю, теперь мы одни.

Трофимов. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!

Аня *(всплескивая руками)*. Как хорошо вы говорите!

Пауза.

Сегодня здесь дивно!

Трофимов. Да, погода удивительная.

Аня. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде? Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.

Трофимов. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест.

Пауза.

Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете,

что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... Мы отстали, по крайней мере, лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.

А н я. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю вам слово.

Т р о ф и м о в. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер.

А н я *(в восторге)*. Как хорошо вы сказали!

Т р о ф и м о в. Верьте мне, Аня, верьте! Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес! Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и — куда только судьба не гоняла меня, где я только не был! И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его...

А н я *(задумчиво)*. Восходит луна.

Слышно, как Епиходов играет на гитаре все ту же грустную песню. Восходит луна. Где-то около тополей Варя ищет Аню и зовет: «Аня! Где ты?»

Т р о ф и м о в. Да, восходит луна.

Пауза.

Вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узна́ем его, то что за беда? Его увидят другие!

Голос Вари: «Аня! Где ты?»

Опять эта Варя! *(Сердито.)* Возмутительно!

А н я. Что ж? Пойдемте к реке. Там хорошо.

Т р о ф и м о в. Пойдемте.

Идут.

Голос Вари: «Аня! Аня!»

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно, как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond. Голос Симеонова-Пищика: «Promenade à une paire!» Выходят в гостиную: в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй — Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей — Аня с почтовым чиновником, в четвертой — Варя с начальником станции и т. д. Варя тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша. Идут по гостиной. Пищик кричит: «Grand-rond balancez!» и «Les cavaliers à genoux et remerciez vos dames!» [1]

Фирс во фраке приносит на подносе сельтерскую воду.

Входят в гостиную Пищик и Трофимов.

Пищик. Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеоновых-Пищиков происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате... *(Садится.)* Но вот беда: денег нет! Голодная собака верует только в мясо... *(Храпит и тотчас же просыпается.)* Так и я... могу только про деньги...

Трофимов. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное.

Пищик. Что ж... лошадь хороший зверь... лошадь продать можно...

Слышно, как в соседней комнате играют на бильярде.
В зале под аркой показывается Варя.

Трофимов *(дразнит)*. Мадам Лопахина! Мадам Лопахина!..

Варя *(сердито)*. Облезлый барин!

Трофимов. Да, я облезлый барин и горжусь этим!

Варя *(в горьком раздумье)*. Вот наняли музыкантов, а чем платить? *(Уходит.)*

Трофимов *(Пищику)*. Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю.

Пищик. Ницше... философ... величайший, знаменитейший... громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно.

---

[1] Французские выражения — названия танцевальных фигур и обращения при танцах.

Трофимов. А вы читали Ницше?

Пищик. Ну... Мне Дашенька говорила. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай... Послезавтра триста десять рублей платить... Сто тридцать уже достал... *(Ощупывает карманы встревоженно.)* Деньги пропали! Потерял деньги! *(Сквозь слезы.)* Где деньги? *(Радостно.)* Вот они, за подкладкой... Даже в пот ударило...

Входят Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна.

Любовь Андреевна *(напевает лезгинку)*. Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? *(Дуняше.)* Дуняша, предложите музыкантам чаю...

Трофимов. Торги не состоялись, по всей вероятности.

Любовь Андреевна. И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати... Ну, ничего... *(Садится и тихо напевает.)*

Шарлотта *(подает Пищику колоду карт)*. Вот вам колода карт, задумайте какую-нибудь одну карту.

Пищик. Задумал.

Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин Пищик. Ein, zwei, drei![1] Теперь поищите, она у вас в боковом кармане...

Пищик *(достает из бокового кармана карту)*. Восьмерка пик, совершенно верно! *(Удивляясь.)* Вы подумайте!

Шарлотта *(держит на ладони колоду карт, Трофимову)*. Говорите скорее, какая карта сверху?

Трофимов. Что ж? Ну, дама пик.

Шарлотта. Есть! *(Пищику.)* Ну? Какая карта сверху?

Пищик. Туз червовый.

Шарлотта. Есть! *(Бьет по ладони, колода карт исчезает.)* А какая сегодня хорошая погода!

Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола: «О да, погода великолепная, сударыня».

Вы такой хороший мой идеал...

Голос: «Вы, сударыня, мне тоже очень понравился».

Начальник станции *(аплодирует)*. Госпожа чревовещательница, браво!

Пищик *(удивляясь)*. Вы подумайте! Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна... я просто влюблен...

---

[1] Раз, два, три! *(нем.)*

Ш а р л о т т а. Влюблен? *(Пожав плечами.)* Разве вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musikant [1].

Т р о ф и м о в *(хлопает Пищика по плечу)*. Лошадь вы этакая...

Ш а р л о т т а. Прошу внимания, еще один фокус. *(Берет со стула плед.)* Вот очень хороший плед, я желаю продавать... *(Встряхивает.)* Не желает ли кто покупать?

П и щ и к *(удивляясь)*. Вы подумайте!

Ш а р л о т т а. Ein, zwei, drei! *(Быстро поднимает опущенный плед.)*

За пледом стоит Аня; она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает назад в залу при общем восторге.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(аплодирует)*. Браво, браво!..

Ш а р л о т т а. Теперь еще! Ein, zwei, drei! *(Поднимает плед.)*

За пледом стоит Варя и кланяется.

П и щ и к *(удивляясь)*. Вы подумайте!

Ш а р л о т т а. Конец! *(Бросает плед на Пищика, делает реверанс и убегает в залу.)*

П и щ и к *(спешит за ней)*. Злодейка... какова? Какова? *(Уходит.)*

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись, зачем же так долго держать в неведении!

В а р я *(стараясь ее утешить)*. Дядечка купил, я в этом уверена.

Т р о ф и м о в *(насмешливо)*. Да.

В а р я. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, бог поможет, дядечка купит.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя,— нам она не верит,— а этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. *(Закрывает лицо руками.)* Сегодня судьба моя решается, судьба...

Т р о ф и м о в *(дразнит Варю)*. Мадам Лопахина!

В а р я *(сердито)*. Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета.

---

[1] Хороший человек, но плохой музыкант *(нем.)*.

Любовь Андреевна. Что же ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь — выходи за Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь — не выходи; тебя, дуся, никто не неволит...

Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.

Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждать, не понимаю!

Варя. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю. Он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.

Трофимов. Благолепие!

Варя *(Трофимову)*. Студенту надо быть умным! *(Мягким тоном, со слезами.)* Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! *(Любови Андреевне, уже не плача.)* Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать.

Входит Яша.

Яша *(едва удерживаясь от смеха)*. Епиходов бильярдный кий сломал!.. *(Уходит.)*

Варя. Зачем же Епиходов здесь? Кто ему позволил на бильярде играть? Не понимаю этих людей... *(Уходит.)*

Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она и без того в горе.

Трофимов. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. Мы выше любви!

Любовь Андреевна. А я вот, должно быть, ниже любви. *(В сильном беспокойстве.)* Отчего нет Леонида? Только бы знать: продано имение или нет? Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, теряюсь... Я могу сейчас крикнуть... могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите...

Трофимов. Продано ли сегодня имение или не продано — не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.

Любовь Андреевна. Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не

вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом... *(Обнимает Трофимова, целует его в лоб.)* Ведь мой сын утонул здесь... *(Плачет.)* Пожалейте меня, хороший, добрый человек.

Трофимов. Вы знаете, я сочувствую всей душой.

Любовь Андреевна. Но надо иначе, иначе это сказать... *(Вынимает платок, на пол падает телеграмма.)* У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить. Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука, я вся дрожу, а уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя... Я вас люблю, как родного. Я охотно бы отдала за вас Аню, клянусь вам, только, голубчик, надо же учиться, надо курс кончить. Вы ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место, так это странно... Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь... *(Смеется.)* Смешной вы!

Трофимов *(поднимает телеграмму)*. Я не желаю быть красавцем.

Любовь Андреевна. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера и сегодня. Этот дикий человек опять заболел, опять с ним нехорошо... Он просит прощения, умоляет приехать, и по-настоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. У вас, Петя, строгое лицо, но что же делать, голубчик мой, что мне делать, он болен, он одинок, несчастлив, а кто там поглядит за ним, кто удержит его от ошибок, кто даст ему вовремя лекарство? И что ж тут скрывать или молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю... Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу. *(Жмет Трофимову руку.)* Не думайте дурно, Петя, не говорите мне ничего, не говорите...

Трофимов *(сквозь слезы)*. Простите за откровенность, бога ради: ведь он обобрал вас!

Любовь Андреевна. Нет, нет, нет, не надо говорить так... *(Закрывает уши.)*

Трофимов. Ведь он негодяй, только вы одна не знаете этого! Он мелкий негодяй, ничтожество...

Любовь Андреевна *(рассердившись, но сдержанно)*. Вам двадцать шесть лет или двадцать семь, а вы все еще гимназист второго класса!

Трофимов. Пусть!

Любовь Андреевна. Надо быть мужчиной, в ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить... надо влюбляться! *(Сердито.)* Да, да! И у вас нет чистоты, а вы просто чистюлька, смешной чудак, урод...

Трофимов *(в ужасе)*. Что она говорит!

Любовь Андреевна. «Я выше любви»! Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..

Трофимов *(в ужасе)*. Это ужасно! Что она говорит?! *(Идет быстро в залу, схватив себя за голову.)* Это ужасно... Не могу, я уйду... *(Уходит, но тотчас же возвращается.)* Между нами все кончено! *(Уходит в переднюю.)*

Любовь Андреевна *(кричит вслед)*. Петя, погодите! Смешной человек, я пошутила! Петя!

Слышно, как в передней кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тотчас же слышится смех.

Что там такое?

Вбегает Аня.

Аня *(смеясь)*. Петя с лестницы упал! *(Убегает.)*

Любовь Андреевна. Какой чудак этот Петя...

Начальник станции останавливается среди залы и читает «Грешницу» А. Толстого. Его слушают, но едва он прочел несколько строк, как из передней доносятся звуки вальса, и чтение обрывается. Все танцуют. Проходят из передней Трофимов, Аня, Варя и Любовь Андреевна.

Ну, Петя... ну, чистая душа... я прощения прошу... Пойдемте танцевать... *(Танцует с Петей.)*

Аня и Варя танцуют.

Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы.

Яша. Что, дедушка?

Фирс. Нездоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день уже лет двадцать, а то и больше; может, я от него и жив.

Я ш а. Надоел ты, дед. *(Зевает.)* Хоть бы ты поскорее подох.

Ф и р с. Эх ты... недотепа! *(Бормочет.)*

Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Mercі. Я посижу... *(Садится.)* Устала.

Входит А н я.

А н я *(взволнованно)*. А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Кому продан?

А н я. Не сказал, кому. Ушел. *(Танцует с Трофимовым.)*

Оба уходят в залу.

Я ш а. Это там какой-то старик болтал. Чужой.

Ф и р с. А Леонида Андреича еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон, того гляди, простудится. Эх, молодо-зелено!

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Я сейчас умру. Подите, Яша, узнайте, кому продано.

Я ш а. Да он давно ушел, старик-то. *(Смеется.)*

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(с легкой досадой)*. Ну, чему вы смеетесь? Чему рады?

Я ш а. Очень уж Епиходов смешной. Пустой человек. Двадцать два несчастья.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?

Ф и р с. Куда прикажете, туда и пойду.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать...

Ф и р с. Да... *(С усмешкой.)* Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом.

Я ш а *(Любови Андреевне)*. Любовь Андреевна! Позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры! Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. *(Оглядываясь, вполголоса.)* Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры!

Входит П и щ и к.

П и щ и к. Позвольте просить вас... на вальсишку, прекраснейшая...

Любовь Андреевна идет с ним.

Очаровательная, все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас... Возьму... *(Танцует.)* Сто восемьдесят рубликов...

Перешли в залу.

Я ш а *(тихо напевает)*. «Поймешь ли ты души моей волненье...»

В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает; крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!»

Д у н я ш а *(остановилась, чтобы попудриться)*. Барышня велит мне танцевать — кавалеров много, а дам мало,— а у меня от танцев кружится голова, сердце бьется, Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило.

Музыка стихает.

Ф и р с. Что же он тебе сказал?

Д у н я ш а. Вы, говорит, как цветок.

Я ш а *(зевает)*. Невежество... *(Уходит.)*

Д у н я ш а. Как цветок... Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова.

Ф и р с. Закрутишься ты.

Входит Е п и х о д о в.

Е п и х о д о в. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть... как будто я какое насекомое. *(Вздыхает.)* Эх, жизнь!

Д у н я ш а. Что вам угодно?

Е п и х о д о в. Несомненно, может, вы и правы. *(Вздыхает.)* Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я...

Д у н я ш а. Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. *(Играет веером.)*

Е п и х о д о в. У меня несчастье каждый день, и я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь.

Входит из залы В а р я.

В а р я. Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. *(Дуняше.)* Ступай отсюда, Дуняша. *(Епиходову.)* То на бильярде играешь, и кий сломал, то по гостиной расхаживаешь, как гость.

Е п и х о д о в. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете.

В а р я. Я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно — для чего.

Е п и х о д о в *(обиженно)*. Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие.

В а р я. Ты смеешь мне говорить это! *(Вспылив.)* Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Убирайся же вон отсюда! Сию минуту!

Е п и х о д о в *(струсив)*. Прошу вас выражаться деликатным способом.

В а р я *(выйдя из себя)*. Сию же минуту вон отсюда! Вон!

Он идет к двери, она за ним.

Двадцать два несчастья! Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!

Епиходов вышел; за дверью его голос: «Я на вас буду жаловаться».

А, ты назад идешь? *(Хватает палку, поставленную около двери Фирсом.)* Иди... Иди... Иди, я тебе покажу... А, ты идешь? Идешь? Так вот же тебе... *(Замахивается.)*

В это время входит Л о п а х и н.

Л о п а х и н. Покорнейше благодарю.

В а р я *(сердито и насмешливо)*. Виновата!

Л о п а х и н. Ничего-с. Покорно благодарю за приятное угощение.

В а р я. Не стоит благодарности. *(Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко.)* Я вас не ушибла?

Л о п а х и н. Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит огромадная.

Голос в зале: «Лопахин приехал! Ермолай Алексеич!»

П и щ и к. Видом видать, слыхом слыхать... *(Целуется с Лопахиным.)* Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.

Входит Л ю б о в ь А н д р е е в н а.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Это вы, Ермолай Алексеич? Отчего так долго? Где Леонид?

Л о п а х и н. Леонид Андреич со мной приехал, он идет...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(волнуясь)*. Ну, что? Были торги? Говорите же!

Л о п а х и н *(сконфуженно, боясь обнаружить свою радость)*. Торги кончились к четырем часам... Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины десятого. *(Тяжело вздохнув.)* Уф! У меня немножко голова кружится...

Входит Г а е в; в правой руке у него покупки, левой он утирает слезы.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Леня, что? Леня, ну? (*Нетерпеливо, со слезами.)* Скорей же, бога ради...

Г а е в *(ничего ей не отвечает, только машет рукой; Фирсу, плача)*. Вот возьми... Тут анчоусы, керченские сельди... Я сегодня ничего не ел... Столько я выстрадал!

Дверь в бильярдную открыта: слышен стук шаров и голос Яши: «Семь и восемнадцать!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет.

Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться. *(Уходит к себе через залу, за ним Фирс.)*

П и щ и к. Что на торгах? Рассказывай же!

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Продан вишневый сад?

Л о п а х и н. Продан.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Кто купил?

Л о п а х и н. Я купил.

Пауза.

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит.

Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу... *(Смеется.)* Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти... Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! *(Хохочет.)* Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется... *(Топочет ногами.)* Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай

купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется... Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности... *(Поднимает ключи, ласково улыбаясь.)* Бросила ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь... *(Звенит ключами.)* Ну, да все равно.

Слышно, как настраивается оркестр.

Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь... Музыка, играй!

Играет музыка. Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет.

(С укором.) Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. *(Со слезами.)* О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная несчастливая жизнь.

П и щ и к *(берет его под руку, вполголоса)*. Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна... Пойдем... *(Берет его под руку и уводит в залу.)*

Л о п а х и н. Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай всё, как я желаю! *(С иронией.)* Идет новый помещик, владелец вишневого сада! *(Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.)* За все могу заплатить! *(Уходит с Пищиком.)*

В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входят А н я и Т р о ф и м о в. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу.

А н я. Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа... Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда, пойдем!.. Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Декорация первого акта. Нет ни занавесей на окнах, ни картин, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. Налево дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Лопахин стоит, ждет. Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. В передней Епиходов увязывает ящик. За сценой в глубине гул. Это пришли прощаться мужики. Голос Гаева:
«Спасибо, братцы, спасибо вам».

Яша. Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермолай Алексеич: народ добрый, но мало понимает.

Гул стихает. Входят через переднюю Любовь Андреевна и Гаев; она не плачет, но бледна, лицо ее дрожит, она не может говорить.

Гаев. Ты отдала им свой кошелек, Люба. Так нельзя! Так нельзя!

Любовь Андреевна. Я не смогла! Я не смогла!

Оба уходят.

Лопахин *(в дверь, им вслед)*. Пожалуйте, покорнейше прошу! По стаканчику на прощанье. Из города не догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйте!

Пауза.

Что ж, господа! Не желаете? *(Отходит от двери.)* Знал бы — не покупал. Ну, и я пить не стану.

Яша осторожно ставит поднос на стул.

Выпей, Яша, хоть ты.

Яша. С отъезжающими! Счастливо оставаться! *(Пьет.)* Это шампанское не настоящее, могу вас уверить.

Лопахин. Восемь рублей бутылка.

Пауза.

Холодно здесь чертовски.

Яша. Не топили сегодня, все равно уезжаем. *(Смеется.)*

Лопахин. Что ты?

Яша. От удовольствия.

Лопахин. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строиться хорошо. *(Поглядев на часы, в дверь.)* Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут! Значит, через двадцать минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.

Трофимов в пальто входит со двора.

Трофимов. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали. *(В дверь.)* Аня, нет моих калош! Не нашел!

Лопахин. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками; болтаются как-то странно, точно чужие.

Трофимов. Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд.

Лопахин. Выпей-ка стаканчик.

Трофимов. Не стану.

Лопахин. Значит, в Москву теперь?

Трофимов. Да, провожу их в город, а завтра в Москву.

Лопахин. Да... Что ж, профессора не читают лекций, небось все ждут, когда приедешь!

Трофимов. Не твое дело.

Лопахин. Сколько лет, как ты в университете учишься?

Трофимов. Придумай что-нибудь поновее. Это старо и плоско. *(Ищет калоши.)* Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше, так вот позволь мне дать тебе на прощанье один совет: не размахивай руками! Отвыкни от этой привычки — размахивать. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так — это тоже значит размахивать... Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа...

Лопахин *(обнимает его)*. Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу.

Трофимов. Для чего мне? Не нужно.

Лопахин. Ведь у вас нет!

Трофимов. Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. *(Тревожно.)* А калош моих нет!

Варя *(из другой комнаты)*. Возьмите вашу гадость! *(Выбрасывает на сцену пару резиновых калош.)*

Трофимов. Что же вы сердитесь, Варя? Гм... Да это не мои калоши!

Лопахин. Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот я, говорю, заработал сорок тысяч и, значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик... попросту.

Трофимов. Твой отец был мужик, мой — аптекарь, и из этого не следует решительно ничего.

Лопахин вынимает бумажник.

Оставь, оставь... Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я свободный человек. И все, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах!

Л о п а х и н. Дойдешь?

Т р о ф и м о в. Дойду.

Пауза.

Дойду или укажу другим путь, как дойти.

Слышно, как вдали стучат топором по дереву.

Л о п а х и н. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит. Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция дела не в этом. Леонид Андреич, говорят, принял место, будет в банке, шесть тысяч в год... Только ведь не усидит, ленив очень...

А н я *(в дверях)*. Мама вас просит: пока она не уехала, чтоб не рубили сада.

Т р о ф и м о в. В самом деле, неужели не хватает такта... *(Уходит через переднюю.)*

Л о п а х и н. Сейчас, сейчас... Экие, право. *(Уходит за ним.)*

А н я. Фирса отправили в больницу?

Я ш а. Я утром говорил. Отправили, надо думать.

А н я *(Епиходову, который проходит через залу)*. Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу.

Я ш а *(обиженно)*. Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по десяти раз!

Е п и х о д о в. Долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится, ему надо к праотцам. А я могу ему только завидовать. *(Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил.)* Ну, вот, конечно. Так и знал. *(Уходит.)*

Я ш а *(насмешливо)*. Двадцать два несчастья...

В а р я *(за дверью)*. Фирса отвезли в больницу?

А н я. Отвезли.

В а р я. Отчего же письмо не взяли к доктору?

А н я. Так надо послать вдогонку... *(Уходит.)*

В а р я *(из соседней комнаты)*. Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним.

Я ш а *(машет рукой)*. Выводят только из терпения.

Д у н я ш а все время хлопочет около вещей; теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему.

Д у н я ш а. Хоть бы взглянули разочек, Яша. Вы уезжаете... меня покидаете... *(Плачет и бросается ему на шею.)*

Я ш а. Что ж плакать? *(Пьет шампанское.)* Через шесть дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели. Даже как-то не верится. Вив ла Франс!.. [1] Здесь не по мне, не могу жить... ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество — будет с меня. *(Пьет шампанское.)* Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать.

Д у н я ш а *(пудрится, глядясь в зеркальце)*. Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас любила, Яша, так любила! Я нежное существо, Яша!

Я ш а. Идут сюда. *(Хлопочет около чемоданов, тихо напевает.)*

Входят Л ю б о в ь А н д р е е в н а, Г а е в, А н я и Ш а р л о т т а И в а н о в н а.

Г а е в. Ехать бы нам. Уже немного осталось. *(Глядя на Яшу.)* От кого это селедкой пахнет?

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Минут через десять давайте уже в экипажи садиться... *(Окидывает взглядом комнату.)* Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают. Сколько видели эти стены! *(Целует горячо дочь.)* Сокровище мое, ты сияешь, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна? Очень?

А н я. Очень! Начинается новая жизнь, мама!

Г а е в *(весело)*. В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже... Я банковский служака, теперь я финансист... желтого в середину, и ты, Люба как-никак выглядишь лучше, это несомненно.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Да. Нервы мои лучше, это правда.

Ей подают шляпу и пальто.

Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша. Пора. *(Ане.)* Девочка моя, скоро мы увидимся... Я уезжаю в Париж, буду жить там на

[1] Да здравствует Франция!.. (*франц.* — Vive la France!)

те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения — да здравствует бабушка! — а денег этих хватит ненадолго.

А н я. Ты, мама, вернешься скоро, скоро... не правда ли? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные книги... Не правда ли? *(Целует матери руки.)* Мы будем читать в осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый, чудесный мир... *(Мечтает.)* Мама, приезжай...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Приеду, мое золото. *(Обнимает дочь.)*

Входит Л о п а х и н, Шарлотта тихо напевает песенку.

Г а е в. Счастливая Шарлотта: поет!

Ш а р л о т т а *(берет узел, похожий на свернутого ребенка.)* Мой ребеночек, бай, бай...

Слышится плач ребенка: «Уа, уа!..»

Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик.

«Уа!..Уа!..»

Мне тебя так жалко! *(Бросает узел на место.)* Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так.

Л о п а х и н. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь.

Г а е в. Все нас бросают, Варя уходит... мы стали вдруг не нужны.

Ш а р л о т т а. В городе мне жить негде. Надо уходить... *(Напевает.)* Все равно...

Входит П и щ и к.

Л о п а х и н. Чудо природы!..

П и щ и к *(запыхавшись)*. Ой, дайте отдышаться... замучился... Мои почтеннейшие... Воды дайте...

Г а е в. За деньгами небось? Слуга покорный, ухожу от греха... *(Уходит.)*

П и щ и к. Давненько не был у вас... прекраснейшая... *(Лопахину.)* Ты здесь... рад тебя видеть... громаднейшего ума человек... возьми... получи... *(Подает Лопахину деньги.)* Четыреста рублей... За мной остается восемьсот сорок...

Л о п а х и н *(в недоумении пожимает плечами)*. Точно во сне... Ты где же взял?

П и щ и к. Постой... Жарко... Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую гли-

ну... *(Любови Андреевне.)* И вам четыреста... прекрасная, удивительная... *(Подает деньги.)* Остальные потом. *(Пьет воду.)* Сейчас один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то... великий философ советует прыгать с крыш... «Прыгай!» — говорит, и в этом вся задача. *(Удивленно.)* Вы подумайте! Воды!..

Лопахин. Какие же это англичане?

Пищик. Сдал им участок с глиной на двадцать четыре года... А теперь, извините, некогда... надо скакать дальше... Поеду к Знойкову... к Кардамонову... Всем должен... *(Пьет.)* Желаю здравствовать... В четверг заеду...

Любовь Андреевна. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу...

Пищик. Как? *(Встревоженно.)* Почему в город? То-то я гляжу на мебель... чемоданы... Ну, ничего... *(Сквозь слезы.)* Ничего... Величайшего ума люди... эти англичане... Ничего... Будьте счастливы... Бог поможет вам... Ничего... Всему на этом свете бывает конец... *(Целует руку Любови Андреевне.)* А дойдет до вас слух, что мне конец пришел, вспомните вот эту самую... лошадь и скажите: «Был на свете такой-сякой... Симеонов-Пищик... царство ему небесное»... Замечательнейшая погода... Да... *(Уходит в сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях.)* Кланялась вам Дашенька! *(Уходит.)*

Любовь Андреевна. Теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая — это больной Фирс. *(Взглянув на часы.)* Еще минут пять можно...

Аня. Мама, Фирса уже отправили в больницу. Яша отправил утром.

Любовь Андреевна. Вторая моя печаль — Варя. Она привыкла рано вставать и работать, и теперь без труда она как рыба без воды. Похудела, побледнела и плачет бедняжка...

Пауза.

Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеич; я мечтала... выдать ее за вас, да и по всему видно было, что вы женитесь. *(Шепчет Ане, та кивает Шарлотте, и обе уходят.)* Она вас любит, вам она по душе, и не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю!

Лопахин. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все... Если есть еще время, то я хоть сейчас готов... Покончим сразу — и баста, а без вас я, чувствую, не сделаю предложения.

Любовь Андреевна. И превосходно. Ведь одна минута нужна, только. Я ее сейчас позову...

Л о п а х и н. Кстати и шампанское есть. *(Поглядев на стаканчики.)* Пустые, кто-то уже выпил.

Яша кашляет.

Это называется вылакать...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(оживленно)*. Прекрасно. Мы выйдем... Яша, allez! [1] Я ее позову... *(В дверь.)* Варя, оставь все, поди сюда. Иди! *(Уходит с Яшей.)*

Л о п а х и н *(поглядев на часы)*. Да...

Пауза.

За дверью сдержанный смех, шепот, наконец входит В а р я.

В а р я *(долго осматривает вещи)*. Странно, никак не найду...

Л о п а х и н. Что вы ищете?

В а р я. Сама уложила и не помню.

Пауза.

Л о п а х и н. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?

В а р я. Я? К Рагулиным... Договорилась к ним смотреть за хозяйством... в экономки, что ли.

Л о п а х и н. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет.

Пауза.

Вот и кончилась жизнь в этом доме...

В а р я *(оглядывая вещи)*. Где же это... Или, может, я в сундук уложила... Да, жизнь в этом доме кончилась... больше уже не будет...

Л о п а х и н. А я в Харьков уезжаю сейчас... вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова... Я его нанял.

В а р я. Что ж!

Л о п а х и н. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно... Градуса три мороза.

В а р я. Я не поглядела.

Пауза.

Да и разбит у нас градусник...

Пауза.

Голос в дверь со двора: «Ермолай Алексеич!..»

---

[1] идите! *(франц.)*

Л о п а х и н *(точно давно ждал этого зова.)* Сию минуту! *(Быстро уходит.)*

Варя, сидя на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. Отворяется дверь, осторожно входит Л ю б о в ь А н д р е е в н а.

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Что?

Пауза.

Надо ехать.

В а р я *(уже не плачет, вытерла глаза)*. Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня, не опоздать бы только к поезду...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а *(в дверь)*. Аня, одевайся!

Входит А н я, потом Г а е в, Ш а р л о т т а И в а н о в н а. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей хлопочет Е п и х о д о в.

Теперь можно и в дорогу.

А н я *(радостно)*. В дорогу!

Г а е в. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо...

А н я *(умоляюще)*. Дядя!

В а р я. Дядечка, не нужно!

Г а е в *(уныло)*. Дуплетом желтого в середину... Молчу...

Входит Т р о ф и м о в, потом Л о п а х и н.

Т р о ф и м о в. Что же, господа, пора ехать!

Л о п а х и н. Епиходов, мое пальто!

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки, и теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью...

Г а е в. Помню, когда мне было шесть лет, в троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Все вещи забрали?

Л о п а х и н. Кажется, всё. *(Епиходову, надевая пальто.)* Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке.

Е п и х о д о в *(говорит сиплым голосом)*. Будьте покойны, Ермолай Алексеич!

Л о п а х и н. Что это у тебя голос такой?

Е п и х о д о в. Сейчас воду пил, что-то проглотил.

Я ш а *(с презрением)*. Невежество...

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Уедем — и здесь не останется ни души...

Лопахин. До самой весны.

Варя *(выдергивает из узла зонтик, похоже, как будто она замахнулась; Лопахин делает вид, что испугался)*. Что вы, что вы... Я и не думала.

Трофимов. Господа, идемте садиться в экипажи... Уже пора! Сейчас поезд придет!

Варя. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. *(Со слезами.)* И какие они у вас грязные, старые...

Трофимов *(надевая калоши)*. Идем, господа!..

Гаев *(сильно смущен, боится заплакать)*. Поезд... станция... Круазе в середину, белого дуплетом в угол...

Любовь Андреевна. Идем!

Лопахин. Все здесь? Никого там нет? *(Запирает боковую дверь налево.)* Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!..

Аня. Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!

Трофимов. Здравствуй, новая жизнь!.. *(Уходит с Аней.)*

Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой.

Лопахин. Значит, до весны. Выходите, господа... До свиданция!.. *(Уходит.)*

Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого, бросаются на шею друг другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали.

Гаев *(в отчаянии)*. Сестра моя, сестра моя...

Любовь Андреевна. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

Голос Ани весело, призывающе: «Мама!..»

Голос Трофимова весело, возбужденно: «Ау!..»

Любовь Андреевна. В последний раз взглянуть на стены, на окна... По этой комнате любила ходить покойная мать...

Гаев. Сестра моя, сестра моя!..

Голос Ани: «Мама!..»

Голос Трофимова: «Ау!..»

Любовь Андреевна. Мы идем!..

Уходят.

Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно. Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Фирс. Он одет, как всегда, в пиджаке и в белой жилетке, на ногах туфли. Он болен.

Ф и р с *(подходит к двери, трогает за ручку).* Заперто. Уехали... *(Садится на диван.)* Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто поехал... *(Озабоченно вздыхает.)* Я-то не поглядел... Молодо-зелено! *(Бормочет что-то, чего понять нельзя.)* Жизнь-то прошла, словно и не жил. *(Ложится.)* Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотепа!.. *(Лежит неподвижно.)*

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

З а н а в е с.

1904

ПРИМЕЧАНИЯ

В том вошли избранные рассказы, повести, пьесы А. П. Чехова[1]. Из-за ограниченности объема не включены такие известные его произведения, как «Счастье», «Дуэль», «Три года», «Рассказ неизвестного человека», «Учитель словесности», «Черный монах» и др.

Произведения Чехова печатаются по изданию: А. П. Чехов. Собр. соч. в двенадцати томах. М., Гослитиздат, 1960—1964.

В примечаниях употребляются следующие сокращения:

«А. Чехов и сюжеты» — Мих. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923.

«Вокруг Чехова» — М. П. Чехов. Вокруг Чехова. М., 1964.

«Горький и Чехов» — «М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи. Высказывания. Сборник материалов». М., Гослитиздат, 1951.

ЛН — «Литературное наследство», т. 68. М., Изд-во АН СССР, 1960.

«Слово» — сб. «Слово», кн. 2. М., 1914.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

«Чехов в восп.»— сб. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960.

РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ

Смерть чиновника (стр. 31).— «Смерть чиновника» — один из первых шедевров Чехова, созданный еще в то время, когда писатель только «начинал свою литературную карьеру» и начинал «таким... заразительным, сверкающим и ярким весельем и смехом...» (В. Г. Короленко. Памяти Антона Павловича Чехова.— «Русское богатство», 1904, № 7).

Случай, подобный рассказанному в «Смерти чиновника», действительно произошел в московском Большом театре, о чем Чехов узнал от директора императорских театров В. П. Бегичева («Вокруг Чехова», с. 150).

[1] Том составлен В. Пересыпкиной.

Стр. 31. *«Корневильские колокола»* — оперетта французского композитора Р. Планкета (1877).

Дочь Альбиона (стр. 33).— Отмечая раннюю творческую зрелость Чехова, И. А. Бунин ссылался именно на этот рассказ: «Чехов редкий писатель, который начинал, не думая, что он будет не только большим писателем, а даже просто писателем. А ведь 6 августа 1883 года он послал в «Осколки» «Дочь Альбиона», рассказ совсем не юмористический...» (ЛН, с. 644). М. Горький обратил внимание на нравственную значительность рассказа: «Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чуждым» («Чехов в восп.», с. 503).

Сюжет «Дочери Альбиона», как и большинства ранних произведений Чехова, был взят непосредственно из жизни. По свидетельству М. П. Чехова, брата писателя, аналогичный случай произошел в окрестностях г. Воскресенска (ныне —г. Истра), где семейство Чеховых проживало с 1880 по 1884 г. («Вокруг Чехова», с. 150).

Толстый и тонкий (стр. 36).

Стр. 37. *Герострат* — житель г. Эфес (Древняя Греция), сжегший в 356 г. до н. э. великолепный храм Артемиды Эфесской, чтобы обессмертить свое имя.

Эфиальт — по древнегреческой легенде, предатель, указавший персам (во время греко-персидской войны 500—449 гг. до н. э.) горную тропу, по которой они обошли Фермопильский проход и полностью уничтожили защищавших его спартанцев.

Хирургия (стр. 38).— По свидетельствам современников, сюжет «Хирургии» долгие годы бытовал в семье Чеховых, разыгрывался как сценка, с годами, очевидно, обрастая новыми деталями, словечками и т. д. Возник он еще в ранней юности А. П. Чехова, в Таганроге. Вот что вспоминает писатель П. А. Сергеенко, знавший Чехова с гимназических лет: «Был еще один уморительный номер в артистическом репертуаре Чехова. В несколько минут он изменял свой вид и превращался в зубного врача, сосредоточенно раскладывающего на столе свои зубоврачебные инструменты. В это время в передней раздавался слезливый стон, и в комнате появлялся старший брат, Александр, с подвязанной щекой. Он немилосердно вопил от якобы нестерпимой зубной боли. Антон с пресерьезным видом успокоивал пациента, брал в руки щипцы для углей, совал в рот Александру и... начиналась «хирургия», от которой присутствующие покатывались от смеха. Но вот венец всего. Наука торжествует! Антон вытаскивает щипцами изо рта ревущего благим матом «пациента» огромный «больной зуб» (пробку) и показывает его публике...» («Чеховский юбилейный сборник», М., 1910, с. 337—338).

На таганрогское происхождение сюжета указывают и Н. Тан-Богораз (там же, с. 486), он называет даже фамилию фельдшера — Довбило (прототип фельдшера в рассказе), и П. Сурожский («Приазовский край», 1914, № 171, 2 июля).

Позднее, когда Чеховы жили в Воскресенске и Антон Павлович работал врачом в Чикинской земской больнице, там же служил фельдшером некто Алексей Кузьмич, который каким-то образом напомнил Чехову старый сюжет. Во всяком случае, брат и сестра писателя связывают возникновение «Хирургии» именно с Чикинской больницей («Вокруг Чехова», с. 138—139; М. П. Чехова. Из далекого прошлого. М., Гослитиздат, 1960, с. 34).

Как и большинство произведений Антоши Чехонте, этот рассказ построен на прекрасном, мастерском диалоге, что впоследствии дало повод к многочисленным инсценировкам. «Хирургия» была одним из первых рассказов, поставленных на сцене: в 1905 г. Московский Художественный театр инсценировал «Хирургию», «Злоумышленника», «Унтера Пришибеева» и «Жениха и папеньку».

Хамелеон (стр. 41).— Земляк Чехова, П. Сурожский, называет «Хамелеона» среди тех рассказов, в которых «забавные фигуры, смешные диалоги, сравнения, словечки — все это южное, местное, близкое Таганрогу. Попадаются целые картины, как будто выхваченные из местной жизни» («Приазовский край», 1914, № 171, 2 июля).

Налим (стр. 43).— В рассказе воссоздан эпизод, происшедший в Бабкине, усадьбе Киселевых под Воскресенском, где семья Чеховых прожила подряд три лета (1885—1887). «Бабкино — это золотые россыпи для писателя. Первое время мой Левитан чуть не сошел с ума от восторга от этого богатства материалов. Куда ни обратишь взгляд — картина; что ни человек — тип»,— говорил Антон Павлович о Бабкине (ЛН, с. 567). Действительно, для писателя такой «восприимчивости и наблюдательности» (Б у н и н,— ЛН, с. 641), как у Чехова, Бабкино и Воскресенск оказались истинным богатством. На бабкинское происхождение «Налима» указывает брат писателя: «Я отлично помню, как плотники в Бабкине ставили купальню и как во время работы наткнулись в воде на налима» («А. Чехов и сюжеты», с. 33).

Егерь (стр. 47).— Рассказу «Егерь» в жизни писателя суждено было сыграть важную роль.

Чехов рос стремительно. Рассказы «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», «Хамелеон» и другие со всей очевидностью показали, что он давно уже перешагнул уровень мелкой юмористической прессы, преисполненной пустопорожним зубоскальством и удовлетворявшей лишь низменный вкус обывателя. Серьезный читатель не признавал эту прессу, и, будучи заметным писателем в юмористических журналах, Чехов по-прежнему оставался в стороне от большой литературы.

Посчастливилось рассказу «Егерь», напечатанному 18 июля 1885 г. «Петербургской газетой». Номер газеты попал в руки Д. В. Григоровича, и маститый писатель встретил рассказ восторженно. «Когда в «Петербургской газете» появился мой «Егерь»,— вспоминал Чехов,— рассказывают, что Григорович поехал к Суворину и начал говорить: «Алексей Сергеевич, пригласите же Чехова! Прочтите его «Егеря».Грех не пригласить! »Суворин написал Куре-

пину, Курепин пригласил меня и торжественно объявил мне, что меня зовут в «Новое время» (воспоминания А. С. Лазарева-Грузинского в газ. «Русская правда», 1904, № 99). В феврале 1886 г. в «Новом времени» уже была напечатана «Панихида», затем «Ведьма», «Агафья» и т. д. Чехов предстал перед большой читательской аудиторией.

А в марте 1886 г. Григорович отправил молодому автору взволнованное письмо, где давал самую высокую оценку его произведениям, в том числе и «Егерю»: «...у Вас *настоящий* талант,— талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья». Отметив «замечательную верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы», «верное чувство внутреннего анализа, мастерство в описательном роде», «чувство пластичности», Григорович в то же время потребовал от писателя воспитать в себе «уважение к таланту, который дается так редко», потребовал беречь «впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест». «...Вы, я уверен, призваны к тому,— продолжал Григорович,— чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий» («Слово», с. 199—201).

Письмо Григоровича «поразило» Чехова, он «едва не заплакал, разволновался». «Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его,— писал он Григоровичу 28 марта 1886 г.— Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным». «Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я *ни одного* своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егеря», который Вам понравился, я писал в купальне!» Действительно, до сих пор Чехов относился к своему творчеству снисходительно, называя его «игрой в литературу» (письмо к В. В. Билибину от 14 февраля 1886 г.) и видя в нем лишь материальное подспорье для нуждающейся семьи. После письма Григоровича он посмотрел на свои литературные занятия серьезно, со свойственной ему взыскательностью отверг все, до того времени им созданное, и «почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз...» (то же письмо Григоровичу).

З л о у м ы ш л е н н и к (стр. 51).— «Злоумышленник» — превосходный рассказ... Я его раз сто читал. Тоже судьи»,— так говорил о рассказе Л. Н. Толстой (ЛН, с. 874).

О происхождении рассказа вспоминает Вл. Гиляровский, живший летом 1885 г. в Краскове на даче, куда к нему приезжал погостить Чехов. Местный крестьянин Никита Пантюхин действительно отвинчивал гайки на железнодорожном полотне для грузила. «...Антон Павлович долго разговаривал с ним, записывал некоторые выражения. Между прочим, Никита рассказывал, как его за эти гайки водили к уряднику, но все обошлось благополучно... Никита произвел на Чехова сильное впечатление. Из этой встречи впоследствии и родился рассказ «Злоумышленник» (Вл. Г и л я р о в с к и й. Москва и москвичи. М., 1959, с. 354).

У н т е р П р и ш и б е е в (стр. 54).— М. Горький, отстаивая мысль о «гигантской политической роли» русской литературы, подкрепляет ее ссылкой на произведения Чехова и, в частности, на «Унтера Пришибеева» («Горький и Чехов», с. 169).

Цензура сразу почувствовала густую политическую окраску рассказа: «Статья эта принадлежит к числу тех, в которых описываются уродливые общественные формы, явившиеся вследствие усиленного наблюдения полиции. По резкости преувеличения вреда от такого наблюдения статья не может быть дозволена»,—писал цензор Сватковский в докладе от 18 сентября 1885 г. («А. П. Чехов. Сборник документов и материалов». М., Гослитиздат, 1947, с. 258). Рассказ тогда назывался «Сверхштатный блюститель» и предназначался для журнала «Осколки». Получив «письмо с корректурой... злополучного рассказа» (из письма Лейкину от 30 сентября 1885 г.), Чехов отправил его в «Петербургскую газету» под новым заглавием — «Кляузник», и так он там был напечатан.

Название «Унтер Пришибеев», получившее огромную силу имени нарицательного, писатель дал рассказу при включении его в собрание сочинений.

Т о с к а (стр. 57).— Рассказ поразил всех необычайным мастерством исполнения. Особенное восхищение вызывала кульминационная часть рассказа. Так, Ал. П.Чехов писал брату: «...вспоминаются слова твоего рассказа, где Иона говорит кобыле: «Был у тебя, скажем, жеребеночек и помер, и ты ему, скажем,— мать... Ведь жалко?..» Я, конечно, привираю, но в этом месте твоего рассказа ты — бессмертен» («Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова». М., 1939, с. 258). Современная Чехову писательница Л. А. Авилова позднее вспоминала свое впечатление от рассказа: «Как я плакала над Ионой, который делился своим горем с своей клячей, потому что никто больше не хотел слушать его. А у него умер сын. Только один сын у него был и — умер. И никому это не было интересно. Почему же теперь, когда Чехов это написал, всем стало интересно, и все читали, и многие плакали?» («Чехов в восп.», с. 202).

Л. Н. Толстой называл «Тоску» в числе лучших рассказов Чехова (Д. П. М а к о в и ц к и й. Яснополянские записки, вып. 2. М., 1923, с. 30).

Стр. 57. *Кому повем печаль мою?..* — Изречение из псалтыри, книги псалмов.

В а н ь к а (стр. 61).— В рассказе отразились личные впечатления писателя, всю жизнь помнившего свое нелегкое детство. «Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать»,— писал он брату, Ал. П. Чехову, 2 января 1889 г. Уже после смерти писателя тот же брат его вспоминал, каким «кошмаром» висели над Чеховыми-детьми «спевки, пение в безголосом хоре в церквах и внушавшая отвращение лавка со всеми теми ненормальностями и мучениями, вспоминая о которых, покойный писатель с горечью говорил:

— В детстве у меня не было детства...» («Чехов в восп.», с. 63).

Писатель С. Т. Семенов рассказывает, как «восхищали» Л. Н. Толстого «детские фигуры Чехова, вроде «Ваньки» (т а м ж е, с. 369); сам Толстой называл рассказ в числе лучших произведений Чехова.

С т е п ь (стр. 65).— Прошло почти два года после письма Д. В. Григоровича, прежде чем Чехов, следуя его неоднократным советам написать «крупную» вещь, принялся за «труд обдуманный», «писанный не в один присест». То была «Степь». Готовился к ней Чехов основательно. К концу 1887 г. он почувствовал, что может приступить к работе, которой сам придавал решающее значение в своей жизни: «...я переживаю кризис. Если теперь не возьму приза, то уж начну спускаться по наклонной плоскости» (А. С. Лазареву-Грузинскому, 4 февраля 1888 г.).

1 января 1888 г. Чехов сообщает писателю И. Л. Леонтьеву-Щеглову: «...я начал пустячок для «Северного вестника»...» — а через несколько дней пишет В. Г. Короленко: «Для почина взялся описать степь, степных людей и то, что я пережил в степи» (9 января). Более месяца работает писатель над «Степью». И ни об одном из своих произведений не поминал Чехов в письмах так часто, как о «Степи». Письма его свидетельствуют о большом творческом подъеме и больших творческих волнениях и тревогах, связанных с созданием повести. Он хорошо понимал, что пишет нечто необычное: «странное и не в меру оригинальное» (Д. В. Григоровичу, 12 января).

Своеобразие повести заключалось и в особой манере повествования, и в непривычной сложности композиции, о которой Чехов писал: «Каждая отдельная глава составляет особый рассказ, и все главы связаны, как пять фигур в кадрили, близким родством. Я стараюсь, чтобы у них был общий запах и общий тон, что мне может удаться тем легче, что через все главы у меня проходит одно лицо. Я чувствую, что многое и поборол, что есть места, которые пахнут сеном...» (Д. В. Григоровичу, 12 января). Будучи чрезвычайно требовательным к себе и своему труду, Чехов все же чувствует постоянную тревогу и неудовлетворенность: «...от непривычки писать длинно, от страха написать лишнее я впадаю в крайность: каждая страница выходит компактной, как маленький рассказ, картины громоздятся, теснятся и, заслоняя друг друга, губят общее впечатление» (В. Г. Короленко, 9 января); «В общем получается не картина, а сухой, подробный перечень впечатлений, что-то вроде конспекта; вместо художественного, цельного изображения степи я преподношу читателю «степную энциклопедию». Первый блин комом» (Д. В. Григоровичу, 12 января). Но, несмотря на сомнения и тревоги, работал Чехов с подъемом и верой в удачу: «Тема хорошая, пишется весело...» (В. Г. Короленко, 9 января); «Описываю я *степь*. Сюжет поэтичный, и если я не сорвусь с того тона, каким начал, то кое-что выйдет у меня «из ряда вон выдающее» (А. Н. Плещееву, 19 января); «Пока писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью» (ему же, 3 февраля).

В первых числах февраля повесть была закончена и отправлена в «Северный вестник».

Поэт А. Н. Плещеев прислал восторженный отзыв: «Прочитал я ее с жадностью. Не мог оторваться, начавши читать. Короленко тоже... Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать Вам не могу и никаких замечаний не могу сделать — кроме того, что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность. Что за бесподобные описания природы, что за рельефные симпатичные фигуры... Пускай в ней нет того внешнего содержания — в смысле фабулы,— которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неисчерпаемый родник. Поэты, художники с поэтическим чутьем должны просто с ума сойти. И сколько разбросано тончайших психологических штрихов» (8 февраля — «Слово», с. 238—239). Очень ценен был для Чехова отзыв М. Е. Салтыкова-Щедрина, переданный ему сыном поэта Плещеева, А. А. Плещеевым. «Был отец у Салтыкова, который в восторге от «Степи». «Это прекрасно»,— говорит он отцу и вообще возлагает на Вас великие надежды. Отец говорит, что он редко кого хвалит из новых писателей, но от Вас в восторге» (ЦГАЛИ).

Вокруг повести разгорелись жаркие споры. Об одном из таких споров вспоминает И. Е. Репин: «Чехов был еще совсем неизвестное, новое явление. Большинство слушателей, и я в том числе, нападали на Чехова и его новую манеру писать. Нечто бессюжетное, бессодержательное... Тогда еще тургеневскими канонами жили литераторы. «Что это: ни цельности, ни идеи во всем этом!»— говорили мы. Со слезами в своем симпатичном голосе отстаивал Вс. Мих. (Гаршин.—*В. П.*) красоты Чехова, говорил, что таких перлов языка, жизни, непосредственности еще не было в русской литературе. Как он восхищен был техникой, красотой и особенно поэзией этого восходящего, тогда нового светила русской литературы!!» (И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям, 1880—1929. М., «Искусство», 1950, с. 168). Даже Григорович увидел в «Степи» бедность содержания: «...рама велика для картины, величина холста не пропорциональна сюжету» (8 октября — «Слово», с. 212). Приверженцу старой школы, ему оказались не по плечу новаторские искания Чехова. И лишь позднее поиски Чехова в области формы, его художественная дерзость были по достоинству оценены великим мастером — Л. Н. Толстым: Чехова как художника «даже сравнивать нельзя с прежними писателями — с Тургеневым, Достоевским или со мной... манера какая-то особенная, как у импрессионистов. Видишь, человек без всякого усилия набрасывает какие-то яркие краски, которые попадаются ему, и никакого соотношения, по-видимому, нет между всеми этими яркими пятнами, но в общем впечатление удивительное» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», в двух томах, т. II. Гослитиздат, 1960, с. 119). М. Горький призывал «учиться писать» по повести «Степь»: «все — ясно, все слова — просты, каждое —на своем месте» («Горький и Чехов», с. 177). И, кончая воспоминания о Чехове, с некоторой завистью пишет: «Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный» («Чехов в восп.», с. 511).

Закончив повесть, Чехов был полон решимости, «если она будет иметь хоть маленький успех», положить «ее в основание большущей повести и... продолжать» (А. Н. Плещееву, 3 февраля), и вскоре он даже наметил судьбы героев будущей «большущей повести». Однако эта повесть, как и роман его, не были написаны. Впоследствии, когда Чехову говорили: «Бросьте писать рассказики. Мы ждем от вас крупного», он поправлял пенсне, поглаживал волосы, неопределенно покрякивал и жаловался друзьям: «Под именем «крупного» они подразумевают длинное. Они все привыкли мерять погонными саженями» (П. П. Г н е д и ч. Книга жизни, изд-во «Прибой», 1929, с. 178—179).

Стр. 135. *Могила* Петр Симеонович (1596—1647) — украинский церковно-политический и культурный деятель, киевский и галицкий митрополит.

Стр. 136. *Саул* — первый царь Израильско-Иудейского царства (XI в. до н. э.).

Нестор (1056 — ок. 1114) — древнерусский писатель, монах Киево-Печерского монастыря. Предполагают, что Нестором составлена «Повесть временных лет» — выдающийся памятник древнерусского летописания.

И м е н и н ы (стр. 141).— Рассказ отличает необычайно тревожный и глубокий интерес к общественным проблемам времени, интерес, который отныне будет звучать в творчестве Чехова неизменно.

15 сентября 1888 г. Чехов сообщает А. Н. Плещееву, что пишет рассказ «помаленьку, и выходит он... сердитый», а 30 сентября, что рассказ окончен: «вышел немножко длинный... немножко скучный, но жизненный и, представьте, с «направлением». Отправляя «Именины» в редакцию, Чехов опасался, как бы их смысл не был искажен чужой правкой: «...я просил не вычеркивать в моем рассказе ни одной строки. Эта моя просьба имеет в основании не упрямство и не каприз, а страх, чтобы через помарки мой рассказ не получил той окраски, какой я всегда боялся»,— это он пишет Плещееву 4 октября и в тот же день вдогонку посылает еще одно письмо, в котором поясняет суть рассказа и одновременно выявляет свою общественную позицию: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист... Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах... Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались».

6 октября Плещеев пишет Чехову подробный отзыв о рассказе. Засвидетельствовав «знание жизни и большую наблюдательность», он в то же время замечает, что не увидел в «Именинах» «направления»:«В принципиальном отношении тут нет ничего ни против либерализма, ни против консерватизма...» Плещееву не понравилось также насмешливое изображение «человека 60-х годов» и «украинофила», он обратил внимание на психологическую неубедительность образа Петра Дмитриевича в сцене с доктором (впоследствии снятой), нашел скучноватой середину рассказа, отметил явные подражания Тол-

стому: «разговор Ольги Мих. с бабами о родах и та подробность, что затылок мужа вдруг бросился ей в глаза,— отзывается подражанием «Анне Карениной», где Долли также разговаривает в подобном положении с бабами и где Анна вдруг замечает уродливые уши у мужа» (6 октября — «Слово», с. 256—258).

Отстаивая свою позицию, Чехов спрашивал Плещеева 9 октября: «Неужели и в последнем рассказе не видно «направления»? Вы как-то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатий и антипатий... Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?» Подтвердил он и свои симпатии к Ольге Михайловне, «либеральной и бывшей на курсах», к земству, к суду присяжных. Объяснил и отношение к «украинофилу»: тем, что «имел в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки». И — к «человеку 60-х годов», этой «полинявшей недеятельной бездарности, узурпирующей 60-е годы»: «Шестидесятые годы — это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его — значит опошлять его». (Впоследствии подробные характеристики «украинофила» и «человека 60-х годов» при большой переработке были сняты, очевидно, как затруднявшие развитие действия.) Относительно подражания Толстому Чехов согласился с Плещеевым: «Вы правы, что разговор с беременной бабой смахивает на нечто толстовское. Я припоминаю. Но разговор этот не имеет значения; я вставил его клином только для того, чтобы у меня выкидыш не вышел ex abrupto [1]. Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи. И насчет затылка Вы правы. Я это чувствовал, когда писал, но отказаться от затылка, который я наблюдал, не хватило мужества: жалко было».

Стр. 144. *Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898) — английский государственный и политический деятель.

Стр. 154. ...*по мнению Прудона... собственность есть воровство.*— Эта мысль развивалась в книге «Что такое собственность?» (1840) французского мелкобуржуазного социолога и публициста Пьера Прудона.

Скучная история (стр. 168).— В конце 80-х г. Чехов много размышляет о том, «что осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас» (А. С. Суворину, 28 ноября 1888 г.). Свои раздумья о социальном неустройстве и нравственном бессилии русского общества писатель щедро уступает герою повести — профессору Николаю Степановичу (что, безусловно, не дает права и повода ставить знак равенства между ними). Письма Чехова 1888—1889 гг. выявляют большое число даже текстуальных совпадений в мыслях автора и его героя.

---

[1] внезапно *(лат.)*.

3 августа 1889 г. Чехов уведомляет А. Н. Плещеева, что пришлет повесть для «Северного вестника» «не позже 1 сентября». Однако увлекся «обработкой своей вещи, исковеркал ее вдоль и поперек и выбросил кусок середины и весь конец, решив заменить их новыми» (А. М. Евреиновой, 7 сентября). Работа осложнялась «отвратительным настроением», от которого писатель «не мог отделаться во все лето» (т а м ж е): 17 июня после тяжкой болезни скончался его брат, художник Н. П. Чехов. Завершена повесть была лишь 24 сентября.

Чехов опасался, что напряженные идейные поиски героя покажутся читателю скучными и не будут поняты. «Ничего подобного отродясь я не писал, мотивы совершенно для меня новые, и я боюсь, как бы не подкузьмила меня моя неопытность. Вернее, боюсь написать глупость»,— волновался Чехов в письме к Плещееву от 3 сентября; «Это не повесть, а диссертация»,— сообщает И. Л. Леонтьеву-Щеглову 18 сентября, а 24 сентября, посылая повесть Плещееву, в сопроводительном письме объясняет, что выбросить «скучные» рассуждения нельзя, «так как без них не может обойтись мой герой, пишущий записки. Эти рассуждения фатальны и необходимы, как тяжелый лафет для пушки. Они характеризуют и героя, и его настроение, и его вилянье перед самим собой».

«...у Вас еще не было ничего *столь сильного и глубокого*, как эта вещь,— отвечал ему Плещеев.— Удивительно хорошо выдержан тон старика-ученого, и даже те рассуждения, где слышатся нотки субъективные, ваши собственные,— не вредят этому... Есть множество замечаний верных, местами глубоких даже.— Не говорю уже об абсолютной новизне мотива» (27 сентября — «Слово», с. 270, 275).

В том же письме Плещеев предсказал, что критика «окрысится» на Чехова за «сильные рассуждения о русской литературе, об ученых статьях в особенности». И не ошибся. Прежде всего ощетинилась реакционная пресса («Новое время», «Московские ведомости»), которую раздражала обличительная заостренность повести. Либерально-демократический лагерь отнесся к «Скучной истории» спокойнее, высказывались даже положительные оценки, однако повесть при этом, ее социальный аспект действительно остались непонятыми. Поиски героем смысла жизни, ясного и цельного мировоззрения толковались критикой лишь со стороны этической. Заметив внешнее сходство, говорили о подражании Толстому, в частности,— «Смерти Ивана Ильича», говорили об отсутствии «общей идеи», о чеховской тоске... В 1900 г. М. Горький, вспоминая эту критику, скажет: «Еще со времен «Скучной истории» начали говорить о Чехове: «Да, конечно, это талант крупный, но...» и, подражая Сент-Беву, старались превратить похвалу в гнездо ос» («Горький и Чехов», с. 122).

Когда вышел сборник Чехова «Хмурые люди» (1890), включивший в себя «Скучную историю», со статьей «Об отцах и детях и о г. Чехове» выступил старейший народнический критик Н. К. Михайловский, неоднократно критиковавший произведения Чехова, неизменно обнаруживая свою неспособ-

ность понять его новаторство, неизменно упрекая его в безыдейности. И сборник «Хмурые люди» он заклеймил: «г. Чехов с холодною кровью пописывает, а читатель с холодною кровью почитывает» (Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. М., Гослитиздат, 1957, с. 600). Но для повести он сделал исключение: «Скучная история» есть лучшее и значительнейшее из всего, что до сих пор написал г. Чехов» (там же, с. 601).

Не раз отмечалось огромное художественное мастерство автора «Скучной истории». Так, И. А. Бунин писал: «Меня поражает, как он моложе тридцати лет мог написать «Скучную историю»... Кроме художественного таланта, изумляет во всех этих рассказах знание жизни, глубокое проникновение в человеческую душу в такие еще молодые годы» (ЛН, с. 642). В статье о Чехове, написанной незадолго до смерти, Томас Манн говорил, что «Скучная история» ему наиболее дорога: «...это совершенно необыкновенная, чарующая вещь, во всей литературе не сыскать ничего похожего на нее,— такая она печальная и странная. Эта история, именующая себя «скучной», а на самом деле потрясающая, удивительна своим глубочайшим проникновением в психологию старости, тем, что она вложена в уста старика молодым человеком, которому не было еще и тридцати лет» (Томас Манн. Собр. соч. в десяти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1961, с. 524—525).

Стр. 168. *Пирогов* Николай Иванович (1810—1881) — основоположник военно-полевой хирургии и хирургической анатомии. С 1847 г. академик.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — профессор Московского и Петербургского университетов, юрист и историк.

Стр. 174. *Грубер* Венцеслав Леопольдович (1814—1890)—анатом, профессор Петербургской медико-хирургической академии.

Бабухин Александр Иванович (1835—1891) — физиолог и гистолог, профессор Московского университета.

Стр. 175. *Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Перов Василий Григорьевич (1834—1882) — художник, профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Патти Аделина (1843—1919) — итальянская певица, неоднократно гастролировавшая в России.

...до Гекубы ему нет никакого дела.— Перефразировка выражения «что ему Гекуба, что он Гекубе», взятого из трагедии В. Шекспира «Гамлет». Выражение бытовало в применении к лицам, не имеющим отношения к делу. Гекуба — по древнегреческим легендам, жена троянского царя Приама, при осаде Трои потерявшая мужа и детей.

Стр. 197. «*Печально я гляжу на наше поколенье*» — первая строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

Стр. 204. *Крылов* Никита Иванович (1807—1879) — юрист, профессор Московского университета.

«*Орлам случается и ниже кур спускаться...*» — цитата из басни И. А. Крылова «Орел и куры» (1808).

Г у с е в (стр. 216).— Рассказ написан в ноябре 1890 г. на острове Цейлон, в Коломбо, когда Чехов возвращался с Сахалина. В «Гусеве» непосредственно отразились живые впечатления поездки. Об одном таком впечатлении вспоминает М. П. Чехов: «В Индийском океане он на всем ходу парохода бросался с палубы в море с носа и затем хватался за веревку, брошенную ему с кормы. Это было его купаньем. В одно из таких купаний он видел невдалеке от себя акулу и стаю рыб-лоцманов, которых он описал потом в своем рассказе «Гусев» («А. Чехов и сюжеты», с. 74). Сам А. П. Чехов писал 9 декабря 1890 г. А. С. Суворину: «По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно...»

Рассказ понравился читателям сразу. «Какая прелесть вещица Чехова в рождественском № «Нов. врем.»,— писал 1 января 1891 г. П. И. Чайковский своему брату М. И. Чайковскому. «Ваш рассказ... здесь произвел на всех глубокое впечатление,— сообщал Чехову А. Н. Плещеев 12 января.— Удивительная у вас вышла фигура этого протестанта» (ЛН, с. 362). Много позднее И. А. Бунин вспоминал: «В другой раз в сумерках я читал ему «Гусева», дико хвалил его, считая, что «Гусев» первоклассно хорош, он был взволнован, молчал» (ЛН, с. 651).

П о п р ы г у н ь я (стр. 227).— Первоначально рассказ был назван Чеховым «Обыватели». Однако, посылая 30 ноября 1891 г. этот «маленький, чувствительный роман для семейного чтения» редактору журнала «Север» В. А. Тихонову, писатель озаглавил его «Великий человек». И тут же присовокупил: «Если напечатаете с этим названием, то в марте я пришлю Вам другой рассказ, который будет называться «Обыватели». (Так сначала именовался «Учитель словесности».) Но, прочитав уже корректуру рассказа, Чехов опять меняет его название. «Право, не знаю, как быть с заглавием моего рассказа! — писал он В. А. Тихонову.— «Великий человек» мне совсем не нравится. Надо назвать как-нибудь иначе — это непременно. Назовите так — «Попрыгунья». Итак, значит, «Попрыгунья». Не забудьте переменить» (14 декабря).

По поводу рассказа в обществе возникли большие и неприятные для Чехова пересуды. «Вчера я был в Москве, но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи» («Север», № 1 и 2), и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником»,— писал Чехов 29 апреля 1892 г. Л. А. Авиловой. Чехов действительно использовал в рассказе внешние черты быта и отношений в семье Кувшинниковых, и в частности роман С. П. Кувшинниковой с И. И. Левитаном. Близкая знакомая и Чеховых и Кувшинниковых, писательница Т. Л. Щепкина-Куперник так объясняла эту «неосторожность» писателя: «Только писатель может по-

нять, как преломляются и комбинируются впечатления от виденной и слышанной жизни в жизнь творчества. С наивностью художника, берущего краски, какие ему нужно и где только нужно, Чехов взял только черточки из внешней обстановки С. П. — ее «русскую» столовую, отделанную серпами и полотенцами, ее молчаливого мужа, занимавшегося хозяйством и приглашавшего к ужину, ее дружбу с художниками. Он сделал свою героиню очаровательной блондинкой, а мужа ее талантливым молодым ученым. Но она узнала себя— и обиделась» («Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1952, с. 285). Почувствовал себя задетым и Левитан. Разобиделся друг Чехова, артист А. П. Ленский, который увидел себя в образе «толстого актера».

Конечно, волевая и немолодая Кувшинникова, заурядный муж ее или серьезный и нежно любимый Чеховым И. И. Левитан совсем не идентичны героям «Попрыгуньи», хотя писатель и придал некоторые их черты своим персонажам: экстравагантность Ольги Ивановны, томность и припадки мучительных сомнений в своем даровании Рябовского. Однако главные качества характера Ольги Ивановны, которые и привели к трагической развязке,— легкомыслие, слабохарактерность,— были присущи не Кувшинниковой, а ее молодой приятельнице Л. С. Мизиновой, влюбленной в тот период в Левитана. Именно Л. С. Мизинова и была основным прототипом Ольги Ивановны (см.: Г. Бердников. Красота и правда.— «Знамя», 1973, № 10).

Высоко ценивший Чехова-художника Л. Н. Толстой восхищался «Попрыгуньей», читал ее вслух (ЛН, с. 874), говорил о ней: «Превосходно, превосходно. Есть юмор, сначала, а потом эта серьезность... И как чувствуется, что после его смерти она будет опять точно такая же» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Неизданный дневник за 1907 год.— Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве).

Стр. 238. *Мазини* Анджело (1844—1926) — итальянский певец.

Стр. 240. «*Укажи мне такую обитель...*» — Песня на слова Н. А. Некрасова (отрывок из стихотворения «Размышления у парадного подъезда», 1858), весьма популярная в среде русской передовой интеллигенции.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — художник.

Стр. 243. *Барнай* Людвиг (1842—1924)— немецкий драматический актер; в 1885 г. гастролировал в России.

В ссылке (стр. 248).— Рассказ навеян поездкой писателя на Сахалин, «это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный» (А.С.Суворину, 9 марта 1890 г.), и создавался во время работы над капитальным трудом «Остров Сахалин». «В ссылке» — единственное художественное произведение Чехова, целиком построенное на материалах каторги.

Палата № 6 (стр. 255).— «Пишу повесть...— сообщал Чехов 31 марта 1892 г. А. С. Суворину.— В повести много рассуждений и отсутствует элемент любви. Есть фабула, завязка и развязка. Направление либеральное». Это была «Палата № 6». Через месяц, 29 апреля, Л. А. Авиловой он пишет,

что «кончает повесть». В ноябрьской книжке «Русской мысли» повесть была напечатана.

Беспощадная критика российских порядков, развенчивание философии пассивности в «Палате № 6», ее острая социальная направленность привлекли к повести внимание передовой общественности. В. Г. Короленко назвал ее «произведением поразительным по захватывающей силе и глубине...» («Чехов в восп.», с. 144). И. Е. Репин отправил в апреле 1893 г. Чехову взволнованное письмо: «Как я Вам благодарен... за Вашу «Палата № 6». Какая страшная сила впечатлений поднимается из этой вещи! Даже просто непонятно, как из такого простого, незатейливого, совсем даже бедного по содержанию рассказа вырастает в конце такая неотразимая, глубокая и колоссальная идея человечества!! Да нет, куда мне оценивать эту чудную вещь... Я поражен, очарован, рад, что я еще не в положении Андрея Ефимовича... Спасибо, спасибо, спасибо! Какой Вы силач!.. Вот это так вещь!» (И. Е. Р е п и н. Письма к писателям и литературным деятелям, с. 102).

Об огромной впечатляющей силе повести говорили писатели Н. С. Лесков: «В «Палате № 6» в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду — палата № 6. Это— Россия...» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., 1947, с. 316) и П. Д. Боборыкин, который, прочитав повесть, «находился *целых два дня* под таким ее душевным воздействием, какого решительно не испытывал ни от какой беллетристической вещи...» (ЦГАЛИ).

И наконец, драгоценное для нас свидетельство А. И. Ульяновой-Елизаровой, воспроизводящей разговор о «Палате № 6» с В. И. Лениным: «Говоря о талантливости этого рассказа, о сильном впечатлении, произведенном им,— Володя вообще любил Чехова,— он определил всего лучше это впечатление следующими словами: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6» (сб. «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., Гослитиздат, 1960, с. 616).

Издательство «Посредник», поставившее себе задачу издать «для интеллигентного читателя» произведения, заключавшие «в себе наиболее гуманные идеи», по свидетельству писателя С. Т. Семенова, нашло больше всего «таких писаний» у Чехова, в том числе «Именины» и «Палата № 6» («Чехов в восп.», с. 365). «Нам со всех сторон указывают на эту вещь,— писал Чехову В. Г. Чертков 20 января 1893 г.— Еще недавно мы получили самый сочувственный о ней отзыв от Л. Н. Толстого».

Стр. 271. *Пастер* Луи (1822—1895)— французский бактериолог, основатель современной микробиологии и учения о заразных болезнях.

Кох Роберт (1843—1910) — немецкий бактериолог. Открыл бациллы туберкулеза, холеры, сибирской язвы.

Стр. 275. *У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди.*— «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать» — это изречение французского писателя и философа

Ф. Вольтера из «Послания к автору новой книги о трех самозванцах» (1769) использовано Ф. М. Достоевским в «Братьях Карамазовых»: его произносит, с добавлением слов «И действительно, человек выдумал бога», Иван Карамазов в третьей главе книги пятой.

Стр. 276. *Диоген* (ок. 404—323 до н. э.) — греческий философ. По преданиям, будучи аскетом, жил в бочке; днем он ходил с фонарем в поисках человека, достойного этого звания.

Стр. 278. *Марк Аврелий* (121—180) — римский император. Цитируется изречение из книги «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя. Перевод Л. Урусова» (Тула, 1882). В личном чеховском фонде библиотеки Таганрога хранится эта книга с пометами писателя.

С т у д е н т (стр. 307).— И. А. Бунин вспоминает, с какой «затаенной горечью» в конце жизни говорил Чехов о своем литературном прошлом: «Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «А вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент». И слово-то противное: «пессимист»...» («Чехов в восп.», с. 514). А. П. Чехов считал рассказ «Студент» «наиболее отделанной» своей работой (свидетельство И. П. Чехова об этом хранится в Институте русской литературы АН СССР, Пушкинский дом).

Д о м с м е з о н и н о м (стр. 310). — «Теперь пишу маленький рассказ: «Моя невеста»,—сообщает Чехов Е. М. Шавровой 26 ноября 1895 г. А 29 декабря в письме к А. С. Суворину сетует: «...пишу небольшую повесть и никак не могу ее кончить: мешают гости. С 23 декабря у меня толчется народ, и я тоскую по одиночеству, а когда остаюсь один, то злюсь и чувствую отвращение к прожитому дню. Целый день еда и разговоры, еда и разговоры».

Первые впечатления, давшие писателю материал для рассказа, относятся еще к лету 1891 г., когда семья Чеховых жила на даче под Алексином Тульской губернии, в имении Богимово. Сам владелец имения Е. Д. Былим-Колосовский, его экономка Анимаиса Орестовна стали прототипами помещика Белокурова и Любови Ивановны; Чехов, подобно герою рассказа художнику, жил «в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана»; описан в рассказе и богимовский парк с еловой аллеей (см. письма Чехова А. С. Суворину от 18 и 20 мая 1891 г. и воспоминания А. А. Хотяинцевой — ЛН, с. 610).

Писатель В. Н. Ладыженский воспроизводит в своих мемуарах разговоры с Чеховым в середине 90-х гг.: «Общественной деятельности в земстве он очень сочувствовал, но считал ее маловозможной по «независящим обстоятельствам»... при свидании Чехов говорил мне: «Все это хорошо, и дай тебе бог всякого успеха, но, по-настоящему, нужны не школки с полуголодным учителем и не аптечки, а народные университеты» («Чехов в восп.», с. 301). М. В. Лавров, сын издателя «Русской мысли» В. М. Лаврова, у которого Чехов в те годы часто гостил в имении Шелковка под Москвой, вспоминает

их разговоры о положении крестьян в России. «Свои воззрения по этому поводу А. П. Чехов вложил в горячие речи пейзажиста в... «Домике с мезонином», в котором безусловно можно видеть много автобиографических черт» («Туркестанские ведомости», 1910, № 3645, 26 февраля).

В названном выше письме Шавровой Чехов писал: «У меня когда-то была невеста... Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом я пишу». До последнего времени прототипы героинь рассказа, Лиды и Мисюсь, не были известны. Внучка В. М. Лаврова, А. Дорошевская, назвала их: «У Вукола Михайловича были две дочери — старшая, Лидия, и младшая, Анастасия, которой в детстве было дано прозвище Мисюсь»,— пишет Дорошевская. Лидия Вуколовна, поборница «малых дел», многими своими чертами предваряла образ Лидии в «Доме с мезонином», а Анастасия явилась прототипом Жени-Мисюсь («Литературная газета», 1973, № 48, 28 ноября).

М о я ж и з н ь (стр. 325).— Едва был окончен «Дом с мезонином», рассказ, направленный против теории «малых дел», как Чехов принимается за произведение, в котором изображает трагедию человека, пытавшегося претворить в жизнь толстовские идеи. Из письма к Чехову редактора журнала «Нива» А. А. Тихонова (от 25 марта 1896 г.) известно, что начата повесть в феврале 1896 г. 27 апреля писатель извещает Тихонова: «...рассказ, который я пишу для «Нивы», уже подваливает к концу второго листа... сюжет из жизни провинциальной интеллигенции». 16 июня отправляет часть рукописи в журнал: «...посылаю Вам заказной бандеролью свою повесть. Это не половина, а лишь первая треть. Что успел переписать, то и посылаю... Придется исправлять во многом, ибо это еще не повесть, а лишь грубо сколоченный сруб, который я буду штукатурить и красить, когда окончу здание». И только ко 2 августа повесть была закончена.

Беспокоило писателя заглавие повести: «Я телеграфировал Вам название повести: «Моя жизнь». Но это название кажется мне отвратительным, особенно слово «моя». Не лучше ли будет «В девяностых годах»? Это в первый раз в жизни я испытываю такое затруднение с названием» (А. А. Тихонову, 13 сентября). Отвечая 19 сентября Чехову, Тихонов просил его оставить заголовок «Моя жизнь»: «Не знаю, почему Вам так не нравится название «Моя жизнь». Мне оно понравилось своей простотой. Оно, правда, не дает точного представления о содержании повести, но удивительно хорошо гармонирует с ее тоном, со стилем, которым она написана. Напротив, «В 90-х годах» мне кажется претенциозным и более подходящим для исторической повести». Чехов согласился: «Если название «Моя жизнь» нравится Вам, то пусть оно и остается» (24 сентября).

В повести отразились многие таганрогские впечатления Чехова. Как вспоминает его земляк, П. Сурожский («Приазовский край», 1914, № 172), в описании города и в характеристике общества воссоздан именно Таганрог. М. П. Чехов, припоминая «строгость семейного режима» в их детстве, утверждает, что «этот режим все-таки оставил в душе Антона Павловича неприятный след и в его повести «Моя жизнь» есть много автобиографических черт». Кроме

того, слова Редьки «Как это он ловко все пригнал!» были произнесены когда-то дядей А. П. Чехова, М. Е. Чеховым, об авторе фарса «Маменькин сынок». Образы Карповны и Прокофия во многом списаны с тетушки Федосьи Яковлевны и «некоего мясника Прокофия Алексеевича», которому действительно принадлежит фраза: «Я вам, мамаша, могу снисхождение сделать. В сей земной жизни буду вас питать на старости лет в юдоли, а когда помрете, на свой счет похороню...» Однако наказан розгами был не он, а купец Китаев из Нижнего Новгорода, в самом деле говоривший во время холеры против докторов («А. Чехов и сюжеты», с. 12—23). Прототипом главного героя повести, как считал Л. Н. Толстой, «послужил небезызвестный опрощенец князь В. В. Вяземский, вызвавший когда-то целый шум в печати» («Чехов в восп.», с. 368).

Сразу после появления повести в журнале писатель И. Л. Леонтьев-Щеглов писал Чехову: «Благодарю Вас много, много, в качестве читателя «Нивы» за Ваш превосходный (со всех сторон) рассказ «Моя жизнь». Вот она, г-жа литература, в ее настоящем виде!» (1 января 1897 г.) 13 декабря отозвался И. Е. Репин: «*Моя жизнь*» — вот что тронуло меня и произвело глубокое впечатление. Какая простота, сила, неожиданность; этот серый обыденный тон, это прозаическое миросозерцание являются в таком новом увлекательном освещении; так близка душе делается вся эта история! Действующие лица становятся родными, и их жаль до слез. И как это ново! Как оригинально! А какой язык!..» (И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям, с. 141). Очень высоко ценил повесть М. Горький. «Вчера я прочитал «Мою жизнь».— Роскошь!»— пишет он Е. П. Пешковой 22 марта 1899 г. А в 1925 г., говоря о «гигантской политической роли» русской литературы, среди произведений, служивших этой цели, называет и «Мою жизнь» («Горький и Чехов», с. 169).

Стр. 385. «*Отчего я люблю тебя, светлая ночь?*»— романс на стихи Я. П. Полонского «Ночь» (1850), музыка П. И. Чайковского.

М у ж и к и (стр. 399).— Первое упоминание о повести мы находим в письме Чехова к Е. М. Шавровой от 1 января 1897 г.: «...я занят, занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю...» А 1 марта он сообщает А. С. Суворину: «Я написал повесть из мужицкой жизни, но говорят, что она не цензурна и что придется сократить ее наполовину». Опасаясь цензуры, Чехов снял главу, где мужики разговаривают «о религии и властях» (Ф. Д. Батюшкову, 24 января 1900 г.).

Замышляя покупку имения, Чехов писал 19 октября 1891 г. А. С. Суворину: «...если я литератор, то мне нужно жить среди народа... Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек...» И «семь лет «мелиховского сидения» не прошли для него даром. Они наложили на его произведения этого периода свой особый отпечаток, особый колорит. Это влияние Мелихова признавал он и сам. Достаточно вспомнить о его «Мужиках» и «В овраге», где на каждой странице сквозят мелиховские картины и персонажи» («Вокруг Чехова», с. 280). Писатель В. Н. Ладыженский рассказывает, как он присутствовал однажды на молебне в мелиховской школе

вместе с Чеховым, который обратил его «внимание на местного крестьянина, послужившего прототипом для старосты в «Мужиках», и указывал на своеобразную колоритность его речи» («Чехов в восп.», с. 303). Но к концу 90-х гг. Мелихово, сыгравшее важнейшую роль в творческой биографии писателя, уже исчерпало себя. 26 июня 1899 г. он пишет А. С. Суворину: «... в беллетристическом отношении после «Мужиков» Мелихово уже истощилось и потеряло для меня цену».

Значение «Мужиков» как явления общественного и литературного было огромно. Честное и правдивое изображение русской деревни, чуждое какой бы то ни было идеализации, вызвало ярость и негодование в реакционных кругах. А. С. Суворин записал в своем дневнике 27 апреля 1898 г.: «Здесь Чехов... Он мне рассказывал, что Короленко убедил его баллотироваться в члены Союза писателей, сказав, что это — одна формальность. Оказалось, что среди этого Союза оказалось несколько членов, которые говорили, что Чехова следовало забаллотировать за «Мужиков»... «Меня чуть не забаллотировали»,— говорил Чехов» («Дневник А. С. Суворина». М.— Пг., 1923, с. 179).

По-своему не принял «Мужиков» Л. Н. Толстой. «Рассказ «Мужики»— это грех перед народом. Он не знает народа...» — говорил Толстой. «Из ста двадцати миллионов русских мужиков Чехов взял одни только темные черты. Если бы русские мужики были действительно таковы, то все мы давно перестали бы существовать» (ЛН, с. 519 и 521).

Но большинство современников встретили «Мужиков» восторженно. «Какую дивную вещь написал Антон Павлович — «Мужики». Это потрясающая вещь. Он достиг в этой вещи поразительно художественной компактности. Я от нее в восторге»,— писал И. И. Левитан М. П. Чеховой (М. П. Чехова. Из далекого прошлого. М., Гослитиздат, 1960, с. 45). «Спасибо, громадное спасибо Вам за «Мужиков»,— пишет доктор П. Г. Розанов 5 мая 1897 г. «Читал с огромным напряжением «Мужиков». Судя по отзывам со всех концов, ты давно не имел такого успеха» (Вл. И. Немирович-Данченко, май 1897 г.). Артист и драматург А. И. Сумбатов-Южин тогда же пишет: «...твои «Мужики» — величайшее произведение... Удивительно высок и целен твой талант в «Мужиках»... И везде несравненный трагизм правды, неотразимая сила стихийного, шекспировского рисунка; точно ты не писатель, а сама природа». М. Горький высоко ценил повесть за то, что она свидетельствовала, как «резко изменилось отношение литературы к мужику; благодушный мечтатель и лирик исчез, явились дикие, пьяные, странные «Мужики», и относил ее к тем произведениям, которые сыграли «гигантскую политическую роль» в жизни России («Горький и Чехов», с. 176 и 169).

На подводе (стр. 424).— В мелиховский период, когда Чехов работал в земстве и строил школы, он особенно близко и хорошо узнал жизнь сельских учителей. «Если я когда-нибудь напишу рассказ про сельского учителя, самого несчастного человека во всей империи, то на основании знакомства с жизнью многих десятков их»,— говорил он М. М. Ковалевскому («Чехов в восп.», с. 448). «...мы разговорились о тяжелом положении народных

учителей и учительниц, и я увидел впоследствии некоторые черты этого положения в художественной правде небольшого рассказика «На подводе»... — вспоминает писатель В. Н. Ладыженский (т а м ж е, с. 303—304).

Л. Н. Толстой, прочитав рассказ в газете, записал в своем дневнике: «Превосходно по изобразительности, но риторика, как только он хочет придать смысл рассказу» (Л. Н. Т о л с т о й. Полн. собр. соч., т. 53, с. 172).

Ч е л о в е к в ф у т л я р е (стр. 431).— Рассказ открывает цикл, в который помимо «Человека в футляре» входят рассказы «Крыжовник» и «О любви». Чехов предполагал написать целую серию рассказов о «футлярных людях», о чем 28 сентября 1899 г. оповещал А. Ф. Маркса: «...рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви» — рассказы, принадлежащие к серии, которая далеко еще не закончена и которая может войти лишь в XI или XII том, когда будет приведена к концу вся серия». Однако другие рассказы этой серии не появились. Рассказ написан летом 1898 г., сразу по возвращении из Ниццы.

Многие мемуаристы указывают, что одним из прототипов «человека в футляре», учителя Беликова, был инспектор таганрогской гимназии А. Ф. Дьяконов, который «был божеским наказанием и для учащихся и для учащих, много лет держал в подчинении и страхе всю гимназию...» (П. С у р о ж с к и й. Местный колорит в произведениях А. П. Чехова.— «Приазовский край», 1914, № 172, 3 июля). Как тип Дьяконов поразил, видимо, Чехова еще в детстве. Любопытно свидетельство М. Андреева-Туркина о том, как Чехов-гимназист копировал Дьяконова: «Антон надел отцовский черный люстриновый пиджак и фуражку и живо представил инспектора гимназии, Дьяконова («сороконожку»), быстро-быстро бегая по комнате, потирая руки и кивая изредка слева направо головой» (сб. «А. П. Чехов и наш край». Ростов н/Д, 1935, с. 30). Безусловно, Беликов — синтезированный художественный образ. В действительности Дьяконов был не чужд понятиям чести и человечности. Так, например, он «не мог примириться с новыми порядками и новыми веяниями» в гимназии 80-х гг., когда «требовалась организация сыска, шпионаж, доносительство», и ушел в отставку. Умирая, Дьяконов оставил свое немалое состояние «неимущим из учительской корпорации» (Воспоминания В. В. Зелененко о таганрогской гимназии 70—80-х гг.— ЦГАЛИ). Известно также, что одним из прототипов Беликова был редактор «Недели» М. О. Меньшиков, о котором Чехов записал в дневнике 1896 г.: «в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой...» В рассказе отражены, кроме того, многие факты из жизни гимназии, например—маевки в роще Дубки под Таганрогом («А. Чехов и сюжеты», с. 16—17). Все эти сведения подтверждает и писатель В. Г. Тан-Богораз («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, с. 496—497).

Гениальный сатирический образ «человека в футляре» был неоднократно использован В. И. Лениным.

К р ы ж о в н и к (стр. 441).— Второй рассказ цикла написан в июле 1898 г., сразу после «Человека в футляре». «Девять десятых рассказа для ав-

густовской книжки уже готово, и если ничто не помешает благополучному окончанию сего рассказа, то 1 августа ты его получишь...»— писал Чехов В. А. Гольцеву 20 июля. 28 июля рассказы «Крыжовник» и «О любви» были отправлены в журнал «Русская мысль».

Как сообщает М. П. Чехов, в рассказе воссозданы некоторые особенности быта имения Бакумовка, принадлежащего близким знакомым семьи Чеховых, Смагиным, в частности — сцена купания. Фамилия Чимша-Гималайский придумана писателем по аналогии с фамилией «Рымша-Пилсудский», носитель которой посетил однажды Чехова где-то в Сибири и оставил свою визитную карточку («А. Чехов и сюжеты», с. 62—64, 17).

Вл. И. Немирович-Данченко писал Чехову 27 сентября, прочитав рассказ: «Крыжовник»...— хорошо, потому что есть и присущий тебе колорит, как в общем тоне и фоне, так и в языке, и еще потому, что очень хороши мысли».

Стр. 446. ...«*тьмы истин нам дороже...*» — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830).

О л ю б в и (стр. 449).—Третий рассказ цикла. Написан в июле 1898 г. и послан вместе с «Крыжовником» в «Русскую мысль».

Как пишет писательница Л. А. Авилова, в рассказе «О любви» изображены их отношения с Чеховым («Чехов в восп.», с. 271—275). И. А. Бунин, знавший Авилову близко, отмечает такие ее качества, как «правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой», и утверждает, что с ее воспоминаниями «биографам Чехова придется серьезно считаться» (И. А. Б у н и н. О Чехове. Нью-Йорк, 1955, с. 134 и 147).

И о н ы ч (стр. 456).— Рассказ начат в Ницце, в конце 1897 г. 15 декабря Чехов пишет редактору журнала В. А. Гольцеву: «Рассказ я пришлю, но едва ли успею сделать это раньше февраля... сюжет такой, что не легко пишется...» Писателю трудно работалось на чужбине, тяготила курортная обстановка: «стол чужой, ручка чужая и то, что я пишу, кажется мне чужим» (ему же, 29 января 1898 г.). «Здесь до такой степени неудобно писать, или я в таком настроении, что у меня не выходит ничего путного. Дома в своем флигеле я сразу приведу себя в порядок» (В. М. Лаврову, 25 февраля). Возвратившись в Мелихово, Чехов в мае отсылает рассказ в «Русскую мысль», однако 6 июня попросил его обратно, заменив «Человеком в футляре», «Ионыча» же передал «Ниве».

Стр. 457. «*Когда еще я не пил слез из чаши бытия*» — романс на стихи А. А. Дельвига «Элегия» (1823), музыка М. Л. Яковлева, друга поэта.

Стр. 460. «*Твой голос для меня, и ласковый и томный*» — неточная цитата из стихотворения «Ночь» (1823) А. С. Пушкина. На слова «Ночи» писали музыку А. Рубинштейн, Римский-Корсаков, Мусоргский, Гречанинов.

С л у ч а й и з п р а к т и к и (стр. 471).— Интересно свидетельство студента-медика Н. Н. Тугаринова, который 22 января 1899 г. извещал Чехова о больших «разговорах и спорах» о его творчестве, в частности — о «Слу-

чае из практики»: «...3/4 восхищалось и млело, а другие, наоборот, брюзжали» («Из архива А. П. Чехова». М., 1960, с. 244).

Д у ш е ч к а (стр. 480).— Рассказ, высоко ценимый И. А. Буниным (ЛН, с. 677) и Л. Н. Толстым. Толстой особенно любил «Душечку». Вскоре после появления рассказа в печати И. И. Горбунов-Посадов писал Чехову о том, как Лев Николаевич «чудесно, с увлечением» читал «Душечку» и был «в восторге от нее. Он все говорит, что это перл, что Чехов это большой-большой писатель. Он читал ее уже чуть ли не 4 раза вслух и каждый раз с новым увлечением» (24 января 1899 г.). Чехов был растроган: «Когда писал «Душечку», то никак не думал, что ее будет читать Лев Николаевич,— отвечает он Горбунову-Посадову.— Спасибо Вам; Ваши строки о Льве Николаевиче я читал с истинным наслаждением» (27 января). «Ваша «Душечка» — прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи»,— извещала Чехова и дочь Толстого, Т. Л. Толстая (30 марта). Вспоминает об отношении Толстого к рассказу писательница Л. И. Веселитская (Микулич): «Он восхищается «Душечкой»,—и особенно телеграммой со словом «сючала». Лев Николаевич много раз повторяет это «сючала», прибавляя: «Как он это схватил удачно. Как вы думаете: какое это слово?..» (В. М и к у л и ч. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 130).

Однако Толстой и сам понимал, что расходится с Чеховым в восприятии образа «Душечки» и ценит в нем не то, что хотел выразить автор. Помещая рассказ в составленный им в 1906 г. сборник «Круг чтения», он сопроводил его послесловием, в котором дает свое объяснение рассказу. По его мнению, Чехов под влиянием модных идей хотел посмеяться над «жалкой» «Душечкой», хотел «проклясть слабую, покоряющуюся, преданную мужчине, неразвитую женщину... но бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил и невольно одел таким чудным светом это милое существо, что оно навсегда останется образцом того, чем может быть женщина и для того, чтобы быть счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем сводит ее судьба». Сообразуясь с этими взглядами, Толстой выбросил в тексте рассказа некоторые снижающие образ штрихи в характеристиках Ольги Семеновны и Кукина.

В. И. Ленин воспользовался образом «Душечки» в заметке «Социал-демократическая душечка» (октябрь 1905 г.).

Д а м а с с о б а ч к о й (стр. 490).— Вскоре после появления в печати рассказа художница М. Т. Дроздова известила Чехова: «Был Левитан. Много говорили о Вас. Он все говорил: «черт возьми, как хорошо Антоний написал «Даму с собачкой». Восхищался рассказом М. Горький (начало января 1900 г.): «Читал «Даму» вашу... никто не может писать так просто о таких простых вещах, как вы это умеете. После самого незначительного вашего рассказа — все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом... Огромное вы делаете дело вашими маленькими рассказиками — возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни — черт бы ее побрал!» («Горький и Чехов», с. 61—62).

Стр. 499. «*Гейша*» (1896) — оперетта английского композитора Сиднея Джонса.

В о в р а г е (стр. 503).— «Пишу большую повесть, скоро кончу...»— сообщает Чехов сестре 14 ноября 1899 г. о работе над повестью «В овраге». А 19 ноября уведомляет редактора журнала «Жизнь» В. А. Поссе: «...я пишу повесть для «Жизни», и готова она будет скоро, должно быть, ко 2-й половине декабря. В ней всего листа три, но тьма действующих лиц, толкотня, тесно очень — и приходится много возиться, чтобы эта толкотня не чувствовалась резко!»

В основу повести положен случай, о котором Чехов узнал на Сахалине, «а место действия — близ Мелихова» («А. Чехов и сюжеты», с. 146). «Я описываю тут жизнь, какая встречается в средних губерниях, я ее больше знаю,— рассказывал Чехов ялтинскому учителю С. Н. Щукину.— И купцы Хрымины есть в действительности.Только на самом деле они еще хуже.Их дети с восьми лет начинают пить водку и с детских же лет развратничают; они заразили сифилисом всю округу. Я не говорю об этом в повести... потому что говорить об этом считаю нехудожественным... то, что мальчика Липы обварили кипятком, это не исключительный случай, земские врачи нередко встречают такие случаи» («Чехов в восп.», с. 464). И.А. Бунин поведал однажды Чехову о сельском дьяконе, который «до крупинки съел как-то, на именинах... фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть «В овраге»,—вспоминает Бунин (т а м ж е, с. 526).

Отзывы были единодушны и восторженны. Для М. Горького «В овраге» явилось откровением, он увидел, как в повести «что-то бодрое и обнадеживающее пробивается сквозь кромешный ужас жизни» (В. А. П о с с е. Мой жизненный путь. М.—Л., 1929, с.155). С удовольствием передал он Чехову хвалебный отзыв Л. Н. Толстого (февраль 1900 г.— «Горький и Чехов», с. 68) и рассказал, как читал повесть мужикам на Полтавщине: «Если б вы видели, как это хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними. Костыль понравился им—черт знает до чего! Так что один мужик... даже выразил сожаление, что мало про того Костыля написано. Липа понравилась, старик, который говорит «велика матушка Россия». Да, славно все это вышло, должен я сказать. Всех простили мужики — и старого Цыбукина и Аксинью, всех! Чудесный вы человек, Антон Павлович, и огромный вы талантище» (июль 1900 г.—т а м ж е, с. 75). Сам М. Горький, сразу по выходе повести в свет, написал статью «По поводу нового рассказа А. П.Чехова «В овраге» («Нижегородский листок», 1900, № 29, 30 января), в которой дал настоящий бой буржуазной критике, настойчиво проводившей мысль о литературной и общественной незначительности Чехова. Прежде всего Горький подчеркнул главнейшую особенность чеховского творчества: «В рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действительности. Страшная сила его таланта именно в том, что он *никогда ничего не выдумывает от себя*...» Полемизируя с теми, кто упрекал писателя в отсутствии мировоззрения, Горький писал: «У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание — он овладел своим представлением жизни... Он освещает

ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению — быть может, потому, что высока,— но она всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них». Наконец, вопреки хору писак, упорно величавшему Чехова «певцом сумерек» и «хмурых людей», Горький громко заявил об оптимистическом звучании его творчества: «...каждый новый рассказ Чехова все усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни... В новом рассказе, трагическом, мрачном до ужаса, эта нота звучит сильнее, чем раньше...» (т а м ж е, с. 121—126). Чехов был глубоко тронут статьей Горького и 15 февраля писал ему: «...Ваш фельетон в «Нижегородском листке» был бальзамом для моей души».

А р х и е р е й (стр. 534).— Сюжет «Архиерея» занимал писателя очень долго, в чем он сам признавался О. Л. Книппер 16 марта 1901 г.: «Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей» на сюжет, который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать». Обещан был рассказ В. С. Миролюбову («Журнал для всех») еще 6 декабря 1899 г. («Я пришлю Вам рассказ «Архиерей»), хотя работать над ним Чехов стал, судя по всему, позднее. Ялтинский знакомый Чехова, С. Н. Щукин, с его слов, утверждал, что «Архиерей» был «старый, ранее написанный рассказ, который он теперь переделал» («Чехов в восп.», с. 465).

Работа над рассказом задерживалась из-за болезни писателя: «...я нездоров, или не совсем здоров... и писать не могу. У меня было кровохарканье, теперь слабость...» «Рассказ давно кончил, но переписывать его было трудновато; все нездоровится... Нездоровится, хоть плюнь» (В. С. Миролюбову, 17 декабря 1901 г., 20 февраля 1902 г.). Врач по специальности, Чехов отлично понимал, чем должно кончиться это постоянное нездоровье. Еще в Ницце (зима 1897/98 г.) он говорил писателю Вас. Немировичу-Данченко: «Мы все приговоренные... И ведь знаете... Так жить хочется! Что бы написать большое-большое? К чему-то крупному тянет, как пьяницу на водку... А в ушах загодя — «вечная память». Иной раз мне кажется, все люди слепы. Видят вдали и по сторонам, а рядом, локоть о локоть, смерть, и ее никто не замечает или не хочет заметить...» («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, с. 399). Образ больного архиерея Чехов как бы пропустил через свою проникновенную, неутолимую и светлую печаль и создал рассказ необычайно правдивый, поэтичный и трагически сильный.

Одним из прототипов архиерея называют крымского епископа Михаила Грибановского. Чехов не был с ним знаком. Но однажды увидел его фотографию, и лицо епископа, «очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным, страдальческим выражением», поразило писателя. Мысль о покойном Грибановском вдохновила Чехова на создание, в частности, сцены всеобщего плача в рассказе, о чем пишет С. Н. Щукин («Чехов в восп.», с. 465—466). М. П. Чехов вспоминает о московском знакомом семьи Чеховых Степане Алексеевиче П., который кончив курс в университете, постригся в монахи, приняв имя Сергий, и сделал очень быстро духовную карьеру. «Уже будучи архие-

реем, преосвященный Сергий приезжал в Ялту лечиться от нервов», где навещал Чехова. «Эти свидания архиерея Сергия с Антоном Павловичем в Ялте и были той ассоциацией, благодаря которой и появился на свет рассказ «Архиерей» («А. Чехов и сюжеты», с. 46—47). М. П. Чехов указывает и прототипа отца Сисоя — иеромонаха Анания из монастыря Давидова Пустынь близ Мелихова, «он именно и сказал фразу о том, что «японцы — все одно, что черногорцы» (т а м ж е, с. 48). А. И. Куприн пишет, что «выражение «не ндравится мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им (Чеховым.— *В. П.*) почерпнуто от одного мрачного бродяги полупьяницы, полупомешанного, полупророка» («Чехов в восп.», с. 559).

И. А. Бунин считал, что «Архиерей» написан... изумительно. Только тот, кто занимается сам литературой и сам испытал эти адские мучения, может постигнуть всю красоту этого произведения» (ЛН, с. 406). И с досадой замечал: «Его «Архиерей» прошел незамеченным...» (ЛН, с. 667). 14 октября 1902 г. В. С. Миролюбов сообщил Чехову: «Был в Ясной Поляне, старик... хвалит «Архиерея» и расспрашивал о вас» (ЛН, с. 874).

Н е в е с т а (стр. 547).— «Невеста» — последний рассказ Чехова.

По свидетельству М. Горького, еще во время работы над «Архиереем» Чехов говорил: «Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного» («Горький и Чехов», с. 150). Писатель С. Я. Елпатьевский вспоминает, что в начале 900-х гг. Чехов «весь ушел в политику», и, ранее «скептически настроенный», он теперь «стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному...» («Чехов в восп.», с. 579). В преддверии 1905 г. он пишет рассказ, в котором сделал попытку вывести новых людей, молодежь, причастную к революционным событиям. «Пишу рассказ для «Журнала для всех» на старинный манер, на манер семидесятых годов»,— сообщает он 26 января 1903 г. О. Л. Книппер-Чеховой.

Работа над рассказом началась в октябре 1902 г. К 20 октября рассказ сложился уже настолько, что Чехов смог сообщить В. С. Миролюбову его название: «...если Вам так нужно название рассказа, которое можно потом и изменить, то вот оно: «Невеста». И опять Чехов беспокоится из-за цензуры: «...«Невесту» пишу, рассчитываю кончить к 20 февраля... Только вот одно: как бы моей «Невесте» не досталось от г. г. женихов, блюдущих чистоту Вашего журнала!» (В. С. Миролюбову, 9 февраля 1903 г.). 27 февраля рассказ был отправлен Миролюбову. «Корректуру пришлите, ибо надо исправить и сделать конец. Концы я всегда в корректуре делаю»,— писал при этом Чехов.

Когда в апреле 1903 г. у Чехова была на руках вторая корректура рассказа, он дал ее прочесть М. Горькому и В. В. Вересаеву. Как вспоминает Вересаев, 20 апреля у него с Чеховым состоялся разговор о «Невесте»:

«Антон Павлович спросил:

— Ну, что, как вам рассказ?

Я помялся, но решил высказаться откровенно:

— Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девицы, как ваша Надя, в революцию не идут.

Глаза его взглянули с суровою настороженностью.

— Туда разные бывают пути» («Чехов в восп.», с. 675).

Однако через полтора месяца Вересаев получил от Чехова письмо (от 5 июня): «Рассказ «Невесту» искромсал и переделал в корректуре». Художник предельно честный, Чехов и в малейшей степени не хотел погрешить против правды. Но, хотя он и снял прямые намеки на уход Нади в революционную работу, эта правка не изменила ни смысла рассказа, ни его оптимистического звучания.

ПЬЕСЫ

Ч а й к а (стр. 565).— В октябре 1895 г. Чехов работает над «Чайкой»: «...пишу пьесу... Пишу не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви» (А. С. Суворину, 21 октября). Окончив пьесу, Чехов был даже смущен ее необычностью: «...пьесу я уже кончил. Начал ее forte[1] и кончил pianissimo[2] — вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен, и, читая свою новорожденную пьесу, еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург» (ему же, 21 ноября). Но, вопреки сомнениям, Чехов был убежден в правомерности своих исканий. Писатель И. Н. Потапенко вспоминает, как он горячо отстаивал необходимость писать по-новому: «Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано — глубокое с мелким, величавое с ничтожным, трагическое с смешным,— говорил Чехов.— Вы, господа, просто загипнотизированы и порабощены рутиной и никак не можете с нею расстаться. Нужны новые формы, новые формы...» («Чехов в восп.», с. 351).

Хотя пьеса была окончена, писатель считал ее незавершенной, продолжал работать над ней, и в письме его от 8 марта 1896 г. к Ал. П. Чехову мы находим такие строки: «Я вожусь с пьесой. Переделываю». 15 марта «Чайка» была передана на рассмотрение цензуры. Цензура нашла в пьесе прегрешения против нравственности, и Чехову предложили внести изменения в освещение отношений Аркадиной и Тригорина.

Работая над «Чайкой», Чехов думал о постановке ее в московском Малом театре (письмо к Е. М. Шавровой от 7 ноября 1895 г.). Но пошла пьеса в Александринском театре в Петербурге. Чехов присутствовал на двух репетициях, 12 и 14 октября 1896 г. Первой репетицией, на которую драматург пришел тай-

---

[1] сильно *(итал.)*.

[2] очень тихо *(итал.)*.

но от актеров, он был подавлен. «Ничего не выйдет,— говорил он.— Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались, значит — и публику они не заинтересуют». У него уже являлась мысль — приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе»,— вспоминает И. Н. Потапенко («Чехов в восп.», с. 354). Однако следующая репетиция прошла великолепно. Актеры, увидев автора, подтянулись, играли с подъемом, явилось «даже что-то общее, что-то похожее на настроение. Когда же вышла Комиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра... Было что-то торжественное и праздничное в этой репетиции...» (т а м ж е, с. 355). Но генеральная репетиция, 16 октября, тоже прошла очень буднично, серо. И Чехов опять «беспокоился о пьесе и хотел, чтобы она не шла. Он был очень недоволен исполнением» («Дневник А. С. Суворина». М.—Пг., 1923, с. 125). Встречая утром 17 октября на вокзале сестру, он говорил ей: «Актеры ролей не знают... Ничего не понимают. Играют ужасно. Одна Комиссаржевская хороша. Пьеса провалится» (М. П. Ч е х о в а. Из далекого прошлого. М., Гослитиздат, 1960, с. 161). Вечером того же дня состоялась премьера, заставившая Чехова сказать горькие слова: «*Никогда* я не буду ни писать пьес, ни ставить» (т а м ж е, с. 164). «Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжелое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо»,— писал Чехов своему брату, М. П. Чехову, 18 октября. Действительно, провал был неслыханный. Большую отрицательную роль здесь сыграло то, что столь тонкая и оригинальная пьеса ставилась, по просьбе комической актрисы Е. И. Левкеевой, в ее бенефис, собравший в зале специфическую, неинтеллигентную публику («Ее поклонники были купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры»,—вспоминал И. Н. Потапенко.— «Чехов в восп.», с. 357). Пришедшие развлечься, бенефисные зрители были разочарованы, «демонстративно поворачивались спиной к сцене, громко разговаривали с знакомыми, смеялись, шипели, свистали... Актеры... растерялись» (т а м ж е, с. 359). Как и предполагал Чехов, актеры не смогли «заинтересовать» публику. Кроме того, атмосфера зависти и злобы, которую Чехов чувствовал уже накануне премьеры («Все злы, мелочны, фальшивы...» — писал он сестре 12 октября), проявилась здесь в полную меру. Об отношении к спектаклю литераторов сохранились свидетельства писателей Л. А. Авиловой («Чехов в восп.», с. 245) и Н. А. Лейкина («Рецензенты с каким-то злорадством ходили по коридорам и буфету и восклицали: «Падение таланта», «Исписался». — ЛН, с. 504).

На следующее утро Чехов уехал в Мелихово. Он «ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему» и внешне отнесся к провалу «разумно и холодно» (А. С. Суворину, 22 октября). Но потрясен всем случившимся он был глубоко. «17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: те, с кем я до 17-го октября дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья (как, например, Ясинский),— все эти имели странное выражение, ужасно странное... Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить

в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а «Неделе» вопрошать: «что сделал им Чехов», а «Театралу» поместить целую корреспонденцию (95 №) о том, будто бы пишущая братия устроила мне в театре скандал»,—писал он А. С. Суворину 14 декабря. И хотя последующие спектакли имели успех, о чем Чехову сообщали В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Потапенко, В. В. Билибин, Н. А. Лейкин, он уже не мог успокоиться. «Я, конечно, рад, очень рад,— отвечал он В. В. Билибину,— но все же успех 2-го и 3-го представления не может стереть с моей души впечатления 1-го представления» (1 ноября). Доставило ему большое удовольствие только письмо А. Ф. Кони, которому Чехов верил «больше, чем всем критикам, взятым вместе» (ответное письмо от 11 ноября), и который выразил восхищение художественными достоинствами пьесы: «Это сама жизнь на сцене, с ее трагическими союзами, красноречивым бездумьем и молчаливыми страданиями,— жизнь обыденная, всем доступная и никем не понимаемая в ее внутренней жестокой иронии...» (7 ноября).

25 апреля 1898 г. к Чехову обратился Вл. И. Немирович-Данченко, один из руководителей молодого Художественного театра, с просьбой разрешить им постановку «Чайки». Чехов ответил решительным отказом. 12 мая Немирович-Данченко вторично пишет о «Чайке»: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, так как «Чайка» единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты — единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром». После долгих сомнений Чехов все же разрешил постановку «Чайки» в Художественном театре. В августе театр приступил к работе.

И то, что не получилось у маститых актеров старой Александринки, блистательно удалось неопытным артистам молодого, только еще формирующегося театра. Секрет их заключался в том, что они нащупали самый нерв пьесы, они почувствовали, как в «Чайке» «бьется пульс русской современной жизни» (письмо Вл. И. Немировича-Данченко к К. С. Станиславскому, 21июня), они постигли глубокую сущность чеховского гуманизма. «Чехов — неисчерпаем,— писал позднее Станиславский,— потому что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда, в своем основном, духовном лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о Человеческом с большой буквы». Именно поэтому «ошибаются те, кто вообще в пьесах Чехова стараются *играть*, *представлять*. В его пьесах надо *быть*, т. е. *жить*, *существовать*, идя по глубоко заложенной внутри главной душевной артерии» (К. С. Станиславский. Собр. соч. в восьми томах, т. I. М., 1954, с. 221, 222). Глубокое понимание чеховской драматургии, ее новаторства определило успех Художественного театра.

Чехов дважды, 9 и 11 сентября, присутствовал на репетициях, сделал свои замечания, но в целом остался доволен. «Он нашел, что у нас на репетициях приятно, славная компания и отлично работает»,— писал Немирович-Данченко Станиславскому.

17 декабря состоялась премьера. Она проходила напряженно: «Как мы играли — не помню,— вспоминает Станиславский.— Первый акт кончился

при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок, я сам едва держался на ногах от отчаяния. Но вдруг, после долгой паузы, в публике поднялся рев, треск, бешеные аплодисменты. Занавес пошел... раздвинулся... опять задвинулся, а мы стояли, как обалделые. Потом снова рев... и снова занавес... Мы все стояли неподвижно, не соображая, что нам надо раскланиваться. Наконец мы почувствовали успех и, неимоверно взволнованные, стали обнимать друг друга... Успех рос с каждым актом и кончился триумфом. Чехову была послана подробная телеграмма» (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. I, с. 226).

Поздравлений с успехом «Чайки» Чехов получил очень много от разных лиц. Второе и третье представления вызвали новый поток поздравлений. Успех «Чайки» сделал Чехова счастливым. Его ялтинский врач, И. Н. Альтшуллер, рассказывает, «в каком длительном радостном возбуждении он находился после торжества и одержанной в Москве победы» («Чехов в восп.», с. 601). В апреле 1900 г. Чехов подарил Вл. И. Немировичу-Данченко золотой брелок, на котором выгравировано: «Ты дал моей «Чайке» жизнь, спасибо» (ЛН, с. 280).

Три сестры (стр. 613).— Первая пьеса, написанная Чеховым специально для Художественного театра. Работая над нею, драматург приноравливал роли к творческим возможностям того или иного актера. Так, А. Л. Вишневскому он сообщает 5 августа 1900 г.: «...для Вас приготовляю роль инспектора гимназии, мужа одной из сестер. Вы будете в форменном сюртуке и с орденом на шее». А 28 сентября пишет О. Л. Книппер: «Ах, какая тебе роль в «Трех сестрах»! Какая роль!»

Пьеса создавалась в 1900 г. Еще 24 ноября 1899 г. Чехов известил Вл. И. Немировича-Данченко: «У меня есть сюжет «Три сестры», но, прежде чем не кончу тех повестей, которые давно уже у меня на совести, за пьесу не засяду». 3 декабря на запрос Немировича-Данченко отвечает: «Ты хочешь, чтобы к будущему сезону пьеса была непременно. Но если не напишется? Я, конечно, попробую, но не ручаюсь и обещать ничего не буду». Весной 1900 г. Художественный театр приехал в Крым, чтобы показать Чехову «Чайку» и «Дядю Ваню». Отличная игра артистов воодушевила писателя, и он засел за работу. «Пьеса сидит в голове, уже вылилась, выровнялась и просится на бумагу...» — пишет он О. Л. Книппер 18 августа.

Работалось Чехову нелегко: мешала болезнь, мешали гости. И ему казалось, что пьеса не получается: «Пишу не пьесу, а какую-то путаницу. Много действующих лиц — возможно, что собьюсь и брошу писать»,— извещал он О. Л. Книппер 14 августа. Уже окончив пьесу, в письме М. Горькому пояснял сложность своей работы: «Ужасно трудно было писать «Трех сестер». Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочки! Действие происходит в провинциальном городе вроде Перми, среда — военные, артиллерия» (16 октября).

23 октября Чехов привез в Москву последнее действие «Трех сестер», и 29 октября в Художественном театре состоялась читка пьесы. «Когда Антон

Павлович прочел нам... пьесу «Три сестры»,— вспоминает О. Л. Книппер-Чехова,— воцарилось какое-то недоумение, молчание... Антон Павлович смущенно улыбался и, нервно покашливая, ходил среди нас... Начали одиноко брошенными фразами что-то высказывать. слышалось: «Это же не пьеса, это только схема...», «Этого нельзя играть, нет ролей, какие-то намеки только...» («Ольга Леонардовна Книппер-Чехова», часть первая. М., 1972, с. 56). Правда, пьеса была не совсем завершена, автор хотел, чтобы она «вылежалась» до следующего сезона (письма к О. Л. Книппер от 5 и 15 сентября). Но дело даже не в незавершенности пьесы, а в ее новаторском характере, в сложности чеховской драматургии подтекста, ставившими в тупик порою и искушенных современников. Артист Александринского театра П. П. Гайдебуров вспоминает, как он, уже сыгравший Треплева в «Чайке», был ошеломлен «Тремя сестрами»: «...с каждой новой страницей меня все сильнее охватывало отчаяние,— я ничего не мог понять из того, что читал! Я не мог себе представить, как будет исполняться на сцене такая пьеса, в чем ее содержание, почему первые строчки составляют начало действия, а последние — конец? Оказалось, что с каждой новой пьесой Чехова приходилось заново учиться законам чеховской драматургии, заново учиться играть чеховские роли» (ЦГАЛИ).

Чехов уехал на зиму в Ниццу, где продолжал работу над пьесой, постоянно посылая в театр исправления и неустанно интересуясь ходом репетиций. «Артисты работали усердно и потому довольно скоро срепетировали пьесу настолько, что все было ясно, понятно, верно. И тем не менее пьеса не звучала, не жила, казалась скучной и длинной. Ей не хватало *чего-то*. Как мучительно искать это *что-то*, не зная, что это!» — сетовал К. С. Станиславский. Актеры сперва не почувствовали оптимистической тональности «Трех сестер», этого свойственного Чехову 900-х гг. страстного желания «перевернуть жизнь». Только после упорных поисков ключ к пьесе был найден: «Чеховские люди зажили. Оказывается, они совсем не носятся со своей тоской, а, напротив, ищут веселья, смеха, бодрости; они хотят жить, а не прозябать. Я почуял правду в таком отношении к чеховским героям, это взбодрило меня, и я интуитивно понял, что надо было делать» (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. I, с. 235—236).

31 января 1901 г. состоялась премьера «Трех сестер». О. Л. Книппер и Вл. И. Немирович-Данченко телеграфировали Чехову о громадном успехе; в конце марта и М. Горький писал: «... «Три сестры» идут — изумительно! Лучше «Дяди Вани». Музыка, не игра» («Горький и Чехов», с. 90). Однако чувство неудовлетворенности спектаклем оставалось и у самих актеров, и частично у зрителей. Через письма к нему, через прессу Чехов тоже почувствовал эту неудовлетворенность. Перед следующим сезоном, в сентябре 1901 г., он сам провел несколько репетиций и бесед с актерами, стремясь, в частности, усилить оптимистичное, светлое звучание пьесы. В результате сложился спектакль, доставивший удовольствие даже взыскательному автору: «...«Три сестры» идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса,

как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон»,— писал он 24 сентября Л. В. Средину.

В и ш н е в ы й с а д (стр. 671).— Новую пьесу Чехов задумал сразу после завершения «Трех сестер», и задумал ее как очень веселую комедию: «Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу»,— писал он О. Л. Книппер 7 марта 1901 г. В начале июня 1902 г. Чехов изложил К. С. Станиславскому первые наметки содержания будущей комедии. В том же июне он, в беседе с Е. П. Карповым о напряженной, предгрозовой обстановке в России, говорил: «Вот мне хотелось бы поймать это бодрое настроение... Написать пьесу... Бодрую пьесу... Может быть, и напишу... Очень интересно... Сколько силы, энергии, веры в народе... Прямо удивительно!..» («Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1952, с. 487).

Однако, несмотря на то что зачин пьесы был, она вынашивалась писателем еще более года. К декабрю определилось ее название: «Мой «Вишневый сад» будет в трех актах»,— писал он 24 декабря О. Л. Книппер. Непосредственно приняться за работу над пьесой он предполагал сначала в декабре (письмо к Книппер от 1 декабря), потом в феврале (К. С. Станиславскому, 1 января 1903 г.). Его постоянно подталкивали, торопили, театр хотел весной начать репетиции (письмо Книппер к Чехову от 21 января). Чехов отвечал на упреки: «Моя лень тут ни при чем. Ведь я себе не враг, и если бы был в силах, то написал бы не одну, а двадцать пять пьес» (О. Л. Книппер, 4 марта). В марте он начал писать, но отъезд в Москву прервал работу, возобновленную, видимо, в июне. Болезнь все время мешает Чехову писать. 26 сентября пьеса была кончена, о чем он телеграфировал Книппер. Но переписка пьесы, которая всегда выливалась у Чехова в серьезную переделку нового произведения, растянулась до середины октября. 14 октября он телеграммой известил, что пьеса выслана.

Прочитав «Вишневый сад», Станиславский и Немирович-Данченко откликнулись восторженными телеграммами. Однако тут же определился и их разлад с автором: Чехов писал комедию, режиссеры увидели в ней тяжелую драму. В начале декабря он выезжает в Москву, чтобы лично присутствовать на репетициях своей пьесы. О том, насколько были серьезны его расхождения с режиссерами, свидетельствует письмо Станиславского актрисе В. В. Пушкаревой-Котляревской о репетициях «Вишневого сада»: «Вишневый сад» «пока не цветет. Только что появились было цветы, приехал автор и спутал нас всех. Цветы опали, а теперь появляются только новые почки». Чехова крайне беспокоит толкование актерами ролей, особенно — ролей, несущих заряд оптимизма. «Аня прежде всего ребенок, веселый до конца, не знающий жизни и ни разу не плачущий...», «...у нее во 2-ом акте слезы на глазах, но тон веселый, живой». Весьма знаменательно его замечание о Трофимове: «Ведь Трофимов то и дело в ссылке, его то и дело выгоняют из университета, а как ты изобразишь сии штуки?» С особым тщанием подбирал Чехов актера на роль Лопахина, неоднократно подчеркивая, что «это не купец в

пошлом смысле этого слова», не кулак, а человек мягкий, тонкий, «роль Лопахина центральная. Если она не удастся, то, значит, и пьеса вся провалится». Такого рода указания давал Чехов актерам, но репетиции не удовлетворяли его и предстоящая премьера страшила. «Пьеса моя пойдет, кажется, 17 января; успеха особенного не жду, дело идет вяло»,— писал он 13 января 1904 г. В. К. Харкеевич.

17 января, действительно, состоялась премьера «Вишневого сада». После третьего акта Чехову было устроено чествование по случаю предстоявшей 25-летней годовщины его литературной деятельности. Он стоял на сцене «мертвенно бледный, худой... не мог унять кашля... Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе»,— вспоминал позднее Станиславский (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. I, с. 271—272). Пьеса тоже прошла не так, как хотелось того автору и актерам. На другой день после премьеры Чехов пишет И. Л. Леонтьеву-Щеглову: «Вчера шла моя пьеса, настроение у меня поэтому неважное». Играли актеры, на его взгляд, «растерянно и не ярко» (Ф. Д. Батюшкову, 19 февраля). А 10 апреля спрашивает у О. Л. Книппер: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал...» «Разве это мои типы?.. За исключением двух-трех исполнителей,— все это не мое...— волновался Чехов.— Я пишу жизнь... Это серенькая, обывательская жизнь... Но это не нудное нытье... Меня то делают плаксой, то просто скучным писателем» («Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1952, с. 491). Позднее актеры до конца, глубоко поймут смысл и значение «Вишневого сада», поймут, что Чехов «один из первых почувствовал неизбежность революции... один из первых дал тревожный звонок. Кто, как не он, стал рубить прекрасный, цветущий вишневый сад, сознав, что время его миновало, что старая жизнь бесповоротно осуждена на слом». Но при жизни Чехова понять это бодрое, жизнеутверждающее звучание его пьесы они не смогли, и «Антон Павлович умер, так и не дождавшись настоящего успеха своего последнего, благоуханного произведения» (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. I, с. 275, 272).

В. Пересыпкина

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Бердников. Наш современник А. П. Чехов 5

РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ

Смерть чиновника 31
Дочь Альбиона 33
Толстый и тонкий 36
Хирургия 38
Хамелеон 41
Налим 43
Егерь 47
Злоумышленник 51
Унтер Пришибеев 54
Тоска 57
Ванька 61
Степь. *История одной поездки* 65
Именины 141
Скучная история. *Из записок старого человека* 168
Гусев 216
Попрыгунья 227
В ссылке 248
Палата № 6 255
Скрипка Ротшильда 299
Студент 307
Дом с мезонином. *Рассказ художника* 310
Моя жизнь. *Рассказ провинциала* 325
Мужики 399
На подводе 424

Человек в футляре 431
Крыжовник 441
О любви 449
Ионыч 456
Случай из практики 471
Душечка 480
Дама с собачкой 490
В овраге 503
Архиерей 534
Невеста 547

ПЬЕСЫ

Чайка. *Комедия в четырех действиях* 565
Три сестры. *Драма в четырех действиях* 613
Вишневый сад. *Комедия в четырех действиях* 671

Примечания *В. Пересыпкиной*. 719

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ

Том 123

Антон Павлович
Чехов

РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ.
ПЬЕСЫ

*

Редактор Ю. Розенблюм

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
С. Журбицкая

Корректоры
А. Новикович и В. Широкова

*

Сдано в набор 30/I 1974 г.
Подписано в печать 5/VIII 1974 г.
Бумага типогр. №1. Формат 60×84 1/16
47 печ. л. 43,85 усл. печ. л. 47,653 +
1 вкл. +7 нак.= 48,46 уч.-изд. л.
Тираж 303 000 экз. Заказ 1041
Цена 2 р. 27 к.

Издательство
«Художественная литература»,
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

Z 27